И(Фр)
Б21

БАЛЬЗАК

ОНОРЕ БАЛЬЗАК

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В 24 ТОМАХ

ТОМ 13

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1960

ЭТЮДЫ О НРАВАХ

СЦЕНЫ ПАРИЖСКОЙ ЖИЗНИ

БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ

КУЗИНА БЕТТА

Дону Микеланджело Каэтани, князю Теано.

Не князю римскому, не наследнику славного рода Каэтани, подарившему нескольких пап христианскому миру, но ученому истолкователю Данте посвящаю я этот краткий отрывок длинной повести.

Вы просветили меня, показав, на какой прекрасной основе мыслей великий итальянский поэт создал свою поэму, единственное произведение, которое писатели нового времени могут противопоставить творению Гомера. До встречи с вами «Божественная комедия» представлялась мне огромной загадкой, разрешение которой не было найдено никем, и во всяком случае не комментаторами. Так глубоко понять Данте, как вы, значит уподобиться ему в величии, но ведь все великое вам близко.

Какой-нибудь французский ученый составил бы себе имя, получил бы и кафедру и ордена, напечатав в виде глубокомысленного исследования импровизацию, которой вы так пленили нас в тот вечер, когда мы отдыхали после прогулки по Риму. Вы, может быть, не знаете, что большинство наших профессоров живут за счет Германии, за счет Англии, за счет Востока или за счет Севера, как насекомые живут за счет деревьев; и, как насекомые, они питаются чужими соками. Но на Италии еще не наживались столь откровенно. Я знаю, никто из наших ученых не оценит моей писательской щепетильности. Ведь я мог бы, обокрав вас, стать ученее всех Шлегелей; но я останусь скромным доктором социальной медицины, врачевателем неизлечимых недугов, хотя бы для того, чтобы отдать дань признательности моему чичероне и присоединить ваше славное имя к именам ди Порча, Сан-Северино, Парето, ди Негро, Бельджойзо, которые в «Человеческой комедии» олице-

творяют сердечный и нерушимый союз Италии и Франции; и союз этот освящаю не я первый: еще в XVI веке моим предшественником был ваш Банделло, епископ и автор озорных сказок, вошедших в великолепное собрание новелл, откуда Шекспир черпал сюжеты для своих пьес и даже заимствовал целые роли, воспроизводя их порою дословно.

Два наброска, которые я вам посвящаю, представляют собою два вечных лика одного и того же явления. «Homo duplex» [1]*,— сказал наш великий Бюффон. Почему бы не прибавить: «Res duplex»* [2]*. Все двойственно, даже добродетель. Поэтому-то Мольер и рассматривает с двух сторон всякую проблему. В подражание ему Дидро написал однажды свой шедевр «Это не сказка», где он создал дивный образ мадемуазель де Ла Шо, погубленной Гарданом, и тут же показывает совершенного любовника, убитого его возлюбленной. Итак, мои две повести под стать одна другой, как близнецы разного пола. Пусть это лишь плод своенравной фантазии писателя, но она оправдана в таком произведении, где автор стремится воссоздать различные формы, в которые облекается мысль. В большинстве случаев споры возникают по той причине, что существуют ученые невежды, которые так устроены, что видят только одну сторону явлений и вещей, и каждый утверждает, что та сторона, какая ему видна, и есть единственно истинная, единственно правильная. Не напрасно в священном писании обронены пророческие слова: «Бог обрек мир на распри». Думаю, что уже одно это библейское изречение должно побудить святой престол ввести у вас двухпалатную систему управления, подобно системе, установленной в 1814 году указом Людовика XVIII.*

Отдаю под защиту вашего ума и присущего вам поэтического чувства два рассказа о «Бедных родственниках».

Ваш покорный слуга

Де Бальзак.

Париж, август — сентябрь 1846 г.

---

[1] Двойственный человек *(лат.)*.
[2] Двойственное явление *(лат.)*.

В середине июля месяца 1838 года по Университетской улице проезжал экипаж, так называемый *милорд*, с недавнего времени появившийся на парижских извозчичьих биржах; в экипаже восседал господин средних лет в мундире капитана национальной гвардии.

Парижан принято считать людьми умными, но все же некоторые из них думают, что военная форма им несравненно более к лицу, нежели штатское платье, и, приписывая женщинам весьма непритязательные вкусы, они надеются произвести выгодное впечатление мохнатой шапкой и золотыми галунами.

Багровая и толстощекая физиономия этого капитана Второго легиона сияла от самодовольства, которым дышала вся его фигура. По этому сиянию, коим богатство, приобретенное торгашеством, окружает чело удалившихся от дел лавочников, можно было узнать в седоке одного из избранников Парижа, на худой конец бывшего помощника мэра в своем округе. И уж, конечно, на его груди, лихо выпяченной на прусский манер, красовалась ленточка ордена Почетного легиона. Развалясь в углу «милорда», господин с орденским знаком рассеянно оглядывал прохожих, и не один из них, как это часто случается в Париже, отнес на свой счет приятную улыбку, предназначенную для отсутствующих прекрасных глаз.

«Милорд» остановился в той части Университетской улицы, которая находится между улицами Бельшасс и Бургундской, у подъезда большого дома, недавно выстроенного на участке, где стоял старый особняк с садом. Пощадив этот старинный особняк, доживавший свой век, владельцы оставили его в полной неприкосновенно-

сти в глубине двора, урезанного наполовину ради новой постройки.

По тому, как капитан принимал услуги кучера, помогавшего ему выйти из экипажа, в нем можно было признать человека лет пятидесяти. Есть движения явно затрудненные, с нескромностью метрического свидетельства разоблачающие возраст. Капитан натянул на правую руку светло-желтую перчатку и, не задав ни одного вопроса швейцару, прошествовал к двери, ведущей в апартаменты нижнего этажа, всем своим видом говоря: «Она моя!»

У парижских швейцаров глаз наметанный, они не чинят препятствий людям с ленточкой в петлице, в синем мундире и с важной поступью: они безошибочно узнают богачей.

Весь нижний этаж был занят бароном Юло д'Эрви, комиссаром по снабжению армии при Республике, бывшим главным интендантом армии при Наполеоне, а ныне начальником одного из важнейших управлений военного министерства, членом государственного совета, кавалером большого офицерского креста Почетного легиона и прочее и прочее.

Во избежание недоразумений барон Юло именовал себя Юло д'Эрви, по месту своего рождения, ибо существовал еще другой Юло, его брат, знаменитый генерал, командир гренадеров императорской гвардии, которого император после кампании 1809 года пожаловал титулом графа Форцхеймского. Граф, как старший, взял на себя заботу о младшем брате и, из чисто отеческих соображений, предусмотрительно зачислил его по военному ведомству, где благодаря их общим заслугам барон сумел снискать милость Наполеона. В 1807 году барон Юло уже занимал пост главного интенданта французской армии в Испании.

Позвонив, капитан гражданской службы не без труда оправил свой мундир, вздернувшийся и спереди и сзади под напором грушевидного живота. На звонок сразу же вышел лакей в ливрее, и важный гость проследовал за слугой, который, приотворив дверь в гостиную, доложил: «Господин Кревель!»

Услыхав это имя [1], удивительно подходившее к его но-

[1] Crever — лопнуть *(франц.)*.

сителю, высокая, хорошо сохранившаяся белокурая женщина вскочила с кресел, точно от электрического удара.

— Гортензия, ангел мой, прогуляйся в саду с кузиной Беттой,— взволнованно сказала она дочери, которая сидела поодаль с вышиванием в руках.

Учтиво поклонившись капитану, юная Гортензия Юло вышла через застекленную дверь в сад вместе с тощей кузиной Беттой, которая казалась старше баронессы, хотя и была моложе ее на пять лет.

— Речь пойдет о твоем замужестве,— шепнула Бетта своей племяннице Гортензии, ничуть, видимо, не обидевшись на баронессу, которая так бесцеремонно выслала кузину из комнаты, точно не считала ее за человека.

Достаточно было взглянуть на одеяние кузины Бетты, чтобы объяснить пренебрежительное отношение к ней г-жи Юло.

Старая дева одета была в шерстяное платье цвета коринки, напоминавшее покроем и отделкой моды Реставрации; вышитая косынка стоила самое большее три франка, а такую соломенную шляпку с голубыми атласными бантами, отороченными соломкой, можно было увидеть разве только на парижской рыночной торговке. Неуклюжие козловые башмаки, работы захудалого сапожника, тоже никак не подходили родственнице почтенного семейства, и, наверно, всякий счел бы ее за домашнюю швею. Однако ж старая дева не преминула, выходя из комнаты, отдать гостю дружеский поклон, на который г-н Кревель ответил многозначительным кивком.

— Вы пожалуете к нам завтра, мадемуазель Фишер, не правда ли? — сказал он.

— А у вас будут посторонние? — спросила кузина Бетта.

— Мои дети и вы, и никого больше!—отвечал Кревель.

— Хорошо,— сказала она,— в таком случае можете на меня рассчитывать.

— Сударыня, я к вашим услугам,— сказал капитан национальной гвардии, вторично поклонившись баронессе Юло.

И он посмотрел на г-жу Юло так плотоядно, как смотрит Тартюф на Эльмиру, когда роль Тартюфа исполняет провинциальный актер где-нибудь в Пуатье или Кутансе, если к тому же он еще и переигрывает.

— Не угодно ли вам, господин Кревель, пожаловать вот сюда. Тут будет удобнее поговорить, нежели в гостиной,— сказала г-жа Юло, указывая на соседнюю комнату, которая, судя по расположению квартиры, служила для игры в карты.

Комната была отделена только легкой перегородкой от будуара, обращенного окнами в сад, и г-жа Юло, оставив на минуту г-на Кревеля в одиночестве, вышла в будуар затворить окно и дверь, чтобы кто-нибудь не подслушал их разговора. Из осторожности она решила также затворить стеклянную дверь в гостиной и, выглянув в сад, улыбнулась дочери и кузине, которые расположились в старой беседке. Она оставила раскрытой только дверь «карточной комнаты», откуда могла видеть каждого, кто войдет в гостиную через внутренние двери. И пока она ходила взад и вперед, от окон к дверям, не опасаясь ничьих любопытных глаз, ее лицо отражало такое душевное смятение, что каждый, кто увидел бы ее в эту минуту, испугался бы. Но едва она ступила на порог «карточной комнаты», на ее черты как бы опустилась непроницаемая маска, которой в трудные минуты умеют пользоваться даже самые простодушные женщины.

Покамест шли эти по меньшей мере странные приготовления, представитель национальной гвардии изучал убранство гостиной. Чувства презрения, удовольствия и надежды с наивной откровенностью сменялись одно за другим на его пошлой физиономии выскочки в то время, как он разглядывал шелковые занавеси, когда-то пунцовые, а теперь лиловатые, выцветшие от солнца, истертые в складках от ветхости, ковер, утративший яркость красок, мебель, с которой сошла позолота, а шелковая, испещренная пятнами обивка местами расползлась. Он гляделся в зеркало, висевшее над каминными часами времен Империи, производя смотр собственной особе, когда шуршание шелкового платья возвестило о приближении баронессы. И он сразу же принял картинную позу.

Бросившись на диванчик, несомненно, очаровательный лет тридцать тому назад, баронесса пригласила Кревеля сесть, и он расположился в кресле, у которого локотники заканчивались головами сфинксов, некогда бронзированными, а теперь облупившимися и явно деревянными.

— Предосторожности, которые вы принимаете, сударыня, могли бы служить счастливым предзнаменованием для...

— Для влюбленного,— сказала баронесса, прерывая капитана национальной гвардии.

— Влюбленного? Это чересчур слабо сказано! — вскричал он, положа правую руку на сердце и вращая глазами. У женщины, равнодушной к поклоннику, подобные потуги изобразить страсть почти всегда вызывают улыбку.— Влюбленного! Скажите: очарованного!

— Послушайте, господин Кревель,— серьезно сказала баронесса, отнюдь не расположенная к шуткам.— Вам пятьдесят лет, вы на десять лет моложе моего мужа, я это знаю. Но если женщина в мои лета совершает безрассудство, проступок ее должен быть оправдан красотою, молодостью возлюбленного, его доблестью, ореолом славы,— короче, какими-нибудь достоинствами, блеск которых ослепляет нас в мужчине настолько, что мы забываем обо всем, даже о своем возрасте. Правда, у вас имеется пятьдесят тысяч франков годового дохода, но ваше состояние вполне уравновешивается вашим возрастом; стало быть, вы не обладаете ни одним из тех качеств, что пленяют женщину...

— А любовь? — сказал капитан национальной гвардии, встав с кресел и приближаясь к баронессе.— Любовь, которая...

— О нет, сударь, упрямство! — с живостью возразила баронесса, желая скорее покончить с этим смешным положением.

— Да, и упрямство и любовь,— сказал он,— а также и кое-что поважнее: право...

— Право? — воскликнула г-жа Юло, величественная в своем гневе, презрении и досаде.— Ну,— продолжала она,— если мы будем беседовать в таком духе, мы никогда не договоримся, и я просила вас к себе не для того, чтобы обсуждать вопрос, который послужил причиной вашего изгнания, несмотря на родственные связи между нашими семьями...

— Мне казалось...

— Полноте! — прервала она Кревеля.— Неужели моя свободная, непринужденная манера разговора на темы такие щекотливые в устах женщины, как «любовь»,

«любовники», не говорит вам, сударь, о том, что я уверена в своей добродетели? Я не боюсь ничего, даже пересудов по поводу свидания наедине с вами. Так ли, сударь, ведут себя женщины слабые? Вы прекрасно знаете, для чего я просила вас приехать!..

— Нет, сударыня,— отвечал Кревель, сразу меняя тон. Он сжал губы и снова принял картинную позу.

— Так извольте выслушать! Скажу в коротких словах, чтобы не длить нашу взаимную пытку...— сказала г-жа Юло, испытующе глядя на Кревеля.

Кревель отвесил насмешливый поклон, выказав столько светского лоску, что опытный глаз сразу же признал бы в нем бывшего коммивояжера.

— Наш сын женат на вашей дочери...

— А если бы можно было вернуть прошлое...— сказал Кревель.

— Брак не состоялся бы,— с живостью закончила баронесса,— я в этом и не сомневаюсь. Однако ж у вас нет причины сетовать. Мой сын не только один из лучших парижских адвокатов, но вот уже год, как он депутат. Его первое выступление в палате прошло блестяще, и можно предполагать, что в недалеком будущем он станет министром. Викторена уже два раза назначали докладчиком при обсуждении законов большой важности, и он мог бы нынче же стать, если бы того пожелал, главным адвокатом кассационного суда. И если вы даете мне понять, что Викторен не имеет состояния...

— Мне приходится поддерживать зятя,— возразил Кревель,— что, по-моему, весьма неприятно. Я дал за дочерью в приданое пятьсот тысяч франков, и из них двести тысяч ушли бог ведает на что!.. Тут и долги вашего уважаемого сына и *шикозная* меблировка его дома, который обошелся в пятьсот тысяч франков, а дохода приносит едва ли пятнадцать тысяч, потому что мой зять, видите ли, занимает лучшую в доме квартиру, да, сверх того, еще должен за него двести шестьдесят тысяч франков... Доход едва покрывает проценты с суммы долга. За нынешний год я передал дочери около двадцати тысяч франков, чтобы она могла свести концы с концами. А мой зять, зарабатывая адвокатурой тридцать тысяч франков, собирается, как говорят, покинуть судебное ведомство ради палаты депутатов...

— Мы опять уклоняемся в сторону, господин Кревель. Но раз уж вы коснулись этого вопроса, доведем разговор до конца. Послушайте, если мой сын станет министром, если благодаря ему вы получите большой офицерский крест ордена Почетного легиона и будете советником парижской префектуры, признайтесь, это уже не так мало для бывшего парфюмера. Не правда ли?

— А-а! Вот мы и договорились, сударыня. Я — лавочник, москательщик, бывший торговец миндальным кремом, португальским бальзамом, помадой для волос!.. И, конечно, я должен почитать большой для себя честью, что выдал свою единственную дочь за сына барона Юло д'Эрви. Моя дочь — баронесса. Фу ты! Да ведь это же прямо Регентство, Людовик Пятнадцатый, прихожая при королевской спальне в Версале. Все это прекрасно!.. Да, я люблю Селестину, как только можно любить единственную дочь, люблю настолько, что обрек себя на все неудобства, выпадающие на долю вдовца в Париже (и это в цвете лет, сударыня!), только бы не наградить ее братом или сестрой. Но знайте, хотя я безумно люблю свою дочь, я не трону своего состояния ради вашего сына, тем более что у меня, старого коммерсанта, его расходы вызывают сомнение...

— Но ведь, сударь, мы с вами живем в такое время, когда министерством торговли управляет не кто иной, как господин Попино, бывший парфюмер с Ломбардской улицы.

— Он мой друг, сударыня! — заметил Кревель.— Потому что я, Селестен Кревель, будучи старшим приказчиком старика Цезаря Бирото, купил все дело упомянутого Бирото, тестя Ансельма Попино, а этот самый Ансельм Попино служил у него простым приказчиком, о чем он сам мне напомнил,— ведь он (надо отдать ему справедливость!) не чванлив с людьми, у которых хорошее положение и шестьдесят тысяч франков годового дохода.

— Стало быть, сударь, то, что вы подразумеваете под словом «Регентство», не может относиться к эпохе, в которую людей отличают за их личные качества? Вы это доказали, выдав вашу дочь за моего сына...

— Вы не знаете, как был заключен этот брак!..— вскричал Кревель.— О проклятая холостая жизнь! Если

бы не моя распущенность, Селестина была бы теперь виконтессой Попино!

— Прошу еще раз, не будем упрекать друг друга за то, что уже совершилось,— отвечала баронесса решительно.— Позвольте мне высказать вам мои жалобы, повод к которым подало ваше странное поведение. Моя дочь Гортензия могла выйти замуж, ее замужество вполне зависело от вас. Я верила в ваше великодушие, я думала, что вы воздадите должное женщине, которая хранила и хранит в своем сердце лишь один образ — образ своего супруга, я надеялась, что вы поймете, как важно для этой женщины избегать встреч с человеком, способным бросить тень на ее доброе имя, я надеялась, что вы не откажетесь, ради чести семьи, с которой вы связаны узами родства, покровительствовать браку Гортензии с господином советником Леба... А вы, сударь, расстроили этот брак...

— Сударыня,— отвечал бывший парфюмер,— я поступил, как честный человек. Ко мне обратились с вопросом, будут ли выплачены двести тысяч франков приданого мадемуазель Гортензии. Я ответил буквально следующее: «Ручаться не могу. Мой зять, которому семейство Юло назначило такую же сумму в случае женитьбы, имел долги. И думаю, что, ежели господин Юло д'Эрви завтра умрет, его вдова останется без куска хлеба». Вот как было дело, прекраснейшая!

— Так ли вы говорили бы, сударь, если бы я ради вас нарушила свой долг?..— спросила г-жа Юло, сурово глядя на Кревеля.

— Я бы и права не имел так говорить, дорогая Аделина! — воскликнул этот оригинальный вздыхатель, прерывая баронессу.— Ведь вы нашли бы приданое Гортензии в моем бумажнике.

И для большей убедительности толстяк опустился на колено и поцеловал руку г-жи Юло, решив, что немой ужас, в который повергли баронессу его речи, означает колебание.

— Купить счастье дочери ценою... О! встаньте, сударь, или я позвоню!

Бывший парфюмер поднялся с большим трудом. Последнее обстоятельство так его взбесило, что он опять принял живописную позу. Почти у каждого мужчины

есть любимая поза, которая, по его мнению, выгодно подчеркивает преимущества, дарованные ему природой. Кревель любил скрестить по-наполеоновски руки на груди и, став вполоборота, устремить взор куда-то вдаль, подражая позе, в какой художник изобразил Наполеона на его последнем портрете.

— Хранить верность,— заговорил он с искусно разыгранным возмущением,— хранить верность какому-то распут...

— Мужу, сударь, мужу, вполне того достойному,— воскликнула г-жа Юло, не давая Кревелю произнести слово, которое не желала даже слышать.

— Послушайте, сударыня, вы написали, чтобы я приехал, вы хотели узнать причины моего поведения, и сами же доводите меня до крайности, ведь я теряю самообладание, когда вы обращаетесь со мной, точно королева, с таким высокомерием, с таким презрением! Неужто я негр какой-нибудь? Я повторяю вам: верьте мне! Я имею право... ухаживать за вами... потому что... Но нет, я слишком вас люблю и потому умолкаю...

— Говорите, сударь! Через несколько дней мне минет сорок восемь лет, я не страдаю жеманством, я все могу выслушать...

— Ну так и быть! Но вы дадите мне слово честной женщины,— а вы, к моему великому несчастью, честная женщина,— что вы никогда не назовете моего имени, не скажете, что это я открыл вам тайну...

— Если на таких условиях вы открываете вашу тайну, клянусь, что никто, даже мой муж, никогда не узнает имени человека, который сообщил мне все эти мерзости...

— Ну, еще бы!.. Дело ведь касается только его и вас.

Госпожа Юло побледнела.

— Э, да вы, как видно, все еще любите Юло!.. Зачем же я стану вас тревожить. Прикажете молчать?

— Продолжайте, сударь! Ведь вам, как вы говорите, надо оправдать в моих глазах ваши более чем удивительные признания и вашу настойчивость, тягостную для женщины в мои лета. А у меня одно желание: выдать замуж дочь, а потом... умереть спокойно!

— Ну вот, видите! Вы несчастны...

— Несчастна?

— Да, прекрасное и благородное создание! — вскричал Кревель.— Ты слишком много страдала!..

— Замолчите, сударь! Прошу вас, удалитесь... или говорите со мной в подобающем тоне.

— А знаете ли вы, при каких обстоятельствах я и уважаемый господин Юло познакомились? У наших любовниц, сударыня...

— О сударь!

— Да, у наших любовниц,— повторил Кревель мелодраматически, сопровождая свои слова движением правой руки, сразу же нарушившим картинность позы.

— Ну, и что же, сударь? — сказала баронесса спокойно, к великому удивлению Кревеля.

Обольститель, движимый низкими побуждениями, никогда не поймет величия женской души.

— Я вдовел уже пять лет,— заговорил Кревель не спеша, как бы готовясь к обстоятельному рассказу,— и в интересах дочери, которую я боготворю, не хотел жениться вторично. Тем более я не желал заводить связи у себя в доме, хотя у меня была в то время прехорошенькая конторщица. И вот, доложу вам, обзавелся я девчонкой лет пятнадцати, красоты поразительной; она работала мастерицей. Признаюсь, я влюбился, совсем потерял голову. Сейчас же выписал из своих мест родную тетку (сестру моей матери), поселил ее вместе с этим прелестным созданием, препоручил ей оберегать нравственность девчурки, ежели можно говорить о нравственности в условиях... как бы это выразиться?.. нашей *скандалезной*... нет... недозволенной законом связи... У девочки обнаружились музыкальные способности, я нанял учителей, одним словом, дал ей музыкальное образование. (Надо же было занять ее чем-нибудь!) Я, видите ли, хотел быть ее отцом, благодетелем и, говоря прямо, любовником. Словом сказать, хотел одним ударом убить двух зайцев: и хорошее дело сделать и хорошую подружку иметь. Я был счастлив пять лет. У девочки оказался голос, да еще какой! Настоящий клад для театра! Можно сказать, Дюпре в юбке! Обучение ее стоило мне две тысячи франков в год. Я шел на все расходы, только бы сделать из нее певицу! Из-за нее я и сам помешался на музыке. Даже взял себе в Итальянской опере постоянную ложу и ходил туда то с Селестиной, то с Жозефой...

— Как? Эта прославленная певица?..

— Да, сударыня,— произнес Кревель с гордостью.— Знаменитая Жозефа обязана мне всем... Словом сказать, когда девочке исполнилось двадцать лет, в тысяча восемьсот тридцать четвертом году, я, вообразив, что сумел привязать ее к себе, выказал непростительную слабость: позволил Жозефе встречаться с одной смазливой актрисочкой, Женни Кадин, судьба которой была похожа на ее судьбу; я хотел немного развлечь девочку. Актриса эта тоже была обязана всем своему покровителю, который дал ей самое, можно сказать, тонкое воспитание, покровителем ее был барон Юло...

— Я это знаю, сударь,— сказала баронесса спокойным голосом, не выказав ни малейшего волнения.

— Вон оно что! — вскричал Кревель, все более и более удивляясь.— А знаете ли вы, что ваш муж, ваш изверг, взял Женни Кадин под свою *опеку*, когда ей было тринадцать лет?

— Ну, и что же далее, сударь? — сказала баронесса.

— Женни Кадин,— продолжал бывший лавочник,— когда Жозефа с ней познакомилась, тоже было двадцать лет, ведь они однолетки, а барон уже с тысяча восемьсот двадцать шестого года играл роль Людовика Пятнадцатого при мадемуазель де Роман... Вы были тогда на двенадцать лет моложе...

— Сударь, у меня имелись причины предоставить мужу свободу действий.

— О, конечно! Сударыня, эта ложь послужит искуплением всех проступков, которые вы когда-либо совершили, и раскроет перед вами врата рая,— отвечал Кревель с лукавым видом, заставившим покраснеть баронессу.— Рассказывайте это другим, святая и обожаемая женщина, но не дядюшке Кревелю, которому, да будет вам известно, не раз доводилось кутить в обществе двух молодых особ с вашим греховодником супругом, а стало быть, я отлично знаю, что вы настоящее сокровище! Муженек ваш, как, бывало, подвыпьет, подробнейшим образом живописует ваши достоинства и даже корит себя, кается! О, я отлично вас знаю: вы ангел. Только какой-нибудь распутник может колебаться в выборе между девицей двадцати лет и вами, но не я,— я не колеблюсь!

— Сударь!..

— Хорошо! Молчу... Но попомните мои слова, святая и достойная женщина: мужья под пьяную руку рассказывают о своих женах такие штучки при любовницах, что те хохочут, как сумасшедшие.

Слезы стыда заблестели на прекрасных ресницах г-жи Юло, и Кревель сразу умолк, даже забыв встать в позу.

— Итак, продолжаю,— опять заговорил он.— С бароном мы сошлись у наших проказниц. Как и все распутники, барон чрезвычайно любезный человек, прямо сказать, славный малый! И полюбился же мне этот бездельник! О-го-го! Такой был мастер на разные фокусы!.. Но оставим эти воспоминания... Мы с ним стали как братья. Наш злодей вполне в духе Регентства! Он всячески старался меня развратить, проповедовал сен-симонизм в отношении женщин, прививал разные барские замашки под стать «голубым кафтанам», но я, видите ли, любил свою Жозефу и готов был даже жениться на ней, если бы не боялся наплодить детей. И понятно, что у двух пожилых папаш, да еще таких закадычных приятелей, в конце концов явилась мысль поженить Викторена и Селестину. И что же! Не прошло и трех месяцев после свадьбы, а Юло (я просто диву даюсь, как у меня язык поворачивается произнести его имя)... Ах, негодяй!.. Ведь он обманул нас обоих, сударыня. Да, да! Негодник отнял у меня мою Жозефу. Его Женни Кадин делала, извините за выражение, самые сногсшибательные успехи! У нее завелся какой-то член государственного совета из молодых и какой-то актер. Тогда он взял да и отбил у меня мою любовницу, прелестную женщину! Вы, конечно, слышали ее у Итальянцев, он ее туда устроил благодаря своим связям. Ваш супруг далеко не так благоразумен, как я,— ведь у меня-то все точно по нотам расписано! Женни Кадин и так уж здорово его ощипала: она стоила ему наверняка тысчонок тридцать в год, не меньше! Так знайте же, сударыня, он разорится окончательно с Жозефой. Жозефа еврейка, ее имя Мирах (перестановка букв в слове Хирам) — иудейская тайнопись; имя это должно служить ей отличием, потому что она ребенком была брошена в Германии (по наведенным мною справкам, она незакон-

ная дочь одного богатого еврейского банкира). Театральные кулисы и особенно уроки, преподанные ей Женни Кадин, госпожой Шонтц, Малагой, Карабиной, насчет того, как обращаться со стариками, пробудили в этой девочке, которую я приучал к бережливости и скромному образу жизни, инстинкты древних иудеев, страсть к золоту и драгоценностям, преклонение перед золотым тельцом! Теперь наша знаменитая певица не упустит добычи и любит деньги. О-го! Еще как любит! Она и грош не промотает из того, что проматывают на нее. Раз Жозефа взялась за нашего уважаемого Юло, она его ощиплет начисто! Бедняга пытался состязаться с одним из Келлеров и с маркизом д'Эгриньоном (оба они с ума сходят по Жозефе; я уж не говорю о тайных вздыхателях); а теперь девчонку у него вот-вот отобьет герцог, тот самый, изволите видеть, что покровительствует искусствам, страшный богач! Как, бишь, его фамилия? Такой карлик! Ах, да! Герцог д'Эрувиль! Этот вельможа желает единолично владеть Жозефой. Все содержанки об этом говорят... а барон и ведать ни о чем не ведает, потому что в тринадцатом округе положение такое же, как и повсюду: любовник, как и муж, узнает последним. Теперь вы понимаете, в чем мое право, а? Ваш супруг, прекрасная дама, отнял у меня, бедного вдовца, мое счастье, мою единственную радость. И черт меня дернул подружиться с этим старым пакостником, не будь его, я не потерял бы Жозефу! Я-то никогда не пустил бы ее на сцену, я бы ее взаперти держал, жила бы она скромницей, принадлежала бы одному мне. Ах, вы бы видели ее лет восемь тому назад! Худышка, каждая жилка в ней играет, цвет кожи золотистый, как у андалузки! Волосы черные и блестящие, что твой атлас, ресницы длинные, темные, глаза мечут молнии. Что ни движение, ну, впрямь герцогиня! А скромна, как подобает бедной девушке. Больше всего привлекала в ней ее грация. Настоящая дикая козочка! И вот, по милости господина Юло, все эти прелести, эта невинность, буквально все обратилось в какую-то западню, в капкан для уловления мужчин! Девочка стала, как говорится, королевой лореток. Теперь она просто шлюха, она, которая не знала ровно ничего, даже не понимала смысла этого слова!

И тут бывший парфюмер утер слезу, навернувшую-

ся на глаза. Искренность его горя тронула г-жу Юло, и она вышла из своего оцепенения.

— Разве в пятьдесят два года, сударыня, добудешь себе такое сокровище? В этом возрасте любовь обходится в тридцать тысяч франков в год. Цифру эту мне назвал ваш муж, но я слишком люблю мою Селестину и не желаю ее разорять. Когда я впервые увидел вас, на том вечере, который вы дали в нашу честь, я диву давался, как этот подлец Юло мог взять на содержание какую-то Женни Кадин... Вы тогда как королева выступали! Вам и тридцати лет нельзя дать, сударыня,— продолжал он,— вы мне кажетесь такой юной, вы так хороши собою. Ей-богу! Словом сказать, я в тот вечер был порядком взволнован и даже подумал: «Не будь у меня моей Жозефы, я бы влюбился. Раз папаша Юло пренебрегает женой, мне бы она пришлась как раз по мерке!» Ах, извините. Это у меня осталось от прежнего моего ремесла. Парфюмер время от времени все же сказывается (вот почему я и не надеюсь проскочить в депутаты). Одним словом, когда я был так низко обманут бароном,— ведь приятельские отношения между такими старыми воробьями, как мы с ним, обязывали нас считать любовницу друга святыней,— я дал себе клятву, что отобью у него жену. Око за око! Барон не может иметь ко мне претензий, и мы с ним будем квиты. При первом же намеке на мои чувства вы выгнали меня, точно какого-нибудь пса! Но от этого моя любовь или, ежели вам угодно, мое упрямство только возросли, и вы будете моей.

— Каким же образом?

— Не знаю, но так будет. Видите ли, сударыня, даже самый недалекий парфюмер (да еще парфюмер в отставке!), ежели он одержим какой-нибудь одной мыслью, окажется сильнее любого умника, у которого тысяча разных мыслей в голове. Я на вас *помешался*, и в вас мое мщение! Выходит, что я люблю вас вдвойне. Я говорю с вами с полной откровенностью, потому что решился на все. Вот вы говорите мне: «Я никогда не буду вашей», а я продолжаю беседовать с вами хладнокровно. Словом, я, как говорится, выложил свои карты на стол. Да, рано или поздно вы будете моей... Пускай вам исполнится пятьдесят лет, вы все равно станете моей любовницей. Да, так и будет, потому что ваш муж сам мне в этом поможет...

Госпожа Юло кинула на гостя взгляд, в котором написан был такой ужас, что даже этот расчетливый мещанин растерялся, подумав, не сошла ли она с ума, и умолк.

— Вы сами пожелали выслушать меня, вы подавили меня своим презрением, вы сами довели меня до крайности, вот я и перешел меру,— наконец промолвил он, понимая, что должен как-то оправдать свою дикую выходку.

— О дочь моя, дочь моя! — воскликнула баронесса упавшим голосом.

— Ах, я больше ничего знать не хочу! — продолжал Кревель.— В тот день, когда у меня отняли Жозефу, я рассвирепел, точно тигрица, у которой похитили ее детенышей... Словом сказать, мне тогда было не легче, чем вам сейчас. Ваша дочь для меня лишь средство добиться ваших милостей! Вот я и расстроил ее свадьбу, и вам не удастся выдать ее замуж без моей помощи. Как бы хороша ни была мадемуазель Гортензия, ей требуется приданое...

— Увы, это верно! — сказала баронесса, утирая глаза.

— А ну-те, попробуйте спросить десять тысяч франков у барона,— продолжал Кревель, снова становясь в позу.

Он выждал с минуту, как актер, который выдерживает паузу.

— Да ежели бы деньги у него и водились, он бы отдал их той, которая придет на смену Жозефе,— сказал Кревель, налегая на баритональные ноты.— Раз вступив на такой путь, остановиться трудно! Он слишком любит женщин! (Во всем должно соблюдать золотую середину, как сказал наш король.) Да еще тут примешивается тщеславие. Он ведь красавец мужчина! Он вас всех разорит из-за своих прихотей. Вы уже и так разорены! Сами посудите, за то время, что я не бывал у вас в доме, вы не могли даже мебели обновить в гостиной! Каждая прореха в обивке кричит, что вы в стесненных обстоятельствах. Попробуйте подыщите себе зятя, которого не отпугнет почти не прикрытая нищета... А что может быть страшнее нищеты людей из порядочного общества? Я же был лавочником, меня не проведешь. Уж кто-кто, а торговец с первого взгляда отличит роскошь настоящую от дутой роскоши. У вас гроша ломаного не осталось,— прибавил

он, понизив голос.— Это по всему видно, даже по ливрее вашего слуги. Угодно вам узнать ужасные тайны, которые от вас скрывают?

— Довольно, довольно, сударь,— сказала г-жа Юло, комкая в руках мокрый от слез платок.

— Ну, а если мой зять отдает деньги своему отцу, тогда что? Я ведь не случайно заговорил о сомнительных тратах вашего сына. Я стою на страже интересов дочери... будьте покойны.

— О! только бы мне выдать Гортензию замуж и умереть!..— сказала несчастная женщина, совсем потеряв голову.

— Э, полноте! А если можно помочь горю? — возразил Кревель.

Госпожа Юло посмотрела на Кревеля, и лицо ее сразу преобразилось: во взоре ее было столько надежды, что всякий другой на месте Кревеля растрогался бы и отказался от своего нелепого замысла.

— Вы останетесь молодой еще десять лет,— продолжал Кревель, стоя в картинной позе,— будьте снисходительны ко мне, и мадемуазель Гортензия выйдет замуж. Юло, как я уже говорил вам, своим поведением дал мне право предложить вам эту грубую сделку, и пусть теперь он пеняет на себя. Так вот, три года тому назад я пустил в оборот свои деньги. Я хоть и повесничал, но с умом!.. Получил я триста тысяч франков барыша сверх основного капитала. Они в вашем распоряжении...

— Уходите, сударь,— сказала г-жа Юло,— уходите и не смейте показываться мне на глаза! Поверьте, если бы мне не нужно было узнать причины вашего низкого поведения в отношении Гортензии, когда шла речь о ее замужестве... Да, низкого...— повторила она в ответ на протестующее движение Кревеля.— Как же иначе назвать ваш злой поступок против бедной девочки, прелестного и невинного создания?.. Не будь этой необходимости встретиться с вами, подсказанной измученным материнским сердцем, вам не случилось бы опять появиться в моем доме и говорить со мной. Тридцать два года достойной и безупречной женской жизни не погибнут от булавочных уколов господина Кревеля...

— Бывшего парфюмера, преемника Цезаря Бирото, владельца фирмы «Королева роз» на улице Сент-Оноре,—

сказал Кревель насмешливо,— бывшего помощника мэра, капитана национальной гвардии, кавалера ордена Почетного легиона, словом сказать, точного подобия моего предшественника...

— Сударь,— продолжала баронесса,— господин Юло, после двадцати лет постоянства, мог охладеть к своей жене, но это не касается никого, кроме меня. И вы видите, сударь, что он хранил в глубокой тайне свою неверность,— ведь я не знала, что он занял ваше место в сердце мадемуазель Жозефы...

— О! — вскричал Кревель,— это место он оплатил золотом, сударыня... Наша птичка стоила ему больше ста тысяч франков последние два года. О-го-го! Вы еще многого не знаете...

— Довольно, господин Кревель. Я мать, сударь, и я не откажусь ради вас от счастья любить своих детей, не чувствуя никаких угрызений совести, от счастья жить в кругу семьи, пользуясь любовью и уважением близких. Я отойду в иной мир незапятнанной...

— Аминь! — сказал Кревель, и на его лице изобразилась сатанинская горечь, которую испытывает мужчина, притязающий на успех, видя, как рушатся его замыслы.— Вы еще не знакомы с крайней нуждою, со стыдом... с позором нищеты... Я пытался вас просветить, я хотел вас спасти... вас и вашу дочь! Воля ваша! Придется вам прочесть, от первой буквы до последней, современную притчу о «Блудном отце». Ваши слезы и ваша гордость растрогали меня, потому что видеть, как плачет любимая женщина, поистине ужасно! — прибавил Кревель, усаживаясь в кресла.— Могу обещать одно, дорогая Аделина, что ничего дурного ни против вас, ни против вашего мужа я не предприму; но никогда не посылайте ко мне за справками. Вот и все!

— Так что же делать? — вскричала г-жа Юло.

До той минуты баронесса мужественно переносила тройную пытку этого объяснения, ибо она страдала как женщина, как мать и как жена. Пока тесть ее сына держал себя спесиво и вызывающе, она, собрав все силы, сопротивлялась грубому натиску лавочника, но когда он, несмотря на оскорбленное самолюбие отвергнутого вздыхателя и гвардейца, мнящего себя красавцем, заговорил с нею благожелательно, нервы ее, напряженные до край-

ности, не выдержали: ломая руки, она залилась слезами и, наконец, впала в состояние такого полного безразличия, что позволила Кревелю, опустившемуся на колени, целовать ей руки.

— Боже мой! Что делать? — повторила она, утирая глаза.— Неужели мать может смотреть хладнокровно, как на ее глазах гибнет дочь? Что ожидает это прелестное создание, единственной защитой которого были его собственная чистота и высокие достоинства души, охраняемые материнскими попечениями? В последнее время она грустит без причины, гуляя в саду; нередко я застаю ее в слезах...

— Ей двадцать один год,— сказал Кревель.

— Не отдать ли ее в монастырь? — спросила баронесса.— Но при таких критических обстоятельствах религия зачастую не в силах бороться с природой, и девушки, воспитанные в самых нравственных правилах, теряют голову!.. Встаньте же, сударь! Неужели вы не видите, что теперь все кончено между нами... Вы внушаете мне ужас, вы отняли у матери последнюю надежду!

— А если бы я воскресил ваши надежды?

Госпожа Юло бросила на Кревеля полубезумный взгляд, и он растрогался было, но, вспомнив ее слова: «*Вы внушаете мне ужас!*», подавил в своем сердце чувство жалости. Добродетель всегда грешит излишней прямотою; она пренебрегает уловками и недомолвками, с помощью которых можно выйти из затруднительного положения.

— Кто же по нынешним временам сможет выдать замуж без приданого даже такую красивую барышню, как мадемуазель Гортензия? — сказал Кревель, принимая опять надутый вид.— Такая красавица, как ваша дочь,— опасная жена; это все равно, что породистая лошадь, которая требует ухода, разорительного для хозяина, много ли найдешь на нее охотников? Попробуйте-ка пройтись пешком по улице рука об руку с писаной красавицей? На вас все будут глаза таращить, оглядываться, ходить за вами по пятам, вожделеть к вашей супруге. От такого успеха мужу не поздоровится, особливо, если он не склонен стреляться с любовниками, ведь все равно сразу больше одного и не убьешь! Видите ли, сударыня, в теперешнем вашем положении выдать дочь замуж возможно только тремя способами: с моей помощью,— чего вы

совсем не желаете,— это раз! Подыскать ей старика лет шестидесяти, очень богатого, бездетного и мечтающего иметь детей. Трудно, но бывает! Сколько старцев содержат разных Жозеф и Женни Кадин! Почему же не найтись такому старцу, который захочет сделать ту же глупость, но на законных основаниях? Не будь у меня моей Селестины и двух внуков, я бы сам женился на Гортензии. Это два! Последний же способ самый легкий...

Госпожа Юло подняла голову и с беспокойством посмотрела на бывшего парфюмера.

— Париж — это город, куда стекаются все предприимчивые люди, которые растут, как дички, на французской почве. Столица наша кишит талантами без роду и племени, удальцами всякого разбора, способными на все, даже на то, чтобы составить себе состояние... Так вот, эти молодчики... Ваш покорнейший слуга сам принадлежал к их числу в свое время и знавал многих таких! Что представлял собой дю Тийе?. Что представлял собою Попино, когда ему было двадцать лет? Оба они околачивались в лавочке папаши Бирото, не имея другого капитала, кроме желания выйти в люди. Если хотите знать, по моему мнению, это лучше всяких капиталов. Самые крепкие фирмы разоряются, а тот, кто крепок духом, не пропадет. Что у меня-то самого было? Только желание пробиться да решительность. Дю Тийе нынче числится среди самых видных особ. Попино держал парфюмерную лавку на Ломбардской улице, а стал депутатом, а теперь, гляди-ка, уже министром... Так вот, в Париже только такие condottieri [1] и могут взять себе в жены бесприданницу, как бы она ни была хороша. Ведь это поистине храбрецы, на каком бы поприще они ни подвизались — в акционерных ли компаниях, продавая ли свое перо или кисть. Господин Попино женился на мадемуазель Бирото, не надеясь получить в приданое ни лиара. Это безумцы! Они верят в любовь так же, как верят они в свою счастливую звезду и в свои таланты!.. Найдите такого смельчака, он влюбится в вашу дочку и женится на ней, не глядя на ваше стесненное положение. Согласитесь, что для врага я довольно великодушен, потому что даю вам советы себе во вред.

---

[1] Авантюристы *(итал.)*.

— Ах, господин Кревель! Если бы вы пожелали быть моим другом! Отказались бы от смешных фантазий!..

— Смешных? Сударыня, поглядитесь в зеркало! Зачем вы унижаете себя? Я люблю вас, и вы еще прибегнете к моей помощи. Я хочу когда-нибудь сказать Юло: «Ты отнял у меня Жозефу, я взял твою жену!..» Таков древний закон возмездия! Да, да, я уж постараюсь осуществить свой замысел, ежели только вы не слишком подурнеете. Я добьюсь своего, и вот почему...— сказал он, становясь в позу и глядя на г-жу Юло.— Вы не найдете ни старика, ни влюбленного юношу,— заговорил он после короткого молчания,— потому что вы слишком любите вашу дочь, чтобы сделать ее жертвой старческого разврата, и потому что вы баронесса Юло, невестка генерал-лейтенанта, командовавшего гренадерами старой гвардии, и вы не решитесь взять в зятья первого встречного храбреца. Ведь он может оказаться простым рабочим, как, к примеру сказать, какой-нибудь нынешний миллионер лет десять назад мог быть простым механиком, простым подрядчиком, простым подмастерьем на фабрике. И не случится ли так, что вы, встревожившись за вашу дочь, которая, по молодости лет, может влюбиться в одного из таких проходимцев и обесчестить вас, скажете: «Лучше я сама поступлюсь своей честью, и, если господин Кревель согласен сохранить тайну, я добуду для дочери приданое — двести тысяч франков за десять лет привязанности к этому бывшему перчаточнику, папаше Кревелю»? Я вам наскучил, и то, что я говорю, глубоко безнравственно, согласен, согласен! Но если бы вы сами влюбились в меня, то под влиянием неодолимой страсти вы стали бы рассуждать, как рассуждают все влюбленные женщины... Так-то вот! Пускай же интересы Гортензии заставят вас пойти на эту сделку с совестью...

— У Гортензии есть дядя.

— Кто же это? Не дядюшка ли Фишер? Да он теперь пытается наладить свои дела, расстроенные опять-таки по милости вашего супруга. Господин Юло запускает лапу в кубышки всей своей родни...

— Граф Юло...

— Э! Ваш муж, сударыня, растранжирил уже все сбережения старого генерал-лейтенанта! Он ухлопал эти денежки на свою певичку, обмеблировал ей дом. Ну-с, не-

ужели вы дадите мне уйти, не порадовав ни малейшей надеждой?

— Прощайте, сударь. От любви к женщине моего возраста излечиться не трудно, и вы скоро обратитесь к благочестивым мыслям. Господь покровительствует несчастным...

Баронесса поднялась, давая понять капитану, что ему пора ретироваться, и он отступил в пределы парадной гостиной.

— Да разве прекрасной баронессе Юло пристало жить среди такого хлама? — сказал Кревель.

И он указал на старую лампу, на люстру с облезлой позолотой, на ветхий ковер — словом, на жалкие остатки прежней роскоши, превращавшие этот просторный, белый с красным, раззолоченный зал в усыпальницу императорского великолепия.

— Сияние добродетели лежит на всем этом, сударь. Мне не нужна пышная меблировка, если для этого я должна обратить красоту, которую вы мне приписываете, в какую-то *западню, в капкан для уловления мужчин*.

Капитан закусил губы, услыхав слова, которыми только что сам заклеймил алчность Жозефы.

— И ради кого такое постоянство! — воскликнул он.

В это время баронесса оттеснила бывшего парфюмера к самой двери.

— Ради распутника! — продолжал Кревель с ханжеской миной добродетельного богача.

— Если вы правы, сударь, в таком случае мое постоянство тем более похвально. Вот и все!

И, поклонившись Кревелю, как кланяются назойливым посетителям, желая от них избавиться, она круто повернулась к нему спиной, лишившись тем самым возможности в последний раз увидеть его в картинной позе. Она торопилась растворить запертые двери и окна и не могла заметить, с какой злобой погрозил ей на прощание Кревель. Она шла гордо, движения ее были полны достоинства, как некогда у мучениц в Колизее. Однако ж силы ее были истощены, она в полуобморочном состоянии упала на диван в своем голубом будуаре и долго лежала недвижимая, вперив взгляд в развалившуюся беседку, где ее дочь беспечно болтала с кузиной Беттой.

С первых дней замужества и до последней минуты ба-

ронесса любила своего мужа восторженной любовью, любовью материнской, любовью рабской, как Жозефина в последние годы любила Наполеона. Если она и не знала об изменах мужа во всех подробностях, в которые ее только что посвятил Кревель, она, однако ж, очень хорошо знала, что вот уже двадцать лет барон Юло ей неверен; но она своими руками надела себе повязку на глаза, она плакала молча, у нее не вырвалось ни одного слова упрека. В награду за свою ангельскую кротость она снискала глубокое уважение мужа и стала кумиром своей семьи. Любовь, которую питает женщина к мужу, уважение, с которым она к нему относится, все это передается окружающим. Гортензия считала своего отца образцом супружеской привязанности. Что касается Викторена, воспитанного в преклонении перед отцом, в котором каждый видел одного из героических сподвижников Наполеона, для него не было тайной, что своим положением он обязан громкому имени барона Юло, его чину и заслугам; притом у него был какой-то безотчетный, сохранившийся с детских лет, страх перед отцом. Если бы Викторен и подозревал о непозволительных поступках барона, он бы их извинил не только из чувства сыновней почтительности, не позволявшей ему судить отца, но и по обычной в нашем обществе легкости взглядов на поведение мужчин в любовных делах.

Теперь необходимо объяснить, в чем крылись причины беззаветной супружеской преданности этой прекрасной и благородной женщины. Вот в кратких словах повесть ее жизни.

По набору, объявленному Французской республикой, из деревни, расположенной на окраине Лотарингии, у подножия Вогезов, были взяты в ряды войск простые землепашцы, три брата Фишер, и направлены в так называемую Рейнскую армию.

В 1799 году средний брат, Андре, отец г-жи Юло, будучи в то время уже вдовцом, оставил свою дочь на попечение старшего брата, Пьера Фишера, непригодного к военной службе после тяжелого ранения, полученного им в 1797 году, а сам занялся перевозкой военных грузов, взяв несколько подрядов; поручением этим он обязан был покровительству военного комиссара Юло д'Эрви. По вполне естественной случайности, Юло, приехав в Страс-

бург, познакомился с семейством Фишер: отец Аделины и его младший брат были в то время поставщиками фуража в Эльзасе.

Аделину, которой исполнилось тогда шестнадцать лет, можно было сравнить со знаменитой г-жой Дюбарри, как и она, дочерью Лотарингии. Это была одна из тех совершенных, ослепительных красавиц, одна из тех женщин, подобных г-же Тальен, которых природа создает с особой тщательностью, расточая на них самые драгоценные свои дары: изысканность, благородство, прелесть женственности, тонкость душевную, изящество, и все это облекает в телесную оболочку, несравненную по форме и краскам, растертым в той неведомой мастерской, где работает Случай. Эти прекрасные женщины схожи между собою. Бьянка Капелло, чей портрет является лучшим творением Бронзино, Венера, изваянная Жаном Гужоном, для которой натурой служила знаменитая Диана де Пуатье, синьора Олимпия, чье изображение находится в галерее Дориа, наконец, Нинон, г-жа Дюбарри, г-жа Тальен, мадемуазель Жорж, г-жа Рекамье — все эти женщины, сохранившие свою красоту, несмотря на годы и страсти или жизнь, растраченную в наслаждениях, поражают сходством в сложении, в росте, в самом характере красоты, и это наводит на мысль, что в океане поколений существует течение Афродиты, откуда выходят все эти Венеры, дочери одной и той же соленой волны!

Аделина Фишер, одна из выдающихся представительниц этого божественного племени, по благородству своего прекрасного лица, волшебной гибкости стана, необыкновенной нежности кожи, принадлежала к породе прирожденных королев. Белокурые волосы, дарованные нашей праматери Еве рукой самого бога, царственная осанка, величественный вид, строгий профиль и вместе с тем скромность деревенской девушки пленяли всех мужчин, встречавшихся на ее пути, как пленяет ценителей прекрасное творение Рафаэля; увидев Аделину Фишер, главный комиссар по снабжению Рейнской армии был очарован с первого взгляда и сочетался с ней законным браком, к великому удивлению всех Фишеров, впитавших с молоком матери подобострастие перед начальством.

Старший брат, солдат 1792 года, тяжело раненный при атаке Виссембургских укреплений, боготворил импе-

ратора Наполеона и все, что относилось к великой армии. Андре и Иоганн произносили с уважением имя главного комиссара Юло, любимца императора и притом человека, которому они были обязаны своей карьерой, ибо Юло д'Эрви, признав братьев Фишер людьми способными и честными, отозвал их из армейского обоза и поручил им руководство срочными поставками. Братья Фишер обслуживали армию в продолжение всей кампании 1804 года. Когда был заключен мир, Юло исхлопотал им поставку фуража в Эльзасе, еще не зная, что он сам будет несколько позже послан в Страсбург для подготовки кампании 1806 года.

Для юной крестьянки замужество стало каким-то чудесным преображением. Из своего деревенского болота прекрасная Аделина сразу же попала в рай императорского двора. Именно в то самое время главный комиссар по снабжению армии, один из самых деятельных и добросовестных служак интендантского ведомства, получил титул барона, был приближен к Наполеону и причислен к императорской гвардии. Прекрасная крестьянка имела мужество из любви к супругу, от которого она была без ума, заняться своим образованием. К слову сказать, главный комиссар по снабжению армии представлял собою столь же незаурядное явление среди мужчин, как и Аделина среди женщин. Рослый, статный блондин с огневым взглядом живых голубых глаз неизъяснимого оттенка, всегда элегантный, он был заметен даже среди д'Орсэев, Форбенов, Увраров — короче говоря, в отряде первых красавцев Империи. Сердцеед, воспитанный в духе легкомысленных нравов времен Директории, из чувства супружеской привязанности забыл надолго свои галантные похождения.

Для Аделины муж с самого начала стал непогрешимым божеством; ему она была обязана всем: богатством — к ее услугам была карета, особняк, вся современная роскошь; счастьем — она была любима перед лицом всего света; титулом — она стала баронессой; наконец, известностью — в Париже ее называли прекрасной госпожой Юло; и более того, она удостоилась благосклонного внимания императора, который преподнес ей бриллиантовое ожерелье; но, даже отклонив его ухаживания, она пользовалась неизменным его расположением, ибо

время от времени Наполеон спрашивал: «Ну, а как прекрасная госпожа Юло? По-прежнему добродетельна?»,— и чувствовалось, что он способен отомстить человеку, который восторжествовал бы там, где ему самому пришлось потерпеть неудачу.

Итак, даже не обладая особой проницательностью, можно понять, что породило в простой, наивной и прекрасной душе Аделины Юло любовь к мужу, доходящую до фанатизма. Внушив себе, что ее Гектор никогда не может быть перед ней виноват, она воздвигла ему алтарь в своем сердце и обратилась в безгласную, преданную и слепую рабу своего творца. Впрочем, надо заметить, что у нее было достаточно здравого смысла, крепкого здравого смысла, свойственного простонародью, благодаря чему она и сумела приобрести знание света. В обществе она говорила мало, внимательно слушала и взяла себе за образец самых безупречных женщин высокого происхождения.

В 1815 году Юло, следуя примеру князя Виссембургского, одного из близких своих друзей, был в числе организаторов той импровизированной армии, поражением которой при Ватерлоо закончилась наполеоновская эпопея. В 1816 году барон оказался в положении человека, ненавистного военному министру Фельтру, и был возвращен в интендантство только в 1823 году, когда его услуги понадобились во время войны с Испанией. В 1830 году он снова появился в административных верхах в качестве директора департамента,— с того именно времени, когда Луи-Филипп произвел, так сказать, рекрутский набор среди старых наполеоновских служак. С воцарением младшей ветви Бурбонов барон Юло, выказавший себя энергичным пособником переворота, стал бессменным начальником одного из департаментов военного министерства. Это было для него в своем роде маршальским жезлом, и королю оставалось только сделать его министром или пэром Франции.

Оказавшись не у дел, с 1818 по 1823 год, барон Юло перешел на действительную службу от Марса к Венере. Г-жа Юло приписывала первые измены своего мужа великому finale [1] Империи. Однако ж в течение двенадцати

---

[1] Концу *(итал.)*.

лет баронесса безраздельно играла у себя в доме роль prima donna assoluta [1]. Она довольствовалась той испытанной, прочной привязанностью, которой мужья награждают своих жен, когда те покорно принимают положение кротких и добродетельных подруг; она знала, что никакие соперницы не удержатся и двух часов, стоит ей сказать хоть одно слово упрека; но она закрывала глаза, она затыкала уши, она ничего не хотела знать о поведении мужа вне дома. Словом, Аделина относилась к своему Гектору, как мать относится к избалованному ребенку. За три года до вышеописанного разговора, однажды в театре Варьетэ Гортензия, заметив отца в литерной ложе первого яруса в обществе Женни Кадин, воскликнула: «А вот и папа!» «Ты ошиблась, мой ангел, папа у маршала»,— отвечала баронесса. Она отлично видела мужа рядом с Женни Кадин, но не только не почувствовала горечи, а, напротив, убедившись в красоте соперницы, сказала про себя: «Наверно, мой негодный Гектор очень счастлив». Однако ж она страдала втайне, порою ею овладевала дикая злоба, но стоило ей увидеть своего Гектора, как перед ней вставали воспоминания о днях безмятежного счастья с ним — целых двенадцать лет! — и у нее не хватало духу огорчить его своими жалобами. Она была бы рада, если бы муж избрал ее своей поверенной, но ни разу из уважения к нему баронесса не сказала Гектору, что его похождения ей известны. Такая щепетильность встречается лишь у прекрасных дочерей народа, которые умеют снести удар, не отвечая на него; у них в жилах течет еще не иссякшая кровь первых мучеников. Женщины хорошего рода, по происхождению равные своим мужьям, чувствуют потребность их мучить, и, как игроки на бильярде отмечают на доске шары, загнанные в лузу, так и они отмечают каждое проявление своей терпимости колкими словами, из чувства дьявольской мстительности, из желания убедиться в своем превосходстве, либо утверждая свое право отомстить мужу.

У баронессы был страстный почитатель, ее деверь, всеми уважаемый генерал-лейтенант Юло, командир пеших гренадеров императорской гвардии, которому довелось получить маршальский жезл лишь на исходе своей

---

[1] Певица, выступающая на первых ролях *(итал.)*.

жизни. Старец этот, командовавший с 1830 по 1834 год военным округом, в который входили бретонские провинции,— театр его воинских подвигов в 1799 и 1800 годы,— выйдя в отставку, пожелал провести свои последние дни в Париже, подле младшего брата, к которому он по-прежнему питал отеческую привязанность. Старый солдат всем сердцем сочувствовал невестке; он восхищался ею, как самым благородным, самым чистым созданием, истинным перлом среди женщин. Он не женился, потому что мечтал встретить вторую Аделину, но тщетно ее искал в двадцати странах и тридцати походах. Чтобы не уронить себя в глазах старого республиканца без страха и упрека, о котором Наполеон сказал: «Этот храбрец Юло неисправимый республиканец, но мне он никогда не изменит»,— Аделина готова была перенести испытания еще более жестокие, чем те, которые ее уже постигли. Но старик семидесяти двух лет, изнуренный тридцатью походами, раненный в двадцать седьмой раз под Ватерлоо, был для Аделины не опорой, а только предметом восхищения. Бедняга граф в числе прочих своих недугов страдал глухотой и пользовался слуховой трубкой.

Пока барон Юло д'Эрви был молод и хорош собою, любовные страстишки не отражались на его кошельке, но в пятьдесят лет с грациями приходилось рассчитываться. В этом возрасте любовь у пожилых людей превращается в порок, к ней примешивается безрассудное тщеславие. И вот с того времени Аделина начала замечать, что муж ее уделяет слишком много внимания своей внешности: он стал красить волосы и бакенбарды, носить эластичные пояса и корсеты. Ему хотелось любой ценой сохранить свою красоту. Обожание собственной особы — недостаток, который он некогда высмеивал в других,— теперь проявлялось у него самого, и весьма мелочным образом. Наконец Аделина заметила, что Пактол, текущий к любовницам барона, берет начало в ее доме. За восемь лет порядочное состояние было растрачено, и так основательно, что два года тому назад, ко времени женитьбы молодого Викторена Юло, барон вынужден был признаться жене, что его оклад составляет все их средства. «Что же с нами будет?» — спросила Аделина. «Не волнуйся,— отвечал ей член государственного совета,— весь свой оклад я отдаю в ваше распоряжение, и я позабочусь об

устройстве Гортензии и о нашем будущем, займусь нашими делами». Глубокая вера этой женщины в могущество и высокие достоинства, в дарование и твердую волю своего мужа успокоила ее минутную тревогу.

Теперь должно быть вполне понятно, о чем думала баронесса и о чем она плакала по уходе Кревеля. Бедная женщина вот уже два года чувствовала себя на дне пропасти, но утешалась мыслью, что лишь она одна очутилась там. Она не знала, при каких обстоятельствах был заключен брак ее сына, не знала о связи Гектора с алчной Жозефой; она надеялась также, что никто в мире не догадывается о ее горестях. Но если Кревель позволяет себе говорить так развязно о беспутной жизни барона, доброе имя Гектора может пострадать. Из грубых речей раздраженного парфюмера она поняла, какому гнусному кумовству обязан был своей женитьбой молодой адвокат. Две продажные женщины благословили этот брак, задуманный двумя пьяными стариками среди непристойных вольностей во время какого-нибудь кутежа. «Неужели он забыл о Гортензии? — думала она.— Неужели и дочери он будет искать мужа в компании этих негодниц?» В ней говорила мать, восторжествовавшая над супругой, ибо в эту минуту она глядела на Гортензию, которая, болтая с кузиной Беттой, заливалась безудержным смехом беспечной юности; а она знала, что этот нервный смех был признаком не менее страшным, нежели беспричинные слезы, тоска и одинокие прогулки в саду.

Гортензия была похожа на свою мать, но у нее были золотые волосы, волнистые от природы и удивительно густые. Блистательной белизной ее кожа могла поспорить с перламутром. В ней сразу же можно было признать плод честного супружества, любви благородной и чистой во всей ее полноте. Сказывалось это в живой игре ее свежего личика, обличавшей страстную натуру, в чертах, дышавших весельем; горячая, цветущая здоровьем молодость, избыток жизненных сил так и рвались наружу, подобно разрядам электрической энергии. Гортензия привлекала все взоры. Когда невинный взгляд ее голубых с поволокой глаз останавливался на прохожем, тот невольно вздрагивал. Притом ее не портила ни одна досадная веснушка, которыми золотистые блондинки расплачиваются за молочную белизну кожи. Статная, с округлыми

формами, но отнюдь не полная, стройностью стана и благородством осанки не уступавшая матери, она вполне заслуживала эпитета «богиня», столь щедро расточаемого писателями древности. Всякий, кто встречал Гортензию на улице, невольно приходил в восхищение: «Какая красивая девушка!» Но она была так неподдельно наивна, что, возвратившись домой, спрашивала у матери: «Мама, почему это все говорят: «Какая красавица!» Они бы лучше тобой любовались, ведь ты красивее меня...» И верно, любители солнечного заката могли бы предпочесть баронессу даже в ее сорок семь лет, потому что она, как говорят женщины, была по-прежнему *авантажна*,— явление редкое, особенно в Париже, где еще два века спустя помнят скандальную славу Нинон, обездолившей стольких дурнушек своего времени.

От дум о дочери баронесса обратилась мыслями к мужу; она уже видела, как он падает с каждым днем все ниже, опускаясь до подонков общества; она боялась, что недалек тот день, когда Гектора отстранят от должности. Горькое раздумье о крушении ее кумира, смутное предчувствие несчастья, которое пророчил ей Кревель, так взволновали бедную женщину, что она вдруг потеряла сознание, как это бывает с нервными натурами.

Кузина Бетта, разговаривая с Гортензией, время от времени посматривала, нельзя ли им вернуться в гостиную; но юная кузина отвлекала ее своими шутками и вопросами, и она не заметила, как баронесса открыла стеклянную дверь в сад.

Лизбета Фишер, дочь старшего брата Фишера, была на пять лет моложе г-жи Юло, но нехороша собой и поэтому страстно завидовала красивой кузине. Зависть была основной чертой ее характера, чрезвычайно *эксцентрического* — слово, найденное англичанами для обозначения сумасбродств, допускаемых в высокопоставленных семьях, но отнюдь не у простонародья. Вогезская крестьянка, в полном смысле этого слова, худая, смуглая, с черной блестящей шевелюрой, с черными дугами густых сросшихся бровей, с длинными и сильными руками, толстыми ногами, с бородавками на длинном обезьяньем лице — таков портрет этой девы.

В семействе Фишер,— ибо братья жили вместе,— дурнушку приносили в жертву красавице, терпкий плод —

в жертву прелестному цветку. Лизбета копалась в земле, а ее кузина нежилась; в отместку, встретив как-то Аделину одну, она чуть было не откусила у нее нос, настоящий греческий носик, которым так восхищались старушки, баловавшие Аделину. И, несмотря на то, что Бетту примерно наказали за эту злую выходку, она продолжала рвать платья и портить воротнички всеобщей любимицы.

Когда фантастический брак Аделины совершился, Лизбета склонилась перед ее блистательной судьбой, как склонились братья и сестры Бонапарта перед блеском трона и могуществом власти. Аделина, чрезвычайно добрая и кроткая, вспомнила в Париже о Лизбете и выписала ее туда в 1809 году с намерением выдать поскорее замуж и тем самым вывести ее из нужды. Надежды на замужество, да еще в самый короткий срок, как того желала Аделина, не оправдались, ибо никого не привлекала эта черноглазая девица с бровями, словно наведенными углем, и к тому же безграмотная крестьянка; тогда барон решил создать ей независимое положение и отдал Лизбету в учение в золотошвейную мастерскую знаменитых братьев Понс, поставщиков двора.

Кузина Лизбета, именуемая для краткости Беттой, сделавшись золотошвейкой и будучи энергичной, как все горцы, мужественно взялась за букварь, научилась читать, писать и считать, ибо барон Юло доказал ей, что без этих познаний она не может открыть свою собственную мастерскую, а она страстно желала разбогатеть. Прошло два года, и Бетта совершенно преобразилась: в 1811 году эта деревенская девушка представляла собою довольно миловидную, довольно ловкую и смышленую первую мастерицу.

Мастерские басонного производства занимались шитьем золотых и серебряных позументов, изготовлением эполет, темляков, аксельбантов — короче говоря, всего того невообразимого количества мишуры, которая сверкала на роскошных мундирах французской армии и на вицмундирах чиновников. Император, как истый итальянец, любил наряды и разукрасил своих служак золотом и серебром где только можно, а ведь империя его состояла из ста тридцати трех департаментов. Заказчиками в золотошвейных мастерских были обычно портные, люди богатые

и солидные, или непосредственно сами сановники, и предприятия эти процветали.

Когда кузине Бетте, самой искусной мастерице в заведении Понсов, где она руководила всеми работами, представилась возможность открыть свое собственное дело, произошел разгром Империи. Оливковая ветвь в руках Бурбонов испугала Лизбету: она опасалась, что промысел ее пойдет на убыль, ибо из прежних ста тридцати трех департаментов осталось всего восемьдесят шесть, не говоря уж об огромном сокращении армии. Короче сказать, напуганная шаткостью басонного дела, она отклонила предложение барона Юло ввести ее в товарищество с г-ном Риве, преемником Понса, и барон счел ее сумасшедшей. Она утвердила его в таком мнении, поссорившись с г-ном Риве и предпочтя стать снова простой мастерицей.

Как раз в это время семейство Фишер оказалось в бедственном положении, из которого их вывел барон Юло.

Разоренные крушением, происшедшим в Фонтенбло, три брата Фишер в 1815 году пошли с отчаяния в вольные отряды. Старший, отец Лизбеты, был убит. Отец Аделины, приговоренный военно-полевым судом к смерти, бежал в Германию и в 1820 году умер в Трире. Младший, Иоганн, явился в Париж просить заступничества у королевы семейства Фишеров, которая, как говорили, ест и пьет на золоте и серебре и показывается на балах не иначе, как в бриллиантах величиною с орех, подаренных ей самим императором. Иоганн Фишер, которому тогда было сорок три года, получил от барона Юло десять тысяч франков и мог взять на себя небольшой подряд на поставку фуража в Версаль, негласно выхлопотанный для него в военном министерстве влиятельными друзьями, еще сохранившимися у бывшего главного интенданта.

Семейные несчастья, опала барона Юло, сознание своего собственного ничтожества в этом вечном круговороте людей, их интересов и дел, который обращает Париж в сущий ад и в светлый рай, укротили Бетту. Она потеряла всякую охоту соперничать и бороться со своей кузиной, признав за ней все преимущества; но зависть осталась, притаившись в тайниках сердца, гибельная, как микроб чумы, завезенный в роковом тюке шерсти и способный опустошить целый город. Порою она думала: «Мы с Аде-

линой кровная родня, наши отцы были братьями, но она живет в особняке, а я в мансарде!» Однако ежегодно, в день своего рождения и на Новый год, Лизбета получала подарки от баронессы и барона; барон, который был чрезвычайно добр к ней, покупал ей дрова на зиму, старый генерал Юло приглашал ее раз в неделю к обеду, и за столом кузины ее всегда ожидал прибор. Над нею часто подсмеивались, но за нее никто не краснел. Короче, ей в Париже создали независимое положение, и она жила на свой лад.

И в самом деле, даже мысль о каком-либо ярме пугала Бетту. Неоднократно кузина предлагала ей поселиться в их доме, но Бетта видела в этом какое-то закрепощение. Много раз барон пытался разрешить трудную задачу ее замужества, но, поддавшись сперва соблазну, она тут же отказывалась от предложения из боязни услышать от будущего супруга упрек, что он женился на бесприданнице и к тому же дурно воспитанной, невежественной особе. А когда баронесса уговаривала ее поселиться у их дядюшки и вести его хозяйство вместо экономки, которая обошлась бы очень дорого, Бетта отвечала, что уже тогда-то ей никак не удастся выйти замуж.

Направление мыслей кузины Бетты носило тот своеобразный отпечаток, который встречается у натур, развившихся очень поздно, у дикарей, которые думают много, а говорят мало. Крестьянский ум ее приобрел вместе с тем благодаря разговорам в мастерской и знакомству с мастерицами и мастерами некоторую долю парижской язвительности. Эту девушку, неукротимым нравом удивительно похожую на корсиканку, обуревали не находившие себе выхода инстинкты сильной натуры: она могла найти свое счастье в покровительстве слабому существу; но она жила в столице, и столица оказала на нее свое тлетворное влияние. Парижский лоск обратился в ржавчину, разъедавшую эту мужественную, закаленную душу. Прирожденное коварство, пустившее в ее сердце глубокие корни, как это случается со всеми людьми, обреченными на полное одиночество, и насмешливый склад ума могли бы сделать ее просто опасной при других обстоятельствах. В злобе она способна была внести раздор в самую дружную семью.

На первых порах, когда у нее еще оставались какие-

то надежды, в тайну которых никто не был посвящен, она отваживалась носить корсеты, следить за модами и настолько преуспела в своем щегольстве, что, по мнению барона, «стала пригодна для замужества». В то время она была похожа на «пикантную брюнетку» французского романа. Ее острый взгляд, оливковый цвет лица, ее осиная талия могли бы соблазнить какого-нибудь отставного майора; но она, смеясь, говорила, что ей довольно собственного восхищения своей особой. Впрочем, она даже стала находить приятной свою жизнь, как только ей удалось снять с себя некоторые хозяйственные хлопоты: обедала она постоянно где-нибудь в гостях, после трудового дня, который начинался с восходом солнца. Ей оставалось только позаботиться о завтраке и квартире; притом ее одевали и доставляли ей много такой провизии, которую не обидно принять в подарок: сахар, кофе, вино и прочее.

В 1837 году исполнилось двадцать семь лет с тех пор, как кузина Бетта переселилась в Париж, где ее скромные расходы наполовину оплачивались семейством Юло и дядюшкой Фишером; она начала привыкать к бесцеремонному обращению с ней окружающих; она отказывалась от приглашений на званые обеды, предпочитая бывать в кругу близких людей, где ей воздавали должное и где ее самолюбие не страдало. У генерала Юло, у Кревеля, у молодого Юло, у Ривe, преемника Понсов, с которым она помирилась и где ее всегда принимали радушно, у баронессы — повсюду она чувствовала себя, как дома, повсюду она умела приласкать слуг, дать им время от времени «на чай» и, прежде чем войти в гостиную, поговорить с ними несколько минут. Держась с прислугой фамильярно, она явно ставила себя на один уровень с нею и тем самым располагала ее к себе, что чрезвычайно полезно для приживальщиков. «Добрая, славная девушка!» — говорили о ней все в один голос. Чрезмерная, безотказная услужливость кузины Бетты, так же как и показное добродушие, объяснялась ее ложным положением в обществе. Она трезво отнеслась к своей роли, поняв, что находится в зависимости от всех окружающих; стараясь всем угодить, она шутила с молодыми людьми, которых к ней привлекала ее льстивость, всегда подкупающая юнцов; она угадывала и поощряла их желания, давала им

советы, в ней они ценили удобную наперсницу, которая не имела права их бранить. Умением хранить чужие тайны кузина Бетта заслужила доверие пожилых людей, ибо, подобно Нинон, она обладала мужскими качествами. Вообще мы охотнее поверяем свои тайны низшим, нежели высшим. В секретных делах мы гораздо чаще пользуемся услугами подчиненных, нежели лиц, стоящих выше нас; таким образом, эти люди становятся соучастниками наших сокровенных замыслов, свидетелями их обсуждения; Ришелье считал, что он достиг своей цели, когда получил право присутствовать на совещаниях в тайном королевском совете. Зависимое положение бедной девушки уже само по себе как бы обрекало ее на бессловесную роль. Кузина Бетта называла себя «семейной исповедальней». Только баронесса не могла питать к своей кузине полного доверия, вспоминая, как дурно обходилась с ней в детстве Бетта, которая была сильнее ее, хотя и моложе на несколько лет. Впрочем, из застенчивости никому, кроме бога, не поверила бы Аделина своих семейных горестей.

Тут, может быть, уместно будет заметить, что дом баронессы сохранил в глазах кузины Бетты все свое былое великолепие; не в пример выскочке парфюмеру, она не замечала нужды, проглядывающей в источенном дереве кресел, в пыльных занавесях и в ветхом шелке обивки. С вещами, среди которых мы живем, происходит то же, что и с нами. Глядя на себя в зеркало каждый день, мы в конце концов, подобно барону Юло, не находим в себе большой перемены и думаем, что мы все еще молоды, хотя посторонние прекрасно замечают, как седеют наши волосы, появляются морщины на лбу и живот превращается в крупную тыкву. Покои, освещенные раз навсегда в воображении кузины Бетты бенгальскими огнями императорских побед, навечно сохранили для нее свой блеск.

С годами у кузины Бетты появились довольно своеобразные причуды старой девы. Так, вместо того чтобы одеваться согласно требованиям моды, она требовала, чтобы мода приспосабливалась к ее привычкам и угождала ее допотопным вкусам. Если баронесса дарила ей прелестную новенькую шляпку или платье модного покроя, кузина Бетта сразу же, вопреки всякой моде, переделывала их по собственному вкусу и портила все, что попадалось в ее руки, выдумывая фасоны, воскрешавшие ту-

ники времен Империи или старинные лотарингские костюмы. Шляпа, стоившая тридцать франков, превращалась в уродливый блин, а платье — в тряпку.

В отношении одежды Бетта была упряма, как осел; она желала нравиться только себе самой и находила, что в этих курьезных нарядах она обворожительна; а между тем, перекраивая все туалеты по своему вкусу, она выделяла как раз те особенности своей внешности, в которых сказывалась старая дева, и это делало ее такой смешной, что даже при самом добром отношении к ней никто не решался приглашать ее к себе в дом в дни парадных приемов.

Строптивый, капризный, независимый характер, необъяснимое своенравие этой девушки, которая отвергла четыре выгодные партии, представлявшиеся ей стараниями барона Юло (сначала это был подначальный барону чиновник, затем майор, потом поставщик интендантства и, наконец, капитан в отставке), и которая отказала разбогатевшему впоследствии владельцу золотошвейной мастерской, послужили причиной ее прозвища: «Коза», в шутку данного ей бароном, да так и оставшегося за ней. Но прозвище это отвечало только явным ее странностям, отклонениям от принятого, какие можно подметить в любом обществе. Эта девушка, которая могла бы олицетворять собою жестокие черты крестьянских нравов, в сущности, для внимательного наблюдателя оставалась все тем же ребенком, порывавшимся откусить нос у своей кузины; а может быть, она и теперь способна была бы убить Аделину в припадке ревнивой зависти, если б не научилась слушаться голоса благоразумия. Только знанием законов и условностей света обуздывала она в себе ту естественную порывистость, с которой крестьяне, так же как и дикари, переходят от чувства к действию. В этом, возможно, и состоит различие, существующее между детьми природы и цивилизованными людьми. Дикарь живет только чувствами, человек цивилизованный и чувствует и мыслит. Дикарь, у которого мозг развит слабо, весь находится во власти чувств, между тем как у человека цивилизованного мысль воздействует на сердце и совершает в нем великие превращения: появляется множество интересов, мир чувств расширяется, тогда как дикарь не способен вместить более одной мысли зараз.

В устремлении всех чувств к одному предмету и кроется причина минутного превосходства ребенка над родителями, которое сразу же исчезает, как только удовлетворено его мимолетное ребяческое желание, тогда как у сына природы этот источник превосходства не иссякает. Кузина Бетта, лотарингская дикарка, несколько вероломная, принадлежала к тем натурам, которые в народе встречаются чаще, чем думают, и существованием которых можно объяснить его поведение во время революций.

Если бы в то время, к которому относится начало нашего рассказа, кузина Бетта согласилась одеваться по последней моде, если бы она, как все парижанки, научилась носить модные вещи, она могла бы еще быть «приличной» и «приемлемой»; но она держалась с грацией палки. А в Париже женщина, лишенная обаятельности, немыслима. Итак, черные волосы, суровые прекрасные глаза, резкие черты лица, калабрийская смуглость сухой кожи, все то, что сообщало кузине Бетте сходство с фигурами, изображенными Джотто, и чем сумела бы воспользоваться настоящая парижанка,— все это в соединении с нелепым нарядом делало ее уморительной, и порою она напоминала обезьяну, обряженную в женское платье, которую водят напоказ публике мальчишки-савояры. Так как ее хорошо знали в домах, соединенных между собою узами родства, и свои общественные связи она, будучи домоседкой, ограничивала только этим кругом, ее странности никого уже не удивляли, а на парижских улицах с их бешеным движением ее особа не привлекала ничьего внимания, ибо в Париже замечают только красивых женщин.

Причиной веселого смеха Гортензии была победа, одержанная ею над кузиной Беттой: преодолев, наконец, ее упорство, Гортензия вырвала признание, которого тщетно добивалась почти три года. Как бы ни была скрытна старая дева, есть в ее душе одно чувство, способное заставить ее нарушить обет молчания: чувство это — тщеславие! Вот уж три года как Гортензия, подстрекаемая пробудившимся в ней женским любопытством, досаждала Бетте вопросами, в которых, впрочем, сказывалась полнейшая ее наивность; она желала знать, почему кузина не вышла замуж. Посвященная в историю с пятью отвергнутыми искателями руки кузины Бетты, шалунья со-

чинила целый роман. Вообразив, что у кузины Бетты есть какая-то любовная тайна, Гортензия, подшучивая над ней, говорила: «Мы, молодые девушки!..», имея в виду себя и кузину. Обычно кузина Бетта отвечала ей в том же шутливом тоне: «А кто вам сказал, что у меня нет возлюбленного?» Возлюбленный кузины Бетты, мнимый или настоящий, стал с той поры предметом безобидных шуток.

Эта домашняя война длилась уже два года, и вот однажды, едва кузина Бетта успела войти в комнату, Гортензия встретила ее вопросом:

— А как поживает твой возлюбленный?

— Хорошо,— отвечала кузина,— только сейчас он, бедняжка, немного прихворнул!

— Ах, он, оказывается, хрупкое существо? — смеясь, спросила баронесса.

— Ну, конечно, ведь он блондин... Такая чернушка, как я, может любить только блондинов, томных, как луна.

— Но кто же он такой? Чем он занимается? — сказала Гортензия.— Не королевич ли он?

— Королевич от молотка и стеки, как я королева от катушки и иголки. Неужто такую нищую, как я, может полюбить какой-нибудь богач, владелец особняка и государственной ренты, какой-нибудь герцог либо пэр Франции, или прекрасный принц из твоих волшебных сказок?

— Ах, как бы мне хотелось увидеть его! — воскликнула Гортензия, дурачась.

— Тебе хочется посмотреть на человека, который мог полюбить такую старую козу? — отвечала кузина Бетта.

— Верно, какой-нибудь старый уродливый чинуша с козлиной бородкой? — заметила Гортензия, поглядывая на мать.

— Вот тут-то вы и ошибаетесь, сударыня!

— Стало быть, у тебя все же есть возлюбленный? — торжествующе спросила Гортензия.

— Да-с! У тебя вот нет, а у меня есть! — язвительно отвечала кузина Бетта.

— Но если у тебя есть возлюбленный, почему же ты не выйдешь за него замуж, Бетта? — сказала баронесса, сделав знак дочери.— Вот уже три года, как идет о нем речь, ты имела время его изучить, и если он по-прежнему верен тебе, следовало бы поскорее покончить с положени-

ем, для него томительным. Впрочем, это твое дело! И затем, если он молод, пора тебе подумать о том, чтобы иметь опору в старости.

Кузина Бетта пытливо поглядела на баронессу и, увидев, что она шутит, сказала:

— Ну, это одно и то же, что поженить голод и жажду: он рабочий, я работница, а если у нас будут дети, они тоже станут рабочими... Нет, нет, мы любим друг друга духовно... Это дешевле обходится!

— Почему ты прячешь его? — спросила Гортензия.

— На нем рабочая блуза,— отвечала, смеясь, старая дева.

— А ты его любишь? — спросила баронесса.

— О, конечно! Я люблю этого херувима ради него самого. Вот уже четыре года я ношу его образ в своем сердце.

— Ну, а если ты любишь его ради него самого,— сказала баронесса серьезно,— и если он вправду существует, ты перед ним очень виновата. Ты не знаешь, что значит любить.

— О, все мы знаем это от рождения!..— сказала кузина Бетта.

— Нет, есть женщины, которые любят и все же остаются эгоистками, и ты одна из них!..

Лизбета опустила голову, и взгляд ее привел бы в трепет всякого, кто бы его уловил, но она не поднимала глаз от вышивания.

— Если б ты представила нам своего воображаемого возлюбленного, Гектор мог бы устроить его на какую-нибудь хорошую должность.

— Это невозможно,— сказала кузина Бетта.

— Но почему?

— Он, кажется, поляк, эмигрант...

— Повстанец? — воскликнула Гортензия.— Какая ты счастливая!.. Он участвовал в заговоре?

— Да, он дрался за Польшу. Он был преподавателем в гимназии, ученики которой подняли бунт, а так как его назначил туда великий князь Константин, ему нечего было ждать пощады...

— Преподавателем чего?

— Рисования!..

— И он бежал в Париж после поражения?..

— В тысяча восемьсот тридцать третьем году он всю Германию пешком прошел...

— Бедный молодой человек! А сколько ему лет?..

— Только что минуло двадцать четыре года, когда началось восстание, а теперь ему двадцать девять лет...

— Значит, он на пятнадцать лет моложе тебя,— сказала баронесса.

— Чем же он живет? — спросила Гортензия.

— Своим талантом.

— А-а!.. Он дает уроки?

— Нет,— отвечала кузина Бетта,— он их получает, и какие жестокие!..

— А имя у него красивое?

— Венцеслав!

— Богатое, однако, воображение у старых дев! — вскричала баронесса.— Ты так рассказываешь, будто все это чистая правда, Лизбета!

— Неужели ты не видишь, мама, что ее поляк приучен к кнуту, а Бетта напоминает ему эту прелесть родных краев.

Три женщины расхохотались, а Гортензия запела: «О Венцеслав! Кумир души моей!» на мотив: «О Матильда!..» И на несколько минут как будто заключено было перемирие.

— Девчонки воображают, что их одних только и можно любить,— сказала Бетта, взглянув в упор на Гортензию, когда та подошла к ней.

— Послушай,— отвечала Гортензия, оставшись наедине со своей кузиной,— докажи мне, что Венцеслав не выдумка, и я подарю тебе мою желтую кашемировую шаль.

— Ну слушай. Он — граф.

— Все поляки графы.

— Но ведь он не поляк, он из Ли... ва... Ливо...

— Из Литвы?

— Нет...

— Из Ливонии?

— Да, да!

— А как его фамилия?

— Ну, хорошо, поглядим, способна ли ты хранить тайну...

— О кузина, я буду нема...

— Как рыба?
— Как рыба!
— Клянешься вечной жизнью?
— Клянусь!
— Нет, поклянись лучше своим земным счастьем!
— Клянусь!
— Ну ладно! Имя его граф Венцеслав Стейнбок!
— Погоди, так звали одного из генералов Карла Двенадцатого.

— То был его троюродный дед! Отец его поселился в Ливонии после смерти шведского короля; но он потерял все свое богатство во время кампании тысяча восемьсот двенадцатого года и умер, оставив ребенка восьми лет без всяких средств. Великий князь Константин, из уважения к имени Стейнбоков, принял его под свое покровительство и поместил в школу...

— Я не отрекаюсь от своих слов,— отвечала Гортензия,— дай мне какое-нибудь доказательство, что он действительно существует, и ты получишь мою желтую шаль! Ах, что за цвет! Ну, право, как будто нарочно создан для брюнеток!

— А ты сохранишь мою тайну?
— Я посвящу тебя в свои тайны.
— Ну, хорошо! В следующий раз, когда я приду к вам, при мне будет доказательство...
— Но не забудь, лучшее доказательство — сам возлюбленный,— сказала Гортензия.

Кузина Бетта, попав в Париж, пришла в восхищение от кашемировых шалей, и ее заветной мечтою было получить желтую кашемировую шаль, подаренную бароном жене в 1808 году, а в 1830 году, по обычаю некоторых семей, перешедшую от матери к дочери. За последние десять лет шаль изрядно поблекла, но эта драгоценная ткань, хранившаяся в шкатулке из сандалового дерева, представлялась старой деве, как и вся обстановка баронессы, вечно новой. И вот Бетта принесла в своем ридикюле вещицу, которую она собиралась преподнести баронессе в день ее рождения и которая, как она думала, должна была послужить доказательством существования фантастического возлюбленного.

То была серебряная печатка, представляющая собою три, прислоненные друг к другу спиной, фигурки, обвитые

листвой и поддерживающие земной шар. Фигуры эти изображали Веру, Надежду и Любовь. Ногами своими они попирали раздиравших друг друга чудовищ, между которыми извивался символический змей. В 1846 году, после того как ваятели, подобные мадемуазель де Фово, Вагнеру, Жанесту, Фроман-Мерису, и такие мастера деревянной скульптуры, как Льенар, шагнули далеко вперед в искусстве Бенвенуто Челлини, вещица Венцеслава никого бы не удивила; но за десять лет до этого вполне естественно было, что молодая девушка, знавшая толк в ювелирных изделиях, буквально замерла, взяв в руки печатку, которую кузина Бетта подала ей со словами: «Ну, как ты это находишь?» Фигуры и по своему рисунку, и по тому, как ложились складки их одежды, и по пластичности свидетельствовали, что скульптор — последователь школы Рафаэля; по манере исполнения они напоминали собою школу флорентинских мастеров, которую создали Донателло, Брунеллески, Гиберти, Бенвенуто Челлини, Джованни из Болоньи и прочие. Французское Возрождение не создавало сплетения чудовищ более прихотливого, нежели то символическое изображение пороков, которое вычеканено было на этой печатке. Пальмы, папоротники, камыши, тростники, обрамлявшие фигуры трех добродетелей, расположены были с таким вкусом, так мастерски, что могли бы привести в отчаяние любого ваятеля. На ленте, соединяющей головы трех фигур, можно было различить букву W, изображение серны и слово fecit [1].

— Кто же создал это? — спросила Гортензия.

— Мой возлюбленный! — отвечала кузина Бетта.— На эту штучку потрачено десять месяцев. Я больше зарабатываю своими темляками... Венцеслав говорил мне, что Стейнбок означает по-немецки горное животное, иначе говоря, серна. Он хочет так подписывать свои скульптуры... Ну-с, подавай-ка мне желтую шаль!..

— Почему?

— Да разве я могла бы купить такую драгоценность? Могла бы заказать ее? Ведь это мне не по средствам! Значит, она мне подарена. А кто может делать такие подарки? Только возлюбленный!

Из осторожности Гортензия постаралась скрыть свое восхищение, чтобы не встревожить Лизбету Фишер,

[1] Создал *(лат.)*.

но ее охватил тот внутренний трепет, который испытывают люди с душой, открытой для восприятия красоты, когда им случается неожиданно увидеть совершенное произведение искусства.

— Право, это очень мило! — сказала она.

— Да, очень мило,— подтвердила старая дева.— Но желтая шаль, по-моему, куда лучше. Так вот, деточка, мой возлюбленный трудится без устали. За то время, что он в Париже, он сделал три или четыре безделушки в таком же вкусе, и вот плоды четырех лет обучения и труда! Он обучался у литейщиков, формовщиков, ювелиров... Сколько денег на это ушло, просто ужас! Нынче он мне сказал, что надобно обождать еще несколько месяцев, и он будет знаменит и богат...

— Стало быть, ты с ним встречаешься?

— Помилуй! Не думаешь ли ты, что все это басни? Шутки шутками, а все-таки я сказала тебе правду.

— И он любит тебя? — живо спросила Гортензия.

— Обожает! — отвечала кузина Бетта, становясь серьезной.— Видишь ли, детка, он знал только бледных, безжизненных женщин. Ведь на Севере они все такие! А тут перед ним смуглая, стройная девушка, вот у него и загорелось сердце. Но молчок! Ты мне обещала.

— Его постигнет та же участь, что и пятерых прежних,— сказала Гортензия, рассматривая печатку и состроив насмешливую мину.

— Шестерых, сударыня! Одного я оставила в Лотарингии; тот ради меня еще и теперь луну с неба достал бы!

— Ну, этот поступает лучше,— отвечала Гортензия.— Он преподносит тебе солнце.

— А разве солнце можно обратить в звонкую монету? — спросила старая дева.— Чтобы пользоваться солнцем, надо иметь большие земельные владения.

Шутки, следовавшие одна за другой и, как обычно, сопровождавшиеся разными шалостями и смехом собеседниц, еще усугубляли терзания баронессы, ибо, глядя, как с девической беззаботностью веселилась Гортензия, она не могла не думать о будущем, которое грозило сменить эти светлые дни.

— Однако ж, если он дарит тебе такие безделушки, на которые потрачено полгода труда, значит, он чем-то

очень тебе обязан? — спросила Гортензия, ибо эта прекрасная вещица навела ее на размышления.

— Ах! Ты хочешь сразу же узнать слишком многое! — отвечала кузина Бетта.— Но, постой... Послушай, я посвящу тебя в заговор.

— И твой возлюбленный в нем участвует?

— А тебе хочется посмотреть на него? Ну уж, нет! Старые девы умеют прятать свои сокровища!.. Я своего Венцеслава скрывала целых пять лет... Оставь-ка нас в покое! Видишь ли, у меня нет ни кошки, ни канарейки, ни собачки, а нужно же вашей старой козе любить кого-нибудь! Ну вот я и завела себе бедняжку поляка.

— Есть у него усы?

— Да еще какие длинные! Вот такие! — отвечала Бетта, разматывая нитку с катушки.

Она всегда приносила с собой рукоделие и работала, пока не звали к столу.

— Если ты будешь приставать ко мне с вопросами, ты ничего не узнаешь,— продолжала она.— Тебе только двадцать два года, а ты болтливее меня, хотя мне сорок два, и даже сорок три.

— Молчу, молчу,— сказала Гортензия.

— Мой возлюбленный отлил в бронзе группу в десять дюймов вышиной,— продолжала кузина Бетта.— Он изобразил Самсона, раздирающего пасть льва; эту вещицу он зарыл в землю и дал бронзе позеленеть для того, чтобы ее можно было счесть ровесницей самого Самсона. Это чудо искусства выставлено в лавке антиквара на площади Карусели, около моего дома. Твой отец хорошо знаком с господином Попино, министром торговли и земледелия, и с графом Растиньяком, пусть бы он поговорил с ними об этой группе: сказал бы, что случайно проходил мимо лавки и видел там прекрасную старинную вещь. Важные господа, сдается мне, охотнее тратятся на такие безделки, чем на наши темляки. Стоит им купить группу или хотя бы зайти в лавку взглянуть на этот негодный кусок меди, и карьера моего возлюбленного была бы обеспечена. Бедный мальчик воображает, что такой пустячок может сойти за античную вещь и ему за нее дорого заплатят. А что если и в самом деле ее купит какой-нибудь министр! Тогда Венцеслав

представится ему как автор и сразу же войдет в славу. Ох, и мнит же о себе этот мальчишка! Гордости у него хватит на двух новоиспеченных графов!..

— Он второй Микеланджело. Но для влюбленного он, как видно, не совсем потерял разум,— сказала Гортензия.— А во что он оценивает свою группу?

— В полторы тысячи франков... Торговец не может продать ее дешевле,— ведь ему надо получить за комиссию.

— Отец состоит теперь королевским комиссаром,— сказала Гортензия,— каждый день он встречается в палате с обоими министрами — и с Попино и с Растиньяком; он устроит твое дело, положись на меня. Вы разбогатеете, графиня Стейнбок!

— О нет! Мой будущий супруг чересчур ленив, он целыми неделями возится с красным воском, а дело ни с места. Э-эх! Он всю свою жизнь проводит в Лувре, в библиотеке, рассматривает гравюры, копирует... Он просто бездельник!

Обе кузины изощрялись в шутках. Гортензия смеялась, но натянутым смехом, потому что ее охватила любовь, которая знакома всем юным девушкам,— любовь к неизвестному, любовь смутная, когда мысли порою кружат вокруг случайно возникшего образа, как оседают снежинки на соломинках, прибитых ветром к оконному стеклу, расцвечивая его затейливым узором. В течение десяти месяцев она создавала в своем воображении живой образ фантастического возлюбленного кузины, в существование которого она не верила, ибо, как и мать, думала, что Бетта осудила себя на вечное безбрачие; и вот в одну неделю призрак превратился в графа Венцеслава Стейнбока, мечта воплотилась, туман принял реальный облик молодого человека тридцати лет. Печатка, которую она держала в руке, стала своего рода светозарным благовещением гения и обрела силу талисмана. Гортензия чувствовала себя такой счастливой, что уже начинала бояться, как бы эта сказка не оказалась правдой; кровь в ней забродила, она хохотала, как безумная, желая ввести в заблуждение кузину.

— Послушай, мне кажется, дверь в гостиную открыта,— сказала кузина Бетта.— Пойдем поглядим, не ушел ли господин Кревель.

— Мама последние два дня что-то очень грустна. Видимо, брак, о котором шла речь, расстроился...

— Полно! Все еще может наладиться. Речь идет (могу тебе это сказать) об одном советнике кассационного суда. Желала бы ты стать супругой председателя судебной палаты? Ладно, если все зависит от господина Кревеля, он непременно что-нибудь да расскажет мне, и завтра я буду знать, есть ли надежда...

— Кузина, оставь мне печатку,— попросила Гортензия.— Я ее никому не покажу... Мамино рождение будет через месяц, я верну тебе с утра...

— Нет, отдай мне ее... Нужно еще сделать футляр.

— Но я хочу ее показать папе, и когда он обратится к министру, у него по крайней мере будет представление о художнике: ведь знатоки не должны срамиться,— сказала Гортензия.

— Ну, хорошо! Об одном только тебя прошу: не показывай печатку матери. Если Аделина узнает о моем возлюбленном, она станет смеяться надо мной.

— Обещаю.

Кузины подошли к двери будуара, и как раз в эту минуту баронесса лишилась чувств. Но достаточно было дочери вскрикнуть, чтобы мать пришла в себя. Бетта побежала за нюхательной солью и, воротившись, уже застала их в объятиях друг у друга: мать успокаивала Гортензию, говоря:

— Ничего, ничего, просто нервы... А вот и отец,— прибавила она, узнав звонок барона.— Не говори ему...

Аделина встала, пошла навстречу мужу, решив сразу же, еще до обеда, пройти с ним в сад и рассказать о том, что предполагаемый брак расстроился, услышать его мнение относительно будущего и попытаться дать ему несколько добрых советов.

Барон Гектор Юло отличался представительной осанкой парламентария и наполеоновского вельможи, ибо *имперцев* легко было отличить по их военной выправке, по синему, наглухо застегнутому сюртуку с золотыми пуговицами, по галстуку из черной тафты, по всему начальственному облику, свойственному командиру, который располагал неограниченной властью, необходимой при быстрой смене военной обстановки, в какой приходилось действовать. Надо признать, что ничто в

нем не выдавало старика: зрение у него хорошо сохранилось, и он читал без очков; багровые прожилки на его продолговатом красивом лице, обрамленном — увы! — чересчур черными бакенбардами, указывали на сангвинический темперамент, а живот, стянутый эластичным поясом, пока еще держался, как говорит Брийа-Саварен, в пределах величественности. Барственные манеры и чрезвычайная обходительность в обращении прикрывали собою его внутреннюю сущность — то был распутник, собрат Кревеля по кутежам самого низкого пошиба. Несомненно, это был один из тех мужчин, у которых глаза загораются при виде каждой хорошенькой женщины и которые улыбаются первой встречной красотке.

— Ты нынче выступал, друг мой? — спросила Аделина, заметив, что муж чем-то расстроен.

— Нет,— отвечал Гектор,— не выступал, но целых два часа сряду выслушивал утомительную болтовню, а до решения так и не дошли... Ораторы наши занимаются словесными битвами, но все их речи напоминают те кавалерийские атаки, которые не в состоянии рассеять неприятеля! Прошли времена действия, наступило время пустословия, а это не по нраву человеку, привыкшему шагать в строю,— я так и сказал сегодня маршалу на прощание. Но довольно я скучал на министерских скамьях, дома надо рассеяться... Здравствуй, Коза! Здравствуй, Козочка!

Он обнял дочь за шею, приласкал, усадил к себе на колени, положил ее головку на свое плечо, чтобы ощутить прикосновение ее прекрасных золотистых волос.

«Ему скучно, он утомлен,— подумала г-жа Юло,— а я еще должна ему докучать!» А вслух она спросила:

— Ты проведешь вечер с нами?

— Нет, дорогие мои! После обеда я покину вас, и, если бы нынче мы не ожидали к обеду Козу, детей и моего брата, вы бы меня и вовсе не увидели...

Баронесса взяла газету, заглянула в театральный отдел и отложила листок: под рубрикой «Опера» там значилось, что идет «Роберт-Дьявол». Жозефа, которую Итальянская опера полгода тому назад уступила Французской опере, пела партию Алисы. Эта немая сцена не ускользнула от внимания барона, и он пристально по-

смотрел на жену. Аделина опустила глаза и вышла в сад; муж последовал за нею.

— Ну-с, что случилось, Аделина? — сказал он, беря жену за талию и крепко обнимая ее.— Разве ты не знаешь, что я люблю тебя больше...

— Больше, чем Женни Кадин и Жозефу? — смело отвечала она, не дав ему договорить.

— А кто тебе об этом рассказал? — спросил барон, выпустив жену из объятий и отступая на шаг.

— Я получила анонимное письмо, которое тут же сожгла. В нем говорилось, друг мой, что брак Гортензии не состоялся из-за нашего стесненного денежного положения. Милый Гектор, я никогда бы не сказала тебе ни слова упрека. Я ведь знала о твоей связи с Женни Кадин, а разве я когда-нибудь жаловалась? Но ведь я не только жена, я мать и ради дочери должна сказать тебе правду.

После минутного молчания, страшного для Аделины, сердце которой громко стучало, Юло разнял руки, скрещенные на груди, обнял жену, прижал к сердцу и, поцеловав в лоб, сказал восторженно:

— Аделина, ты ангел, а я негодяй!

— О нет, нет! — отвечала баронесса, закрывая ладонью рот мужу, не желая слушать, как он хулит самого себя.

— Да, у меня сейчас нет ни гроша, мне не из чего дать приданое Гортензии, и я очень несчастен. Но раз ты открываешь мне свое сердце, я могу излить все горести, которые меня душат... Если дядя Фишер оказался в затруднительных обстоятельствах, это моя вина: для меня он подписал векселей на двадцать пять тысяч франков. И все это из-за женщины, которая меня обманывает, которая за моей спиной надо мною смеется, которая меня называет *старым крашеным котом!*.. Оказывается, удовлетворить прихоти порочного существа обходится дороже, чем прокормить свою семью... Как все это ужасно!.. А я ничего не могу с собой поделать... Пусть я дам тебе обещание, что никогда не возвращусь к этой гнусной еврейке, но стоит ей написать мне два слова, и я брошусь к ней, как бросался в огонь по слову императора.

— Не мучай себя, Гектор,— сказала несчастная жен-

щина в полном отчаянии, забывая о дочери при виде слез, выступивших на глазах мужа.— Постой! А мои брильянты? Спасай прежде всего дядю Иоганна...

— Твои брильянты стоят самое большее двадцать тысяч франков. Этого не хватит, чтобы выручить дядюшку Фишера, побереги их для Гортензии... Завтра я увижусь с маршалом.

— Бедный друг! — воскликнула баронесса, целуя руки своего Гектора.

На этом и кончился выговор. Аделина предлагала свои брильянты, отец «дарил» их Гортензии; она приняла этот театральный жест за великодушный поступок и почувствовала себя обезоруженной.

«Он господин в своем доме, тут все принадлежит ему, и он оставляет мне мои брильянты!.. Да он просто святой». Аделина впрямь верила в это и, конечно, достигла своей кротостью больше, нежели другая достигла бы гневной вспышкой ревности.

Радетель нравственности, и тот не станет отрицать, что хорошо воспитанные и порочные господа гораздо приятнее добродетельных: зная, что им надо загладить свои грехи, они заранее стараются снискать расположение к себе, выказывая терпимость к слабостям своих судей, и поэтому слывут превосходными людьми. Хотя среди добродетельных людей немало поистине обаятельных, но обычно добродетель так высоко себя ценит, что никого не старается пленять; притом особы истинно добродетельные (лицемеры не идут в счет) обычно никогда не бывают довольны своим положением, считают себя обойденными на великой житейской ярмарке и угощают всех язвительным брюзжанием, подобно непризнанным гениям. Вот почему барон, упрекая себя в разорении семьи, расточал блестки своего остроумия и чары соблазнителя перед женой, детьми и кузиной Беттой. Увидев сына, пришедшего вместе с женой, которая в то время кормила маленького Юло, он рассыпался в любезностях перед снохой, наговорил ей кучу комплиментов — лакомство, к которому тщеславие Селестины Кревель не было приучено, потому что даже для дочери толстосума она казалась на редкость вульгарной и незначительной. Дедушка взял на руки малыша, поцеловал его, назвал прелестным, восхитительным, залепе-

тал, как кормилицы лепечут с младенцами, напророчил, что карапуз скоро перерастет его, бросил несколько лестных слов по адресу своего сына и, наконец, передал ребенка толстой нормандке, выполнявшей обязанности няни. Не мудрено, что Селестина обменялась с баронессой взглядом, в котором можно было прочесть: «Какой обворожительный человек!» Вполне понятно, что она защищала свекра от нападок собственного отца.

Выказав себя приятнейшим свекром и баловником-дедушкой, барон увел сына в сад и там наедине дал ему несколько мудрых советов в связи с предстоящим обсуждением в палате одного щекотливого дела, возникшего в то утро. Он восхитил молодого адвоката своей дальновидностью, растрогал дружеским тоном своих наставлений и особенно тем, что, видимо, относился к нему с уважением и подчеркнуто обращался с сыном, как с ровней. Викторен Юло был типичным представителем молодого поколения, воспитанного революцией 1830 года: мысли его всецело поглощала политика; он верил в свое блестящее будущее, однако скрывал честолюбивые надежды под маской напускной важности; чрезвычайно завистливый к упроченным репутациям ораторов, сам он бросал пустые фразы вместо метких слов, алмазов французской речи; однако ж он обладал большой выдержкой, но принимал чопорность за достоинство. Люди эти — поистине ходячие гробы, хранящие в себе останки француза былых времен; изредка француз просыпается и пытается разбить свой английский футляр, но честолюбие сковывает его, и он согласен так в нем и задохнуться. Гроб этот всегда облачен в черное сукно.

— А вот и брат! — сказал барон, направляясь к дверям гостиной, навстречу графу Юло.

Облобызав старшего брата, вероятного преемника покойного маршала Монкорне, Гектор ввел его в комнату, поддерживая под руку, со всяческими изъявлениями любви и уважения.

Этот пэр Франции, которого глухота избавляла от необходимости присутствовать на заседаниях, был седовласым старцем; он высоко носил свою убеленную годами голову с такими густыми волосами, что, когда он снимал шляпу, они не рассыпались, а лежали плотно,

словно склеенные. Маленького роста, коренастый, но с годами ставший сухоньким, он весело и бодро нес бремя старости; а так как он сохранил чрезвычайную природную живость, то, уйдя на покой, делил свое время между чтением и прогулками. О его мягком нраве говорили и бледное лицо, и манеры, и степенная, рассудительная речь. Он никогда не заводил разговоров о войне, о походах: он слишком хорошо сознавал свои заслуги, чтобы ими кичиться. В гостиных он ограничивался ролью дамского угодника.

— Как у вас весело,— сказал он, наблюдая оживление, которое барон всегда вносил в свой семейный кружок.— Однако ж Гортензия все еще не замужем,— прибавил он, увидев тень грусти на лице невестки.

— Ну, с этим всегда успеется! — крикнула ему на ухо Бетта громовым голосом.

— А, и вы здесь, дурное семя, не захотевшее пустить ростки! — отвечал он, смеясь.

Форцхеймский герой относился благосклонно к кузине Бетте, с которой у него было немало общего. Человек без образования, выходец из народа, он единственно своей храбростью сделал военную карьеру, а здравый смысл заменял ему ученость. Исполненный чувства чести, не замарав себя никакой грязью, он мирно кончал свою светлую, озаренную славой жизнь в кругу этой семьи, в которой сосредоточились все его привязанности, и не подозревал о тайном распутстве брата. Никто не наслаждался так, как он, этой картиной дружного семейного союза, где никогда не возникало ни малейшей причины к раздорам, где братья и сестры равно любили друг друга, ибо Селестина сразу же была принята здесь как член семьи. Поэтому-то почтенный граф Юло время от времени спрашивал: «Отчего же не видно папаши Кревеля?» «Отец уехал в деревню!» — кричала ему на ухо Селестина. На этот раз старику сказали, что бывший парфюмер путешествует.

Это, казалось бы, истинное единение семьи навело г-жу Юло на мысль: «Вот оно, прочное счастье! Уж его-то никто у нас не отнимет!»

Видя, что его любимица Аделина пользуется в этот день особым вниманием мужа, генерал стал тонко над ним подшучивать, и барон Юло, боясь показаться смеш-

ным, перенес свои любезности на сноху, которой он всегда оказывал большое внимание на этих семейных обедах и расточал ей весьма лестные похвалы, ибо надеялся с ее помощью успокоить папашу Кревеля и испросить у него прощение обид. Кто мог бы подумать, глядя на эту семью, что здесь отец в отчаянном положении, мать неутешна в своем горе, сын полон тревоги за будущее своего отца, а дочь думает, как бы отбить у кузины поклонника.

В семь часов, воспользовавшись тем, что его брат, сын, жена и Гортензия увлечены игрой в вист, барон помчался в Оперу аплодировать своей любовнице; вместе с ним отправилась домой и кузина Бетта, которая всегда уходила сразу же после обеда, ссылаясь на то, что улица Дуайене, где она жила, находится в пустынном, глухом квартале. Парижане согласятся, что осторожность старой девы имела свои основания.

Сплошная стена домов, что тянется вдоль старого Лувра, служит явным и не единственным вызовом, который французы бросают здравому смыслу, вероятно, с целью разуверить Европу в наличии у нас даже той доли разума, какую нам приписывают, и доказать таким образом, что французов нечего бояться. Возможно, тут кроется какая-нибудь глубокая политическая мысль, о которой мы и не подозреваем. Несомненно, описание этого уголка современного Парижа окажется не лишним, ибо позднее его нельзя будет даже представить себе; наши потомки, разумеется, увидят Лувр достроенным и, пожалуй, не поверят, что подобное варварство могло иметь место целых тридцать шесть лет в самом сердце Парижа, прямо против дворца, где в течение этих тридцати шести лет три королевские династии принимали самое отборное общество Франции и Европы.

Всякий новоприезжий, попавший в Париж хотя бы на несколько дней, прогуливаясь по городу, заметит, что между калиткой Лувра, ведущей к мосту Карусели, и Музейной улицей стоит десяток домов с полуразрушенными фасадами, о восстановлении которых не заботятся отчаявшиеся владельцы, ибо дома эти представляют собою руины старого квартала, обреченного на снос с того самого дня, когда Наполеон решил завершить постройку Лувра. Улица и тупик Дуайене — вот единст-

венные пути сообщения в этом мрачном и пустынном квартале, населенном, вероятно, призраками, ибо там не увидишь ни одной живой души. Улица эта, пролегающая гораздо ниже соседней Музейной улицы, находится на одном уровне с улицей Фруаманто. Дома, и без того заслоненные подъемом со стороны площади, вечно погружены в тень, которую отбрасывают стены высоких лувр-ских галерей, почерневшие от северных ветров. Мрак, тишина, леденящий холод, пещерная глубина улицы соревнуются между собою, чтобы придать этим домам сходство со склепами, с гробницами живых существ. Когда проезжаешь в кабриолете по этому мертвому полуквартaлу и взгляд устремляется в узкий пролет улицы Дуайене, душа холодеет, невольно спрашиваешь себя, кто может тут жить, что должно тут твориться вечером и ночью, когда эта улица превращается в воровской притон и все пороки Парижа под покровом тьмы дают себе полную волю. Зрелище, уже само по себе страшное, становится жутким, когда видишь, что эти развалины, именуемые домами, опоясаны со стороны улицы Ришелье настоящим болотом, со стороны Тюильри — океаном булыжников ухабистой мостовой, чахлыми садиками и зловещими бараками — со стороны галерей и целыми залежами тесаного камня и щебня — со стороны старого Лувра. Генрих III и его любимцы, разыскивающие свои потерянные штаны, любовники Маргариты, вышедшие на поиски своих отрубленных голов, должно быть, пляшут при лунном свете сарабанду среди этих пустырей, вокруг капеллы, еще уцелевшей как бы в доказательство того, что столь живучая во Франции католическая религия переживет все на свете. Вот уже скоро сорок лет, как Лувр вопиет всеми расщелинами своих развороченных стен и зияющими проемами окон: «Удалите эти бородавки с моего лица!»

Вероятно, признано полезным оставить в неприкосновенности этот вертеп как своего рода средство символически изобразить в самом сердце Парижа то сочетание великолепия и нищеты, которое отличает королеву столиц. Вот отчего эти холодные развалины, где легитимистская газета получила смертельную болезнь, от которой она нынче угасает, эти позорные бараки на Музейной улице, бесконечные ларьки уличных торговцев, воз-

можно, просуществуют дольше и более благополучно, чем три французские династии!

Дешевизна квартир в этих домах, обреченных на уничтожение, соблазнила кузину Бетту, и, еще в 1823 году, она поселилась тут, несмотря на то, что особенности квартала вынуждали ее возвращаться домой до наступления темноты. Впрочем, это вполне согласовалось с сохранившейся у нее деревенской привычкой ложиться и вставать вместе с солнцем, что дает жителям деревни возможность значительно сокращать расходы на освещение и отопление. Жила она в одном из тех домов, из окон которых, после сноса знаменитого особняка, где жил Камбасерес, открывался вид на площадь.

В ту минуту, когда барон Юло, высадив из экипажа кузину своей жены у ворот ее дома, говорил ей: «Прощайте, кузина!», мимо них прошла и скрылась во дворе какая-то молодая женщина, маленького роста, стройная, миловидная, одетая весьма элегантно и благоухавшая тончайшими духами. Дама эта, без всякого заранее обдуманного намерения, единственно из любопытства — желая узнать, каков собою родственник ее соседки, мимоходом взглянула на барона; но на распутника ее взгляд произвел то волнующее впечатление, какое испытывает волокита-парижанин даже при мимолетной встрече с красивой женщиной, воплощающей собою, как говорят энтомологи, его desiderata [1], и он с мудрой медлительностью начал натягивать на руку перчатку, не торопясь сесть в карету, чтобы выиграть время и проводить взглядом молодую женщину, юбка которой весьма приятно колыхалась при движении, в чем, конечно, повинен был не этот коварный обманщик кринолин.

«Очень мила! — подумал он.— Вот женщина, счастье которой я охотно бы составил, потому что она составила бы мое счастье».

Когда незнакомка оказалась в подъезде корпуса, выходившего окнами на улицу, она краешком глаза, почти не оборачиваясь, взглянула на ворота и увидела барона: сгорая от страсти и любопытства, он буквально замер на месте. Он весь исходил восторгом, которым парижанки упиваются, как ароматом душистого цветка,

---

[1] Желания *(лат.)*.

где бы он ни встретился им. Многие красивые женщины, даже добродетельные и верные супружескому долгу, возвращаются домой в дурном настроении, если им не довелось во время прогулки собрать хотя бы маленького букетика таких воздаяний их прелести.

Молодая женщина легко взбежала по лестнице. Вскоре одно из окон третьего этажа растворилось, и в нем показалась незнакомка; но рядом с нею стоял мужчина, лысый череп которого и не очень гневный взгляд выдавали мужа.

«Ну, и хитры же эти умненькие создания!..— подумал барон.— Ведь она указывает мне дорогу в свою квартиру. Откровенно говоря, резвость подозрительная, особливо в этом квартале... Будем осторожны!» Сидя уже в коляске, он поднял голову, и супруги живехонько исчезли, словно физиономия барона произвела на них впечатление головы мифологической Медузы. «Может быть, они меня знают,— рассуждал сам с собою барон.— В таком случае все понятно». Когда экипаж въехал на мостовую Музейной улицы, он наклонился, чтобы еще раз взглянуть на незнакомку, и увидел, что она опять стоит у окна. Сконфузившись, что ее застали за созерцанием экипажа, в котором восседал ее новый поклонник, молодая женщина скрылась. «Узнаю от Козы, кто она такая»,— решил барон.

Член государственного совета произвел, как сейчас будет видно, глубокое впечатление на супружескую чету.

— Да ведь это барон Юло, мой высший начальник! — воскликнул супруг, отходя от окна.

— Послушай, Марнеф, значит, старая дева, которая живет с молодым человеком у нас во флигеле, в конце двора, в четвертом этаже,— его кузина? Забавно, что мы узнали об этом только сегодня, и совсем случайно!

— Мадемуазель Фишер живет с молодым человеком?..— переспросил чиновник.— Все это бабьи сплетни! Нельзя так вольно отзываться о родственнице члена государственного совета, под дудку которого пляшет все министерство. Знаешь что, идем-ка обедать, я уже четыре часа тебя жду.

Обворожительная г-жа Марнеф, побочная дочь графа де Монкорне, одного из славных сподвижников На-

полеона, была выдана замуж, с помощью приданого в двадцать тысяч франков, за мелкого чиновника военного министерства. Благодаря связям знаменитого генерал-лейтенанта, а последние полгода жизни — маршала Франции, писарь этот был нежданно-негаданно возведен в должность старшего делопроизводителя канцелярии; уже речь шла о назначении его на должность столоначальника, как вдруг смерть маршала разрушила все упования Марнефа и его жены. За недостаточностью средств делопроизводителя, в руках которого уже растаяло приданое мадемуазель Валери Фортен (частью оно ушло на уплату его чиновничьих долгов, ча́стью на обзаведение хозяйством перед свадьбой, а главное — на прихоти хорошенькой женщины, избалованной в доме матери и не желавшей отказываться от привычных удовольствий), супружеская чета вынуждена была сократить расходы на квартиру. Близость улицы Дуайене к военному министерству и центру Парижа соблазнила супругов Марнеф, и вот уже около четырех лет они жили в том же доме, где и мадемуазель Фишер.

Жан-Поль-Станислав Марнеф принадлежал к особой породе чиновников, которые не обращаются в канцелярских крыс только потому, что этому противодействует своеобразная сила — их порочность. Этот заморыш, с жидкими волосами и реденькой бородкой, с бледным, испитым лицом, уже изборожденным морщинами, в очках, скрывавших глаза с воспаленными веками, с суетливой походкой и еще более суетливыми манерами, обладал всеми чертами, какими всякий рисует себе субъекта, привлеченного к уголовному суду за растление нравов.

Обстановка квартиры, занимаемой этой четой, характерной для парижских супружеств, притязала на ту мнимую роскошь, которая царит в стольких домах столицы. Мебель в гостиной, обитая выцветшим бумажным бархатом, гипсовые статуэтки под флорентинскую бронзу, люстра грубой работы, кое-как помазанная краской и снабженная розетками из простого стекла; ковер, дешевизна которого объяснялась количеством бумажных ниток, впущенных в ткань фабрикантом с такой щедростью, что их можно было разглядеть простым глазом,— все, вплоть до занавесей, которые могли бы дока-

зать вам, что шерстяная камка сохраняет свой блеск не долее трех лет,— пело Лазаря, как нищий на паперти.

Столовая, наскоро прибранная единственной служанкой, напоминала тошнотворные столовые в провинциальных гостиницах: все там было засалено, содержалось неопрятно.

Спальня хозяина, сильно напоминавшая студенческую, обставленная его холостяцкой мебелью, потрепанной, как и он сам, с холостяцкой кроватью, убиралась только один раз в неделю; эта ужасная комната, где все валялось в беспорядке, где старые носки висели на стульях, набитых конским волосом, на которых каемка пыли обрисовывала узор обивки, обличала человека, равнодушного к семейной жизни, убивающего время за игрой в карты, всегда вне дома, в кафе или еще где-нибудь.

Спальня хозяйки представляла собою исключение посреди этой постыдной нерадивости, безобразившей парадные комнаты, где занавески пожелтели от пыли и табачного дыма, где повсюду валялись игрушки, разбросанные ребенком, видимо, предоставленным самому себе. Спальня и будуар Валери были расположены в том крыле здания, которое соединяло дом, выходивший фасадом на улицу, с флигелем, построенным во дворе и примыкавшим к соседнему владению; в этих двух комнатах, изящно обтянутых узорчатой тканью, с палисандровой мебелью, мягкими коврами, все свидетельствовало, что хозяйка их — хорошенькая женщина и, скажем прямо, едва ли не содержанка. На каминной доске, обтянутой бархатом, стояли новомодные часы. На этажерке красовались всякие изящные вещицы; жардиньерки из китайского фарфора блистали роскошью. Кровать, туалетный столик, зеркальный шкаф, маленький диванчик «на двоих», обязательные безделушки — все указывало на притязания собственного вкуса или на мимолетные причуды моды.

Хотя в смысле ценности и изящества все это убранство было третьего сорта, хотя оно имело трехлетнюю давность, однако даже денди не мог бы ни к чему тут придраться,— разве только к мещанскому душку всей этой роскоши. Ни в чем тут не сказывалась художественная натура, неизменно проявляющая себя в выборе ве-

щей. По некоторым из этих дорогих ювелирных пустячков доктор социальных наук сразу определил бы, что они могли быть только подношением любовника, этого полубога, вечно отсутствующего, вечно присутствующего в жизни замужней женщины.

Обед, поданный мужу, жене и ребенку с опозданием на четыре часа, красноречиво говорил о степени финансового кризиса, переживаемого четой Марнеф, ибо стол — вернейший показатель благосостояния парижских семейств. Суп из кореньев на бобовом отваре, кусок говядины с картофелем, политый какой-то бурой жидкостью вместо соуса, бобы и вишни весьма низкого качества — все эти кушанья были поданы на щербатых блюдах, съедены на щербатых тарелках, а серебро заменял жалкий и отнюдь не звонкий мельхиор. Неужели такой трапезы достойна была эта хорошенькая женщина? Барон бы прослезился, будь он тому очевидцем. Тусклые графины, и те не могли скрыть подозрительный цвет разливного вина, купленного в долг у виноторговца на углу улицы. Салфетки не менялись уже целую неделю. Короче, все выдавало нужду, лишенную достоинства, равнодушие беспечных супругов к домашнему очагу. Самый поверхностный наблюдатель сказал бы, глядя на них, что эти два существа дошли до той роковой черты, когда житейская необходимость понуждает искать выхода из положения с помощью какого-нибудь удачного мошенничества.

Первое слово, с которым Валери обратилась к мужу, должно, кстати, объяснить, почему она опоздала к обеду, которым хозяева, вероятно, обязаны были своекорыстной преданности кухарки.

— Саманон не хочет учитывать твоих векселей меньше чем из пятидесяти процентов и требует в обеспечение долга доверенность на получение твоего жалованья.

Итак, нужда, еще скрытая в доме директора департамента военного министерства за ширмой годового оклада в двадцать четыре тысячи франков, не считая наградных, дошла у его подчиненного до предела.

— Ты *замарьяжила* моего начальника,— сказал муж, взглянув на жену.

— Да, я так полагаю,— отвечала она, не смущаясь словом, взятым из жаргона театральных кулис.

— Что с нами станется? — продолжал Марнеф.— Домовладелец завтра опишет все наши вещи. А твой отец еще вздумал умереть, не оставив завещания! Право, эти *имперцы* воображают, что они бессмертны, как их император.

— Бедный отец! — сказала г-жа Марнеф.— У него, кроме меня, не было детей, и он так меня любил! Графиня, конечно, сожгла завещание. Как мог бы он забыть обо мне, ведь не раз он давал нам по три, по четыре билета в тысячу франков?

— Мы должны домовладельцу уже полторы тысячи франков. Дадут ли столько за всю нашу обстановку? That is the question [1], как сказал Шекспир.

— Ну, до свидания, котик! — сказала Валери, едва притронувшаяся к говядине, из которой служанка извлекла весь навар для одного бравого солдата, вернувшегося из Алжира.— Под лежачий камень вода не течет!..

— Валери! Куда ты идешь? — вскричал Марнеф, преграждая жене дорогу.

— Иду к нашему домовладельцу,— отвечала она, оправляя локоны, выбившиеся из-под ее прелестной шляпки.— А ты постарался бы подольститься к той старой деве, раз уж она кузина твоего начальника.

В Париже жильцам одного и того же дома ничего не известно относительно общественного положения их соседей, и это неведение служит верным доказательством бурного течения столичной жизни. Не было ничего удивительного в том, что чиновник, который каждодневно рано утром идет в канцелярию, возвращается домой к обеду, а затем исчезает из дому на весь вечер, и женщина, поглощенная парижскими развлечениями, ничего не знали о существовании какой-то старой девы, снимающей убогую квартирку в четвертом этаже, где-то во дворе их дома, в особенности, если у этой старой девы привычки мадемуазель Фишер.

Лизбета вставала и ложилась вместе с солнцем; раньше всех в доме шла за молоком, хлебом, углем, не вступала ни с кем в разговоры, не общалась с соседями, никогда не получала писем и никого не принимала у

---

[1] Вот в чем вопрос! (Из монолога Гамлета.) *(англ.)*.

себя. То было одно из тех безвестных, почти муравьиных существований, какие встречаются только в некоторых парижских домах,— прожив там года четыре, вдруг обнаруживаешь, что где-то, на пятом этаже, живет старик, знавший Вольтера, Пилатра дю Розье, Божона, Марселя, Молѐ, Софи Арну, Франклина и Робеспьера. Сведения о Лизбете Фишер супруги Марнеф получали благодаря уединенности квартала, где все знали друг друга, и главным образом от словоохотливой привратницы, с которой у Марнефов установились короткие отношения, столь полезные в их бедственном положении, что им приходилось с усердием поддерживать эту близость. Меж тем высокомерие старой девы, ее неразговорчивость, угрюмый нрав вызвали у привратников преувеличенную почтительность в обращении с нею и тот холодок, который указывает на скрытое недовольство нижестоящего. Притом привратники считали, что у них «наличествуют», как говорят в суде, равные права с теми жильцами, которые платят за квартиру только двести пятьдесят франков в год. А поскольку тайна, доверенная пожилой кузиной Бетой своей юной родственнице Гортензии, была сущей правдой, всякий поймет, что в задушевной беседе с супругами Марнеф привратница могла наговорить им всяких небылиц о мадемуазель Фишер без особого дурного умысла, попросту из желания посплетничать.

Взяв подсвечник из рук привратницы, почтенной г-жи Оливье, старая дева прежде всего пошла взглянуть, есть ли свет в окнах мансарды, над ее квартиркой. В этот час, даже в июле месяце, в глубине двора бывало уже так темно, что старая дева, укладываясь спать, зажигала свечу.

— О, будьте покойны, господин Стейнбок у себя! Он даже и не выходил из дому,— не без ехидства сказала г-жа Оливье.

Старая дева ничего не ответила. Она все еще оставалась крестьянкой в том отношении, что не обращала внимания на пересуды посторонних и, так же как крестьяне, которые не видят ничего дальше своей деревни, считалась только с мнением людей того узкого круга, где ей приходилось вращаться.

Решительными шагами она поднялась прямо в мансарду. И вот почему. За десертом ей удалось положить в ридикюль немного фруктов и сластей для своего кумира, и она спешила его угостить, как угощают старые девы лакомым кусочком любимую собачку.

Герой девичьих грез Гортензии, бледный, белокурый молодой человек в рабочей блузе, сидел за верстаком, где стояла маленькая лампа, слабый свет которой усиливался, проходя сквозь стеклянный шар, наполненный водой. Верстак был завален инструментами для чеканки, красным воском, стеками, отделанными вчерне цоколями, муляжами из меди: держа в руках восковую модель небольшой группы, он всматривался в свою работу взглядом взыскательного художника.

— Поглядите-ка, Венцеслав, что я принесла вам,— сказала мадемуазель Фишер, расстилая на уголке стола свой носовой платок.

И она бережно вынула из мешочка сласти и фрукты.

— Вы очень добры, мадемуазель,— отвечал несчастный изгнанник печальным голосом.

— Фрукты освежат вас, бедное мое дитя. Работа чересчур утомляет вас, ведь вы не рождены для такого грубого ремесла...

Венцеслав Стейнбок с удивлением посмотрел на старую деву.

— Ну, ну, кушайте,— продолжала она грубовато.— Что вы уставились на меня, точно на какую-нибудь вашу фигурку, когда она вам по вкусу?

Получив этот словесный щелчок, молодой человек перестал удивляться, потому что сразу же признал своего ментора в юбке, в котором всякое проявление нежности представлялось ему чем-то необычным,— так он привык к резкости мадемуазель Фишер. Несмотря на то, что Стейнбоку было уже двадцать девять лет, он казался, как и многие блондины, лет на пять, на шесть моложе своего возраста, и тот, кому случалось видеть его молодое лицо, чуть поблекшее от усталости и невзгод изгнания, рядом с сухой и суровой физиономией старой девы, невольно приходил к мысли, что природа ошиблась и перепутала их пол. Он встал и бросился в ветхое кресло в стиле Людовика XV, обитое желтым утрехтским бархатом; ему, видимо, хотелось отдохнуть.

Тогда старая дева взяла ренклод и поднесла его своему другу.

— Благодарю,— сказал он, беря сливу.

— Вы устали? — спросила она, протягивая ему вторую сливу.

— Устал, только не от работы, а от жизни,— отвечал он.

— Что за мысли! — возразила она с некоторой горечью.— Разве нет у вас доброго гения, который печется о вас? — продолжала она, угощая его сластями и любуясь, с каким удовольствием он их ест.— Вот видите, я и за обедом у кузины думала о вас!

— Я знаю,— сказал он, бросая на Лизбету ласковый и жалобный взгляд.— Не будь вас, меня бы и на свете давно не было... Но, дорогая моя, художникам нужны развлечения...

— Ах, вот оно что! — воскликнула Лизбета, не дав ему договорить, и, подбоченившись, вперила в него горящий взгляд.— Вы хотите погубить свое здоровье в парижских вертепах, по примеру многих мастеровых, которые кончают свою жизнь в больнице? Нет, нет! Сперва разбогатейте, а когда у вас будет рента, развлекайтесь, милый мой, сколько вашей душе угодно. Тогда, распутник вы этакий, у вас хватит денег и на докторов и на развлечения!

Слова эти, выпущенные залпом, сопровождались огнем взоров, исполненных такой магнетической силы, что Венцеслав Стейнбок понурил голову. Даже самый отъявленный злопыхатель, наблюдая эту сцену, признал бы лживость клеветы, пущенной супругами Оливье по адресу девицы Фишер. Самый тон голоса, жесты, взгляды этих двух существ — все указывало на чистоту их отношений. Нежность старой девы проявлялась в грубой форме, но то была нежность поистине материнская. И молодой человек, как почтительный сын, сносил эту тиранию матери. Такая своеобразная связь была, по-видимому, следствием длительного воздействия сильной натуры на слабый и непостоянный характер славянина, который проявляет героическую храбрость на поле сражения, но крайне неустойчив в обычной жизни; причины подобной душевной вялости должны были бы заинтересовать физиологов, потому что в области поли-

тики физиологи значат то же, что энтомологи в сельском хозяйстве.

— А если я умру, не успев разбогатеть? — спросил Венцеслав с грустью.

— Умрете? — вскричала старая дева.— Ну нет, я не дам вам умереть! Жизни во мне хватит на двоих, и я перелью в ваши жилы свою кровь, если понадобится.

При этом страстном и простодушном восклицании слезы выступили на глазах Стейнбока.

— Не печальтесь, милый Венцеслав,— продолжала растроганная Лизбета.— Слушайте-ка, мне показалось, моя кузина Гортензия находит вашу печатку премиленькой. Подождите, я постараюсь повыгоднее продать вашу бронзовую группу; вы расквитаетесь со мной, будете делать, что пожелаете, станете свободны! Ну же, улыбнитесь!

— Мне никогда не расквитаться с вами, мадемуазель,— отвечал бедный изгнанник.

— Почему же? — спросила вогезская крестьянка, принимая его сторону против себя самой.

— Потому что вы не только кормили меня и заботились обо мне, когда я был нищим, но вы еще придали мне силы! Вам я обязан всем, хотя вы часто бывали суровы и заставляли меня страдать...

— Я? — перебила его старая дева.— Опять начинается болтовня о поэзии, об искусстве... Чего доброго, еще вздумаете ломать пальцы, воздевать руки, разглагольствуя о красоте, об идеале и прочей чепухе. Чем только у вас на Севере голову себе не забивают! Прекрасное не стоит прочного, а прочное — это я! У вас богатое воображение! Вишь ты!.. У меня тоже есть воображение... А какая польза, что у вас что-то есть там, в душе, когда из этого ничего не получается! Да разве вам, людям с воображением, угнаться за теми, у кого нет воображения, зато есть уменье действовать?.. Не мечтать надо, а работать. Что вы тут без меня делали?

— А что сказала ваша хорошенькая кузина?

— Кто вам сказал, что она хорошенькая? — живо спросила Лизбета, и в ее голосе зарычала ревность тигра.

— Да вы же сами!

— Сказала я это затем, чтобы видеть, какая физиономия у вас будет! Ах вы, волокита! Вы любите

женщин, ну ладно! Лепите их, вкладывайте ваши желания в бронзу, потому что вам, дружок, придется обойтись еще некоторое время без любовных страстишек, а тем более без моей кузины! Такая дичь не про вас! Этой барышне нужен муж с доходом в шестьдесят тысяч франков... И он уже найден. Смотрите-ка! Постель не оправлена,— сказала она, заглянув в соседнюю комнату.— Бедный мой котенок! Я не позаботилась о нем!

Энергичная девица тотчас же сбросила с себя мантилью, шляпку, перчатки и, как простая служанка, прибрала скромную постель художника. Соединением резкости, даже грубости, и доброты, возможно, и объяснялась та власть, какую приобрела Лизбета над этим молодым человеком, ставшим как бы ее собственностью. Разве жизнь не привязывает нас к себе именно этим чередованием добра и зла? Если бы Венцеслав Стейнбок встретил в начале своего поприща г-жу Марнеф, а не Лизбету Фишер, он обрел бы в ней весьма снисходительную покровительницу, которая увлекла бы его на скользкий, позорный путь, и он бы погиб. Он, конечно, не стал бы работать, из него не вышел бы художник. Поэтому, как ни досаждала ему скупая старая дева своим неусыпным и гнетущим надзором, разум говорил ему, что следует предпочесть ее железную руку праздному и пагубному существованию некоторых эмигрантов, его соотечественников.

Начало этому союзу женской энергии с мужской слабостью — что противоречит здравому смыслу, но, говорят, нередко встречается в Польше,— положило следующее событие.

Однажды около часу ночи (это было в 1833 году) мадемуазель Фишер, которая зачастую просиживала за работой до утра, почувствовала вдруг запах угара и услышала стоны и хрип, доносившиеся из мансарды, расположенной как раз над двумя ее комнатами. Она подумала, что молодой человек, недавно поселившийся в этой мансарде, которая перед тем пустовала три года, решил покончить с собою. Взбежав по лестнице, эта лотарингская крестьянка высадила дверь сильным плечом и увидела, что новый жилец корчится в судорогах на раскладной койке. Она затушила тлевшие в жаровне угли. В растворенную дверь ворвался свежий воз-

дух, юноша был спасен. Уложив его, как больного, в постель и дождавшись, чтобы он уснул, Лизбета огляделась вокруг, и полная нищета, о которой говорили голые стены обеих комнаток мансарды, убогая обстановка, состоявшая из жалкого стола, раскладной кровати и двух стульев, объяснила ей причины этой попытки к самоубийству.

На столе лежала записка, Лизбета прочла ее:

«Я — граф Венцеслав Стейнбок, уроженец Ливонии, города Прейли.

Прошу в моей смерти никого не винить; причины моего самоубийства кроются в словах Костюшко: «Finis Polonia» [1].

Внучатый племянник одного из доблестных генералов Карла XII не желает нищенствовать. Слабое сложение не позволило мне посвятить себя военной службе, а вчера я увидел, что сотня талеров, с которой я прибыл из Дрездена, пришла к концу. Оставляю двадцать пять франков в ящике стола. Это мой долг домовладельцу.

Родственников у меня нет, и моя смерть никого не огорчит. Прошу моих соотечественников не обвинять французское правительство. Я не заявлял о себе, как об эмигранте, я ничего не просил, я не встречался с другими эмигрантами, никто в Париже не знает о моем существовании.

Я умираю как христианин. Бог да простит последнему из Стейнбоков!

Венцеслав Стейнбок».

Мадемуазель Фишер, до глубины души растроганная честностью самоубийцы, который не забыл заплатить за квартиру, открыла ящик стола, и там действительно лежало пять монет по пяти франков.

— Бедный молодой человек! — воскликнула она.— Никому на свете нет до него дела!

Она сошла к себе, взяла работу и вернулась обратно в мансарду охранять сон ливонского дворянина.

Можно себе представить, каково было удивление

---

[1] Конец Польше! *(лат.)*

изгнанника, когда он, проснувшись, увидел женщину, сидевшую у изголовья его кровати; он подумал, что продолжает грезить. А между тем старая дева, не переставая расшивать золотом аксельбанты, давала себе обещание взять под свою защиту бедного юношу, которым она любовалась, покамест он спал. Когда молодой граф окончательно проснулся, Лизбета постаралась ободрить его, стала его расспрашивать, желая сообразить, какой бы найти ему заработок. Поведав историю своей жизни, Венцеслав прибавил, что до такого бедственного положения его довело призвание к искусству; он всегда мечтал стать скульптором, но оказалось, что в этом деле требуется обучение, чересчур длительное для человека без средств, а теперь он так изнурен и слаб, что не в силах заняться ручным трудом или взяться за большую скульптурную группу. Речи эти были китайской грамотой для Лизбеты Фишер. В ответ на сетования несчастного она говорила о том, какие возможности представляет Париж, была бы только охота работать. Еще не было случая, чтобы мужественный человек погиб тут, надо только запастись терпением.

— Я вот — бедная крестьянская девушка, однако ж я сумела добиться независимого положения,— сказала она под конец.— Выслушайте меня. Если вы серьезно хотите работать, я помогу вам; у меня есть кое-какие сбережения, я буду давать вам ежемесячно сколько потребуется на прожитие, но жить вам придется очень скромно, а не кутить, не распутничать! В Париже можно пообедать за двадцать пять су, а завтрак я буду каждое утро готовить на нас обоих. Кроме того, я обставлю вашу комнату и оплачу обучение, какое вы найдете необходимым для себя. Взамен вы будете давать мне расписки, по всей форме, в получении денег, которые я израсходую на вас. А когда вы разбогатеете, вы вернете мне свой долг. Но если вы вздумаете лениться,— прощайте! Я умываю руки.

— Ах! — вскричал несчастный, еще чувствовавший горечь первого объятия смерти.— Недаром из всех стран изгнанники стремятся во Францию, как души из чистилища стремятся в рай. Есть ли еще другая такая нация! Повсюду, даже в мансарде, встретишь помощь, великодушное сердце! Вы будете всем для меня, моя до-

рогая благодетельница, а я стану вашим рабом! Будьте моей подругой! — сказал он с той особой ласковостью, свойственной полякам, за которую их несправедливо обвиняют в льстивости.

— О нет! Я чересчур ревнива, я сделаю вас несчастным. Но я охотно буду... ну, как бы вроде вашего товарища,— ответила Лизбета.

— Ах, если бы вы знали, как страстно я желал, чтобы хоть одна живая душа, пусть даже тиран, приняла во мне участие, когда я томился в пустыне Парижа! — продолжал Венцеслав.— Я мечтал о Сибири, куда царь сослал бы меня, если бы я вернулся! Будьте моим провидением! Я возьмусь за работу, постараюсь стать лучше, чем я есть, хотя я не могу назвать себя дурным человеком.

— А обещаете вы делать все, что я вас заставлю делать? — спросила она.

— Конечно.

— Ну, хорошо, беру вас в сыновья! — сказала она весело.— Значит, теперь у меня есть сынок, восставший из гроба! Итак, начинаем! Я иду за провизией. Одевайтесь и приходите ко мне завтракать, когда я постучу в потолок щеткой.

На другой день мадемуазель Фишер, придя к господину Риве, которому она принесла выполненную работу, осведомилась, как живут в Париже скульпторы. Из расспросов она узнала, что существует мастерская Флорана и Шанора, где занимаются литьем и чеканкой дорогих бронзовых изделий и роскошной серебряной посуды. Она привела туда Стейнбока в качестве ученика по скульптуре, что вызвало немалое удивление. Там выполняли заказы по моделям самых знаменитых художников, но не обучали ваянию. Настойчивостью и упорством старая дева добилась того, что устроила своего подопечного в эту мастерскую рисовальщиком орнаментов. Стейнбок быстро овладел моделировкой, проявил творческую изобретательность художника, обнаружил несомненный талант. Через пять месяцев, по окончании обучения чеканке по металлу, он познакомился с знаменитым Стидманом, главным скульптором в мастерской Флорана. На исходе второго года обучения у Стидмана Венцеслав уже превзошел своего учителя; но за два

с половиной года сбережения, которые старой деве удалось сделать в течение шестнадцати лет, откладывая монету за монетой, были дочиста истрачены. Две тысячи пятьсот франков золотом! Деньги, которые она скопила на черный день, рассчитывая поместить их в пожизненное обеспечение, во что они обратились теперь? В заемное письмо безвестного поляка! Потому-то Лизбете приходилось работать, как в молодые годы, и днем и ночью, чтобы оплачивать расходы ливонца. Когда она увидела, что в руках у нее вместо золотых монет осталась какая-то бумажка, она потеряла голову и побежала спросить совета у г-на Риве, ставшего за пятнадцать лет наставником и другом своей первой и самой искусной мастерицы. Узнав о злоключениях вышивальщицы, супруги Риве пожурили Лизбету, назвали ее сумасбродкой, выбранили эмигрантов, которые, не считаясь ни с чем, интригуют в интересах национального своего возрождения, подрывая торговлю, нарушая спокойствие Франции; в конце концов почтенные буржуа убедили старую деву потребовать, выражаясь языком коммерческим, обеспечения.

— Помните, что этот молодец может предложить в качестве обеспечения только свое право жить на свободе,— сказал г-н Риве.

Господин Ахилл Риве был членом коммерческого суда.

— А это не шутка для иностранца,— продолжал он.— Француз отсидит пять лет в тюрьме и выходит оттуда чистехонек, правда, не заплатив долгов, к чему его теперь-то ничто уж не может принудить, кроме его совести, а она у него всегда спокойна. Но иностранцу из тюрьмы нипочем не выйти. Дайте-ка мне ваш вексель, перепишем его на имя моего счетовода, а он опротестует этот вексель, возбудит иск к вам обоим, добьется передачи дела в суд, а суд вынесет постановление об аресте за долги, и когда все законности будут соблюдены, истец откажется от своего иска к вам. К тому же по векселю будут набегать проценты, и у вас в руках окажется оружие против вашего поляка!..

Старая дева отдала себя под покровительство закона, а своего подопечного успокоила, сказав, что вся эта история затевается по желанию одного ростовщика, ко-

торый согласен ссудить их деньгами, но требует обеспечения. Такой уловкой она была обязана гениальной изобретательности члена коммерческого суда. Наивный художник, слепо доверявший своей благодетельнице, поблагодарил ее и раскурил трубку гербовыми бумагами — он курил, как курят все люди, которые прибегают к наркотикам, чтобы усыпить свое горе, а вместе с ним и свою энергию. Однажды г-н Риве показал мадемуазель Фишер исполнительный лист и заявил:

— Теперь Венцеслав Стейнбок связан по рукам и ногам, он весь в вашей власти, и если пожелаете, вы можете в двадцать четыре часа заключить его в Клиши до конца его жизни.

Достойный и честный член коммерческого суда испытал в этот день особое удовлетворение, которое вызывается уверенностью в том, что, поступив дурно, ты сделал доброе дело. Это выражение, казалось бы, противоречащее здравому смыслу, вполне применимо к одному из способов благотворительности, ибо в Париже всякий по-своему творит добрые дела. Раз ливонец попался в путы судейской кляузы, надлежало довести дело до уплаты долга, ибо для почтенного коммерсанта Венцеслав Стейнбок был мошенником. Сердечность, честность, поэтичность, на его взгляд, равнялись в делах денежных *стихийным бедствиям.* В интересах несчастной мадемуазель Фишер, которую, по его выражению, поляк облапошил, Риве счел за благо посетить богатых фабрикантов, у которых Стейнбок обучался мастерству художника. Когда позументщик явился туда наводить справки о польском эмигранте, именуемом Стейнбоком, в кабинете Шанора сидел тот самый Стидман, который с помощью золотых дел мастеров довел французское ювелирное искусство до такого совершенства, что ныне оно может соперничать с искусством флорентинцев и других мастеров эпохи Возрождения.

— О каком Стейнбоке вы говорите? — насмешливо спросил Стидман.— Не тот ли это молодой поляк, который был моим учеником? Знайте, сударь, он большой художник! Говорят, будто я воображаю себя самим дьяволом; а этот малый, небось, и не подозревает, что может стать богом!..

— Э-э-э! Хотя вы и выражаетесь довольно неучти-

во, разговаривая с человеком, который удостоился избрания членом коммерческого суда департамента Сены...

— Прошу прощения, консул! — сказал Стидман, отдавая ему честь.

— ...Однако ж я очень рад услышать ваше мнение. Стало быть, этот молодой человек может хорошо зарабатывать?..

— Разумеется,— сказал старик Шанор.— Но ему надобно работать. Парень был бы уже хорошо обеспечен, останься он у нас. Что поделаешь! Художники не выносят зависимого положения.

— Они сознают свою ценность и оберегают свое достоинство,— отвечал Стидман.— Я не осуждаю Стейнбока за то, что он идет своей дорогой, старается создать себе имя, хочет стать знаменитым. Это его право! Но я, конечно, много потерял, когда он от меня ушел!

— Ну вот видите! — вскричал Риве.— Вот каковы претензии молодежи! Не успеют соскочить со школьной скамьи, как... Нет, голубчик, обеспечь сперва себе ренту, а потом уж гоняйся за славой!

— Зашибая деньги, испортишь себе руку! — отвечал Стидман.— Добейся славы — она принесет богатство.

— Что с ними будешь делать? — сказал Шанор г-ну Риве.— Их ничем не обуздаешь...

— Они перегрызут и узду и недоуздок! — заметил Стидман.

— У всех этих господ,— продолжал Шанор, глядя на Стидмана,— причуд не меньше, чем таланта. Все они моты, содержат лореток, швыряют деньги за окошко, им работать недосуг! Они начинают пренебрегать нашими заказами, и мы поневоле обращаемся к ремесленникам, которые и в подметки им не годятся, и эти ремесленники обогащаются! А потом господа художники сами же жалуются на трудные времена... И напрасно! Будь они прилежней в работе, у них были бы целые горы золота!

— Полноте, старый ворчун! — сказал Стидман.— Вы мне напоминаете книготорговца дореволюционных времен, который говаривал: «Ах, ежели бы я мог держать Монтескье, Вольтера и Руссо нищими, взаперти у себя в мансарде, спрятав их штаны! Сколько бы они тогда написали хороших книжек! Нажил бы я на них

состояние!» Ежели бы художественные вещи можно было ковать, как гвозди, тогда бы любой торгаш этим занимался... Давайте-ка мне тысячу франков и помолчите.

Господин Риве вернулся домой, радуясь за бедную мадемуазель Фишер; она обедала у него по понедельникам и теперь уже поджидала его возвращения от фабрикантов.

— Если вам удастся заставить парня работать,— сказал он,— тогда ваше счастье: вы вернете свой капитал с процентами. У этого поляка талант, он может зарабатывать на хлеб. Но только спрячьте подальше от него панталоны, башмаки и не пускайте его бегать по всяким там «Хижинам» и в квартал Нотр-Дам-де-Лоретт. Держите его на привязи. Иначе ваш скульптор начнет шататься, а если бы вы знали, что означает на языке художников: *шататься!* Ужас да и только, а? Я слыхал, что они в один день выбрасывают тысячу франков? Интересно, на какие-такие дела!

Происшествие это оказало страшное влияние на отношения Венцеслава и Лизбеты. Благодетельница, вообразив, что ее сбережения в опасности,— а ей частенько казалось, что они и вовсе потеряны,— отравила хлеб изгнанника горечью упреков. Добрая мать стала мачехой, она без устали школила бедного пасынка, корила его: то ей казалось, что он недостаточно усердно работает, то, что он взялся за слишком трудное ремесло. Она не хотела верить, чтобы модели из красного воска, статуэтки, зарисовки орнамента, наброски могли иметь какую-то ценность. Но тут же, досадуя на себя за свою резкость, она старалась загладить ее внимательностью, нежностями, заботою. Бедный юноша то сетовал на свое положение, зависимое от этой мегеры, на владычество над ним какой-то вогезской крестьянки, то успокаивался, утешенный ее нежностью и материнским попечением, направленным только на материальную сторону жизни. Он поступал, как женщина, которая ради мимолетного примирения прощает мужу дурное обращение с ней в течение всей недели. Итак, мадемуазель Фишер приобрела неограниченную власть над этой слабой душой. Зачатки властолюбия, дремавшего в сердце старой девы, быстро разрослись. Теперь она могла удовлетво-

рить свое тщеславие и жажду деятельности: разве не появилось в ее жизни существо, принадлежавшее ей всецело,— человек, которого она могла бранить, наставлять, хвалить, радовать, не опасаясь соперничества? Итак, теперь равно проявлялись хорошие и дурные черты ее характера. Если иной раз она и тиранила бедного художника, свою жестокость она искупала нежностью, сравнимой лишь с прелестью полевых цветов; ее радовало сознание, что он ни в чем не нуждается, она отдала бы жизнь за него. Венцеслав мог быть в этом уверен. Как все прекрасные души, бедный художник не помнил зла, забывал о недостатках этой девицы, которая к тому же рассказала ему историю своей жизни, как бы в оправдание своего дикого нрава; он помнил только ее благодеяния. Однажды старая дева, взбешенная тем, что Венцеслав бросил работу и пошел погулять, устроила ему сцену.

— Вы принадлежите мне! — сказала она.— Если вы порядочный человек, вам следовало бы постараться как можно скорее вернуть мне свой долг.

Венцеслав, в котором вскипела дворянская кровь Стейнбоков, побледнел.

— Ах, боже мой! — сказала Бетта.— Скоро нам придется жить на мой скудный заработок — на тридцать су в день!

Взволнованные этим словесным поединком, они раздражались все больше; и тут впервые художник жестоко обидел свою благодетельницу, заявив, что она вырвала его из объятий смерти для того, чтобы обречь на жизнь каторжника, а эта жизнь хуже, чем небытие, которое по крайней мере дало бы ему покой, и теперь ему остается только бежать.

— Бежать?..— вскричала старая дева.— Ах, вот как! Господин Риве был прав!

И решительным тоном она объяснила поляку, каким образом можно в двадцать четыре часа заключить его в тюрьму до конца жизни. Удар был ошеломляющий. Стейнбок впал в черную меланхолию и не произносил ни звука. На следующую ночь Лизбета, услыхав шум наверху, поняла, что он задумал покончить с собою. Она поднялась в мансарду к своему нахлебнику, вручила ему исполнительный лист и расписку.

— Вот возьмите, друг мой, и простите меня! — сказала она со слезами на глазах.— Будьте счастливы, покиньте меня, я слишком мучаю вас. Но обещайте, что вы хоть иногда будете вспоминать о бедной девушке, которая помогла вам найти заработок. Видите ли, вы сами повинны в моих злых выходках: ведь я могу умереть, а что с вами станется без меня?.. Вот почему я с нетерпением жду, когда же вы начнете делать такие вещи, которые можно будет продать. Я не для себя прошу вас возвратить мне деньги, поймите!.. Я боюсь вашей лености, хотя вы и называете ее мечтательностью, я не могу видеть, как вы целыми часами сидите, задумавшись, устремив взгляд в небо... Я так хотела бы, чтобы вы привыкли к труду.

Вся ее поза, взгляд, слезы, тон, которым были сказаны эти слова, растрогали благородное сердце художника; он крепко обнял свою благодетельницу и поцеловал ее в лоб.

— Храните у себя эти бумаги,— отвечал он с некоторой даже веселостью.— Зачем сажать меня в Клиши? Разве я не нахожусь тут в плену благодарности?

Этот случай в их общей и скрытой от посторонних глаз жизни, происшедший полгода тому назад, побудил Венцеслава создать три вещи: печатку, которую хранила Гортензия, скульптуру, выставленную в лавке торговца редкостями, и прелестные часы, модель которых он уже заканчивал, ввинчивая последние винтики.

Часы эти представляли собою двенадцать Ор, дивно изображенных в виде двенадцати женских фигур, кружащихся в столь стремительной, бешеной пляске, что трем амурам, взобравшимся на ворох цветов и плодов, удается поймать на лету только Ору полуночи, чья разорванная хламида осталась в руках самого дерзкого амура. Группа эта покоилась на круглом цоколе с очаровательным орнаментом из причудливого сплетения каких-то фантастических животных. Циферблат был вставлен в пасть, разверстую в чудовищной зевоте. Удачно найденные символические изображения, характерные для каждого часа, заменяли собою цифры.

Теперь легко понять, какую необычайную привязанность питала мадемуазель Фишер к своему ливонцу; она хотела только одного — видеть его счастливым, а он

на ее глазах чахнул, блекнул, сидя в своей мансарде. Тут не было ничего удивительного. Дочь Лотарингии охраняла этого сына Севера, как нежная мать, как ревнивая жена, как бдительный Аргус, она устраняла всякую возможность какого-либо веселого приключения, какого-нибудь скромного кутежа, оставляя его вечно без денег. Она желала сохранить для себя свою жертву, своего друга, приневолив его к затворнической жизни, и не понимала всего варварства этого неразумного желания, ибо сама она давно уже привыкла ко всяким лишениям. Она любила Стейнбока настолько, что даже не стремилась выйти за него замуж, и любила так сильно, что не хотела уступить его другой женщине; она не находила в себе смиренной готовности быть для него только матерью и сама сознавала, какое с ее стороны безумие мечтать о другой роли для себя. Эти противоречия, эта дикая ревность, это счастье властвовать над молодым красавцем волновали сердце старой девы. Охваченная настоящей страстью, длившейся уже четыре года, она лелеяла несбыточную надежду, что эта безрассудная и безысходная совместная жизнь никогда не кончится, и не думала о том, что ее настойчивость могла стать причиной гибели человека, которого она называла своим сыном. Борьба инстинктов и разума делала ее несправедливой и деспотичной. Она вымещала на молодом художнике все свои обиды и, главное, то, что сама она была и немолода, и небогата, и некрасива. Но после каждой такой мстительной выходки она сознавала свою неправоту и тогда, преисполнившись нежности, доходила до унижения. Она не умела приносить жертвы обожаемому идолу, не оставив на нем ударами секиры знаков своей власти. Короче, то была шекспирова «Буря» наизнанку: Калибан стал господином Ариэля и Просперо. Что касается Венцеслава, человека с возвышенными мыслями, склонного к созерцанию, мечтательности, лени, то в глазах у него, как у львов, запертых в клетках Зоологического сада, отражалась пустыня, созданная у него в душе его безжалостной покровительницей. Напряженный труд, к которому Лизбета побуждала его, не заглушил в нем томления сердца. Тоска обратилась в физическую болезнь, и он изнемогал, не имея духа попросить денег, не умея достать сотню франков на какую-

нибудь бесшабашную выходку, естественную для молодого человека. Бывали дни, когда прилив энергии и сознание своего несчастья еще усиливали его раздражение, и тогда он смотрел на Лизбету, как измученный жаждою путник, блуждая по бесплодным пескам, смотрит на воды соленого озера. Эти терпкие плоды нищеты и это затворничество в самом сердце Парижа доставляли Лизбете неизъяснимые радости. Но она с ужасом предвидела, что малейшее увлечение вырвет у нее ее раба. Порою она упрекала себя в том, что, понуждая поэта своими упреками и тиранией стать большим мастером малых вещей, она сама дает ему в руки средство обходиться без ее помощи.

На другой день после этой сцены в жизни нескольких людей, так по-разному, но действительно жалкой,— жизни отчаявшейся матери, супругов Марнеф и бедного изгнанника,— сказались последствия наивной любви Гортензии и той необычайной развязки, которой разрешилась несчастная страсть барона к Жозефе.

Подъехав к зданию Оперы, член государственного совета был озадачен мрачным видом этого храма Искусства, воздвигнутого на улице Лепелетье; у подъезда не было ни жандармов, ни зажженных фонарей, ни театральных служителей, ни барьеров, сдерживающих напор толпы. Взглянув на афишу, барон увидел белый листок наклейки и прочел сакраментальные слова:

Спектакль отменяется по болезни артистки.

Он тотчас же поскакал к Жозефе, которая, как все актеры, служившие в Опере, жила поблизости, на улице Шоша́.

Швейцар поразил его совершенно неожиданным вопросом:

— Что вам угодно, сударь?

— Как? Да что это ты! Ты, верно, не узнал меня? — сказал встревоженный барон.

— Как не узнать, сударь, ведь я вас не впервой вижу. Потому и говорю: «Что вам угодно?»

Барона даже в дрожь бросило.

— Что случилось? — спросил он.

— Ежели бы вы, господин барон, изволили взойти в квартиру барышни Мирах, вы бы там увидали целую

компанию: барышню Элоизу Бризту, господина Бисиу, господина Леона де Лора, господина Лусто, господина де Вернисе, господина Стидмана и всяких дамочек, насквозь пропахнувших пачулями. Тут справляют новоселье...

— Ну-с, а где же?..

— Барышня Мирах? Уж не знаю, сударь, как и сказать вам...

Барон сунул в руку швейцара две пятифранковых монеты.

— Изволите ли видеть, сударь, барышня переехала на улицу Виль-л'Эвек, в особняк, который, как говорят, подарил ей герцог д'Эрувиль,— понизив голос, отвечал швейцар.

Спросив номер особняка, барон сел в коляску и вскоре подкатил к одному из тех красивых домов в современном вкусе, с двойными дверьми, где все, начиная от газового фонаря у подъезда, говорит о роскоши.

В глазах привратника этого нового Эдема барон, парадно разодетый, в синем фраке и в белом жилете, в белом галстуке, в туго накрахмаленном жабо, в нанковых панталонах и лакированных башмаках, сошел за запоздавшего гостя. Барственная осанка, важная поступь, все его обличье подтверждали такое мнение.

На звонок швейцара в вестибюле появился лакей. Лакей этот, так же новый, как и особняк, пригласил гостя войти, и барон, сопровождая свои слова повелительным жестом, произнес:

— Передайте эту карточку мадемуазель Жозефе.

Наш patito[1] невольно огляделся по сторонам и понял, что находится в приемной; комната была уставлена редкими цветами и убрана с роскошью, которая должна была обойтись не менее чем в двадцать тысяч франков. Лакей вернулся и попросил барона обождать в гостиной, покуда господа выйдут из-за стола и будет подан кофе.

Хотя барон знавал роскошь Империи, поистине поразительную и, при всей ее недолговечности, стоившую бешеных денег, он тем не менее был ослеплен, ошеломлен, оказавшись в этой гостиной с тремя окнами, выходившими в какой-то волшебный сад, один из тех садов,

[1] Любовник *(итал.)*.

которые создаются в несколько недель на привезенном грунте, с пересаженными цветами, с газоном, как будто выращенным каким-то химическим способом. Он любовался не только изысканностью убранства этой гостиной, с пышной позолотой, дорогими лепными украшениями в так называемом стиле Помпадур, божественными тканями,— короче, всем тем, что любой разбогатевший лавочник может заказать и приобрести ценою золота,— еще более барон любовался тем, что могут разыскать одни только принцы, и только они могут выбрать, оплатить и преподнести: двумя картинами Грёза и двумя Ватто, двумя головками Ван-Дейка, двумя пейзажами Рейсдаля, двумя дю Гаспра, полотнами Рембрандта и Гольбейна, Мурильо и Тициана (каждый из них был представлен одной картиной), двумя картинами Тенирса и двумя Метсу, одним Ван-Гуизием и одним Авраамом Миньоном,— словом, картин тут было на двести тысяч франков, притом в восхитительных рамах. Рамы чуть ли не стоили самих полотен.

— А-а! Теперь ты понимаешь, простофиля? — сказала Жозефа.

Прокравшись на цыпочках через бесшумно отворявшуюся дверь по персидским коврам, заглушавшим шаги, она застала своего вздыхателя в полном оцепенении, когда так сильно звенит в ушах, что не слышишь ничего, кроме этого похоронного звона.

Назвать высокопоставленную особу простофилей — дерзость неслыханная и превосходно рисующая этих женщин, которые бесцеремонно принижают самых великих людей. Барона это обращение приковало к месту. Жозефа, вся в белом и желтом, так расфрантилась по случаю своего празднества, что и посреди этой сумасшедшей роскоши блистала, как редчайшая драгоценность.

— Красиво, не правда ли? — продолжала она.— Герцог вложил сюда все прибыли от удачной продажи акций одного товарищества на паях, в котором он принимает участие. Он не дурак, мой герцог, а? Только вельможи прежних времен умеют обменять каменный уголь на золото! Перед обедом нотариус принес мне на подпись купчую... в ней указана стоимость особняка... Нынче у меня в гостях все наши вельможи: д'Эгриньон,

Растиньяк, Максим де Трай, Ленонкур, Верней, Лагинский, Рошфид, Ла Пальферин, а из банкиров —Нусинген и дю Тийе, и с ними — Антония, Малага, Карабина и Шонтц. Все они соболезнуют твоему горю. Да, да, старичок, ты тоже приглашен, но с одним условием: выпить сразу же не меньше двух бутылок венгерского, шампанского и капского, чтобы их догнать. Мы, дорогой мой, так все нализались, что пришлось отменить спектакль в Опере. Мой директор пьян, как стелька, и несет околесицу!

— О Жозефа! — воскликнул барон.

— Э-э! Что за глупость! Не вздумай только объясняться!..— отвечала она, смеясь.— Ну, скажи, стоишь ли ты шестисот тысяч франков, как стоит их этот особняк со всей его обстановкой? Можешь ты преподнести мне ренту в тридцать тысяч франков, как преподнес мне ее герцог, в пакетике с грошовыми конфетами? Забавная выдумка, а?

— Какая развращенность! — сказал член государственного совета, который в бешенстве готов был спустить все бриллианты своей жены ради того лишь, чтобы на двадцать четыре часа занять место герцога д'Эруилля.

— Да уж такое мое ремесло — быть развратной! — отвечала она.— Ах, вот как ты на это смотришь! А почему ты не выдумал какой-нибудь компанейской операции? Боже мой, тебе бы следовало меня благодарить, мой бедный крашеный кот! Я бросила тебя как раз вовремя,— ведь ты уже собирался проесть вместе со мной последние крохи, лишить жену пропитания, отнять у дочери приданое... Ах! Ты плачешь?.. Империя гибнет!.. Да здравствует Империя!

Она приняла трагическую позу и произнесла, скандируя:

Зоветесь вы Юло? Я больше вас не знаю...

И ушла.

В приотворенную дверь блеснул, подобно молнии, луч света и ворвался crescendo [1] шум оргии вместе с запахами первостатейного пиршества.

Певица вернулась, выглянула в приотворенную

[1] С нарастающей силой *(итал.)*.

дверь, и, увидев, что Юло стоит точно пригвожденный к месту, как бронзовый монумент, она переступила порог и снова подошла к нему.

— Сударь,— сказала она,— тот хлам, что остался на улице Шоша́, я уступила Элоизе Бризту, приятельнице Бисиу. А на тот случай, ежели бы вам угодно было истребовать ваш ночной колпак, сапожный крючок, корсет и краску для бакенбардов, я оговорила в условии, чтобы их возвратили вам.

Злая шутка принудила барона бежать из этого дома, как некогда Лот бежал из Гоморры, не оборачиваясь, не в пример своей супруге.

Юло, взбешенный, зашагал по направлению к дому, вслух рассуждая сам с собою. Он застал семью мирно играющей в вист по два су за фишку, начатый еще при его участии. Взглянув на мужа, бедная Аделина подумала, что произошло какое-то несчастье, что-то страшное и постыдное; она передала свои карты Гортензии и вышла с Гектором в ту самую маленькую гостиную, где Кревель пять часов тому назад пророчил ей позорную агонию нищеты.

— Что с тобой? — спросила она испуганно.

— О, прости меня! Но позволь мне рассказать о всей этой низости...

И в продолжение пяти минут он изливал свой гнев.

— Друг мой,— героически отвечала несчастная женщина,— ведь эти низкие создания не знают любви! Той чистой, преданной любви, которую ты заслуживаешь. Как же мог ты, такой проницательный человек, притязать на соперничество с миллионом?

— Дорогая Аделина! — воскликнул барон и, обняв жену, прижал ее к своему сердцу.

Баронесса пролила целительный бальзам на кровоточащие раны его самолюбия.

— Разумеется, лишите герцога д'Эрувиля богатства, и она не стала бы колебаться в выборе между нами! — сказал барон.

— Друг мой,— продолжала Аделина, делая последнее усилие,— если тебе непременно нужны любовницы, почему ты не берешь, как Кревель, женщин не слишком дорогих и из того класса, где содержанки подолгу довольствуются малым? Мы все от этого только бы вы-

играли. Я допускаю, что может быть потребность, но зачем тут примешивать тщеславие!.. Право, не понимаю...

— Добрая и превосходная женщина! — воскликнул он.— Я старый безумец, я не заслуживаю, чтобы ты, такой ангел, была спутницей моей жизни.

— Я попросту Жозефина моего Наполеона,— отвечала она грустно.

— Жозефина не стоила тебя,— сказал барон.— Пойдем, я сыграю в вист с братом и детьми. Нужно же, наконец, привыкать к обязанностям отца семейства, выдать замуж Гортензию и похоронить в себе распутника...

Добрый порыв этот так тронул бедную Аделину, что она сказала:

— У этой женщины, верно, очень дурной вкус, если она могла кого-то предпочесть моему Гектору. Ах! я бы не уступила тебя ни за какие сокровища! Как может женщина бросить тебя, когда ей выпало счастье быть любимой тобою!..

Взгляд, которым барон вознаградил жену за ее фанатическую любовь, утвердил Аделину в мнении, что нежность и покорность — самое сильное оружие женщины. Она ошибалась. Благородные чувства, доведенные до крайности, ведут к такому же концу, как и чрезмерные пороки. Бонапарт стал императором, потому что стрелял в народ картечью в двух шагах от того места, где Людовик XVI лишился трона и головы, потому что не позволил пролить кровь г-на Сос.

На другой день Гортензия, спрятавшая печатку работы Венцеслава под подушку, чтобы не расставаться с нею и во сне, была на ногах с раннего утра и приказала слуге просить г-на Юло выйти в сад, как только он встанет.

Было около половины десятого, когда отец, снисходя к просьбе дочери, взял ее под руку и они пошли вместе по набережным, затем через Королевский мост, к площади Карусели.

— Сделаем вид, будто мы гуляем, папа,— сказала Гортензия, выйдя через решетчатую калитку на эту огромную площадь.

— Гуляем? Здесь?..— переспросил отец с насмешливой ноткой в голосе.

— Подумают, что мы идем в музей. А вон там,— сказала она, указывая на лавчонки, прилепившиеся к стенам домов, которые выходят под прямым углом на улицу Дуайене,— погляди-ка, там продают случайные вещи, картины...

— Там живет твоя кузина...

— Знаю. А только не нужно, чтобы она нас увидела...

— Но что ты затеяла? — спросил барон и вдруг вспомнил о г-же Марнеф, оказавшись в каких-нибудь тридцати шагах от ее окон.

Гортензия провела отца мимо витрины одной из лавок, помещавшейся в угловом доме, который замыкал собою недлинную цепь домов вдоль галерей старого Лувра, обращенных фасадом к Нантскому дворцу. Она вошла в лавку, предоставив отцу созерцать окна обворожительной блондинки, чье личико так и стояло со вчерашнего дня перед глазами старого красавца, как бы суля ему награду за перенесенный удар, и он решил, что непременно воспользуется советом жены.

«Отыграемся на мещаночках,— сказал он про себя, вспоминая восхитительные совершенства г-жи Марнеф.— С этой дамочкой я живо забуду алчную Жозефу».

А вот что происходило тем временем в лавке и возле лавки.

Разглядывая окна своей новой *пассии*, барон увидал ее мужа, который, самолично начищая сюртук, как видно, подкарауливал кого-то, кто должен был появиться на площади. Опасаясь, что его могут заметить, а то и признать, влюбленный барон повернулся спиной к улице Дуайене, но встал вполоборота и время от времени окидывал косвенным взглядом окна красавицы. И вдруг он столкнулся почти лицом к лицу с г-жой Марнеф, которая, выйдя со стороны набережной, огибала выступ домов, очевидно, возвращаясь к себе. Валери явно взволновалась, встретив удивленный взгляд барона, но ответила на него взглядом недотроги.

— Боже, как мила! — воскликнул барон.— Ради такой женщины позволительно натворить глупостей!

— Ах, сударь! — промолвила в ответ г-жа Марнеф, оборачиваясь к нему с таким видом, словно решилась на дерзкий шаг.— Ведь вы барон Юло, не так ли?

Барон, удивляясь все более и более, сделал утвердительный жест.

— Ну что ж! Раз случаю угодно было дважды соединить наши взоры и я имела счастье заинтриговать или заинтересовать вас, то я скажу вам: вместо того чтобы творить глупости, вы должны были бы выполнить долг справедливости... Судьба моего мужа в ваших руках...

— Как прикажете вас понимать? — любезно спросил барон.

— Муж мой — чиновник вашего департамента в военном министерстве, отдел господина Лебрена, канцелярия господина Коке,— отвечала она с улыбкой.

— Рад служить, госпожа... госпожа...

— Госпожа Марнеф.

— Милая моя госпожа Марнеф, готов служить вам вплоть до нарушения справедливости ради ваших прекрасных глазок... В вашем доме проживает моя кузина, на днях я навещу ее. Постараюсь сделать это как можно скорее. Приходите туда и приносите ваше прошение.

— Простите меня за смелость, барон... Но вы поймете, почему я дерзнула заговорить с вами,— ведь у меня нет покровителя.

— А-а-а...

— О сударь, вы не так меня поняли! — сказала она, потупив глаза.

Барону показалось, что солнце закатилось.

— Я в отчаянном положении, но я женщина честная,— продолжала она.— Полгода назад я потеряла единственного моего покровителя, маршала Монкорне.

— А-а! Вы его дочь?

— Да, сударь, но он так и не признал меня.

— Но он, верно, хотел оставить вам часть своего состояния?

— Он ничего мне не оставил, сударь, потому что завещания не оказалось.

— Ах, бедненькая! Маршал скончался скоропостижно... Но не теряйте надежды, сударыня. Дочь одного из современных Баярдов, рыцарей Империи, может рассчитывать на помощь.

Госпожа Марнеф грациозно поклонилась, гордясь

своим успехом не меньше, чем барон был горд своим успехом.

«Откуда, черт возьми, возвращается она в такой ранний час? — раздумывал он, не отрывая глаз от волнующего колыхания юбки, в котором, пожалуй, чувствовалась несколько преувеличенная грациозность.— У нее чересчур утомленное лицо, значит, она возвращается не из бани, а у окна ее поджидает муж. Все это загадочно и наводит на размышления».

Как только г-жа Марнеф скрылась в подъезде, барон вспомнил, что его ожидает дочь. Отворив дверь лавки, он еще раз оглянулся на окна г-жи Марнеф, и его чуть было не сбил с ног бледный молодой человек с горящими серыми глазами, одетый в черное летнее пальто, из-под которого виднелись затрапезные панталоны из толстого тика и ботинки с желтыми гетрами; он выбежал из лавки, как сумасшедший, помчался к дому г-жи Марнеф и исчез в подъезде. Войдя в лавку, Гортензия сразу же заметила пресловутую скульптуру, стоявшую на столике прямо против наружной двери.

Если даже оставить в стороне причины, побудившие Гортензию познакомиться с произведением молодого скульптора, то и тогда бы это мастерское творение его резца поразило бы девушку тем, что принято называть brio [1] великих произведений, тем более что она сама могла бы позировать в Италии для статуи Brio.

Не все гениальные произведения в равной степени обладают тем блеском, тем великолепием, которые доступны всякому глазу, даже глазу невежды. Так, некоторые картины Рафаэля, например знаменитое «Преображение», «Мадонна ди Фолиньо», его фрески в залах Ватикана, не вызовут того непосредственного восторга, какой вызывают «Скрипач» в галерее Кьярра, портреты Дони и «Видение Иезекииля» в галерее Питти, «Несение креста» в галерее Боргезе, «Обручение девы Марии» в Брерской картинной галерее в Милане; «Иоанн Креститель» в Трибуне, «Евангелист Лука, рисующий деву Марию»,— полотно, хранящееся в Римской академии,— не имеют того очарования, которым в высокой степени обладают портрет Льва X и дрезденская «Мадонна». Одна-

[1] Живость, жизнерадостность *(итал.)*.

ко ж все эти картины имеют равную ценность. Более того! Рафаэлевы станцы, «Преображение», одноцветная роспись и три станковые картины в Ватикане являются верхом вдохновенного мастерства. Но все эти высокие творения искусства требуют даже от знатока известной сосредоточенности, изучения, и только тогда можно воспринять их в полной мере, между тем как «Скрипач», «Обручение девы Марии», «Видение Иезекииля» непосредственно проникают в вашу душу через врата очей и сразу запечатлеваются в ней навсегда; вам радостно наслаждаться ими без всякого напряжения; то — не вершина искусства, то — удача искусства. Очевидно, художественные произведения подвержены таким же случайностям, какие наблюдаются в тех семьях, где встречаются одаренные, красивые, удачные дети, которые не причинили матери при своем рождении никаких страданий, которым все в жизни улыбается, все легко дается,—короче, существует весна гения, как существует весна любви.

Brio (непереводимое итальянское слово, которое начинает входить в употребление и у нас) характерно для ранних произведений. То плод дерзания, вдохновенной силы молодого таланта, того дерзания, которое позднее охватывает нас лишь в иные счастливые часы; но тогда это brio исходит уже не из сердца художника, и, вместо того чтобы непроизвольно, наподобие вулкана, извергающего пламень, пронизывать свои творения священным огнем, художник сам сгорает в пламени, которое зажжено внешними обстоятельствами, любовью, соперничеством, часто ненавистью и еще чаще желанием поддержать свою славу.

Группа, созданная Стейнбоком, оказалась в отношении будущих его произведений тем же, чем было «Обручение девы Марии» в отношении всего творчества Рафаэля,— первым шагом таланта, исполненным неизъяснимого изящества, детской живости, подкупающей непосредственности, избытка сил, таящихся в пухлом, бело-розовом тельце с ямочками, которые являются как бы отблесками материнских улыбок. Принц Евгений заплатил, говорят, четыреста тысяч франков за эту картину, которая должна была бы стоить миллион в стране, лишенной картин Рафаэля, а таких денег не дадут даже

за прекраснейшую из его фресок, хотя художественная ценность их гораздо выше.

Гортензия сдержала охвативший ее восторг, подсчитывая мысленно свои девические сбережения; она приняла равнодушный вид и спросила у торговца:

— Какая цена этой вещи?

— Полторы тысячи франков,—отвечал торговец, подмигнув молодому человеку, сидевшему на табурете в углу лавки.

А молодой человек буквально замер, увидав живое произведение искусства, дочь барона Юло. Волнение Венцеслава Стейнбока не ускользнуло от Гортензии, и по тому, как краска залила его бледное, страдальческое лицо, как загорелись серые глаза при ее вопросе, она сразу же поняла, что перед нею сам художник; она глядела на это худое, изможденное лицо, осунувшееся, как у монаха-аскета; она любовалась его розовыми, изящно очерченными губами, коротким и тонким подбородком и чисто славянскими русыми, шелковистыми кудрями.

— Если бы вы уступили за тысячу двести франков,— отвечала она,— я бы попросила вас прислать мне эту группу на дом.

— Это античная вещь, мадемуазель,— заметил торговец, который, подобно всем своим собратьям, воображал, что все сказано этим nec plus ultra [1] старьевщиков.

— Извините меня, сударь, вещь эта сделана в нынешнем году,— отвечала она, понизив голос.— И я пришла к вам именно попросить, если согласятся на эту цену, прислать к нам самого художника, потому что ему могли бы дать довольно солидные заказы.

— Но если он получит тысячу двести франков, что же мне-то останется? Ведь и мне заработать надо,— сказал добродушно антиквар.

— Ах, да, это верно,—заметила девушка с невольным презрением.

— Мадемуазель, берите эту группу, я договорюсь с горговцем! — вне себя воскликнул художник.

Очарованный дивной красотой Гортензии и явной ее любовью к искусству, он прибавил:

— Я автор этой скульптуры. Вот уже десять дней,

---

[1] Высшим доводом *(лат.)*.

как я прихожу сюда, раза три в день, посмотреть, кто ее оценит, кто захочет ее купить. Вы моя первая почитательница. Берите же!

— Приходите к нам, сударь, вместе с торговцем, через час. Вот визитная карточка моего отца,— отвечала Гортензия.

Затем, увидев, что лавочник вышел в другую комнату, чтобы упаковать скульптуру, она шепотом, к великому удивлению художника, вообразившего, что он грезит, сказала:

— В интересах вашего будущего, господин Стейнбок, не показывайте этой карточки, не называйте мадемуазель Фишер имени покупателя, потому что она наша родственница.

Слова «наша родственница» произвели ошеломляющее впечатление на художника, ему пригрезился рай в образе этой новоявленной Евы. Столько раз Лизбета говорила ему о своей прекрасной кузине, он мечтал о ней точно так же, как Гортензия мечтала о возлюбленном своей кузины, и, когда она вошла в лавку, он подумал: «О! если б это была она!» Можно представить себе, каким взглядом обменялись влюбленные! То было настоящее пламя, потому что истинная любовь не терпит притворства.

— Да что ты тут делаешь, скажи на милость?—спросил барон у своей дочери.

— Трачу тысячу двести франков собственных сбережений. Идем! — Она взяла под руку отца, который переспросил:

— Тысячу двести франков?

— Даже тысячу триста... Но ты, конечно, одолжишь мне недостающую сумму!

— На что же в этой лавке ты могла истратить такие деньги?

— А вот на что! — отвечала счастливая девушка.— Я тут нашла себе мужа... Право, это вовсе не дорого.

— Мужа? Дочь моя, в этой лавке?

— Послушай, папочка, неужели ты запретишь мне выйти замуж за великого художника?

— Нет, дитя мое. В наши дни великий художник — это тот же принц, только не титулованный. Слава и богатство — вот два величайшие общественные преимуще-

ства... после добродетели, конечно,— прибавил он шутливо-ханжеским тоном.

— О, разумеется,— отвечала Гортензия.— А какого ты мнения о скульпторах?

— Ну, это скверная профессия,— сказал Юло, покачав головой.— Тут помимо большого таланта нужны большие связи, потому что на скульптуру единственный заказчик — правительство. На статуи нет спроса в наше время, теперь нет больше ни крупных имен, ни крупных состояний, ни родовых замков, ни майоратов. Мы можем приобретать только небольшие картины, небольшие статуэтки. Стало быть, пластическому искусству угрожает измельчание.

— Ну, а большой художник, вещи которого находят спрос? — продолжала Гортензия.

— Тогда задача решена.

— И со связями!

— Еще того лучше!

— И дворянин!

— Вот как!

— Граф!

— И он занимается скульптурой?

— У него нет состояния.

— Стало быть, он рассчитывает на состояние мадемуазель Гортензии Юло?..— сказал насмешливо барон, инквизиторским взглядом впиваясь в глаза дочери.

— Этот большой художник, граф и скульптор, видел вашу дочь один раз в своей жизни и не более пяти минут, барон,— спокойно произнесла Гортензия.— Слушай, дорогой мой папочка, вчера, когда ты был в палате, с мамой случился обморок. Мама отнесла его на счет нервов, но истинной причиной обморока была какая-то неприятность, связанная с моим неудавшимся браком, потому что, как она мне сказала, вы, желая избавиться от меня...

— Мама так тебя любит, что не могла употребить выражение, такое... такое...

— Не парламентское? — смеясь, подсказала Гортензия.— Нет, она выразилась несколько иначе, но я знаю сама, что дочь на выданье, когда она не выходит замуж,— тяжелый крест для порядочных родителей. Так вот! Мама и рассудила, что если бы встретился человек энергичный и даровитый, который бы удовольствовался

приданым в тридцать тысяч франков, мы все были бы счастливы! Короче говоря, она нашла своевременным подготовить меня к скромной будущности и предостеречь от чересчур радужных надежд... Это означало, что предполагаемая свадьба не состоится, ибо приданого не будет.

— Аделина очень добрая, очень благородная, превосходная женщина,— отвечал отец, глубоко задетый и вместе с тем довольный этой откровенной беседой.

— Вчера мама сказала мне, что вы разрешаете продать ее бриллианты, только бы выдать меня замуж. Но я хочу, чтобы мама сохранила свои бриллианты, и хочу сама выбрать себе мужа. Думаю, что я нашла жениха, отвечающего маминой программе...

— Тут?.. На площади Карусели?.. В одно утро?..

— О, корень зла лежит гораздо глубже...— отвечала она лукаво.

— Ну что ж, дочурка! Расскажи все откровенно своему отцу,— попросил барон, стараясь ласковой миной скрыть свое беспокойство.

Под условием хранить все в полной тайне Гортензия коротко пересказала отцу свои беседы с кузиной Беттой. Потом, вернувшись домой, она показала ему знаменитую печатку, как доказательство своей прозорливости и мудрости своих догадок. В глубине души отец восторгался проворством молодых девиц, движимых инстинктом, и отдавал дань восхищения удивительной простоте замысла, который идеальная любовь успела в одну ночь внушить невинной девушке.

— Вот увидишь, папочка, какое чудо искусства я приобрела! Скоро его доставят, и наш дорогой Венцеслав придет вместе с торговцем... Творец подобной вещи, несомненно, составит себе состояние. Только уж ты, папочка, воспользуйся своим влиянием и выхлопочи для него заказ на статую, а затем и мастерскую при Институте...

— Какая ты быстрая! Дай вам волю, вы поженитесь через одиннадцать дней, как только истечет законный срок...

— Ждать одиннадцать дней? — отвечала она, смеясь.— Да я его в пять минут полюбила, как ты полюбил маму, едва только ее увидел! И он любит меня, как будто мы с ним знакомы два года. Да, да! — сказала она в от-

вет на протестующий жест отца.— Я прочла десять томов любви в его глазах. Неужели же вы с мамой не согласитесь выдать меня за него замуж, когда увидите, что мой жених человек гениальный! Скульптура — высшее из искусств! — вскричала она, хлопая в ладоши и подпрыгивая.— Слушай! Я все тебе расскажу...

— Стало быть, есть еще кое-что?..— спросил отец, улыбаясь. Невинная девическая болтовня вполне его успокоила.

— Признание крайне важное,— отвечала Гортензия.— Я полюбила его, не зная еще, каков он собою, но с того часа, как я его увидела, я обезумела от любви.

— Пожалуй, чересчур обезумела,— отвечал барон, забавляясь непосредственностью этой наивной страсти.

— Не наказывай меня за мою откровенность,— продолжала Гортензия.— Ведь так хорошо, припав к груди отца, крикнуть: «Я люблю, я счастлива своей любовью!» Сейчас ты увидишь моего Венцеслава! Какая грусть на его челе!.. В серых глазах сияет солнце гениальности!.. А какие манеры! Сразу виден воспитанный человек! Как ты думаешь, Ливония хорошая страна?.. Да неужели кузина Бетта могла бы стать женой этого молодого человека? Ведь она ему в матери годится! Это было бы смертоубийством! Как я ревную ко всему, что она для него сделала! Конечно, мой брак не доставит ей большого удовольствия.

— Послушай, мой ангел, не будем ничего скрывать от мамы,— сказал барон.

— Надо было бы показать ей эту печатку, а я обещала не выдавать кузину. Она говорит, что боится маминых подшучиваний,— отвечала Гортензия.

— Ты деликатничаешь из-за печатки, а сама похищаешь у кузины Бетты ее возлюбленного.

— Я давала обещание насчет печатки, а насчет ее автора никаких обещаний не давала.

Событие это, исполненное патриархальной простоты, пришлось как нельзя более кстати, принимая во внимание скрытое еще от посторонних глаз бедственное положение семьи; поэтому барон, похвалив дочь за откровенность, сказал ей, что в дальнейшем она должна будет положиться на благоразумное попечение своих родителей.

— Пойми, дочка, что тебе не пристало проверять, действительно ли друг нашей кузины настоящий граф, в порядке ли у него бумаги и достойного ли он поведения... А что касается кузины Бетты, то раз она отвергла пять партий, когда была на двадцать лет моложе, какие тут могут быть препятствия?.. Я беру все на себя.

— Послушайте, папочка! Ежели вы желаете, чтобы я вышла замуж, не говорите кузине о моем милом прежде, чем мы подпишем брачный контракт... Вот уже полгода я расспрашиваю Бетту о ее вздыхателе... И знаете, тут есть нечто необъяснимое...

— А что же именно? — с любопытством спросил отец.

— Ну, вот, например, стоит мне, даже в шутку, завести речь о ее друге, взгляд у нее сразу становится недобрым. Наводите справки, но действовать позвольте мне самой. Раз я так откровенна, вам нечего тревожиться.

— Господь сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне». А ты именно такое дитя! — отвечал барон с легкой насмешкой в голосе.

После завтрака доложили о прибытии торговца, художника и статуэтки.

Вспыхнувшее лицо дочери невольно встревожило материнское сердце, баронесса насторожилась, а вскоре смущение Гортензии и горячий блеск ее глаз открыли матери тайну, которую плохо хранило юное сердце.

Граф Стейнбок, одетый во все черное, показался барону весьма приличным молодым человеком.

— Могли бы вы отлить большую статую в бронзе? — обратился к нему барон, держа в руках группу.

Полюбовавшись группой с видом знатока, он передал ее жене, которая ровно ничего не понимала в скульптуре.

— Мамочка, какая это прелесть, не правда ли? — шепнула Гортензия на ухо матери.

— Статую?.. Статую, барон, отлить в бронзе не столь трудно, как вот эти часы, которые так любезно согласился принести сюда господин антиквар,— отвечал художник на вопрос барона.

Торговец тем временем устанавливал на буфете в столовой восковую модель двенадцати Ор, которых пытаются поймать амуры.

— Оставьте у меня часы,— сказал барон, плененный

этой прелестной вещью.— Я покажу их министру внутренних дел и министру торговли.

— Кто этот молодой человек, которым ты так интересуешься? — спросила баронесса у дочери.

— Будь художник достаточно богат, чтобы отлить в бронзе свою модель, он мог бы заработать сто тысяч франков,— говорил между тем антиквар, состроив таинственную и многозначительную мину, ибо от его внимания не ускользнули красноречивые взгляды, которыми обменивались молодые люди.— Достаточно продать двадцать экземпляров по восьми тысяч франков каждый, ведь надо учесть, что отливка обойдется примерно в тысячу экю за экземпляр. А если занумеровать каждый экземпляр да уничтожить модель, то уж наверняка найдется человек двадцать любителей, которые пожелают быть единственными обладателями этого неповторимого произведения искусства.

— Сто тысяч франков!..— воскликнул Стейнбок, обводя взглядом торговца, Гортензию, барона и баронессу.

— Да, сто тысяч!—повторил торговец.— И будь я побогаче, я бы сам купил эту вещицу за двадцать тысяч франков, потому что по уничтожении модели вещь становится капиталом... Какой-нибудь принц заплатил бы за этот шедевр тридцать, а то и сорок тысяч франков, чтобы украсить им свою гостиную! Искусство еще не создавало подобных часов, равно удовлетворяющих и вкусу мещан и вкусу знатока, а наш художник, сударь, как раз решил эту трудную задачу...

— Вот, получите, сударь,— сказала Гортензия, вручая шесть золотых монет антиквару, и он тут же откланялся.

— Не обмолвитесь никому на свете о продаже этой вещи,— сказал художник торговцу, останавливая его у порога.— Если вас спросят, куда вы отнесли группу, назовите герцога д'Эрувиля, известного мецената, который живет на улице Варенн.

Торговец в знак согласия кивнул головой.

— Простите, а как ваше имя? — спросил барон художника, когда тот вернулся.

— Граф Стейнбок.

— Имеются ли у вас документы, подтверждающие, что вы именно тот, кем именуете себя?

— Да, барон, у меня есть документы на русском и немецком языках, но они не зарегистрированы...

— В состоянии ли вы выполнить статую в девять футов вышиною?

— Да, сударь!

— В таком случае, ежели особы, к которым я обращусь, останутся довольны вашими работами, я выхлопочу для вас заказ на памятник маршалу Монкорне, который намереваются поставить на его могиле, на кладбище Пер-Лашез. Военное министерство и бывшие офицеры императорской гвардии пожертвовали довольно значительные суммы на памятник и имеют право сами выбрать художника.

— О сударь! Это сразу открыло бы мне дорогу! — сказал Стейнбок, ошеломленный неслыханной удачей.

— Будьте покойны,— любезно отвечал барон.— Я покажу вашу группу и модель часов обоим министрам, и если ваши творения понравятся им, дорога перед вами открыта...

Гортензия до боли сжала руку отцу.

— Принесите мне ваши бумаги и не делитесь своими надеждами ни с кем, даже с нашей старой кузиной Беттой.

— С Лизбетой? — вскричала баронесса Юло, постигнув наконец, что тут происходит, но не понимая, как все это произошло.

— В доказательство моего мастерства я могу вылепить бюст баронессы...— прибавил Венцеслав.

Художник, пораженный красотою г-жи Юло, невольно сравнивал ее в эту минуту с дочерью.

— Идемте, сударь! Судьба ваша может обернуться счастливо для вас,— сказал барон, совершенно плененный изящной и благородной внешностью графа Стейнбока.— Скоро вы узнаете, что в Париже ни один талант не остается втуне и всякий упорный труд рано или поздно вознаграждается.

Гортензия, краснея, протянула молодому человеку прелестный алжирский кошелек, в котором лежало шестьдесят золотых. Художник, в котором заговорила дворянская щепетильность, сам покраснел от вполне понятного смущения, глядя на сконфуженную Гортензию.

— Разве это первые деньги, которые вы получаете за вашу работу?

— Да, сударыня, первые за вдохновенный труд, но не за работу: я несколько лет работал как чернорабочий.

— Будем надеяться, что деньги моей дочери принесут вам счастье,— отвечала г-жа Юло.

— Берите, берите без всякого стеснения,— прибавил барон, видя, что Венцеслав все еще держит в руке кошелек, не решаясь спрятать его в карман.— Деньги эти будут нам возвращены с лихвой каким-нибудь вельможей, а не то и принцем, который, конечно, не пожалеет средств, чтобы стать обладателем такой превосходной вещи.

— О нет, я слишком дорожу этой группой, папочка, и не уступлю ее никому, будь то сам герцог Орлеанский!

— Я могу сделать для вас, мадемуазель, другую группу, еще красивее...

— То будет уже другая...— отвечала Гортензия.

И, словно устыдясь своего порыва, она вышла в сад.

— О, если так, то, вернувшись домой, я уничтожу и форму и модель! — сказал Стейнбок.

— Так, стало быть, решено! Вы принесете мне ваши бумаги, и ежели то впечатление, которое у меня составилось о вас, подтвердится, я дам вам знать.

После этих слов художник счел нужным удалиться. Откланявшись г-же Юло и Гортензии, прибежавшей из сада, чтобы с ним попрощаться, Венцеслав пошел в Тюильри и долго бродил там, не имея духа вернуться в свою мансарду,— он знал, что домашний тиран истерзает его своими вопросами и вырвет у него тайну сердца.

Влюбленный художник создавал в своем воображении сотни композиций и статуй: он чувствовал себя способным собственными руками высекать мрамор, подобно Канове, который, будучи таким же слабосильным, как он, едва не погиб от напряжения. Увидев в Гортензии живое воплощение музы-вдохновительницы, Стейнбок весь преобразился.

— Да что же это? — сказала баронесса дочери.— Может быть, ты объяснишь, что все это значит?

— Ах, милая мамочка, ты увидела, наконец, поклонника нашей кузины Бетты, а теперь, надеюсь, уже моего поклонника... Но закрой на все глаза, сделай вид, что

ты ничего не знаешь. Боже мой! А я-то хотела все от тебя скрыть и вот сама же готова все тебе рассказать...

— Ну-с, прощайте, дети мои! — весело сказал барон, обнимая дочь и жену.— Постараюсь повидаться с Козой и выведать у нее все, что можно, об этом молодом человеке.

— Папа, будь осторожен! — повторила Гортензия.

— Дорогая моя дочка! — воскликнула баронесса, когда Гортензия окончила свою изустную поэму, последняя песнь которой была посвящена событиям этого утра.— Милая моя девочка, величайшей плутовкой всегда была и будет Наивность!

У истинных страстей есть свой безошибочный инстинкт. Позвольте лакомке самому взять плод из вазы с фруктами, он, даже не глядя, непременно выберет самый лучший. Предоставьте самым благовоспитанным девушкам свободу в выборе мужа, и если у них есть возможность соединиться со своим избранником, они редко ошибутся в выборе. Природа непогрешима. Такого рода творчество природы называется любовью с первого взгляда. А в любви первый взгляд, попросту говоря, есть второе зрение.

Радость матери — хотя баронесса и старалась ее скрывать из чувства достоинства — не уступала радости дочери, потому что из трех способов выдать Гортензию замуж, на которые указывал Кревель, представлялся, по ее мнению, как раз лучший способ. В этом происшествии г-жа Юло видела перст провидения, снизошедшего к ее горячим мольбам.

Узник мадемуазель Фишер, принужденный возвратиться в свою темницу, возымел мысль выдать счастье влюбленного за радость художника, упоенного своим первым успехом.

— Победа! Моя группа продана герцогу д'Эрувилю, и он даст мне еще заказ,— сказал Венцеслав, бросив на стол перед старой девой тысячу двести франков золотом.

Кошелек Гортензии, как это легко можно себе представить, он предусмотрительно спрятал на груди, у самого сердца.

— Ну вот и отлично! — отвечала Лизбета.— А то я совсем извелась за вышиванием. Теперь вы сами видите, дитя мое, как долго приходится ждать заработка, когда

занимаешься таким ремеслом, как ваше. Ведь это первые полученные вами деньги, а скоро уже пять лет, как вы надрываетесь! Суммы этой едва хватит, чтобы покрыть то, что я израсходовала на вас, считая с того дня, когда получила от вас вексель взамен моих сбережений. Но будьте покойны,— прибавила она, пересчитав деньги,— все эти золотые на вас же и пойдут. Теперь мы обеспечены на целый год. А за год вы расплатитесь с долгами и даже кое-что сумеете приберечь для себя, если, конечно, будете работать.

Окрыленный успехом своей хитрости, Венцеслав насочинял старой деве разных сказок о своей встрече с герцогом д'Эрувилем.

— Я одену вас во все черное, по последней моде, сошью вам новое белье: вы должны быть одеты прилично, когда будете представляться вашим покровителям,— отвечала Бетта.— Да и квартирка вам понадобится теперь попросторнее и поприличнее вашего мерзкого чердака; и надо будет обставить ее поприглядне... Однако какой же вы веселый! Вас точно подменили,— прибавила она, приглядываясь к Венцеславу.

— Да ведь мне сказали, что моя группа — превосходная вещь!

— Ну, тем лучше! Сделайте еще такую же,— посоветовала Бетта; как и подобает сухой и положительной особе, она неспособна была понять ни торжества победы, ни красоты искусства.— Не думайте больше о том, что уже продано, смастерите-ка что-нибудь новенькое на продажу. Вы издержали на вашего чертова Самсона двести франков деньгами, не считая труда и времени. Часы обойдутся вам в две тысячи франков, а то и больше. Послушайтесь меня, кончайте-ка двух ваших мальчишек, тех, что надевают на головку девочки венок из васильков. Парижанам придется по вкусу такая вещица! А я, по пути к господину Кревелю, загляну сейчас к портному Граффу. Ступайте к себе наверх, мне пора одеваться.

Влюбленный барон, совсем потеряв голову, отправился на другой же день к кузине Бетте. Можно судить, как велико было ее удивление, когда, открыв дверь, она впервые увидела у себя в квартире своего кузена. Не мудрено, что она сказала себе самой: «Не вздумала ли Гортензия отнять у меня моего милого?..» — ведь еще накануне ста-

рая дева узнала от Кревеля, что предполагаемый брак ее молоденькой племянницы с советником кассационного суда расстроился.

— Кузен, вас ли я вижу? Впервые в жизни вы пожаловали ко мне, и, надо думать, не ради моих прекрасных глаз!..

— Прекрасных! Что правда, то правда,— сказал барон.— Прекраснее твоих глаз я еще не видел...

— Чему же я обязана вашим посещением? Мне даже совестно принимать вас в такой конуре.

Первая из двух комнат квартирки кузины Бетты служила ей одновременно гостиной, столовой, кухней и мастерской. Обставлена она была так же, как все квартиры зажиточных ремесленников: стулья орехового дерева с плетеным сиденьем, небольшой обеденный стол тоже орехового дерева, рабочий столик, цветные олеографии в деревянных черных рамках, кисейные занавесочки на окнах, большой шкаф орехового дерева, блистающий чистотою пол, отлично натертый воском, на всем ни пылинки, но все в холодных тонах — настоящая картина Терборга: ничто не было забыто, вплоть до серого колорита, представленного тут некогда голубоватыми, а теперь выцветшими обоями. Что касается спальни, туда никто никогда не проникал.

Беглым взглядом нежданный гость сразу охватил все: на каждой вещи, начиная с печки и кончая домашней утварью, лежал отпечаток мещанского благополучия, и с невольным отвращением барон подумал: «Вот она, добродетель!»

А вслух он сказал:

— Почему я пришел? Ты такая хитрая девица, что в конце концов и сама догадаешься. Лучше уж говорить с тобой начистоту,— начал он, усевшись возле окна и слегка раздвигая кисейные плиссированные занавески, чтобы с этого наблюдательного поста видеть окна на другой стороне двора.— В вашем доме живет прехорошенькая женщина...

— Госпожа Марнеф? Ах, вот оно что! — сказала Бетта, которой все сразу стало понятно.— А Жозефа?

— Увы, кузина! Жозефы больше нет... Меня выставили за дверь, будто какого-нибудь лакея.

— И что же вам угодно?..— спросила кузина Бетта,

глядя на барона и заранее приняв вид оскорбленной невинности.

— Госпожа Марнеф — женщина весьма приличная, супруга чиновника, и ты можешь видеться с ней, не боясь поставить себя в неловкое положение,— продолжал барон.— Я желал бы, чтобы ты с ней сошлась по-соседски. О, будь покойна! Она отнесется с полной почтительностью к родственнице высшего начальника своего мужа.

В эту минуту на лестнице послышалось шуршание платья и легкие шаги женщины, несомненно, обутой в изящнейшие башмачки. На лестничной площадке кто-то остановился. Двукратный стук в дверь — и появилась г-жа Марнеф.

— Извините меня, мадемуазель, за такое неожиданное вторжение, но я заходила к вам вчера и не застала вас... Ведь мы с вами соседи, и если бы я знала, что ваш родственник — член государственного совета, я давно бы обратилась к вам с просьбой замолвить за нас словечко. Я случайно видела, что барон Юло вошел в ваш подъезд, и осмелилась обеспокоить вас... по той лишь причине, господин барон, что муж сказал мне, будто бы завтра на рассмотрение министра представят доклад касательно личного состава канцелярии...

Вид у нее был взволнованный, дыхание прерывистое, но просто-напросто она чересчур быстро взбежала по лестнице.

— Вам нет нужды прибегать к просьбам, моя прелесть,— отвечал барон.— Это я должен просить вас о милости: разрешите мне посетить вас.

— Ну что ж! Если мадемуазель Фишер ничего против этого не имеет, пожалуйте! — сказала г-жа Марнеф.

— Ступайте, кузен, я приду попозже,— заметила догадливая кузина Бетта.

Парижанка так твердо рассчитывала на посещение господина директора и на его сообразительность, что не только сама принарядилась соответственно случаю, но и прибрала свою квартиру. Уже с самого утра комнаты были уставлены цветами, купленными в долг. Марнеф помогал жене начищать мебель, наводить лоск на каждую вещицу, чистить, вытирать пыль во всех уголках. Валери желала принять господина директора среди благоуха-

ний, в обстановке, радующей глаз; она желала понравиться, и понравиться настолько, чтобы иметь право быть жестокой, приманивать и дразнить поклонника, как ребенка конфеткой, словом, применить все средства современной тактики обольщения. Она разгадала Юло с первого взгляда. Дайте парижанке, оказавшейся в крайности, двадцать четыре часа сроку, и она свалит любое министерство.

Барон Юло, человек времен Империи и воспитанный в нравах Империи, был в полном неведении относительно уловок современной любви, новой манеры у женщин изображать собою невинность, произносить выспренние монологи, вошедшие в моду с 1830 года, вся суть которых в том, что *бедное, слабое создание* выступает в этих тирадах жертвой желаний любовника, сестрой милосердия, врачующей сердечные раны, ангелом самоотречения. Это новое *искусство любви* щедро рассыпает евангельские слова в предисловиях к бесовским деяниям. Оказывается, любовь — это мученичество, томление по идеалу, по бесконечности, жажда достичь нравственного совершенства; но все эти красивые фразы служат только поводом для пылких порывов страсти, предлогом внести еще более неистовства в свое падение, нежели то бывало в минувшие времена. Лицемерие, ставшее отличительной чертой нашего века, пропитало своим ядом даже любовные связи. Изображают собою двух ангелов, а ведут себя как два демона, если, конечно, достанет силы. Прежде романы разыгрывались в промежутках между двумя военными кампаниями, у любовников не было времени заниматься самоанализом, и в 1809 году любовь одерживала столь же быстрые победы, как и сама Империя.

При Реставрации красавец Юло, став опять волокитой, сперва утешал нескольких бывших своих подруг, сошедших к тому времени со сцены, как погасшие светила сходят с политического небосклона, а позже, стариком, он попался в сети таким особам, как Женни Кадин и Жозефа.

Госпожа Марнеф привела в готовность свои батареи, изучив предварительно прошлые похождения директора, о которых обстоятельно рассказал ей муж, почерпнувший эти сведения в канцелярии министерства. Современная комедия чувств могла иметь для барона прелесть новизны, на что и рассчитывала Валери; и, надобно сказать,

испытание, которому она подвергла в то утро свои чары, не обмануло ее надежд. Благодаря сентиментальным, романическим и романтическим ухищрениям Валери, не давая никаких обещаний, добилась назначения своего мужа на должность помощника столоначальника и награждения его орденом Почетного легиона. Маневры эти сопровождались обедами в «Роше де Канкаль», выездами в театр, разного рода подарками в виде мантилий, шарфов, драгоценностей. Квартира на улице Дуайене не нравилась, барон замыслил обставить со всяческой пышностью другую квартиру, на улице Ванно, в красивом новом доме.

Господину Марнефу был обещан через месяц отпуск на две недели для устройства своих дел на родине и денежная награда. Он уже мечтал о скромном путешествии по Швейцарии с целью изучения местных представительниц прекрасного пола.

Барон Юло, заботясь о своей подопечной, не забывал и о подопечном. Министр торговли, граф Попино, любил искусство; он дал две тысячи франков за один экземпляр Самсона с тем условием, что другого Самсона, кроме его собственного и принадлежащего мадемуазель Юло, не будет, и потребовал разбить форму. Группа двенадцати Ор привела в восхищение одного принца, которому показали модель часов, и он заказал себе эти часы; но принц поставил те же условия, что и граф Попино, и предложил за часы тридцать тысяч франков.

Спросили совета художников, в том числе и Стидмана, и те ответили, что автор двух таких скульптур может выполнить статую. Тогда маршал князь Виссембургский, военный министр и представитель комитета по сбору пожертвований на памятник маршалу Монкорне, созвал совещание, после чего заказ был поручен Стейнбоку. Граф де Растиньяк, в то время помощник государственного секретаря, пожелал иметь какую-нибудь вещь работы Стейнбока, слава которого росла при восторженных кликах его соперников. Он получил от скульптора прелестную группу, изображавшую двух мальчиков, украшающих девочку венком из васильков, и пообещал исхлопотать ему мастерскую при правительственных складах мрамора, находившихся, как известно, в Гро-Кайу.

То был молниеносный успех, сумасшедший успех, ко-

торый не всякие плечи выдержат, чему, заметим кстати, не раз бывали примеры. В газетах и журналах заговорили о графе Венцеславе Стейнбоке, о чем ни он сам, ни мадемуазель Фишер и не подозревали. Каждый день, как только мадемуазель Фишер уходила обедать, Венцеслав спешил к баронессе. Он проводил там час или два, кроме тех дней, когда сама Бетта появлялась в доме Юло. Так продолжалось некоторое время.

Барон, убедившись в личных достоинствах и общественном положении графа Стейнбока, баронесса, довольная его характером, порядочностью и благовоспитанностью, Гортензия, гордая своей любовью, получившей общее признание, и славой своего жениха,— все они открыто говорили о скорой свадьбе; короче говоря, художник чувствовал себя на вершине блаженства, и вдруг болтливость г-жи Марнеф чуть было не испортила все дело. Вот как это случилось.

Лизбета, которую барон Юло желал сблизить с г-жой Марнеф, чтобы иметь соглядатая в ее доме, однажды обедала у Валери, которая, со своей стороны, желала иметь наушника в семействе Юло и была поэтому чрезвычайно ласкова со старой девой; она вздумала пригласить мадемуазель Фишер отпраздновать с ней новоселье по случаю переезда на новую квартиру. Старая дева, весьма довольная, что нашелся еще один дом, где она может обедать, и приняв за чистую монету заискивания г-жи Марнеф, вскоре привязалась к ней. Из всех ее знакомых никто не оказывал ей столько внимания.

Всячески ухаживая за мадемуазель Фишер, г-жа Марнеф ставила себя в отношении к ней в такое же положение, в каком сама кузина Бетта находилась в отношении баронессы, г-на Риве, Кревеля, короче говоря, в отношении всех, кто приглашал ее к своему столу. Супруги Марнеф всячески старались разжалобить старую деву и расписывали, как водится, самыми мрачными красками свое бедственное положение, в котором якобы были повинны и неблагодарные друзья, кругом им обязанные, и собственные их болезни, и мамаша Валери, г-жа Фортен, от которой скрыли ее разорение, дав ей умереть спокойно, в полной уверенности, что она по-прежнему богата, хотя это требовало прямо-таки сверхчеловеческих жертв с их стороны, и т. д.

— Бедные люди,— говорила Бетта своему кузену Юло.— Вы правы, что сочувствуете им. Они вполне этого заслуживают, они такие мужественные, такие добрые! Ну велик ли оклад помощника столоначальника? Всего тысяча экю. Ведь его едва хватает на жизнь, потому-то они и наделали долгов после смерти маршала Монкорне! Какое варварство со стороны правительства требовать, чтобы чиновник, у которого есть жена и дети, жил в Париже на жалованье в две тысячи четыреста франков.

Валери, казалось, питала к старой деве самые дружеские чувства, шагу не могла ступить, не посоветовавшись с ней, льстила ей, выслушивала с благоговейным видом все ее наставления и поэтому в короткое время стала для взбалмошной кузины Бетты дороже всех ее родственников.

С своей стороны, барон, пленённый скромностью, благовоспитанностью г-жи Марнеф, ее милым обращением,— качества, которыми его не баловали ни Женни Кадин, ни Жозефа, ни их приятельницы,— влюбился в нее в первый же месяц их знакомства со всей силой старческой страсти, страсти безрассудной и, однако ж, вполне понятной на первый взгляд. И в самом деле, тут не было места ни колкостям, ни кутежам, ни сумасшедшему мотовству, ни разврату, ни пренебрежению общественным мнением, ни той своевластной независимости, которая доставила ему столько огорчений в пору его связи с актрисой, а затем с оперной дивой. Он спасся, таким образом, от алчности куртизанок, ненасытной, как песок, жадно впитывающий воду.

Госпожа Марнеф, став приятельницей и поверенной барона, разыгрывала целую комедию, прежде чем принять от него самый пустячный подарок.

— Хорошая должность, награды, все, что вам угодно будет сделать для нас по службе! Но только не то, что может повредить доброму имени женщины, которую вы, по вашим словам, любите,— говорила Валери,— иначе я перестану вам верить... А я так хочу вам верить! — прибавляла она, возводя очи к небу наподобие святой Терезы.

И при всяком подарке нужно было сломить ее сопротивление, ее щепетильность. Бедный барон прибегал к всевозможным уловкам, чтобы преподнести ей какую-нибудь безделушку, кстати сказать, весьма дорогую, и ра-

довался, что наконец-то он встретил добродетельную женщину, обрел воплощение своей мечты. В этом семействе, «таком простом», как говорил барон, он стал кумиром, как и в своей собственной семье. Марнеф был, по-видимому, бесконечно далек от мысли, что Юпитер из его министерства возымел намерение снизойти золотым дождем на его супругу, и держал себя покорным слугой своего именитого начальника.

Госпожа Марнеф, которой было тогда двадцать три года, наивная и боязливая мещаночка, цветок невинности с улицы Дуайене, несомненно, ничего не знала о развращенности и нравственном падении куртизанок, внушавших теперь ужасное отвращение барону, ибо он впервые вкусил всю прелесть неуступчивой добродетели, и робкая Валери дала ему возможность, как говорится в песне, *медленно плыть к вожделенной цели*.

Раз отношения между Гектором и Валери приняли такой оборот, не удивительно, что Гектор посвятил свою Валери в тайну предстоящего брака прославленного художника Стейнбока с Гортензией. Между поклонником, не имеющим никаких прав, и женщиной, которая не легко склоняется стать его любовницей, происходит нравственная и словесная борьба, где случайно оброненное слово выдает мысль; так рапира в руках разгоряченных фехтовальщиков напоминает о настоящем поединке на шпагах. Даже самый благоразумный человек поступает в таких случаях по примеру Тюренна. В ответ на неоднократные восклицания любящей Валери: «Не понимаю, как можно отдаться человеку, который не принадлежит тебе всецело!» — барон однажды намекнул, что после замужества Гортензии он получит полную свободу действий. Уже тысячу раз клялся он, что между ним и женой все кончено *двадцать пять лет тому назад*.

— Говорят, она красавица! — возражала г-жа Марнеф.— Я хочу убедиться в правоте ваших слов.

— И вы убедитесь,— говорил барон, обрадованный этим желанием, которым Валери связывала себя.

— Помилуйте, ведь вам придется быть при мне неотлучно! — отвечала Валери.

И тут Гектор принужден был поделиться своими планами относительно квартиры на улице Ванно, чтобы доказать Валери, как мечтает он отдать ей ту половину сво-

ей жизни, которая принадлежит законной жене, если считать, что день и ночь составляют две половины бытия цивилизованного человека. Барон говорил, что, как только Гортензия выйдет замуж, он приличным образом разойдется с женой. Оказавшись в одиночестве, баронесса будет проводить все свое время у дочери или у молодых Юло; он не сомневался в полной покорности Аделины.

— Тогда, мой ангел, настоящая моя жизнь, настоящая моя семья будет на улице Ванно.

— Боже, как вы распоряжаетесь мною!..— говорила г-жа Марнеф.— Ну, а мой муж?

— Этот ублюдок?

— О, в сравнении с вами, конечно, ублюдок!..— отвечала Валери, смеясь.

Как только г-жа Марнеф узнала романтическую историю молодого графа Стейнбока, она воспылала желанием увидеть его; может быть, ей вздумалось получить какую-нибудь вещицу его работы, пока они еще жили под одной кровлей. Любопытство ее так не понравилось барону, что Валери поклялась никогда и не глядеть на Венцеслава. Но, приняв в награду за отказ от своей фантазии старинный чайный сервиз хрупкого севрского фарфора, она не поступилась своим желанием, начертав его в своем сердце, как в памятной книжке. И вот однажды Валери пригласила *дорогую кузину Бетту* на чашку кофе; и когда им подали этот кофе к ней в спальню, она навела старую деву на разговор о ее друге, желая узнать, можно ли будет ей увидеться с Венцеславом, не боясь неприятностей.

— Душенька,—сказала она (между ними было принято называть друг друга «душенькой»),—отчего вы до сих пор не представили мне вашего друга?.. Неужели вам неизвестно, что он в короткое время стал знаменитостью?

— Он!.. Знаменитостью?

— Но ведь все только и говорят о нем!

— Что за притча! — воскликнула Лизбета.

— Ему заказали статую моего отца, и я могла бы быть полезна для успеха его работы. Ведь госпожа Монкорне не может, как могу я, предоставить художнику дивную миниатюру Сэна, выполненную в тысяча восемьсот девятом году, незадолго до Ваграмской кампании, и

подаренную маршалом моей матери... Короче говоря, портрет Монкорне в расцвете молодости и красоты...

Сэн и Огюстен славились как художники-миниатюристы во времена Империи.

— Ему заказали, говорите вы, душенька, сделать статую?..— переспросила Лизбета.

— Вышиною в девять футов! Военное министерство дало ему заказ. Да что же это? Вы с неба свалились, что ли? Мне приходится сообщать вам такие новости! Правительство отводит графу Стейнбоку мастерскую и квартиру в Гро-Кайу, при складах мрамора. Вашего поляка, может статься, назначат там заведующим... Место с окладом в две тысячи франков... Чистая находка!

— Откуда вы все это знаете, когда я ничего не знаю? — сказала, наконец, Лизбета, выходя из оцепенения.

— Послушайте, дорогая кузиночка,— ласково сказала г-жа Марнеф,— способны ли вы на преданную, нерушимую, верную дружбу? Согласны ли вы быть моей сестрой? Согласны ли дать клятву, что между нами не будет никаких тайн? Согласны ли быть моим соглядатаем, как я буду вашим? А главное, поклянетесь ли вы ни словом не обмолвиться ни моему мужу, ни господину Юло о том, что я вам рассказала, и никогда ничем меня не выдать?..

Госпожа Марнеф вдруг вышла из роли *пикадора* — кузина Бетта испугала ее. Физиономия лотарингской крестьянки поистине стала страшной. Ее черные, пронзительные глаза уставились на Валери, точно глаза тигра. Лицо ее напоминало образы древних прорицательниц, какими они рисуются нам; она дрожала всем телом и крепко стискивала зубы, чтобы они не стучали. Засунув крючковатые пальцы под чепец, она схватила себя за волосы и сжала их в кулак, чтобы поддержать голову, ставшую тяжелой; она вся пылала. Дым пожара, пожиравшего ее, казалось, проступал сквозь морщины на ее лице, точно сквозь трещины в земле при извержении вулкана. Зрелище было устрашающее.

— Ну, что же вы остановились? — сказала она глухим голосом.— Я буду для вас тем, чем была для него. О, ради него я отдала бы всю свою кровь!

— Вы, стало быть, любите его?

— Как своего сына!

— А если так,— облегченно вздохнув, продолжала г-жа Марнеф,— раз вы любите его только, как сына, то скоро вы будете довольны. Ведь вы желаете ему счастья?

Лизбета, глядя на Валери безумными глазами, в ответ только кивнула головой.

— Он через месяц женится на вашей молоденькой родственнице.

— На Гортензии? — вскричала старая дева и, вскочив, хлопнула себя по лбу.

— Что с вами? Вы, стало быть, все-таки влюблены в этого молодого человека? — спросила г-жа Марнеф.

— Душенька, мы с вами связаны теперь до конца жизни,— сказала мадемуазель Фишер.— Да, да! Ваши привязанности, если они у вас есть, будут для меня священны. Да что там, даже пороки ваши станут для меня добродетелью, потому что мне они пригодятся, ваши пороки!

— Вы, значит, жили с ним? — спросила Валери.

— Нет, я хотела быть ему матерью...

— Ах, я уж больше ничего не понимаю! — вскрича-ла г-жа Марнеф.— Раз это так, значит, вы не были обмануты, над вами не насмеялись, и вы должны радоваться, поскольку он делает такую хорошую партию, выходит в люди. Право же, для вас все отлично кончилось, поверьте мне. Ваш художник каждый день бежит к госпоже Юло, как только вы уйдете обедать...

«Аделина! — сказала про себя Лизбета.— О Аделина! Ты мне заплатишь за это. Ты станешь безобразнее меня, можешь не сомневаться!..»

— Да что с вами? Вы побледнели, как мертвец! — воскликнула Валери.— Стало быть, тут что-то есть... Ах, я глупая! Мать и дочь, наверно, опасаются, как бы вы не помешали этой любви, раз они таятся от вас,— продолжала она.— Но если вы не были близки с молодым Стейнбоком, то вся эта история для меня еще более темна, чем душа моего мужа...

— Ах, вы не знаете, вы не знаете, что тут за козни! — говорила Лизбета.— Это последний, смертельный удар! О, вся душа моя искалечена! Вы не знаете, что с детских лет, с самого раннего возраста, меня принесли в жертву Аделине! Меня били, а ее ласкали! Я хо-

дила замарашкой, а ее наряжали, как куклу. Я копалась в земле, чистила овощи, а ее пальчики только перебирали ленты, шелка, кружева! Она вышла замуж за барона, уехала в Париж и блистала при императорском дворе, а я до тысяча восемьсот девятого года сидела в деревне, дожидалась приличной партии,— целых четыре года! Они вытащили меня оттуда, а для чего? Чтобы сделать швейкой, сватали за разных чиновников и капитанов, больше похожих на швейцаров! Двадцать лет я питалась их объедками!.. И вот, совсем как в Ветхом завете, богач, у которого целые стада, позавидовав бедняку, крадет у него единственную овцу!.. Предательски, вероломно! Аделина украла у меня мое счастье! Аделина... Аделина, я втопчу тебя в грязь, ты опустишься ниже меня! Гортензия!.. Я любила ее, и она меня обманула... Барон... Нет, это невозможно! А ну, повторите-ка мне, что вы тут насказали!

— Успокойтесь, душенька!

— Валери, ангел мой, я успокоюсь,— отвечала эта странная девица, усаживаясь на место.— Только одно может вернуть мне рассудок: дайте мне доказательство!..

— Слушайте же. Вашей кузине Гортензии принадлежит группа Самсона; а вот и литография с нее, помещенная в «Обозрении». Гортензия купила скульптуру на свои сбережения, а барон в интересах будущего зятя выдвигает его и добьется всего!

— Воды!.. воды! — простонала Лизбета, бросив взгляд на литографию, под которой она прочла: «*Собственность мадемуазель Юло д'Эрви*».— Воды!.. Голова у меня горит. Я схожу с ума!..

Госпожа Марнеф принесла воды. Старая дева сняла чепец, распустила свои черные волосы и несколько раз окунула голову в таз с водой, который держала перед ней ее новая приятельница; тем самым она ослабила прилив крови к голове и после этого купания опять овладела собой.

— Ни слова!..— сказала она г-же Марнеф, утираясь.— Ни слова обо всем этом... Поглядите!.. Я спокойна, и все забыто. Теперь у меня другое в мыслях.

«Завтра она попадет в Шарантон, это несомненно»,— подумала г-жа Марнеф, глядя на Бетту.

— Что делать? — продолжала мадемуазель Фишер.— Видите ли, ангелок мой, надо молчать, склонить голову и покорно двигаться к могиле, как ручей течет к реке. Что мне делать? Если б я могла, я бы в порошок стерла всех этих людей: Аделину, ее дочь, барона. Но что такое бедная родственница против целой богатой семьи?.. Ведь это выйдет, как в басне, борьба глиняного горшка с железным.

— Да, вы правы,— отвечала Валери.— Нужно хотя бы постараться урвать кусочек пожирнее. Такова парижская жизнь!

— О, если я потеряю этого мальчика, мне не жить...— сказала Лизбета.— А я-то хотела всегда быть ему матерью, вовек с ним не разлучаться...

Слезы выступили у нее на глазах, она умолкла. Г-жа Марнеф затрепетала: старая дева, казалось, дышавшая огнем и горючей серой, была страшна в минуту чувствительности.

— Ну что ж! Я встретила вас,— сказала она, сжимая руку Валери.— Это утешение в моем великом несчастье... Мы будем крепко любить друг друга, и зачем нам расставаться? Я вам не соперница. Никто меня не полюбит! Ко мне сватались, рассчитывая на влиятельность моего кузена... С моей энергией можно было рай приступом взять, и такую вот силищу растратить на то, чтобы заработать себе на нищенское пропитание, на какие-то лохмотья да на мансарду. Вот оно, душенька, мученичество-то! Я вся иссохла.

Она вдруг замолчала и устремила в голубые глаза г-жи Марнеф мрачный взгляд, проникший в душу этой хорошенькой женщины, как лезвие кинжала, разящее в самое сердце.

— К чему слова? — вскричала Лизбета, уже раскаиваясь в своей болтливости.— Ах, я еще никогда столько не говорила, поверьте! — И, помолчав с минуту, она прибавила любимую детскую поговорку: — «*Отольются кошке мышкины слезки!*» Вы умно сказали: отточим зубы и урвем кусочек пожирнее.

— Совершенно верно,— сказала г-жа Марнеф, испуганная этим припадком отчаяния и уже позабыв, что столь поучительное изречение принадлежит ей самой.— Вы совершенно правы, душенька. Жизнь, знаете ли, ко-

ротка, нужно пользоваться ею, насколько возможно, и людьми тоже надо пользоваться для своего удовольствия. Я в этом уже убедилась, хотя мне всего двадцать три года. В детстве меня баловали, но потом отец женился из честолюбия и почти забыл обо мне: а ведь я была его кумиром, он воспитал меня, как принцессу! Бедная моя мать, которая тешила себя и меня самыми радужными надеждами, умерла с горя, когда мне пришлось выйти замуж за мелкого чиновника с окладом в тысячу двести франков, старика в тридцать девять лет, холодного распутника, развращенного, словно целая шайка каторжников. Муж видел во мне, как видели в вас ваши женихи, лишь средство сделать карьеру!.. И что же, в конце концов я пришла к заключению, что этот гнусный человек — лучший из мужей. Ему по вкусу только грязные уличные потаскушки, и мне он предоставляет полную свободу. Пусть он не дает мне ни гроша из своего жалованья, зато никогда не спросит, откуда у меня берутся деньги...

И тут она умолкла, как будто вдруг поняла, что ее слишком далеко увлек поток откровенности. Заметив, с каким вниманием слушает ее Лизбета, она сочла необходимым прежде изучить ее, а потом уже открывать ей свои неприглядные тайны.

— Видите, душенька, как я откровенна с вами! — продолжала г-жа Марнеф. Лизбета успокоила ее выразительным взглядом и жестом.

Зачастую взгляд и движение головы не уступают самой торжественной клятве перед судом присяжных.

— Все внешние приличия соблюдены,— продолжала г-жа Марнеф, положив свою ручку на руку Лизбеты, как бы в знак доверия к ней.— Я замужняя женщина и вместе с тем сама себе хозяйка,— и настолько, что если утром, уходя в министерство, Марнеф вздумает попрощаться со мной, а дверь моей спальни окажется запертой, он преспокойно уйдет. Он любит своего ребенка не больше, чем я люблю мраморных ребятишек, играющих возле водопада в Тюильри. Если я не прихожу к обеду, он отлично отобедает в обществе няни, потому что няня вся к его услугам. Всякий вечер он где-то пропадает и возвращается только в полночь и даже позднее. К несчастью, вот уже год, как я обхожусь без горничной, а

это означает, что вот уже год я вдова... У меня была только одна страсть, одно счастье... единственный мой грех — богатый бразилец, который уехал год тому назад! Он отправился распродавать свои имения, устраивать дела, чтобы потом поселиться во Франции. Что он найдет тут? Кем станет его Валери? Дрянью. А впрочем, это будет его вина, а не моя. Почему он так долго не возвращается? Быть может, корабль его потерпел крушение, как и моя добродетель?

— Прощайте, душенька,— вдруг сказала Лизбета.— Мы с вами никогда не расстанемся. Я вас люблю, я вас уважаю, я вся ваша! Кузен настаивает, чтобы я переехала на улицу Ванно, в тот дом, где вы будете жить. А я все не соглашалась, потому что отлично понимала причину этого нового благодеяния...

— Вам поручили присматривать за мной, конечно! — сказала г-жа Марнеф.

— В том-то и причина его великодушия,— ответила Лизбета.— В Париже добрая половина благодеяний продиктована расчетом, а черная неблагодарность порождена местью! С бедными родственницами поступают, как с крысами: заманивают в ловушку кусочком сала! Хорошо, я приму предложение барона, потому что наш дом мне теперь опостылел. Не беспокойтесь, у нас с вами хватит ума помолчать о том, что может нам повредить, и говорить лишь то, что следует сказать. Итак, осторожность и дружба!

— Нерушимая!..— весело вскричала г-жа Марнеф, радуясь, что обрела надежную спутницу жизни, наперсницу, нечто вроде почтенной тетушки.— А скажите, как барон обставляет для меня квартиру на улице Ванно? С шиком?

— Ну еще бы! — отвечала Лизбета.— Уже тысяч тридцать потратил! И откуда только он деньги берет, к слову сказать! Ведь певица-то как его обобрала! О, вам повезло! — прибавила она.— Барон готов красть для женщины, которая сумеет держать его сердце в таких вот белых, атласных ручках, как ваши.

— Ну, если на то пошло, душенька,— продолжала г-жа Марнеф со спокойной уверенностью куртизанки в своем будущем, что, впрочем, говорит только об их бесшабашности,— возьмите из моего хозяйства все, что вам

понравится, для вашей новой квартиры... Берите вот этот комод, зеркальный шкаф, ковер, занавески...

От радости Лизбета глаза вытаращила, не веря своим ушам.

— Вы в одну минуту сделали для меня больше, чем мои богатые родственники за тридцать лет! — воскликнула она.— Они даже не удосужились спросить, есть ли у меня мебель! А несколько недель назад барон, впервые войдя в мою квартирку, скорчил гримасу,— богачам нищета претит!.. Ну что ж! Очень вам благодарна, душенька! Я в долгу не останусь, вот увидите!

Валери проводила кузину Бетту до лестничной площадки, и они расцеловались.

«Ну, и воняет же от нее какой-то кислятиной!..— подумала хорошенькая Валери, оставшись одна.— Нет, я не расположена целоваться с моей «кузиной»! Однако ж будем осмотрительны, с ней надо обходиться помягче, она, пожалуй, будет полезна: поможет мне составить состояние!»

Как истая парижская креолка, г-жа Марнеф глубоко презирала всякий труд; она была ленива, точно кошка, которая ни за что не побежит и не прыгнет, если в том нет особой нужды. Жизнь ей рисовалась сплошным удовольствием, а удовольствия должны были доставляться ей без всяких усилий с ее стороны. Она любила цветы, но только в виде подношений. Она не могла вообразить, как можно поехать в театр не в элегантном экипаже и не в собственную ложу. Вкусы куртизанки Валери унаследовала от матери, избалованной генералом Монкорне во время его наездов в Париж и привыкшей в течение двадцати лет видеть всех светских львов у своих ног; расточительница по природе, она все промотала, ведя роскошный образ жизни, секрет которой утерян с падением Наполеона. Сановники времен Империи в своих безумствах не отставали от вельмож былых времен. При Реставрации дворянство не могло забыть, что его изрядно побили и ограбили; поэтому, за редкими исключениями, оно сделалось бережливым, расчетливым, осмотрительным, короче говоря, омещанилось и измельчало. Затем 1830 год довершил содеянное в 1793 году. Отныне во Франции еще будут блестящие имена, но блестящих домов уже не будет, если не произойдет по-

литических перемен, предвидеть которые трудно. Все носит на себе печать личности. Богатство даже самых благоразумных построено на песке. Семья разрушена.

Попав в крепкие тиски нищеты, испортившей кровь Валери в тот день, когда она, по выражению Марнефа, «замарьяжила» Юло, эта молодая женщина решила обратить свою красоту в средство обогащения. И вот уже несколько дней она испытывала потребность иметь подле себя вместо матери какую-нибудь верную душу, которой поверяют то, что приходится скрывать от горничной, подругу, которая могла бы думать, действовать вместо вас, которую можно было бы всюду посылать,— словом, Валери хотелось иметь в своем распоряжении преданную рабыню, готовую принять на себя всю теневую сторону жизни. Как и Лизбета, она, конечно, разгадала, с какими намерениями барон желал сблизить ее со своей кузиной. Опасная для окружающих сообразительность парижской креолки, которая полдня проводит растянувшись на диване, проникая своим наблюдательным оком в самые сокровенные уголки чужих душ, сердец и козней, надоумила ее стать сообщницей подосланной к ней шпионки. Вероятно, циничная ее откровенность была предумышленной: она поняла истинный характер этой пылкой девицы с беспредметными страстями и решила привязать ее к себе. Разговор ее со старой девой можно уподобить камню, который путешественник бросает в бездну, чтобы узнать, какова ее глубина. И г-жа Марнеф испугалась, обнаружив сразу и Яго и Ричарда III в этой девице, с виду такой слабой, смиренной и совсем не опасной.

В одно мгновение кузина Бетта стала сама собой; в одно мгновение этот дикий, поистине корсиканский характер, порвав слабые путы, пригибавшие его, проявился во всем своем грозном величии,— так выпрямляется дерево, вырвавшись из рук ребенка, пригнувшего его к земле, чтобы сорвать с ветки незрелый плод.

Наблюдателя общественной жизни всегда будет восхищать полнота, совершенство и быстрота восприятий у девственных натур.

Девственность, как всякое уродство, обладает своими особыми положительными свойствами и подавляющим величием. Сбереженные жизненные силы вырабатывают

в девственнике сопротивляемость и невероятную стойкость. Мозг обогащается неизрасходованной энергией. Когда человеку целомудренному приходится напрягать свою мысль или тело, духовные или физические силы, у него мышцы становятся упруги, как сталь, он обретает знание по наитию и дьявольскую, почти магическую твердость воли.

В этом отношении дева Мария, если мы на одну минуту будем рассматривать ее как символ, превосходит величием индусские, египетские и греческие символы девственности. Великая матерь бытия, magna parens rerum, Девственность, держит в своих прекрасных белых руках ключи от высших миров. Короче, это величественное и страшное отклонение от законов природы вполне достойно тех почестей, которые воздает ему католическая церковь.

Итак, в одно мгновение кузина Бетта превратилась в могикана, чьи ловушки губительны, чьи замыслы непостижимы, а быстрота решений объясняется неслыханным совершенством органов чувств. Она стала олицетворением Ненависти и Мщения, беспощадных, как в Италии, в Испании и на Востоке: эти два чувства — оборотная сторона Дружбы и Любви, доведенных до крайности,— возможны только в странах, залитых солнцем. Лизбета была, помимо того, дочерью Лотарингии, то есть готова на всякий обман.

Однако она неохотно взяла на себя роль преследовательницы и сделала еще одну попытку вернуть к себе Венцеслава, нелепую попытку, вытекавшую из глубокого ее невежества. Она, как ребенок, воображала, что всякая тюрьма — это мрачная темница, где людей держат в одиночных камерах, обыкновенный арест она смешивала со строгим одиночным заключением, которому подвергаются только по приговору уголовного суда.

Выйдя от г-жи Марнеф, Лизбета побежала к г-ну Риве и застала его в кабинете.

— Ну, вот, добрейший господин Риве! — воскликнула она, заперев дверь кабинета.— Вы были правы! Поляки... все они канальи... люди без стыда и совести!

— Люди, которые хотят разжечь пожар в Европе,— сказал миролюбивый Риве,— погубить торговлю и торговцев ради какой-то там своей родины. А страна-то у

них, говорят, сплошное болото и населена ужасными евреями, не считая уж казаков и крестьян, сущих зверей, по ошибке причисленных к роду человеческому. Поляки отстали от нашего времени. Мы ведь уже не варвары! Войны отжили свой век, дорогая барышня; они кончились вместе с королями. Наше время — это век расцвета торговли, промышленности и буржуазного благоразумия, создавших Голландию. Да,— говорил он, воодушевляясь,— мы живем в такую эпоху, когда народы должны всего добиваться путем *миролюбивой* деятельности конституционных учреждений и развития узаконенных свобод. Вот чего поляки еще не понимают, и я надеюсь... Так что вы говорите, красавица моя? — прибавил он, прерывая речь, ибо заметил по лицу своей мастерицы, что соображения высшей политики недоступны ее пониманию.

— Вот все бумаги,— отвечала Бетта.— Я не хочу терять свои деньги — три тысячи двести десять франков! Придется упечь этого мошенника в тюрьму.

— А я вам что говорил! — вскричал оракул квартала Сен-Дени.

Золотошвейная мастерская Риве, преемника братьев Понс, по-прежнему помещалась на улице Мовез-Пароль, в старинном особняке де Ланже, выстроенном этим знаменитым родом в те времена, когда знать селилась вокруг Лувра.

— Ах, как я благословляла вас, когда шла сюда!..— отвечала Лизбета.

— Ежели бы застать нашего молодчика врасплох, можно было бы упрятать его в тюрьму часа в четыре утра,— сказал судья, справившись в календаре о времени восхода солнца.— Но сделать это удастся только послезавтра, потому что аресту за долги нельзя подвергнуть без предупреждения путем вручения приказа о личном задержании. Стало быть...

— Вот глупый закон,— возмутилась кузина Бетта.— Ведь этак должник скроется!

— Это его право,— возразил, улыбаясь, член коммерческого суда.— Так что, видите ли...

— Коли так, я лучше сама вручу извещение,— сказала Бетта, прерывая г-на Риве,— отдам ему его и скажу, что была принуждена достать денег и заимодавец

потребовал этой формальности. Я знаю моего поляка, он не только не заглянет в эту повестку, а еще раскурит ею трубку!

— Ей-ей, недурно! Недурно, мадемуазель Фишер! Прекрасно! Не беспокойтесь, дело будет слажено... Только... Минуточку! Посадить человека — это еще не все. Такую роскошь можно позволить себе только в том случае, ежели надеешься получить свои денежки. А кто вам заплатит?

— Тот, кто дает ему деньги.

— Ах, да! Я и забыл, что военный министр поручил ему сделать памятник, который будет воздвигнут на могиле одного из наших заказчиков. Наша фирма поставила немало мундиров генералу Монкорне. Золотое шитье у него быстро тускнело от порохового дыма! Бравый был генерал! И платил исправно.

Пусть бы маршал Франции спас императора или свое отечество, все же лучшей ему похвалой в устах торговцев будет то, что он *платил исправно*.

— Значит, в субботу, господин Риве, я принесу заказанную вами вышивку. Кстати, я расстаюсь с улицей Дуайене и переезжаю на улицу Ванно.

— И хорошо делаете. Право, тяжело было видеть вас в этой дыре. Должен сказать, несмотря на все мое отвращение к оппозиции, что эти трущобы позорят, да! смею сказать, позорят Лувр и площадь Карусели. Я глубоко чту Луи-Филиппа, это мой кумир, августейший представитель именно того класса, опираясь на который он утвердил свою династию, и я никогда не забуду, сколько сделано им для басонного производства восстановлением национальной гвардии...

— Когда я слушаю, как вы вот так рассуждаете,— сказала Лизбета,— я думаю: почему вы не депутат?

— Боятся моей преданности династии,— отвечал Риве.— Мои политические враги — враги короля. Ах, какой у него благородный характер, и какой он прекрасный семьянин! Короче говоря,— сказал почтенный член коммерческого суда, развивая свои доводы,— он наш идеал во всем, что касается добронравия, бережливости и всего прочего! Но ведь одно из тех условий, на основании которых мы поднесли ему корону,— это завершение постройки Лувра; меж тем оно все откладывается,

несмотря на цивильный лист (срок которого, положим, не определен), и центр Парижа по-прежнему остается в позорном виде... Я сам принадлежу к *золотой середине* и потому желал бы видеть и золотую середину Парижа в другом состоянии. По вашему кварталу пройти страшно. Вас там могли бы, чего доброго, убить... Ну-с, а ваш господин Кревель произведен-таки в батальонные командиры. Надеюсь, что именно мы снабдим его густыми эполетами!

— Я обедаю сегодня у Кревеля. Я его к вам пришлю.

Лизбета воображала, что теперь-то Стейнбок окажется всецело в ее руках, поскольку порвутся все связи между ним и внешним миром. Художник перестанет работать, о нем забудут, как о человеке, замурованном в склеп, и только она одна будеть его видеть. Она пережила два счастливых дня, льстя себя надеждой нанести смертельный удар баронессе и ее дочери.

Направляясь к Кревелю, который жил на улице Сосэ, она пошла через мост Карусели, по набережной Вольтера, набережной д'Орсэ, улице Бель-Шасс, по Университетской улице, через мост Согласия и по авеню Мариньи. Этот нелогичный путь был начертан логикой страстей, извечным врагом наших ног. Очутившись на набережной, кузина Бетта замедлила шаг и шла, не спуская глаз с правого берега Сены. Ее расчет был верен. Когда она уходила из дома, Венцеслав одевался, поэтому она рассудила, что художник, избавившись от ее надзора, сейчас же побежит к баронессе самым кратчайшим путем. И действительно, в то время, когда она шла вдоль парапета набережной Вольтера, мысленно переносясь через реку и шагая по другому ее берегу, она заметила Стейнбока, как только он вышел из калитки Тюильрийского сада и направился к Королевскому мосту. Тут она догнала неверного и пошла за ним следом, незаметно для него, потому что влюбленные редко оборачиваются, и проводила его до самого дома г-жи Юло. По тому, как Стейнбок вошел в подъезд, видно было, что тут он свой человек.

Это последнее доказательство, подтверждавшее секретное сообщение г-жи Марнеф, вывело Лизбету из себя. Она появилась у новоиспеченного командира батальона в том состоянии крайнего душевного возбуждения,

в котором совершают убийства. Кревель восседал в гостиной, поджидая «своих детей» — молодых супругов Юло.

Селестен Кревель был настолько явным и настолько верным образцом парижских выскочек, что трудно обойти молчанием домашнюю обстановку этого счастливого преемника Цезаря Бирото. Селестен Кревель сам по себе является целым миром и еще более, чем Риве, достоин кисти художника, хотя бы по той причине, что он играет немаловажную роль в этой семейной драме.

Замечали ли вы, что в детстве или в начале нашего общественного поприща мы создаем некий образец для себя, нередко сами о том не ведая? Какой-нибудь банковский служащий, попав в гостиную своего хозяина, мечтает иметь совершенно такую же гостиную. Если он когда-нибудь составит себе состояние — пусть это будет через двадцать лет,— он не погонится за современной роскошью, а обставит свою квартиру в духе того старомодного убранства, которое пленяло его в молодые годы. Трудно представить себе все те глупости, на которые толкает человека эта завистливая оглядка в прошлое, нельзя вообразить все безумства, порождаемые тайным соперничеством, которое побуждает нас подражать образцу, ставшему нашим идеалом, и лезть из кожи вон лишь для того, чтобы сиять его отраженным светом. Кревель сделался помощником мэра именно потому, что Цезарь Бирото, его хозяин, был помощником мэра; он стал батальонным командиром, потому что завидовал эполетам Цезаря Бирото. По той же причине, очарованный чудесами, которые творил архитектор Грендо в квартире Цезаря Бирото в ту пору, когда колесо Фортуны высоко вознесло парфюмера, Кревель, как он образно выражался, *не стал канителиться*. лишь только дело дошло до отделки его собственного жилья: закрыв глаза и открыв кошелек, он обратился к архитектору Грендо, в то время уже совершенно забытому. Удивительно, как долго живет былая слава, когда ее поддерживает запоздалое восхищение.

Грендо в тысячный раз принялся за свою пресловутую, белую с золотом, гостиную с широкими панно из красного штофа. Мебель палисандрового дерева рыночной работы, без всякой тонкости в отделке, была того

самого стиля, который восхищал провинциалов во времена первой Промышленной выставки. Канделябры и бра, каминная решетка, люстра, часы — все было в вычурном стиле «рокайль». Круглый мраморный стол, прочно обосновавшийся посредине гостиной, инкрустированный всеми сортами итальянского — нынешнего и античного — мрамора, вывезенный из Рима, где фабрикуются такого рода минералогические карты, похожие на лист картона с нашитыми образчиками материй, вызывал восхищение всех буржуа, которых время от времени принимал у себя Кревель. На стенах попарно были развешаны портреты покойной г-жи Кревель и самого Кревеля, его дочери и зятя кисти Пьера Грассу, живописца, модного в буржуазных кругах и наделившего Кревеля смехотворно байронической позой. Рамы, каждая стоимостью в тысячу франков, вполне соответствовали всей этой ресторанной роскоши, глядя на которую настоящий художник с усмешкой пожал бы плечами. Никогда Золото не упустит ни малейшего случая обнаружить свою глупость. Париж мог бы соперничать с десятком Венеций, если бы парижские дельцы, ушедшие на покой, обладали чувством прекрасного, отличающим итальянцев. Еще и в наши дни миланский купец способен завещать пятьсот тысяч франков на позолоту громадной статуи девы Марии, которая венчает купол миланского Duomo[1]. Канова в своем завещании наказывает брату построить церковь и оставляет на это четыре миллиона, а брат добавляет еще своих. Придет ли когда-нибудь парижскому буржуа мысль (а ведь все они не меньше Риве любят в душе свой Париж), придет ли им мысль возвести колокольни, столь недостающие башням собора Парижской богоматери? А подсчитайте-ка деньги, собранные государством по выморочным наследствам! На те баснословные суммы, которые тратятся в последние пятнадцать лет всякими выскочками вроде Кревеля на разные нелепые украшения из картона, позолоченного гипса, на изделия лжескульпторов, вполне можно было бы завершить работы по украшению Парижа.

В глубине гостиной дверь вела в великолепный кабинет, уставленный столами и шкафами — подделкой под изделия Буля. Спальня, обитая персидской тканью,

[1] Собор *(итал.)*.

также выходила в гостиную. Роскошная, но громоздкая мебель красного дерева заполонила столовую, стены которой были украшены видами Швейцарии в богатых рамах. Папаша Кревель мечтал о путешествии по Швейцарии, а пока мечта его не осуществилась, утешался лицезрением этой страны на картинках.

Кревель, бывший помощник мэра, кавалер ордена Почетного легиона, офицер национальной гвардии, как видит читатель, во всем, даже в великолепной обстановке своей квартиры, подражал своему злосчастному предшественнику. Там, где один, при Реставрации, пал, другой, никому не известный, вознесся, и не капризной игрою счастья, но в силу закономерности. Во время революций, как в бурю на море, тяжелый груз идет ко дну, а легковесный волна выносит на поверхность. Цезарь Бирото, роялист, бывший в чести и возбуждавший зависть, стал мишенью буржуазной оппозиции, тогда как победившая буржуазия видела в лице Кревеля своего собственного представителя.

Квартира Кревеля, обходившаяся ему в тысячу экю, переполненная до отказа самой пошлой роскошью, какую только можно приобрести за деньги, занимала нижний этаж старинного особняка, при котором был двор и сад. Все в этих покоях хранилось в полной неприкосновенности, как жуки в коллекции энтомолога, ибо сам Кревель бывал дома очень редко.

Пышное жилье это являлось официальным местопребыванием честолюбивого буржуа. Тут к его услугам были повариха и лакей; в помощь им он брал еще двух слуг, если устраивал званые обеды, заказывая их у Шеве,— бывало это в тех случаях, когда он угощал своих политических друзей, желая их ослепить, или когда принимал у себя свою родню. Настоящее же местопребывание Кревеля, обосновавшегося сперва на улице Нотр-Дам-де-Лоретт, у мадемуазель Элоизы Бризту, было перенесено, как мы видели, на улицу Шоша! Каждое утро бывший негоциант (все буржуа, уйдя на покой, титулуют себя «бывшими негоциантами») проводил два часа на улице Сосэ, занимаясь своими делами, а остальное время посвящал Заире, что весьма тяготило Заиру. Оросман-Кревель заключил твердую сделку с мадемуазель Элоизой: она обязывалась за пятьсот франков, которые ей выпла-

чивались ежемесячно наличными и без отсрочек, доставлять ему счастье. Притом Кревель оплачивал свои обеды и все экстраординарные расходы. Подобный договор «с премиями»,— ибо Кревель делал щедрые подарки,— казался выгодным бывшему любовнику знаменитой певицы. По этому поводу он говорил вдовым коммерсантам, не желавшим жениться из любви к своим дочкам, что лучше нанимать лошадей помесячно, чем держать свою собственную конюшню. Однако ж, если вспомнить беседу барона со швейцаром на улице Шошà, Кревель не обошелся без кучера и грума.

Кревель, как видите, обратил свою страстную любовь к дочери на пользу своим удовольствиям. Безнравственность своего поведения он оправдывал соображениями высокой нравственности. К тому же такая жизнь (жизнь, по его уверениям, «вынужденная», жизнь разнузданная, во вкусе Регентства, Помпадур, маршала Ришелье и проч., и проч.) сообщала бывшему парфюмеру блеск некоего превосходства. Кревель корчил из себя человека широкого кругозора, большого барина (в миниатюре), человека с размахом, чуждым узости во взглядах,— и все это обходилось ему от тысячи двухсот до тысячи пятисот франков ежемесячно! Притязания его не были следствием политического лицемерия, а лишь мещанским тщеславием, что, впрочем, ничего не меняло. На бирже Кревель слыл человеком выдающимся, на голову выше своего века, а главное, жуиром. Кревель был убежден, что уж в этом-то отношении он превзошел простака Бирото.

— Ну-с! — вскричал Кревель, впадая в гнев при виде кузины Бетты.— Стало быть, это вы просватали барышню Юло за молодого графа? Вы, стало быть, ради своей племянницы так нянчились с ним?..

— Можно подумать, что вам это пришлось не по вкусу,— отвечала Лизбета, задерживая на Кревеле пытливый взгляд.— Какой вам-то интерес мешать браку моей племянницы? Ведь вы же сами, говорят, расстроили ее свадьбу с сыном господина Леба?!

— Вы девушка славная, не болтливая, так я вам открою секрет,— продолжал папаша Кревель.— Неужто вы полагаете, что я когда-нибудь прощу господину Юло его преступление?.. Отбить у меня Жозефу!.. А

главное, из честной девушки, с которой я бы в конце концов сочетался браком, сделать негодяйку, комедиантку, оперную девку!.. Нет! Нет!.. Никогда!

— А все-таки господин Юло славный человек,— сказала кузина Бетта.

— Любезный!.. весьма любезный... даже чересчур любезный! — продолжал Кревель.— Я не желаю ему зла; но я сплю и вижу ему отплатить, и отплачу!

— Уж не ревность ли причиной тому, что вас больше не видно у госпожи Юло?

— Может быть...

— А-а! Так вы ухаживали за моей кузиной? — сказала Лизбета, смеясь.— Впрочем, я догадывалась.

— А она обошлась со мной, как с собакой. Хуже того, как с лакеем. Скажу больше: как с политическим преступником. Но я свое возьму! — сказал Кревель и, сжав кулак, ударил себя по лбу.

— Бедняга! Вот было бы ужасно: узнать об измене жены, когда тебя только что выставила за дверь любовница!..

— Жозефа? — вскричал Кревель.— Значит, Жозефа бросила его, выпроводила, выгнала? Браво, Жозефа! Жозефа, ты отомстила за меня! Пошлю тебе пару жемчужных сережек, моя бывшая козочка!.. А я ничего ведь и не знал, потому что, повидавшись с вами, я на другое же утро, после того как прекрасная Аделина вновь указала мне на дверь, уехал к Леба в Корбей и только что вернулся оттуда. Моя Элоиза из кожи лезла вон, чтобы отправить меня за город, и я узнал, в чем причина ее фокусов: она хотела без меня отпраздновать новоселье на улице Шошà — с художниками, комедиантами, писаками... Надула меня! Но я прощу. Элоиза меня забавляет. Это новая Дежазе. Что за продувная девчонка! Вот какую записку я нашел вчера вечером у себя на столе:

«Старичок! я раскинула шатер на улице Шошà. Я озаботилась, чтобы друзья осушили мою квартирку своими боками. Все идет хорошо! Пожалуйте, сударь, когда вам будет угодно. Агарь ждет своего Авраама».

— Элоиза расскажет мне все новости, ведь она знает парижскую богему насквозь.

— Однако мой кузен что-то уж больно легко перенес эту неприятность,— заметила Бетта.

— Не может этого быть,— сказал Кревель, который, как маятник, ходил взад и вперед по комнате.

— Господин Юло уже в летах,— не без лукавства заметила Лизбета.

— Ну и что ж! — возразил Кревель.— Но в одном отношении мы с ним схожи: Юло не в состоянии обойтись без привязанности. Барон способен вернуться к жене,— рассуждал он вслух.— В этом для него будет приманка новизны, а тогда прощай моя месть! Вы улыбаетесь, мадемуазель Фишер? Вы что-то знаете, а?..

— Мне смешны ваши фантазии,— отвечала Лизбета.— Да, моя кузина еще достаточно хороша, чтобы внушать страстные чувства. Я бы влюбилась в нее, будь я мужчиной.

— Ах, этот Юло! Горбатого одна могила исправит!..— воскликнул Кревель.— Вы надо мной издеваетесь! Барон, наверно, нашел себе утешительницу?

Лизбета утвердительно кивнула головой.

— Эх! Счастлив он, что может на другой же день найти заместительницу Жозефе! — продолжал Кревель.— Но я не удивляюсь, ведь барон говорил мне как-то раз за ужином, что в молодости, чтобы не попасть впросак, он имел всегда трех любовниц: с одной он собирался порвать, другая царила в его сердце, а за третьей он волочился на всякий случай. Так и тут. Наверняка он держал про запас какую-нибудь гризетку в своем Оленьем парке, повеса этакий! Настоящий Людовик Пятнадцатый! Конечно, ему везет, ведь он красивый мужчина. Однако ж он стареет, сдает... Должно быть, приглядел какую-нибудь швейку?

— О нет! — отвечала Лизбета.

— Ах! Чего бы я не сделал, чтобы натянуть ему нос! —воскликнул Кревель.— Я никак не мог отбить у него Жозефу: такие женщины, как Жозефа, никогда не возвращаются к своей первой любви. Впрочем, как говорится, любви не воротишь!.. Видите ли, кузина Бетта, я охотно бы дал, то есть охотно бы истратил пятьдесят тысяч франков, чтобы отнять у этого красавца его любовницу и доказать ему, что, хотя у толстяка Кревеля брюшко батальонного командира, зато котелок варит,

как у будущего парижского мэра, и если у меня фукнут королеву, я пешку сделаю королевой.

— Знаете какое мое положение? — сказала Бетта.— Все выслушивай и ни о чем знать не знай. Со мною можно говорить без боязни, я все равно никому не перескажу. Почему вы желаете, чтобы я изменила этому правилу? Тогда все перестанут мне доверять.

— Хорошо, хорошо,— продолжал Кревель.— Вы настоящий перл между старыми девами. Да, да! Черт возьми, бывают же исключения! Послушайте, они вас так-таки и не обеспечили...

— У меня есть своя гордость, я не хочу жить на чужой счет,— сказала Бетта.

— Ах, ежели бы вы помогли мне отомстить,— продолжал бывший оптовый торговец,— я бы положил десять тысяч франков пожизненно на ваше имя. Скажите мне, прекрасная кузина, кто заместительница Жозефы, и у вас будут денежки и на оплату квартиры, и на утренний завтрак, и на хороший кофе. А вы ведь любите кофе? Как приятно побаловать себя настоящим мокко, а?.. Ах, что за прелесть настоящее мокко!

— Конечно, десять тысяч франков пожизненного обеспечения дали бы мне пятьсот франков ежегодного дохода, но мне не деньги дороги, мне важно, чтобы все это осталось в тайне,— сказала Лизбета,— потому что, видите ли, добрейший господин Кревель, барон превосходно ко мне относится и будет оплачивать мою квартиру...

— Ну, конечно, до конца ваших дней! Держите карман шире! — вскричал Кревель.— Откуда барон деньги-то возьмет?

— Ах, я не знаю. Однако ж он ухлопал уже больше тридцати тысяч франков, обставляя квартиру для своей дамы...

— Дамы! Как, дама из общества?! Ах он негодяй! Вот счастливец! Везет же ему!

— Замужняя женщина, и очень порядочная,— прибавила Бетта.

— В самом деле? — вскричал Кревель, широко открыв глаза, загоревшиеся не столько от вожделения, сколько от магических слов: *порядочная женщина.*

— Да,— продолжала Бетта,— с дарованиями, музы-

кантша, двадцать три года, и какая прелесть! Красивое, невинное личико, кожа белизны ослепительной, зубки ровные, глаза, что твои звезды, прекрасный лоб... А ножки!.. Никогда я не видывала таких ножек, не шире планшетки в корсете!

— А ушки? — спросил Кревель, оживившись при этом перечне соблазнительных примет.

— Образцовые! — отвечала она.

— А ручки?

— Да говорю же — сокровище, а не женщина! А какая порядочная, стыдливая, деликатная!.. И какая душа! Просто ангел! Словом, все достоинства! Недаром ее отец — маршал Франции...

— Маршал Франции! — вскричал Кревель, выкинув весьма замысловатое коленце.— Боже ты мой! Тьфу, пропасть! Черт возьми! Убей меня бог!.. Ах ты, подлец! Извините, кузина, я просто с ума схожу! Я, пожалуй, готов истратить сто тысяч франков!

— Ну, еще бы! Я же вам говорю: женщина порядочная, женщина добродетельная! Недаром барон расщедрился!

— У него нет ни гроша, говорю вам.

— Зато он ее мужа тянет...

— Куда? — сказал Кревель с горькой усмешкой.

— Вверх! Он получил уже место столоначальника и представлен к ордену... Муж-то, конечно, не будет помехой...

— Правительству надлежало бы проявлять осмотрительность и награждать людей уважаемых, а не швыряться направо и налево крестами! — сказал Кревель, оскорбленный в своих политических идеалах.— Однако ж, чем только он берет, этот сукин сын, старый барон? — продолжал он.— Как будто я ни в чем не уступаю ему,— прибавил он, охорашиваясь перед зеркалом и принимая картинную позу.— Элоиза частенько говаривала мне в такие минуты, когда женщины не лгут, что я бесподобен.

— Э-э! — поддержала кузина.— Женщины любят толстяков, ведь почти все толстяки — народ добродушный. И, если уж выбирать между вами и бароном, я бы выбрала вас. Господин Юло остроумен, красавец собою, представительный мужчина... Ну, а вы зато берете со-

лидностью. И потом, знаете ли, мне сдается, что вы шалопай еще почище его!

— Удивительно, до чего все женщины, даже смиренницы, любят шалопаев! — вне себя от восторга воскликнул Кревель и даже обнял Бетту за талию.

— Не в том загвоздка,— продолжала Бетта прерванный разговор.— Видите ли, женщина, которая так выгодно устроилась, не изменит своему покровителю из-за каких-то пустяков; это ей обошлось бы дороже ста тысяч, потому что дамочка надеется года через два быть супругой начальника канцелярии... Бедный ангелочек! Только нужда толкает ее в пропасть.

Кревель, как бешеный, шагал взад и вперед по гостиной.

— А ведь барон, должно быть, дорожит такой женщиной, а? — спросил он после короткого молчания, охваченный страстным вожделением, которое сознательно распаляла в нем Лизбета.

— Судите сами! — отвечала Лизбета.— Но не думаю, чтобы он получил от нее хоть столько! — прибавила она, щелкнув ногтем большого пальца по своему длинному белому зубу.— А ведь он уже надарил ей разных разностей тысяч на десять.

— Вот была бы комедия, если бы я опередил его! — воскликнул Кревель.

— Боже мой! Напрасно я вам насплетничала,— сказала Лизбета, якобы испытывая угрызения совести.

— Нет! Я заставлю сгореть со стыда вашу родню. Завтра же кладу на ваше имя деньги — пожизненно — из пяти процентов, шестьсот франков годового дохода!.. Но вы мне скажете все: фамилию, адрес этой Дульцинеи. Признаюсь, мне еще не приходилось иметь дело с порядочной женщиной, а я давно мечтал обладать настоящей дамой. Для меня все гурии Магомета ничто в сравнении с женщиной из общества. Словом сказать, это мой идеал, моя прихоть, и в такой степени, знаете ли, что госпожа Юло никогда не будет в моих глазах старухой,— заявил он, не подозревая, что сошелся во мнении с одним из утонченнейших умов минувшего века.— Послушайте, добрейшая Лизбета, я готов пожертвовать сто, двести тысяч!.. Тс!.. Вот и мои детки, они уже

вошли во двор. Помните, я ничего от вас не слыхал, даю вам чёстное слово,— я не хочу вас лишать доверия барона, напротив! А он, должно быть, по уши влюблен в свою красотку, куманек-то мой!

— Просто без ума от нее,— сказала кузина Бетта.— Не сумел достать сорока тысяч, чтобы пристроить дочь, а вот откуда-то выкопал же их для своей новой *пассии*.

— А как, по-вашему, она его любит? — спросил Кревель.

— В его-то годы?.. Что вы! — сказала старая дева.

— Ну и дурак же я! — воскликнул Кревель.— Ведь терплю же я Элоизиного художника, совсем как Генрих Четвертый терпел Бельгарда при Габриэли! Ох, старость, старость!.. Здравствуй, Селестина, здравствуй, мое сокровище! А где же твой мальчуган? А вот и он! Честное слово, он становится похож на меня... Здравствуйте, Викторен, друг мой. Как дела?.. Ну, скоро опять попируем на свадьбе?

Селестина и ее муж знаками указывали ему на Лизбету, и, наконец, дочь вызывающе спросила отца:

— На чьей это свадьбе?

Кревель хитро подмигнул ей в знак того, что он сейчас исправит свой промах.

— На свадьбе Гортензии,— отвечал он.— Но дело еще не вполне решено. Я только что от Леба, и там толковали о дочери Попино: ее тоже прочат за нашего молодого советника кассационного суда, который, того и гляди, станет первым председателем в провинции... Пожалуйте к столу.

В семь часов Лизбета уже возвращалась домой в омнибусе, так как ей не терпелось увидеть Венцеслава, который водил ее за нос целые три недели и которому она все же несла полную корзинку фруктов, собственноручно уложенных Кревелем, вдруг удвоившим нежность к «своей дорогой кузине Бетте». Задыхаясь, она взбежала по лестнице. Художник оканчивал скульптурное украшение ларчика, предназначенного для его милой Гортензии. Орнамент крышки представлял собою ветви гортензий, среди которых резвились амуры. Несчастный влюбленный, чтобы покрыть расходы по этому ларчику, который он задумал выполнить из малахи-

та, сделал для Флорана и Шанора два канделябра — настоящие шедевры — и уступил их в полную собственность заказчикам.

— Вы совсем заработались, дорогой друг,— сказала Лизбета, обтирая ему платком влажный лоб и целуя его.— Так утомлять себя в эту жару, по-моему, просто опасно. В самом деле, ваше здоровье может пострадать... Смотрите-ка, вот вам персики и сливы от господина Кревеля... Не изнуряйте себя так, я заняла две тысячи франков, и, на худой конец, мы можем их вернуть, продав ваши часы! Только меня берет сомнение насчет моего заимодавца, он сегодня прислал мне какую-то гербовую бумагу, вот она.

И Лизбета подложила судебное оповещение о предстоящем аресте под эскиз памятника маршалу Монкорне.

— Для кого это вы делаете такую прелесть? — спросила она, держа на ладони ветви гортензий из красного воска, которые Венцеслав отложил в сторону, занявшись персиками.

— Для ювелира.

— Какого ювелира?

— Право, не знаю. Стидман попросил меня *свалять* эту вещь вместо него, потому что его очень торопят.

— А ведь это гортензии! — сказала Лизбета сдавленным голосом.— Почему же для меня вы до сих пор ничего не вылепили из воска? Неужто так трудно придумать какой-нибудь перстень или шкатулку мне на память? — прибавила она, бросая взгляд на художника, который, к счастью, успел опустить глаза.— И вы еще говорите, что любите меня!

— Вы сомневаетесь... мадемуазель?

— Раньше вы со своей «мадемуазель» таким тоном не говорили!.. Послушайте, с того самого часа, когда я застала вас при смерти, вон там... я только и думаю, что о вашей участи. Когда я вас выходила, вы клялись мне в вечной преданности... Я никогда вам не напоминала об этом, но сама взяла на себя обязательство. Я сказала себе: «Раз уж мальчик так мне доверился, я устрою его счастье, добуду ему богатство». И вот мне, наконец, удалось вполне вас обеспечить.

— Каким образом? — спросил художник, чувствуя

себя на седьмом небе от счастья и по наивности не подозревая ловушки.

— А вот как...— продолжала Лизбета.

Она не могла отказать себе в жестоком наслаждении любоваться Венцеславом, глядевшим на нее с сыновним чувством, сквозь которое излучалась его любовь к Гортензии, и это сияние его глаз ввело в заблуждение старую деву. Наблюдая впервые огоньки страсти в глазах мужчины, Лизбета вообразила, что они зажжены ею.

— ...Господин Кревель готов дать нам в долг сто тысяч франков для того, чтобы мы основали торговый дом. Он дает эту ссуду лишь при условии, говорит он, что вы женитесь на мне... Вот какие причуды у этого толстяка!.. Ну, что вы на это скажете? — спросила она.

Художник побледнел, как мертвец, и смотрел на свою благодетельницу потухшим взглядом, в котором можно было прочесть все его мысли. Он даже рот открыл от удивления.

— Никто еще не давал мне так ясно понять, до чего я уродлива! — промолвила Бетта с горькой усмешкой.

— Мадемуазель,— отвечал Стейнбок,— вы моя благодетельница и для меня никогда не будете уродливой. Я крепко привязался к вам, но мне еще нет и тридцати, а...

— А мне уже сорок три! — подхватила Бетта.— Вот моей кузине Юло минуло сорок восемь, и она все еще внушает бешеные страсти. Но она хороша собою!

— Но между нами разница в пятнадцать лет, мадемуазель! Ну, разве мы пара? Ради самих себя мы должны хорошенько обо всем поразмыслить. Поверьте, я всегда буду признателен вам за ваши благодеяния. А что до ваших денег, они будут вам возвращены через несколько дней.

— Мои деньги? — воскликнула Лизбета.— Вы, очевидно, считаете меня каким-то бездушным ростовщиком.

— Простите,— возразил Венцеслав,— но вы сами так часто напоминали мне о долге... Одним словом, вы меня сами создали, так и не губите же меня!

— Вы собираетесь бросить меня, я это вижу,— сказала Лизбета, качая головой.— Кто внушил вам такую

черную неблагодарность? Ведь вы что воск в чужих руках! Неужто вы потеряли доверие ко мне, вашему доброму гению?.. А я-то работала целые ночи напролет ради вас... А я-то отдала вам все, что сберегла за свою жизнь! А я-то, бедная труженица, целых четыре года делила с вами последний кусок хлеба, ничего для вас не жалела и старалась внушить вам мужество...

— Мадемуазель, довольно, довольно! — воскликнул Стейнбок, становясь на колени и протягивая к ней руки.— Ни слова больше! Через три дня я объяснюсь с вами, скажу вам все. Позвольте,— сказал он, целуя ее руки,— позвольте мне познать счастье! Ведь я люблю и пользуюсь взаимностью.

— Ну, будь счастлив, мой мальчик,— сказала Бетта, поднимая его.

Она поцеловала его в лоб и в голову с такой жадностью, с какой приговоренный к смерти ловит последние мгновения жизни в утро перед казнью.

— О, вы самое благородное, самое лучшее существо в мире! Вы такая же хорошая, как и та, которую я люблю! — воскликнул художник.

— Я все еще люблю вас, как же мне не беспокоиться о вашем будущем? — сказала Бетта, и лицо ее омрачилось.— Иуда повесился!.. Все неблагодарные кончают плохо!.. Вы бросаете меня,— ну так вы больше ничего в жизни путного не сделаете! Обдумайте все хорошенько. Ведь можно же и не связывать себя браком, потому что я старая дева, руки мои похожи на сухие виноградные лозы, я не хочу губить в своих объятиях цвет вашей юности, ваше вдохновение, как вы выражаетесь! Но неужели мы не можем быть вместе, не связывая себя браком? Послушайте, у меня есть деловая смекалка, я могу скопить вам состояние, потрудившись лет десять... Ведь я сама бережливость! А молодая жена будет сама расточительность; с ней вы все растеряете, гоняясь за заработком, лишь бы сделать ее счастливой. Но ведь от счастья останутся только воспоминания! Когда я думаю о вас, у меня руки опускаются, так и сижу целыми часами... Знаешь что, Венцеслав, не уходи-ка ты от меня... А-а? Постой-ка, постой, теперь я все понимаю! У тебя будут любовницы, красотки, вроде этой самой Валери, которой не терпится увидеть тебя. Она даст тебе счастье,

какого ты не можешь найти со мной. А потом ты женишься, когда я обеспечу тебе тридцать тысяч годового дохода.

— Вы ангел, мадемуазель, и я никогда не забуду этой минуты,— отвечал Венцеслав, отирая слезы.

— Вот таким я вас люблю, дитя мое,— сказала она, восторженно глядя на него.

Тщеславие у всех нас так сильно развито, что Лизбета поверила в свою победу. Она пошла на великую жертву, предложив юноше г-жу Марнеф! Никогда еще она не испытывала такого жгучего волнения, впервые почувствовала она, как ее сердце переполняется радостью. Чтобы снова пережить такие минуты, она продала бы душу дьяволу.

— Я связан словом,— отвечал Венцеслав,— я люблю женщину, с которой никакая другая не сравнится. Но вы для меня были и навсегда останетесь матерью. Вы заменили мне родную мать, которую я потерял.

Слова эти были снежной лавиной, рухнувшей в огнедышащий кратер вулкана. Лизбета села, обвела сумрачным взглядом художника, который, казалось, был воплощением юности, образцом благородной красоты; его прекрасное чело, его поэтические кудри, весь его облик будили в ней подавленные страсти, и глаза ее на мгновение затуманились слезами. Она напоминала те готические статуи, которые средневековые ваятели воздвигали на гробницах.

— Я не стану тебя проклинать,— сказала она, вдруг вскакивая с места.— Ты сущий младенец! Да хранит тебя бог!

И сбежав вниз, она заперлась у себя.

«Она любит меня,— подумал Венцеслав.— Бедняжка! Откуда только взялось у нее красноречие! Она сумасшедшая».

Так кончилась последняя попытка Бетты, сухой и трезвой души, сохранить для себя одной живое олицетворение красоты и поэзии; она боролась за него с той неистовой энергией, с какою утопающий пытается выбраться на песчаный берег.

Днем позже, в половине пятого утра, когда граф Стейнбок еще почивал, послышался стук в дверь его мансарды; он пошел отворить и увидал двух дурно оде-

тых мужчин, которым сопутствовал третий, судя по одежде, захудалый судебный пристав.

— Вы граф Венцеслав Стейнбок? — спросил этот последний.

— Да, сударь.

— Моя фамилия Грассе, сударь. Я преемник господина Лушара, пристава коммерческого суда.

— Чем могу служить?

— Вы арестованы, сударь. Благоволите последовать с нами в тюрьму Клиши... Потрудитесь одеться... Мы, как видите, соблюдаем приличия... Я не взял муниципальной стражи; у подъезда ожидает фиакр.

— Вас препроводят в тюрьму наилучшим образом...— добавил один из полицейских агентов.— Рассчитываем на вашу щедрость!

Стейнбок оделся, сошел вниз; два полицейских агента с обеих сторон держали его под руки. Они подсадили его в извозчичью карету, кучер тронул, не ожидая приказания,— видимо, он знал, куда ему ехать. В какие-нибудь полчаса злополучный иностранец, по соблюдении всех формальностей, был заключен под стражу, даже не заявив протеста,— до такой степени он растерялся от неожиданности.

В десять часов утра Венцеслава вызвали в тюремную канцелярию, где его ожидала Лизбета; заливаясь слезами, она передала ему деньги, чтобы он мог лучше питаться и получить камеру, достаточно просторную для работы.

— Мой мальчик,— сказала она,— не говорите никому о вашем аресте, не пишите ни одной живой душе, не губите своей будущности! Необходимо скрыть этот позор; я скоро освобожу вас, я достану нужную сумму... Будьте спокойны, напишите мне, что вам нужно для вашей работы, я все принесу. Я умру, но добьюсь вашего освобождения!

— О, я буду дважды обязан вам жизнью! —воскликнул он.— Ведь если я окажусь в глазах людей негодяем, я потеряю то, что мне дороже жизни!

Лизбета вышла, ликуя; она надеялась, держа своего художника под замком, расстроить его брак с Гортензией. Исчезновение Стейнбока она хотела объяснить тем, что он был якобы женат и теперь благодаря хлопотам

своей жены помилован и уехал в Россию. С этой целью она направилась к баронессе около трех часов дня, в самое неурочное время, потому что в этот день Юло не ожидали ее к обеду. Но ей так хотелось насладиться волнением племянницы, напрасно поджидающей своего Венцеслава!

— Ты останешься обедать с нами, Бетта? — спросила баронесса, стараясь скрыть свое беспокойство.

— О, конечно!

— Отлично! — отвечала Гортензия.— Пойду распоряжусь, чтобы не запаздывали с обедом, ведь ты вечно спешишь!

Гортензия взглядом успокоила мать и пошла предупредить лакея, чтобы он не впускал господина Стейнбока, когда тот придет; но лакей вышел куда-то, и Гортензии пришлось отдать это распоряжение горничной, которая тут же побежала к себе наверх взять рукоделие, чтобы не сидеть в прихожей сложа руки.

— Ну, а мой возлюбленный? — спросила кузина Бетта Гортензию, когда та вернулась.— Вы им больше не интересуетесь?

— Да, кстати, как он поживает? — сказала Гортензия.— Ведь он теперь знаменитость! Ты, должно быть, довольна,— шепнула она на ухо кузине.— Все только и говорят о графе Венцеславе Стейнбоке.

— Еще бы не быть мне довольной,—громко ответила Бетта.— Граф Стейнбок сбился с пути. Если бы нужно было его очаровать, отвлечь от парижских удовольствий, я бы как-нибудь справилась с ним. Но говорят, что, не желая упустить такого художника, император Николай помиловал его...

— Полноте! — воскликнула баронесса.

— Откуда тебе это известно? — спросила Гортензия, у которой сжалось сердце.

— А как же? — продолжала жестокая Бетта.— Вчера пришло письмо от особы, с которой он связан священными узами,— от его законной жены, и она сама пишет ему об этом. Он хочет уехать... Ах, какой он глупец,— вздумал променять Францию на Россию!..

Гортензия взглянула на мать, и голова ее запрокинулась. Баронесса едва успела подхватить девушку, ибо,

побелев, как кружева ее воротничка, она потеряла сознание.

— Лизбета, ты убила мою дочь! — вскричала баронесса.— Ты родилась нам на горе.

— Еще что скажете! Я-то тут при чем, Аделина? — спросила Бетта, вскочив и принимая угрожающую позу, на что взволнованная баронесса даже не обратила внимания.

— Прости, я погорячилась,— отвечала Аделина, поддерживая Гортензию.— Позвони, пожалуйста!

В это время дверь растворилась, обе женщины обернулись и увидели Венцеслава Стейнбока, которому вместо отлучившейся горничной отперла дверь кухарка.

— Гортензия! — воскликнул художник и бросился к женщинам.

На глазах матери он поцеловал свою невесту в лоб, но так благоговейно, что баронесса даже не могла рассердиться. Это оказалось самым верным средством от обморока, надежнее всяких нюхательных солей. Гортензия открыла глаза, увидела Венцеслава, и краски снова заиграли на ее лице. Минутой позже она совсем пришла в себя.

— Так вот что вы от меня скрывали? — сказала кузина Бетта, улыбаясь Венцеславу и притворяясь, что она угадывает истину по смущенному виду своих родственниц.— Как же ты решилась похитить у меня моего возлюбленного? — спросила она Гортензию, увлекая ее в сад.

Гортензия простодушно рассказала кузине о своем романе. Мать и отец, уверенные, что Бетта так и не выйдет замуж, сказала она, разрешили графу Стейнбоку бывать у них в доме. Однако Гортензия, уподобляясь Агнесе, достигшей совершеннолетия, решила приписать случайности покупку группы Самсона и появление в их доме художника, который, по ее словам, захотел познакомиться с первым своим покупателем. Вскоре и Стейнбок присоединился к кузинам; он горячо поблагодарил старую деву за то, что она способствовала его быстрому освобождению. Лизбета чисто по-иезуитски отвечала, что заимодавец дал ей лишь туманные обещания и она не рассчитывала, что Венцеслава освободят ранее следующего утра; но, как видно, заимодавец по-

торопился, устыдившись своего недостойного поступка. Впрочем, старая дева, казалось, была довольна и поздравила Венцеслава с его помолвкой.

— Злой мальчик! — сказала она ему в присутствии Гортензии и ее матери.— Если бы вы третьего дня вечером признались мне, что любите мою племянницу и пользуетесь взаимностью, я бы не пролила столько слез... Я-то думала, что вы совсем покидаете своего старого друга, свою наставницу!.. А теперь выходит, что мы с вами еще и породнимся! Теперь нас свяжут узы, правда, слабые, но вполне достаточные для тех чувств, какие я к вам питаю...

И она поцеловала Венцеслава в лоб. Гортензия кинулась в объятия кузины и заплакала.

— Я обязана тебе своим счастьем,— сказала она.— Никогда этого я не забуду!

— Кузина Бетта,— сказала баронесса, целуя Лизбету на радостях, что все так хорошо обошлось.— Мы с бароном перед тобой в долгу, но мы в долгу не останемся. Пойдем в сад, поговорим о делах,— прибавила она, уводя ее с собой.

Лизбета сыграла, таким образом, роль доброго ангела всей семьи: ее благословляли и Кревель, и Юло, и Аделина, и Гортензия.

— Мы не хотим, чтобы ты работала,— сказала баронесса.— Если считать, что ты зарабатываешь сорок су в день, исключая воскресенье, то это составляет шестьсот франков в год. Ну, а как велики твои сбережения?

— Четыре тысячи пятьсот франков.

— Бедная кузина! — воскликнула баронесса.

Она подняла глаза к небу, так она растрогалась при мысли о том, каких трудов и лишений стоила эта сумма, скопленная за тридцать лет. Но Лизбета, превратно истолковав восклицание кузины, усмотрела в нем насмешку и презрение выскочки, и к ее ненависти примешалась изрядная доля желчи, меж тем как у баронессы не осталось и тени недоверия к тирану ее детства.

— Мы увеличим эту сумму до десяти тысяч франков,— продолжала Аделина,— сделаем вклад на твое имя с тем, чтобы ты пользовалась процентами, а Гортензию запишем как собственницу капитала без права

пользования. Таким образом, у тебя будет шестьсот франков годового дохода.

Лизбета, казалось, была на вершине счастья. Когда она вернулась из сада, прижимая платок к глазам, утирая радостные слезы, Гортензия стала рассказывать ей, какие блага посыпались на Венцеслава, любимца всей их семьи.

Итак, вернувшись домой, барон застал всю семью в сборе; баронесса в первый раз назвала графа Стейнбока своим сыном и обещала, если муж ее согласится, назначить свадьбу через две недели. Едва член государственного совета перешагнул порог гостиной, как жена и дочь кинулись к нему навстречу: одна спешила что-то шепнуть ему на ухо, другая поцеловать его.

— Вы слишком поторопились, сударыня, связывая меня обещаниями,— строго сказал Юло.— Брак еще не решен,— продолжал он, бросив взгляд на Стейнбока.

Молодой человек побледнел.

«Он знает о моем аресте»,— подумал злополучный художник.

— Идемте, дети,— прибавил отец, приглашая дочь и ее жениха в сад.

И он сел с ними на замшелую скамью в беседке

— Граф, любите ли вы мою дочь, как я любил ее мать? — спросил барон.

— Еще сильнее, сударь,— отвечал художник.

— Мать ее была дочь крестьянина... бесприданница...

— Я готов взять мадемуазель Гортензию в том, в чем она есть, без всякого приданого...

— Охотно верю! — сказал барон, улыбаясь.— Гортензия — дочь барона Юло д'Эрви, члена государственного совета, директора департамента военного министерства, человека, награжденного большим офицерским крестом ордена Почетного легиона, брата графа Юло, который обессмертил себя военными подвигами и будет маршалом Франции. К тому же у нее есть приданое!

— Конечно, меня могут заподозрить в честолюбии,— сказал влюбленный художник,— но если бы даже моя дорогая Гортензия была дочерью рабочего, я бы все равно на ней женился...

— Вот это я и желал узнать,— продолжал барон.—

Поди-ка, Гортензия, оставь нас с графом одних, мы побеседуем. Ты видишь, как искренне он тебя любит.

— Ах, папочка, я знала отлично, что вы шутите,— сказала Гортензия, сияя от счастья.

— Дорогой мой Стейнбок,— начал барон, как только они остались одни, чаруя художника изяществом речи и необыкновенным благородством манер.— Когда мой сын женился, я назначил ему двести тысяч франков; из этой суммы бедный мальчик не получил и никогда не получит и двух лиаров. Приданое моей дочери составит двести тысяч франков, в получении которых вы распишетесь...

— О да, господин барон...

— Не спешите,— остановил его член государственного совета.— Благоволите выслушать меня. Нельзя требовать от зятя той преданности, какую мы вправе ожидать от сына. Моему сыну было известно все, что́ я могу сделать и что́ я сделаю для его будущего: он будет министром, он легко получит свои двести тысяч. Что касается вас, молодой человек,— дело другое! Вы получите шестьдесят тысяч франков в виде пятипроцентных облигаций казначейства на имя вашей жены. Из этих денег вы должны будете выделить небольшую ренту для Лизбеты; но она долго не проживет, у нее чахотка, мне это известно. Не разглашайте этой тайны, пусть бедная девушка умрет спокойно. Мы дадим Гортензии приданого на двадцать тысяч франков; мать передаст ей тысяч на шесть своих бриллиантов.

— Сударь, вы меня подавляете своей щедростью,— смущенно сказал Стейнбок.

— Что касается остальных ста двадцати тысяч франков...

— Довольно, сударь,— прервал его художник,— мне ничего не нужно, кроме моей дорогой Гортензии...

— Потрудитесь выслушать меня, пылкий юноша! Что касается остальных ста двадцати тысяч франков, у меня их нет... Но вы их получите...

— Сударь!..

— Вы их получите... от правительства в виде заказов, которые я вам устрою,— порукой тому мое честное слово! Вам отведут мастерскую при правительственных складах мрамора. Дайте на выставку несколько хороших

статуй, и я введу вас в Академию. В высших правительственных сферах благоволят к моему брату и ко мне, и, надеюсь, мне удастся испросить для вас заказ на скульптурные работы в Версале,— вот вам уже четвертая часть указанной мною суммы! Наконец, вы получите несколько заказов от города Парижа, от палаты пэров... Заказчиков у вас будет столько, дорогой мой, что вам понадобится взять себе помощников. Вот каким образом я расплачусь с вами! Обдумайте, устраивает ли вас подобное приданое, взвесьте свои силы...

— Я уверен, что у меня хватит сил обеспечить свою жену и без посторонней помощи,— сказал великодушный художник.

— Вот это я люблю! — воскликнул барон.— Прекрасная юность без страха и упрека! Я сам готов копья ломать за женщин! Итак,— добавил он, взяв молодого скульптора за руку и похлопывая по ней своей рукою,— я согласен. В ближайшее воскресенье — брачный договор, в следующую субботу — к алтарю... Как раз это день рождения моей жены!

— Все обстоит благополучно,— сказала баронесса, обращаясь к дочери, прильнувшей к окну,— отец и твой жених обнимаются.

Вернувшись вечером домой, Венцеслав нашел разгадку своего внезапного освобождения: привратник передал ему объемистый запечатанный пакет, заключавший в себе его долговое обязательство, денежную расписку по всей форме, приложенную к копии постановления суда, а также следующее письмо:

«Дорогой Венцеслав!

Сегодня в десять часов утра я приходил за тобой, чтобы представить тебя одной высочайшей особе, выразившей желание с тобой познакомиться. Тут-то я и узнал, что *англичане* отправили тебя на один из своих островов, столица коих именуется Клиши-Кастль.

Я тотчас же помчался к Леону де Лора и заявил ему в шутливом тоне, что без четырех тысяч франков ты не можешь выехать со своей «дачи», а меж тем испортишь все свое будущее, ежели не явишься к своему августейшему покровителю. Гениальный Бридо, познавший в молодости нищету и знакомый с твоей историей, к счастью,

был тут же. Сын мой, вдвоем они сколотили нужную сумму, и я поспешил расплатиться за тебя с бедуином, который запрятал тебя в тюрьму, совершив тем самым преступление, наказуемое как оскорбление гения. Так как в полдень мне нужно было быть в Тюильри, мне не удалось увидеть тебя вдыхающим вольный воздух. Памятуя, что ты дворянин, я поручился за тебя перед моими друзьями; но ты непременно повидайся с ними завтра.

Леон и Бридо не нуждаются в твоих деньгах. Каждый из них потребует от тебя по одной скульптуре, и они будут правы. Таково мое мнение — мнение человека, который хотел бы называться твоим соперником, но остается лишь твоим товарищем.

Стидман.

P. S. Я сообщил принцу, что ты только завтра вернешься из путешествия, и он сказал: «Ну, в таком случае до завтра».

Итак, граф Венцеслав почил на пурпуровом ложе, которое стелет нам, без единой складочки, богиня Счастья. Эта божественная хромоножка не спешит снизойти к людям гениальным и шествует к ним еще медленнее, чем Справедливость и Богатство, ибо волею Юпитера она лишена повязки на глазах. Балаганная шумиха шарлатанов легко вводит ее в заблуждение, привлекая ее взор мишурным блеском и погремушками, и она расточает свои милости, созерцая и оплачивая шутовские представления, тогда как ей подобало бы искать людей достойных в темных мансардах, где они ютятся.

Теперь необходимо пояснить, каким образом у барона Юло составилась сумма приданого Гортензии и откуда взял он средства, чтобы оплатить сумасшедшие расходы на устройство прелестной квартирки, где должна была поселиться г-жа Марнеф. Этот финансовый план был отмечен печатью того особого таланта, с каким расточители и люди, одержимые страстями, ухитряются лавировать на скользких путях, где их подстерегает роковая случайность. Вот чем объясняется непонятная, казалось бы, сила, которую придает иным людям порок и которая позволяет всяким честолюбцам,

сладострастникам — словом, всем верноподданным дьявола совершать чудеса ловкости.

Накануне утром старик Иоганн Фишер, повинный уплатить тридцать тысяч франков по векселю, по которому деньги фактически получил его племянник, поставлен был перед необходимостью объявить себя банкротом, в случае если бы барон не возвратил взятой суммы.

Почтенный седовласый эльзасец, дожив до семидесяти лет, все еще питал слепое доверие к Юло, который в глазах этого старого бонапартиста был озарен лучами наполеоновской славы; поэтому он спокойно прогуливался вместе с банковским агентом по прихожей своей маленькой конторы, помещавшейся в нижнем этаже и обходившейся ему в восемьсот франков в год; отсюда он руководил операциями по поставке зерна и фуража.

— Маргарита пошла за деньгами, тут поблизости,— говорил он агенту.

Человек в серой форме с серебряными галунами так хорошо знал добросовестность дядюшки Фишера, что готов был оставить ему все его векселя на тридцать тысяч франков, но старик не отпускал его, говоря, что восьми еще не пробило. Но вот у подъезда остановился кабриолет, старый эльзасец кинулся на улицу, с трогательной уверенностью протянул руку, и барон вручил своему дядюшке тридцать банковых билетов.

— Проезжайте немного подальше, остановитесь отсюда дома за три... Я вам потом объясню, почему,— сказал старик Фишер.— Вот, молодой человек, получайте! — заявил он, вернувшись в контору, и, отсчитав деньги представителю банка, проводил его до самых дверей.

Когда банковский агент скрылся из виду, Фишер подозвал кабриолет, где его дожидался высокопоставленный племянник, некогда правая рука Наполеона, и, приглашая его войти в дом, сказал:

— Неужели вы хотите, чтобы во Французском банке знали, что вы собственноручно внесли мне тридцать тысяч франков, хотя числитесь только поручителем по векселю? Более чем достаточно и того, что там имеется подпись такого человека, как вы!

— Пойдемте-ка с вами в садик, папаша Фишер,—

сказал сановник.— А ведь вы еще крепкий мужчина,— продолжал он, усаживаясь в виноградной беседке и окидывая старика взглядом, каким вербовщики осматривают добровольца, продающего себя в рекруты.

— Крепок, хоть пожизненную ренту покупай! — весело отвечал Фишер, сухощавый, подвижной и бодрый старичок с живыми глазами.

— Жары не боитесь?

— Напротив.

— Что вы скажете об Африке?

— Неплохая страна!.. Французы ходили туда с маленьким капралом.

— Для нашего общего блага,— сказал барон,— вам необходимо поехать в Алжир...

— А мои дела?..

— Один чиновник военного ведомства выходит в отставку, жить ему не на что, и он готов купить ваше предприятие.

— А что делать в Алжире?

— Заниматься поставкой провианта для армии, зерна и фуража. Ваше назначение уже подписано. Закупать провиант вы сможете на семьдесят процентов ниже тех цен, какие мы поставим вам в счет.

— Как же доставать этот провиант?

— А на что же набеги, налоги и туземные царьки? В Алжире (стране, еще мало известной, хотя мы уже восемь лет там хозяйничаем) огромные запасы зерна и фуража. Когда запасы эти принадлежат арабам, мы их отбираем, находя тысячи всяких предлогов; затем, когда провиант уже в наших руках, арабы стараются вернуть его обратно. Идет жестокая борьба из-за хлеба; но никогда нельзя в точности установить, сколько украдено с той и с другой стороны. В открытом поле некогда взвешивать зерно, как на парижском Главном рынке, и мерить сено, как на улице Анфер. Арабские вожди, как и наши спаги, всегда нуждаются в деньгах и продают провиант по самой низкой цене. Но военному интендантству необходимо определенное количество продовольствия. Оно заключает сделки по баснословным ценам, учитывая трудности приобретения провианта и опасности, которым подвергаются караваны. Вот вам Алжир с точки зрения поставщика провианта! Это сплошная не-

разбериха и чернильная канитель, как во всяком новом управлении. Пройдет добрый десяток лет, пока мы, администраторы, научимся разбираться во всей этой путанице. Но у частных лиц зрение зоркое! Итак, поезжайте в Алжир и богатейте. Ставлю вас туда, как Наполеон ставил какого-нибудь нищего маршала во главе королевства, где можно было негласно поощрять контрабанду. Я разорен, мой дорогой Фишер! Мне нужно достать сто тысяч франков в течение года...

— Что за беда, если мы позаимствуем их у бедуинов,— ответил спокойно эльзасец.— Так делалось при императоре...

— Покупатель вашей конторы придет к вам сегодня утром и отсчитает вам десять тысяч франков,— продолжал барон Юло.— Надеюсь, этих денег вам хватит для поездки в Африку?

Старик утвердительно кивнул головой.

— Что касается доходов там, на месте, то будьте покойны! — продолжал барон.— А здесь я получу остаток от продажи вашего дела, я нуждаюсь в деньгах.

— В вашем распоряжении все, даже моя жизнь,— сказал старик.

— О, не опасайтесь ничего,— возразил барон, преувеличивая проницательность своего дядюшки.— Что касается взимания налога, тут ваша репутация не пострадает; все зависит от властей, а властей назначу туда я сам и могу на них вполне положиться. Запомните, папаша Фишер: тайна не на жизнь, а на смерть! Я вас знаю и потому говорю с вами без обиняков и околичностей.

— Баста! Еду,— сказал старик.— А надолго ли?..

— На два года! Вы скопите чистых сто тысяч франков и заживете припеваючи у себя в Вогезах.

— Все будет сделано по вашему желанию. Ваша честь мне дороже моей собственной,— спокойно сказал старичок.

— Вот таких людей я люблю! Однако ж вы должны до своего отъезда попировать на свадьбе вашей внучатной племянницы, она скоро будет графиней.

Однако ни налоги, ни набеги, ни цена, предложенная отставным чиновником министерству за контору Фишера, не могли сразу же дать нужную сумму, в которую входили

шестьдесят тысяч франков на приданое Гортензии (включая наряды, стоившие около пяти тысяч франков) и сорок тысяч франков, израсходованные или имеющие быть израсходованными на г-жу Марнеф. Откуда же достал барон тридцать тысяч франков, которые он принес дядюшке Фишеру? А вот откуда. За несколько дней перед тем он застраховал свою жизнь в сто пятьдесят тысяч франков, сроком на три года, в двух страховых обществах. Заручившись страховым полисом, страховая премия по которому была уплачена, он обратился с нижеследующей речью к барону Нусингену, пэру Франции, который после заседания палаты пэров пригласил его к себе обедать и повез в своей карете.

— Барон, мне нужно семьдесят тысяч франков, и я прошу их у вас. Вы возьмете подставное лицо, которому я передам на три года в качестве залога право пользования моим жалованьем. Оно достигает двадцати пяти тысяч франков в год, что составит семьдесят пять тысяч франков. Вы можете возразить: «А вдруг вы умрете?»

Нусинген кивнул головой в знак согласия.

— Вот страховой полис на сто пятьдесят тысяч франков, по которому вам будет причитаться восемьдесят тысяч франков,— продолжал барон Юло, вынимая бумагу из кармана.

— *А если ви потеряйт место?*..— сказал барон-миллионер, посмеиваясь.

Барон-немиллионер принял озабоченный вид.

— *Не беспокойтезь, я зделаль это замешанье только тля того, чтоби ви поняль, какой это будет заслуг з моей стороны, что я фам одолжу этот сумм. Ви, значит, отшень нужтайсь в теньгах, ведь банк имейт фаш подпись?*

— Я выдаю замуж дочь,— сказал барон Юло,— и не имею состояния, подобно всем, кто занимает посты в наше неблагодарное время, когда на парламентских скамьях сидят пятьсот буржуа, которые никогда не сумеют так щедро вознаградить преданных людей, как делал это император.

— *Полноте, ви зодержаль Шозефа!* — возразил пэр Франции.— *А это все опьясняйт! Между нами, герцог д'Эруфиль фам оказаль большой услуга, отняф этот пияфка от ваш кошелек. «Я этот горе зналь, сошустфовать умею...»* — прибавил он, воображая, что произносит фран-

цузские стихи.— *Слюшайте зофет труга: закройте фаш лафочка, или вам кришка...*

Эта сомнительная сделка совершена была при посредничестве мелкого ростовщика по имени Вовине, одного из тех ловкачей, которые вертятся около солидных банкирских домов, подобно мелкой рыбешке, составляющей как бы свиту акулы. Начинающий хищник Вовине обещал барону Юло — так был он заинтересован в покровительстве столь важной особы — дать ему тридцать тысяч под векселя сроком на три месяца, с обязательством возобновлять их каждые три месяца в течение года и до тех пор не пускать в обращение.

Преемник Фишера должен был уплатить сорок тысяч франков за его контору, но Юло обязывался дать ему подряд на поставку фуража в одном из ближайших к Парижу департаментов.

Таков был ужасающий лабиринт, в который страсти вовлекли одного из самых честных людей, одного из самых способных деятелей наполеоновской администрации: казнокрадство для уплаты долга ростовщику, заем у ростовщика для потворства своим страстям и на приданое дочери. Вся наука мотовства и все эти усилия были направлены на то, чтобы предстать в должном величии перед г-жой Марнеф и играть роль Юпитера этой буржуазной Данаи. Пытаясь нажить состояние, ни один честный человек никогда не разовьет такой бешеной деятельности, не обнаружит столько ума и столько смелости, сколько проявил их барон, чтобы влезть с головой в это осиное гнездо, он поспевал повсюду, исполнял свои служебные обязанности, торопил обойщиков, наблюдал за рабочими, тщательно вникал во все хозяйственные мелочи дома на улице Ванно. Поглощенный всецело г-жой Марнеф, он, однако ж, посещал заседания палат; он разрывался на части, но ни родные, ни посторонние не замечали этой лихорадочной суетливости.

Аделина была чрезвычайно удивлена, узнав, что ее дядя счастливо избежал банкротства и что в брачный контракт дочери было включено приданое, и теперь она испытывала какое-то беспокойство, которого не могла заглушить даже ее радость по поводу брака Гортензии, заключенного на таких почетных условиях; но накануне свадьбы, которую барон приурочил к тому дню, когда

г-жа Марнеф вступала во владение квартирой на улице Ванно, он рассеял недоумение жены, сделав ей следующее официальное сообщение:

— Аделина, наконец-то наша дочь выходит замуж, и все наши тревоги по этому поводу окончены. Настало время нам удалиться от света, ибо до выслуги пенсии мне осталось всего каких-нибудь три года, а потом я выйду в отставку. К чему нам вести такой широкий образ жизни? Квартира обходится нам в шесть тысяч франков в год, мы держим четырех слуг, на стол тратим тридцать тысяч франков. Если ты хочешь, чтобы я выполнил свои денежные обязательства,— а мне, видишь ли, пришлось сделать заем под залог моего жалованья сроком на три года, в связи с замужеством Гортензии и для уплаты долга твоему дяде,— то ты...

— Ах, ты хорошо сделал, мой друг! — сказала баронесса, не давая мужу договорить и целуя его руки.

Признание это положило конец всем ее страхам.

— Я хочу попросить тебя о маленькой жертве,— продолжал барон, отнимая свои руки и целуя жену в лоб.— Для нас нашли на улице Плюме отличную квартиру, во втором этаже, вполне подходящую, с великолепными дубовыми панелями, недорогую, всего полторы тысячи в год! Лично тебе потребуется лишь одна горничная, а мне нужен только простой слуга.

— Да, мой друг.

— Поставив дом на менее широкую ногу, но соблюдая все приличия, ты истратишь не более шести тысяч франков в год; мои личные расходы в счет не идут, я их беру на себя...

Великодушная женщина в полном восторге кинулась на шею к мужу.

— Как я счастлива, что могу снова доказать тебе свою любовь! — воскликнула она.— И какой же ты умница!..

— Мы будем принимать у себя раз в неделю наших родных, а я, как ты знаешь, редко обедаю дома... Ты можешь, не роняя своего достоинства, раза два в неделю обедать у Викторена и два раза у Гортензии; а так как я надеюсь наладить наши отношения с Кревелем, то один раз в неделю мы будем обедать у него... Пять обедов у родни и наш собственный, вот неделя и заполнена! Ведь

могут быть еще приглашения и помимо семейных обедов!

— Я постараюсь еще сэкономить кое-что для тебя,— сказала Аделина.

— О! — вскричал барон.— Ты у меня не жена, а настоящая жемчужина!

— Мой добрый, чудный Гектор! Я буду благословлять тебя до последнего моего вздоха,— отвечала она,— за то, что ты хорошо устроил замужество нашей дорогой Гортензии.

Так начался упадок дома прекрасной г-жи Юло и, скажем прямо, разрыв с ней мужа, торжественно обещанный им г-же Марнеф.

Толстый Кревель, разумеется, приглашенный на торжество подписания брачного контракта, держал себя так, словно той сцены, которой начинается наша повесть, никогда и не было и у него нет ни малейшей причины досадовать на Юло. Селестен Кревель был чрезвычайно любезен; в нем по-прежнему нет-нет да и сказывался бывший лавочник, но, став командиром батальона, он уже начинал приобретать величавость. Он заявил, что с удовольствием попляшет на свадьбе Гортензии.

— Прекрасная дама,— галантно обратился он к баронессе Юло,— такие люди, как мы с вами, умеют все забывать; не лишайте меня вашего общества и соблаговолите почтить мой дом, посетив меня вместе с вашими детьми. Будьте покойны, я словом не обмолвлюсь о том, что погребено в моем сердце. Я вел себя, как идиот, и за это наказан: не видеть вас — слишком большая для меня потеря.

— Сударь, порядочная женщина глуха к двусмысленным речам... И если вы сдержите свое обещание, поверьте, я буду рада, что окончены раздоры, весьма прискорбные среди родственников...

— Ну, ну! Полно тебе дуться, толстый забияка! — сказал барон, силой уводя Кревеля в сад.— Ты меня избегаешь даже в моем собственном доме? Не к лицу двум старым любителям прекрасного пола вздорить из-за юбки! Право же, это мещанство!

— Сударь, я не такой красавец, как вы, и не владею такими средствами обольщения, а посему не могу столь легко возмещать свои потери...

— Что это — ирония? — спросил барон.

— Побежденному позволительна ирония по отношению к победителю.

Начатая в таких тонах беседа привела к полному примирению; однако Кревель и не думал отказываться от своего плана отомстить барону.

Госпожа Марнеф пожелала присутствовать на свадьбе мадемуазель Юло. Для того чтобы принять свою будущую любовницу у себя в доме, член государственного совета вынужден был пригласить чиновников своего министерства, вплоть до помощников столоначальников. Приходилось дать большой бал. Как хорошая хозяйка, баронесса рассудила, что вечер обойдется дешевле свадебного обеда и притом позволит пригласить больше гостей. Итак, свадьба Гортензии наделала много шума.

Маршал князь Виссембургский и барон Нусинген, со стороны невесты, граф Растиньяк и граф Попино, со стороны Стейнбока, были свидетелями. А поскольку слава графа Стейнбока привлекла к нему виднейших представителей польской эмиграции, художник счел своим долгом и их пригласить. Государственный совет, членом которого состоял барон, министерство, в котором он служил, армия, желавшая почтить графа Форцхеймского, были представлены высшими чинами. Насчитывали двести обязательных приглашений. Кто не поймет желания какой-то госпожи Марнеф появиться во всей своей славе среди избранного общества?

Вот уже месяц баронесса хранила деньги, вырученные от продажи ее брильянтов и предназначенные на обзаведение дочери; самые дорогие камни баронесса сберегла ей в приданое. Драгоценности были проданы за пятнадцать тысяч франков, из которых пять тысяч поглотило приданое Гортензии. Но разве могло хватить десяти тысяч франков на устройство нарядного гнездышка, если принять во внимание требования современной роскоши? Впрочем, молодые супруги Юло, папаша Кревель и граф Форцхеймский преподнесли молодоженам ценные свадебные подарки — старый дядюшка давно отложил деньги на столовое серебро для своей племянницы. Благодаря столь солидной поддержке самая взыскательная парижанка была бы удовлетворена обстановкой в квартире молодой четы на улице Сен-Доминик, близ площади

Инвалидов. Там все гармонировало с их любовью, такой чистой, открытой, искренней...

Наконец наступил знаменательный день, ибо он был знаменательным как для Гортензии и Венцеслава, так и для их отца: г-жа Марнеф решила отпраздновать новоселье на другой день после своего падения и свадьбы двух влюбленных.

Кому не случалось, хотя бы раз в жизни, присутствовать на свадебном балу? Всякий из нас, предавшись воспоминаниям, несомненно, улыбнется, воскресив в памяти всю эту разряженную публику, эти парадные туалеты, эти торжественные физиономии! Из всех явлений общественной жизни свадебное торжество особенно наглядно доказывает влияние среды на человека. В самом деле, сугубо праздничный вид одних гостей так действует на других, что даже самые светские люди, для которых элегантная одежда — дело обычное, выглядят так, словно и для них свадебное торжество — целое событие. Итак, вспомните степенных господ, стариков, равнодушных ко всему на свете и появляющихся на балу в будничных черных сюртуках; вспомните престарелых супругов, на лицах которых написан печальный опыт жизни, только еще начинающейся для молодых; вспомните веселье, которое буйно рвется наружу, как газ из бутылки шампанского; вспомните сгорающих от зависти девиц и дам, озабоченных успехом своего туалета, и бедных родственников в платье с чужого плеча, представляющих собою резкую противоположность с людьми, расфранченными in fiocchi [1]; вспомните чревоугодников, мечтающих о вкусном ужине, игроков, мечтающих о карточном столе... И все они, богатые и бедные, те, что завидуют, и те, которым завидуют, философы и мечтатели, окружают невесту, как зелень в цветочной корзине окружает редкостный цветок. Свадебный бал — это все наше общество в миниатюре.

В самый разгар бала Кревель взял барона под руку и с невиннейшим видом шепнул ему на ухо:

— Убей меня бог! Какая красотка вон та дамочка в розовом, что строит тебе глазки...

— Какая дамочка?

— Жена помощника столоначальника, которого ты

---

[1] В пух и прах *(итал.)*.

продвигаешь всеми правдами и неправдами! Госпожа Марнеф.

— Откуда у тебя такие сведения?

— Послушай-ка, Юло, я готов простить твою вину передо мною, ежели ты представишь меня своей дамочке; тогда я приглашу тебя к Элоизе. Только и слышишь: «Кто такая вон та очаровательная женщина?» А ты уверен, что никто из твоих подчиненных не догадается, каким способом произошло назначение ее муженька?.. Ох! И счастливец же ты, мошенник ты этакий! Право же, она стоит канцелярии... О, я бы охотно поработал в ее канцелярии!.. Послушай-ка, *«будем друзьями, Цинна!»*

— С великим удовольствием,— ответил барон Юло парфюмеру,— и ты убедишься, что я славный малый! Через месяц я приглашу тебя отобедать у моего ангелочка... Да, да, старый приятель, теперь я сопричастился лику ангельскому! Бери пример с меня, беги от коварных демонов...

Кузина Бетта, поселившаяся к этому времени на улице Ванно, в прелестной квартирке на четвертом этаже, ушла с бала в десять часов вечера; старой деве не терпелось еще раз полюбоваться на ценные бумаги, обещавшие ей тысячу двести франков пожизненного дохода и представленные в двух долговых обязательствах; в одном из них собственницей капитала была названа графиня Стейнбок, в другом — Селестина Юло. Теперь понятно, почему Кревель решил заговорить со своим другом Юло о г-же Марнеф и откуда он почерпнул сведения о вещах, никому не известных. Г-н Марнеф отсутствовал, а кроме него, только кузина Бетта была посвящена в тайну отношений барона и Валери.

Барон имел неосторожность преподнести г-же Марнеф бальный туалет, слишком роскошный для жены помощника столоначальника; женщины от зависти к наряду и красоте Валери пришли в крайнее раздражение, зашушукались, прикрываясь веерами; бедственное положение Марнефов было предметом толков в канцелярии, ибо этот чиновник хлопотал о пособии как раз в то время, когда барон влюбился в его супругу. К тому же сам Гектор чересчур явно выражал свой восторг, наблюдая, с каким достоинством ведет себя его Валери, как спокойно она выдерживает недоброжелательные взгляды завистниц,

подвергнувших ее внимательному изучению, чего так боятся женщины, появляясь впервые в незнакомом обществе.

Усадив жену, дочь и зятя в карету, барон нашел предлог незаметно ускользнуть, предоставив сыну и снохе играть роль хозяев. Сам он вскочил в карету г-жи Марнеф и покатил с нею в ее новую квартиру; однако Валери была молчалива, задумчива, если не сказать — печальна.

— Мое блаженство наводит на вас тоску, Валери? — спросил барон, привлекая ее к себе.

— Неужели, друг мой, вы хотите, чтобы женщина, решившаяся потерять свою честь, не волновалась, хотя бы гнусное поведение мужа и давало ей полную свободу? Неужели вы думаете, что я бездушная, что я неверующая, безбожница? Нынче вечером вы были вне себя от восторга и до неприличия выставляли меня напоказ! Право же, ни один школьник не позволил бы себе такого фатовства! Зато все эти дамочки сделали из меня какую-то мишень и обстреливали меня колкими словами и взглядами! Ну, есть ли на свете такая женщина, которая не дорожила бы своим добрым именем, а? Вы погубили меня... Ну, конечно, теперь я безраздельно принадлежу вам! Искупить свой грех я могу только одним — хранить верность вам... Чудовище вы этакое! — воскликнула она, расхохотавшись, и позволила поцеловать себя.— Вы отлично знали, что делаете! Госпожа Коке, жена начальника вашей канцелярии, подсела ко мне, чтобы полюбоваться моими кружевами. «Английские? — спросила она.— И дорого они обошлись, сударыня?» — «Не знаю,— отвечала я,— кружева перешли ко мне от моей матери, я не настолько богата, чтобы позволить себе такую роскошь!»

Госпожа Марнеф сумела, как мы видим, так околдовать старого красавца времен Империи, что он и вправду счел себя виновником ее грехопадения и поверил, что из любви к нему она впервые нарушила супружеский долг. Она уверяла, что негодник Марнеф бросил ее на третий день после свадьбы, и по самой ужасной причине. Так она и живет с той поры целомудренной девушкой, и очень этому рада, ибо брачная жизнь внушает ей отвращение. Вот в чем причина ее грусти.

— А что, если и любовь не лучше брака?..— сказала она сквозь слезы.

Эта увлекательная ложь, излюбленный прием почти всех женщин, оказавшихся в положении Валери, приводила барона в упоение, он был на седьмом небе от восторга. И, быть может, как раз в то самое время, когда Валери разыгрывала недотрогу, влюбленный художник и Гортензия с нетерпением ожидали благословения и прощального поцелуя баронессы.

В семь часов утра барон, чувствуя себя на верху блаженства, ибо в своей Валери он обрел стыдливую девушку и самого отъявленного бесенка, вернулся сменить на посту супругов Юло-младших. Танцоры и танцорки, почти незнакомые хозяевам, но, как водится на свадебных балах, завладевшие всем домом, вели нескончаемые кадрили, именуемые контрдансами; игроки в бульот ожесточенно сражались за карточными столами; папаша Кревель выиграл шесть тысяч франков.

Утренние газеты поместили в отделе «Парижские новости» следующую заметку:

«Сегодня утром в церкви святого Фомы Аквинского состоялось бракосочетание графа де Стейнбока с мадемуазель Гортензией Юло, дочерью барона Юло д'Эрви, члена государственного совета и директора одного из департаментов военного министерства, племянницей прославленного графа Форцхеймского. Торжество привлекло много гостей. Среди присутствующих можно было видеть знаменитых художников: Леона де Лора, Жозефа Бридо, Стидмана, Бисиу, видных представителей военного министерства, государственного совета и многих членов обеих палат; присутствовали также верхи польской эмиграции — граф Пац, граф Лагинский и другие.

Граф Венцеслав Стейнбок является внучатным племянником знаменитого генерала Стейнбока, сподвижника шведского короля Карла XII. Молодой граф, участник польского восстания, искал убежища во Франции, где заслуженная слава его таланта дала ему право исхлопотать грамоту о натурализации».

Таким образом, несмотря на отчаянное положение барона Юло д'Эрви, были неукоснительно соблюдены все

требования, какие предъявляются общественным мнением; даже газеты отметили бракосочетание его дочери, не уступавшее в пышности женитьбе Юло-сына на мадемуазель Кревель. Свадебная церемония приглушила толки о стесненном финансовом положении директора, а приданое, указанное в брачном контракте его дочери, объяснило, почему ему пришлось прибегнуть к кредиту.

На этом оканчивается, если угодно, введение в нашу повесть. Предисловие это в отношении последующих драматических событий играет такую же роль, как предпосылка в логическом умозаключении или как пролог в любой классической трагедии.

Когда в Париже женщина решается пустить в оборот свою красоту и сделать из нее статью дохода, отнюдь не значит, что она непременно разбогатеет. Ведь немало самых обворожительных и умных женщин попадают в отчаянное положение и дурно кончают жизнь, начатую в вихре развлечений. И вот по какой причине: суметь воспользоваться выгодами позорного ремесла куртизанки и сохранить при этом личину порядочной женщины—этого еще недостаточно. Пороку нелегко достаются его победы. Порок и гениальность схожи в том отношении, что им обоим требуется счастливое стечение обстоятельств, сочетание удачи и личных дарований. Не будь в ходе революции своеобразного стечения событий, не было бы и императора, он оказался бы лишь вторым изданием Фабера. Продажная красота, без ценителей, без громкой известности, без ордена бесчестия, пожалованного за проглоченные состояния,— это Корреджо, ютящийся на чердаке, это гений, угасающий в мансарде. Парижская Лаиса должна, стало быть, прежде всего найти богача настолько влюбленного, чтобы дать за нее настоящую цену. Она всегда обязана быть чрезвычайно элегантной, ибо внешность служит ей вывеской; у нее должны быть манеры достаточно изящные, чтобы льстить самолюбию мужчин; она должна обладать остроумием Софи Арну, чтобы выводить пресыщенных богачей из состояния апатии, короче, она должна возбуждать желания распутников и изображать собою верную подругу одного из них, чтобы другие завидовали его счастью.

Все эти условия, именуемые женщинами такого сорта *везением*, нелегко осуществляются в Париже, хотя этот

город изобилует миллионерами, бездельниками, людьми пресыщенными и с извращенным воображением. Провидение покровительствует чиновникам и мелким буржуа, ибо окружающая среда создает их женам дополнительные трудности на пути к подобным успехам. Тем не менее в Париже найдется еще достаточно таких особ, как г-жа Марнеф, и потому Валери, как явление характерное, должна войти в нашу историю нравов. Иные из этих женщин подчиняются одновременно истинной страсти и необходимости, как г-жа Кольвиль, находившаяся столь долгое время в связи с одним из прославленных ораторов левой, банкиром Келлером; другими движет тщеславие, как то было с г-жой де ла Бодрэ, которая в общем осталась порядочной женщиной, несмотря на свое бегство с Лусто; одни сбились с пути из-за соблазнов моды, а те — из-за невозможности вести домашнее хозяйство на слишком скудный оклад мужа. Скаредность правительства или палат, если хотите знать, приносит немало несчастий, порождает растление нравов. В настоящее время многие печалятся о судьбе рабочего класса, изображают его жертвою душителей-фабрикантов, но правительство во сто крат беспощаднее самого алчного промышленника; в отношении чиновничьих окладов оно доводит свою бережливость до бессмыслицы. Работайте хорошенько, промышленность заплатит вам соответственно вашему труду; но что дает правительство легиону безвестных и добросовестных тружеников?

Сбиться с честного пути для замужней женщины — непростительное преступление; но и тут есть разные степени падения. Некоторые женщины, не вконец испорченные, скрывают свои грехи и с виду остаются женщинами порядочными, подобно тем двум особам, о любовных похождениях которых мы только что упомянули; тогда как другие присоединяют к своим грехам позор продажности. Г-жа Марнеф олицетворяла ту разновидность тщеславных замужних куртизанок, которые сразу же бросаются в разврат со всеми вытекающими отсюда последствиями и решают, играючи, нажить себе состояние, не гнушаясь никакими средствами; но почти все они, как г-жа Марнеф, имеют вербовщика и сообщника в лице своего супруга. Эти Макиавелли в юбках — опаснейшие особы; и в сонме распутных парижанок это самая худшая раз-

новидность. Явная куртизанка, как Жозефа, Шонтц, Малага, Женни Кадин и прочие, самой откровенностью своей профессии предупреждает вас так же ясно, как красный фонарь в притоне разврата или огни масляных ламп в игорных домах. Тут человек по крайней мере знает, откуда ему грозит разорение. А эта мнимая слащавая честность, эта показная добродетель, эти лицемерные повадки замужней женщины, лепечущей о мелких домашних нуждах и разыгрывающей бессребреницу, подготовляют разорение исподволь, и приходит оно так неожиданно, что неизвестно даже, кто в нем повинен. Презренная книга расходов, а не причуда фантазии пожирает целые состояния. Отец семейства разоряется бесславно, и в нищете у него даже не остается великого утешения — чувства удовлетворенного тщеславия.

Это рассуждение найдет отзвук во многих семьях. Г-жу Марнеф можно встретить во всех слоях общества, даже при дворе; ибо Валери — точный сколок с печальной действительности. К сожалению, портрет этот никого не излечит от пристрастия к ангелочкам с нежной улыбкой, с мечтательным взглядом, с невинным личиком и с несгораемым шкафом вместо сердца.

В 1841 году, почти через три года после замужества Гортензии, барон Юло д'Эрви, казалось, остепенился, *сократился*, по выражению главного хирурга Людовика XV, а между тем г-жа Марнеф стоила ему вдвое дороже, чем Жозефа. Валери, всегда скромно, но изящно одетая, подчеркивала простотой туалета, что она всего лишь жена помощника столоначальника; роскошь она позволяла себе только в пеньюарах и домашних платьях. Итак, она жертвовала тщеславием парижанки ради своего драгоценного Гектора. Впрочем, в театре она появлялась в прелестной шляпке и элегантнейшем наряде; в театр барон вывозил ее в карете, и они сидели в лучшей ложе.

Квартира на улице Ванно занимала весь третий этаж нового особняка с двором и садом. Там все дышало благопристойностью. Роскошь состояла лишь в том, что стены комнат были обтянуты персидскими тканями, а мебель была красива и удобна. Зато спальня отличалась кричащим великолепием убранства, характерным для разных Женни Кадин и Шонтц. Тут были и кружевные занавески, и кашемировые шали, и парчовые портьеры, и

каминный прибор, состоящий из канделябров, часов и прочих предметов, выполненных по моделям самого Стидмана, и горка с чудесными безделушками. Юло хотел, чтобы гнездышко его Валери не уступало в пышности раззолоченному вертепу Жозефы. Из двух парадных комнат, гостиной и столовой, первая была обтянута красным штофом, вторая обшита резным дубом. Но, увлеченный желанием все привести в гармонию, барон через полгода присоединил к роскоши эфемерной роскошь солидную и преподнес Валери ценное столовое серебро, счет на которое превышал двадцать четыре тысячи франков.

Дом г-жи Марнеф приобрел в два года репутацию весьма приятного дома. Там играли в карты. Сама Валери вскоре была признана женщиной любезной и умной. А для того чтобы оправдать перемену в ее положении, был пущен слух об огромном наследстве, якобы переданном ей по завещанию через третье лицо ее незаконным отцом, маршалом Монкорне. Заботясь о своем будущем, Валери присоединила к лицемерию общественному лицемерие религиозное. Она не пропускала ни одной воскресной службы и прослыла женщиной благочестивой. Она собирала пожертвования, раздавала в церкви просфоры, стала дамой-благотворительницей и сделала несколько добрых дел в своем квартале — разумеется, на средства Гектора.

Итак, приличие было соблюдено во всем. Не мудрено, что многие верили в чистоту отношений Валери с бароном Юло, указывая на его преклонный возраст и приписывая барону лишь платоническое восхищение тонким остроумием, подкупающей любезностью очаровательной г-жи Марнеф и удовольствием беседовать с ней,— нечто вроде пристрастия покойного Людовика XVIII к изысканно-галантной переписке с дамами.

Барон уходил около полуночи вместе с гостями и возвращался через четверть часа. А почему все это оставалось в глубокой тайне, объясняется следующим.

Швейцарами в доме были супруги Оливье: из темной и малодоходной каморки на улице Дуайене они перешли в великолепную и доходную швейцарскую на улице Ванно благодаря барону, который был приятелем домовладельца, искавшего себе привратника. Надо сказать, что г-жа Оливье, бывшая кастелянша при дворе Карла X,

свергнутая с этого *поста* вместе с законной монархией, имела троих детей. Старший, уже состоявший письмоводителем у нотариуса, был любимцем отца и матери. Сему Вениамину грозило шесть лет солдатчины, и он уже готов был распроститься со своей блестящей карьерой, но г-жа Марнеф добилась освобождения его от воинской повинности по причине какого-то органического недостатка, который всегда умеют отыскать врачи приемочной комиссии, если им об этом шепнет на ушко какое-нибудь влиятельное лицо из военного министерства. Итак, Оливье, бывший доезжачий Карла X, и его супруга распяли бы Христа ради барона Юло и г-жи Марнеф.

Что же мог сказать свет, которому был неизвестен короткий роман Валери с бразильцем Монтесом де Монтеханос? Ровно ничего... Свет, впрочем, всегда снисходителен к хозяйке салона, где можно так приятно провести время. Наконец г-жа Марнеф соединяла со всеми своими прелестями весьма ценное качество: она пользовалась немалым тайным влиянием. Так, Клод Виньон, ставший секретарем маршала князя Виссембургского и мечтавший попасть в государственный совет в качестве докладчика прошений, стал постоянным посетителем гостиной Валери, где бывали также некоторые депутаты, славные малые и картежники. Свой круг г-жа Марнеф составляла с мудрой неторопливостью; в состав его принимались только лица одинаковых взглядов и нравов, заинтересованные в том, чтобы оказывать друг другу поддержку и всюду трубить о неисчислимых достоинствах хозяйки дома. В Париже кумовство—своего рода Священный союз, запомните эту истину. Интересы могут расходиться, но люди порочные столкуются между собой.

Не прошло и трех месяцев со дня переезда г-жи Марнеф на улицу Ванно, как она приняла у себя г-на Кревеля, который вскоре после этого стал мэром своего округа и кавалером большого офицерского креста ордена Почетного легиона. Кревель долго колебался: приходилось расстаться со своим знаменитым мундиром национальной гвардии, в котором он щеголял в Тюильри, воображая себя заправским военным, не хуже Наполеона; но под влиянием советов г-жи Марнеф честолюбие взяло верх над тщеславием. Господин мэр рассудил, что его связь с мадемуазель Элоизой Бризту совершенно несо-

вместима с его политическим положением. Еще задолго до восшествия на буржуазный трон в мэрии он хранил в глубокой тайне свои любовные похождения. Но, как нетрудно догадаться, Кревель добился права как можно чаще мстить барону за похищение Жозефы, оплачивая это право государственной рентой в шесть тысяч франков, записанной на имя Валери Фортен, супруги дворянина Марнефа, имущественно с ним более не связанной. Вероятно, унаследовав от матери особое дарование содержанки, Валери разгадала с первого взгляда характер своего комичного обожателя. Слова: «Я никогда не имел дело с женщиной из общества!», сказанные Кревелем Лизбете и переданные Лизбетой своей дорогой Валери, были широко учтены при сделке, которая принесла ей пятипроцентную ренту в размере шести тысяч франков в год. С тех пор она прилагала все усилия, чтобы сохранить свой престиж в глазах бывшего приказчика Цезаря Бирото.

Кревель женился по расчету на единственной дочери мельника из Бри, и полученное ею наследство составило три четверти его состояния, ибо мелкие торговцы чаще всего обогащаются не столько своей торговлей, сколько союзом Лавки с Сельским хозяйством. Большинство фермеров, мельников, скотоводов, огородников, живущих в окрестностях Парижа, мечтают о карьере лавочницы для своих дочек, и им гораздо более по сердцу иметь зятем какого-нибудь мелкого торговца, золотых дел мастера или менялу, чем нотариуса или стряпчего, чье продвижение по социальной лестнице внушает им беспокойство; они опасаются встретить впоследствии со стороны этих почтенных буржуа презрительное к себе отношение. Г-жа Кревель, довольно неказистая, вульгарная и глупая женщина, умершая как раз вовремя, не доставила мужу никаких удовольствий, кроме радости отцовства. Поэтому в начале своей торговой карьеры этот распутник, связанный супружеским долгом и недостатком средств, принужден был укрощать свои страсти и испытывал муки Тантала. Общаясь, по собственному его выражению, с самыми что ни есть приличными парижанками, он провожал их до дверей лавки, отвешивая им поклоны, как полагается усердному приказчику; он восхищался их изяществом, их умением носить модные платья и тем неулови-

мым, что принято называть породой. Подняться до одной из этих светских фей было его заветным желанием с дней юности, затаенным в глубине сердца. Наконец он добился *благосклонности* г-жи Марнеф, и это было для него не только осуществлением несбыточной мечты, но и торжеством гордости, тщеславия, самолюбия. Честолюбие его возрастало вместе с успехом. Он испытывал огромное, чисто рассудочное наслаждение, а когда в игру вступает рассудок, неминуемо начинает говорить и сердце, и блаженство удесятеряется. К тому же г-жа Марнеф доставляла Кревелю такие изысканные радости, о каких он и не подозревал,—ведь ни Жозефа, ни Элоиза его не любили, а г-жа Марнеф сочла нужным дурачить его, так как он был для нее неиссякаемым денежным мешком. Обманы продажной любви обольстительнее любви настоящей. В истинной любви нередко возникают ссоры из-за пустяков, которые задевают за живое; но ссора, вызванная ради потехи, только ласкает самолюбие одураченного любовника; к тому же редкие свидания разжигали желание в Кревеле, доводили его притупленную чувственность до настоящей страсти. Он вечно наталкивался на напускную неприступность г-жи Марнеф, которая постоянно твердила об угрызениях совести, о том, что должен думать о ней ее отец в селениях праведных... Всякий раз ему приходилось преодолевать ее притворную холодность, торжествовать мнимую победу, когда продувная бабенка, казалось, уступала лишь бешеной страсти этого буржуа; но тут же, словно устыдившись минутной слабости, она вновь принималась за свои ужимки, выказывая гордость, подобающую порядочной женщине, сдержанность настоящей леди, и постоянно подавляла Кревеля величием своей души, ибо с самого начала она уверила его в своей добродетельности. Наконец Валери сочетала в себе все те свойства любовницы, которые делали ее незаменимой как для Кревеля, так и для барона. В обществе она являла собою волшебное сочетание стыдливой, мечтательной невинности, безупречного благоприличия, тонкого ума со светской любезностью, прирожденным изяществом, вкрадчивым обхождением креолки; но с глазу на глаз она превосходила всех куртизанок, была забавна, увлекательна, неисчерпаема в своих выдумках. Подобные контрасты чрезвычайно нравятся таким людям,

как Кревель; им лестно воображать себя единственным виновником комедии, которая разыгрывается только для них, и они забавляются очаровательным даром притворства, любуясь комедианткой.

Валери превосходно сумела прибрать к рукам барона Юло и убедила его не стыдиться своей старости; при этом она прибегала к тончайшей лести, проявляла поистине дьявольскую изобретательность, свойственную женщинам такого сорта. Даже у очень жизнеспособных натур наступает момент, когда, как в осажденной крепости, стойко выдерживавшей осаду, вдруг обнаруживается брешь. Предвидя близкое крушение красавца времен Империи, Валери нашла нужным ускорить развязку. «На что ты так мучаешь себя, мой старенький вояка? — как-то раз сказала она после шести месяцев их тайного и вдвойне прелюбодейного сожительства.—Неужели ты еще хочешь нравиться женщинам? Неужели собираешься изменить мне? Для меня ты был бы еще милее, если бы не красился. Прошу тебя, пожертвуй своими поддельными прелестями. Ты воображаешь, что я люблю тебя за дешевый лак на твоих сапогах, за резиновый пояс, за корсет и накладной хохол? Ведь чем старше ты будешь, тем я буду спокойнее, что никакая соперница не отнимет у меня моего Гектора!..» Итак, уверовав в ее бескорыстную дружбу, так же как он был уверен в ее любви, член государственного совета, мечтавший окончить свой жизненный путь бок о бок с Валери, последовал ее совету и перестал красить волосы и бакенбарды. Вняв трогательным уговорам Валери, старый красавец Юло в одно прекрасное утро превратился в совершенно седого старика. Г-жа Марнеф доказала без труда своему дорогому Гектору, что она уже сто раз замечала, как у него пробивается седина у корней крашеных волос.

— Седые волосы удивительно вам к лицу! — сказала она, взглянув на него.— Они смягчают резкость черт... Вы стали гораздо красивее, вы просто очаровательны!

Раз вступив на эту дорожку, барон не замедлил снять и кожаный жилет и корсет; он освободился от всех своих лямок. Живот опустился, тучность стала явной. Могучий дуб превратился в пузатую башню, а затрудненность в движениях внушала все большие опасения, потому что барон, разыгрывая Людовика XII, быстро дряхлел.

Только черные брови смутно напоминали прежнего красавца Юло,— так архитектурная деталь, уцелевшая на полуобвалившейся стене феодального замка, дает представление о его былой красоте. Все еще молодые глаза своей странной живостью разрушали гармонию этого потемневшего лица,— некогда оно дышало живыми красками рубенсовской плоти, а ныне было помято, изборождено морщинами и выдавало кипение запоздалых страстей, восстающих против природы. Юло превратился в одну из тех прекрасных человеческих руин, у которых былая мужественность пробивается наружу в виде кустиков растительности в ушах, ноздрях, на пальцах, похожей на мох, которым одевает время бессмертные памятники Римской империи.

Но как же удавалось Валери держать подле себя и Кревеля и Гектора Юло, если мстительный командир батальона только и мечтал о том, чтобы шумно отпраздновать победу над бароном? Не отвечая сразу на этот вопрос, который будет разрешен в ходе нашей драмы, можно, однако, указать, что Лизбета и Валери вели вдвоем коварную игру, которая весьма способствовала успехам г-жи Марнеф. Г-н Марнеф вдруг обнаружил, что супруга его очень похорошела, вращаясь в той среде, где она царила, подобно Солнцу среди плеяды планет, и на глазах всего общества стал вести себя как человек, без памяти влюбленный в свою жену. Хотя ревность г-на Марнефа и нарушала общее веселье, зато она придавала необычайную ценность ласкам Валери. Однако Марнеф по-прежнему выказывал доверие своему начальнику, переходившее в какое-то комическое благодушие. Единственным поклонником Валери, раздражавшим мужа, был Кревель.

Марнеф, истощенный всеми видами разврата, описанного римскими поэтами-сатириками и процветающего в столицах, хотя в кодексе современной морали нет ему даже названия, стал омерзителен, как восковая фигура в анатомическом кабинете. Этот ходячий гнойник, облаченный в отличное сукно, нетвердо держался на ногах, костлявых, как у скелета, обтянутых, однако, щегольскими панталонами. Благоухающая сорочка прикрывала его тощую грудь, и мускус заглушал смрадный запах гнили, исходящий от его тела. Эта растленная тварь, стоявшая

на краю могилы, франтовски разодетая, ибо Валери наряжала Марнефа сообразно его состоянию, будущему ордену и чину, наводила ужас на Кревеля, который с трудом выдерживал взгляд белесых глаз помощника столоначальника. Заметив, какую важную роль приписывали ему Лизбета и его жена, негодный плут вошел во вкус своего нового положения и ловко пользовался им, а так как карты были единственным прибежищем для его души, столь же истрепанной, как и тело, то он беззастенчиво обыгрывал Кревеля; тот считал своим долгом *поджимать хвост* перед почтенным чиновником, которого *он обманывал.*

Наблюдая, каким мальчишкой держит себя Кревель в присутствии этой отвратительной мумии, чья продажность оставалась для мэра тайной, а главное, видя, что Валери немилосердно вышучивает бывшего парфюмера, барон даже мысли не допускал о соперничестве с ним и постоянно приглашал Кревеля к обеду.

Валери, охраняемая двумя обожателями, стоявшими подле нее на страже, и ревнивым мужем, привлекала к себе все взгляды, возбуждала пламенные желания в том кругу, где она блистала. Таким образом, соблюдая все внешние приличия, ей удалось в три года не без труда добиться успеха, о каком мечтают куртизанки и который так редко выпадает на их долю даже с помощью скандальной дерзости и блеска их открытого образа жизни. Подобно искусно граненному алмазу в прелестной оправе от Шанора, красота Валери, недавно еще погребенная в кладезях улицы Дуайене, оценивалась теперь выше ее действительной стоимости,— она покоряла все сердца!.. Клод Виньон втайне был влюблен в Валери.

Это отступление, необходимое в тех случаях, когда встречаешься с людьми, которых не видел уже три года, как бы подводит итоги деятельности Валери. А вот каковы итоги ее сообщницы Лизбеты.

Кузина Бетта находилась в доме Марнефов на положении родственницы, исполняющей попутно обязанности компаньонки и ключницы; но ей удалось избегнуть вдвойне унизительной участи, ранящей самолюбие тех несчастных, которые берут на себя столь двусмысленные обязанности. Лизбета и Валери представляли собою трогательное зрелище дружбы, столь горячей и столь малове-

роятной между женщинами, что неисправимые злоязычники парижане тотчас дают ей превратное толкование. Резкое различие между мужественной и рассудочной натурой этой дочери Лотарингии и натурой хорошенькой креолки Валери служило поводом к клевете. Впрочем, г-жа Марнеф, сама того не замечая, давала пищу для сплетен, проявляя чересчур большую заботу о будущем своей подруги, помогая ей осуществить брачные планы, которые, как это будет видно, должны были завершить месть Лизбеты. Удивительный переворот произошел в кузине Бетте; решив заняться ее туалетом, Валери сделала в этом отношении все, что было возможно. Теперь эта своеобразная особа, заботясь о тонкости своей талии, затягивалась в рюмочку, смазывала брильянтином гладко зачесанные волосы, мирилась с модными платьями от лучших портних, не уродуя их фасонов, носила изящнейшие ботинки и серые шелковые чулки,— причем все эти чудеса модных лавок заносились в счета Валери и оплачивались кем надлежало. Посвежевшая, нарядная, но попрежнему не расстававшаяся со своей желтой шалью, Бетта буквально преобразилась, и кто не видел ее эти три года, тот ни за что бы ее не узнал. Этот черный алмаз, редчайший из алмазов, ограненный искусной рукой и вставленный в красивую оправу, был оценен по достоинству двумя-тремя честолюбивыми чиновниками. Всякий, кто видел Бетту впервые, невольно приходил в волнение, плененный ее дикой прелестью, которую искусница Валери сумела резко оттенить, придав элегантность этой Кровавой монахине. Бандо черных волос теперь художественно обрамляли ее сухое смуглое лицо, на котором горели черные глаза, под стать ее иссиня-черным волосам, а покрой платья выгодно обрисовывал ее негибкий стан. Словно мадонна Кранаха или Ван-Эйка, словно Дева Мария, сошедшая с полотен византийского живописца, Бетта хранила суровую строгость линий, роднящую эти таинственные образы с Изидой и прочими богинями, статуи которых воздвигали египетские ваятели. То был оживший гранит, базальт, порфир. Будучи обеспечена на весь остаток своих дней, Бетта пребывала в прекрасном расположении духа, она вносила веселье всюду, куда ее приглашали обедать. Барон, сверх того, оплачивал ее маленькую квартирку, обставленную, как

было сказано, всяким хламом из будуара и спальни ее приятельницы Валери. «Начала я жизнь настоящею голодной козой,—говорила Бетта,—а кончаю ее львицей». Она по-прежнему выполняла сложные басонные работы для г-на Риве. «Для чего же,—говорила она,—даром время терять». Между тем жизнь ее, как увидит читатель, была полна забот. Но таков уж характер у крестьян: никогда не успустят они случая заработать, в этом отношении они похожи на евреев.

Утром чуть свет кузина Бетта шла вместе с кухаркой на Главный рынок. В планы Бетты входило, чтобы книга расходов, разорявшая барона, обогащала ее дорогую приятельницу, и она в самом деле обогащала Валери.

Какая хозяйка дома не испытывала после 1838 года роковых последствий опасных для общества доктрин, распространяемых среди низших классов вольнодумными писателями? В каждом доме ущерб, наносимый слугами, стал в наше время самой чувствительной из всех финансовых бед. За редкими исключениями, которые заслуживали бы премии Монтиона, слуги, будь то повар или повариха, все — домашние воры, воры на жалованье, воры обнаглевшие, в отношении которых правительство играет роль укрывателя, потворствуя их воровским наклонностям, почти оправданным у кухарок старинной шуткой о ручке корзинки. Там, где прежде эти женщины выгадывали сорок су на лотерейный билет, теперь они утаивают по пятидесяти франков для сберегательной кассы. А у нас во Франции бесстрастные пуритане, забавляясь опытами благотворительности, проводимой на научной основе, воображают, будто они улучшают нравы! Между господским столом и рынком домашние слуги учредили свою негласную заставу по взиманию пошлин на съестные припасы; и сам город Париж не столь искусен в сборе ввозных пошлин, как наши кухарки, взимающие дань с каждого купленного ими предмета. Сверх пятидесяти процентов барыша, которые слуги получают при каждой покупке, они еще требуют крупных вознаграждений и от поставщиков. Самые солидные купцы и те трепещут перед их таинственной властью; каретники, ювелиры, портные и прочие беспрекословно платят им подати. А тот, кто вздумает последить за слугами, нарывается на дерзости или терпит большой урон от их умышленной

неловкости; нынче слуги наводят справки о господах, как прежде господа наводили справки о слугах. Зло, поистине достигшее крайнего предела, уже вынуждает судебную власть принимать строгие меры, пока, правда, безрезультатные; только закон, который обяжет прислугу завести расчетные книжки, как у рабочих, сможет искоренить это зло, и тогда, поверьте, оно пресечется как по волшебству. Если слуга будет обязан предъявить расчетную книжку, а хозяин станет отмечать в ней причины увольнения, распущенности домашней прислуги наступит конец. Люди, занятые высокой политикой наших дней, не подозревают об испорченности низших классов парижского общества: она равна зависти, пожирающей их. Статистика умалчивает о том, какое огромное количество мастеровых в возрасте двадцати лет женится на кухарках лет сорока и даже пятидесяти лет, разбогатевших на воровстве. Дрожь охватывает, когда подумаешь о последствиях подобных союзов, рассматривая их с трех точек зрения: преступности, вырождения и несчастных браков. Что же касается вреда чисто финансового порядка, проистекающего от воровства прислуги, то это ущерб огромный с государственной точки зрения. Жизнь, таким образом, становится вдвое дороже, а это заставляет многие семьи отказаться от всякой роскоши... Роскошь! Да ведь на ней держится половина всей торговли страны, и она служит украшением жизни! Книги, цветы для многих столь же необходимы, как хлеб.

Лизбета, которой этот страшный бич парижских домов был хорошо известен, подумывала взять в свои руки хозяйство Валери еще со времени той зловещей сцены, когда она обещала приятельнице свою поддержку и обе они поклялись отныне жить, как две сестры. Итак, она выписала из глуши Вогезов свою родственницу с материнской стороны, бывшую кухарку епископа в Нанси, благочестивую старую деву безупречной честности. Но, опасаясь ее неопытности в парижских условиях и особенно дурных советов, способных сбить с пути неустойчивую честность, Лизбета сопровождала Матюрену на Главный рынок и приучала ее самостоятельно покупать провизию. Знать настоящую стоимость продуктов, чтобы заслужить уважение продавцов, разнообразить стол такими, например, блюдами, как рыба, когда она недорога, быть в

курсе цен на каждый продукт и предвидеть их повышение, чтобы вовремя сделать запасы,— вот премудрость, которую необходимо усвоить парижанке, желающей экономно вести домашнее хозяйство. Матюрена получала хорошее жалованье, ее баловали подарками, и она настолько привязалась к дому, что радовалась каждой дешевой покупке. В скором времени она перещеголяла Лизбету в уменье дешево купить, и Лизбета, считая ее уже достаточно опытной и достаточно честной, стала отпускать ее на рынок одну, за исключением тех дней, когда у Валери бывали гости, что, кстати сказать, случалось довольно часто. И вот почему: барон первое время строго соблюдал приличия, но его страсть к г-же Марнеф вскоре стала такой пылкой, такой ненасытной, что он решил почти совсем не расставаться со своей возлюбленной. Сначала он обедал у Валери четыре раза в неделю, а потом почел за благо обедать у нее каждый день. Спустя полгода после свадьбы дочери барон стал отпускать две тысячи франков в месяц на стол. Г-жа Марнеф приглашала тех лиц, которых ее дорогой Гектор желал угостить. Впрочем, обед всегда готовился на шесть персон, и барон в любой день мог пригласить к столу трех человек, не предупредив хозяйку. Лизбета своей бережливостью разрешила крайне трудную задачу: обеспечить превосходный стол на тысячу франков в месяц и отдавать другую тысячу франков г-же Марнеф. Наряды Валери широко оплачивались Кревелем и бароном; стало быть, приятельницы выгадывали и на этой статье расхода еще тысячу франков в месяц. Таким образом, г-жа Марнеф, это святое, наивное создание, уже имела около ста пятидесяти тысяч франков сбережений. Валери не только не трогала ренты, но еще откладывала деньги, сэкономленные в хозяйстве, и присоединяла к ним огромные суммы, исходившие от щедрот Кревеля, который к тому же умножал доходы своей «герцогинюшки», вкладывая ее капиталы в собственные финансовые операции. Кревель посвятил Валери в тайны биржевого жаргона и биржевой игры, и, как все парижанки, она быстро превзошла своего учителя. Лизбета не расходовала ни лиара из своих тысячи двухсот франков, не тратилась, как было сказано, на туалеты и квартиру, не вынимала ни одного су из своего кармана, а потому тоже скопила капиталец, в пять или

шесть тысяч франков, которые Кревель по-родственному пустил в оборот.

Однако любовь барона и Кревеля была тяжким бременем для Валери. В тот день, когда возобновляется изложение событий нашей драмы, Валери, взволнованная одним из тех важных происшествий, какие в нашей жизни подобны набату, поднимающему всех на ноги, побежала к Лизбете, чтобы предаться у приятельницы элегическим сетованиям, пустопорожним жалобам, которыми женщины упиваются, как курильщик — папироской, и рассеивают свои мелкие житейские невзгоды.

— Лизбета, любовь моя! У меня сегодня свидание с Кревелем. Два часа убийственной тоски! Ах, если бы ты могла заменить меня!

— К несчастью, это невозможно,— сказала Лизбета, улыбаясь.— Я умру девицей.

— Принадлежать двум старикам! Бывают минуты, когда мне стыдно за себя! Ах, если бы видела меня моя бедная мать!

— Ты, должно быть, принимаешь меня за Кревеля?— отвечала Лизбета.

— Скажи мне, Бетта, душенька моя, ты меня не презираешь?

— Пустяки говоришь! Если бы я была хороша собой, уж я бы не отказалась от... приключений! — воскликнула Лизбета.— Вот и оправдание тебе!

— Но ты бы слушалась только своего сердца,— сказала г-жа Марнеф, вздыхая.

— Все это вздор! — отвечала Лизбета.— Марнеф сущий мертвец, которого забыли похоронить; барон все равно что твой муж, а Кревель твой обожатель. Право же, у тебя все в полном порядке, как у любой женщины.

— Ах, не в этом дело, моя дорогая, моя милая, не в этом мое горе! Ты не хочешь меня понять...

— О, напротив!..— вскричала Лизбета.— Ведь то, на что ты намекаешь, входит в мои замыслы. Подожди немножко... Я не сижу сложа руки!

— Любить Венцеслава, сохнуть по нем и не иметь возможности его видеть! — сказала Валери, лениво потягиваясь.— Юло приглашает его обедать, а наш милый художник отказывается! Ему даже на ум не приходит, что его обожают, изверг он этакий! Ну, что такое его жена?

Красивая кукла! Да, она хороша, но я, по-моему, куда опаснее!

— Будь покойна, моя девочка, он придет,— сказала Лизбета ласковым тоном, как говорят с капризным ребенком нянюшки.— Я этого добьюсь...

— Но когда же?

— Возможно, на этой неделе.

— Дай я тебя расцелую!

Как видите, эти женщины составляли одно целое: всякий поступок Валери, даже самый вольный, всякая ее забава, всякий каприз обсуждались предварительно ими обеими.

Лизбету смутно волновала жизнь куртизанки; она во всем подавала советы Валери и с неумолимой последовательностью осуществляла план своей мести. Впрочем, она привязалась к Валери, заменившей ей дочь, подругу, радости любви. В Валери ее привлекала покорность креолки, изнеженность сластолюбивой натуры; всякое утро Валери приходила к ней поболтать, и это доставляло Лизбете гораздо больше удовольствия, чем в былое время беседы с Венцеславом; тут они могли посмеяться над своими проделками, над глупостью мужчин и вместе подсчитать возрастающие прибыли с благоприобретенных капиталов. К тому же на своем новом поприще и в этой новой привязанности Лизбета нашла для своей деятельности почву куда более благодарную, нежели в безрассудной любви к Венцеславу. Наслаждение удовлетворенной ненависти—одно из самых жгучих, самых сильных чувств. Любовь — это своего рода золото, а ненависть — железо, добытое все из того же рудника, что заложен в недрах души. Наконец Валери была для Лизбеты воплощением той блистательной красоты, которую она обожала, как обожаем мы все, чем не обладаем сами, да и сердце у Валери как будто было более отзывчиво, чем у Венцеслава, всегда остававшегося холодным и равнодушным к своей покровительнице.

Прошло три года, и Лизбета начала пожинать плоды невидимой разрушительной работы, которой она посвятила всю свою жизнь и в которую вложила всю свою изобретательность. Лизбета обдумывала, г-жа Марнеф выполняла; Лизбета была рукой, направляющей секиру; и под ударами этой нетерпеливой руки рушилась

семья, день ото дня становившаяся для Лизбеты все ненавистнее, ибо ненависть растет, как растет с каждым днем любовь, стоит только полюбить! Любовь и ненависть — чувства, которые питаются сами собою, но из этих двух чувств ненависть более живуча. Силы любви ограничены; жизнеспособность ее зависит от условий существования и степени собственной ее расточительности. Ненависть подобна смерти и скупости, это своего рода действенная абстракция, существующая над людьми и событиями. Лизбета, попав в благоприятную среду, развернула все свои способности; она властвовала незримо, как властвуют иезуиты. Для нее наступила пора полного обновления личности. Она вся сияла. Она мечтала стать женой маршала Юло.

Описываемая сцена, из которой видно, что приятельницы делились друг с другом своими мыслями без всяких обиняков и околичностей, происходила как раз после возвращения Лизбеты с рынка, где она закупила провизию для изысканного обеда: Марнеф, метивший на место г-на Коке, угощал столоначальника обедом вместе с его добродетельной супругой, и Валери надеялась в тот же вечер обсудить с бароном Юло вопрос об отставке вышеназванного чиновника. Лизбета одевалась, собираясь идти обедать к баронессе.

— Ты вернешься разливать чай, Бетта? — спросила Валери.

— Надеюсь...

— Надеешься? Уж не думаешь ли ты остаться ночевать у Аделины, чтобы упиться ее слезами, покуда она спит?

— Ах, если бы это было возможно! — отвечала, смеясь, Лизбета.— Я бы не отказалась. Она искупает теперь свое счастье... Я довольна, я не забыла наше с нею детство. Всякому свой черед. Подожди, ее смешают с грязью, а я... я буду графиней Форцхеймской!..

Лизбета направилась на улицу Плюме, куда она ходила последнее время, как ходят в театр, желая испытать приятное волнение.

Квартира, выбранная бароном для жены, состояла из просторной прихожей, гостиной и спальни вместе с туалетной комнатой. Рядом с гостиной находилась столовая. Две комнаты для прислуги и кухня, расположенная

в четвертом этаже, дополняли это помещение, все же достойное члена государственного совета и директора департамента военного министерства. Особняк, двор и лестница производили величественное впечатление. Баронесса, которой пришлось обставить гостиную, спальню и столовую остатками прежнего великолепия, выбрала самое лучшее из мебели, украшавшей апартаменты особняка на Университетской улице. Бедняжке были дороги эти немые свидетели ее былого счастья: они стали для нее самыми красноречивыми утешителями. Прошлое в ее воспоминаниях все еще было усыпано цветами, подобно тому, как ветхие ковры все еще сохраняли, на ее взгляд, яркие узоры, хотя были они уже едва заметны для постороннего глаза.

Сердце сжималось, когда вы входили в просторную прихожую, напоминавшую своим убранством унылые министерские прихожие: дюжина стульев, барометр, большая печь, длинные занавески из белого коленкора с красной оторочкой; сразу чувствовалось, в каком одиночестве живет эта женщина. Горе, как и радость, всегда отражается на убранстве дома. С первого взгляда, брошенного на обстановку, узнаешь, что в нем царит: любовь или отчаяние. Представьте себе Аделину в огромной спальне, уставленной прекрасной мебелью крапчатого красного дерева работы Жакоб Демальтера, с украшениями из бронзы во вкусе Империи, которые замораживают вас еще больше, нежели медные орнаменты в стиле Людовика XVI! Грустно было видеть эту женщину, сидящую в «римском» кресле, перед рабочим столиком со сфинксами, поблекшую, но внешне бодрую, сохранившую прежнюю царственность осанки, как сумела она сохранить синее бархатное платье, которое носила дома. Ее гордый дух поддерживал тело и оберегал его красоту. К концу первого года затворничества в новой квартире баронесса поняла всю глубину своего несчастья. «Что ж,— говорила она себе,— поселив меня здесь, Гектор поставил меня в условия даже слишком роскошные для простой крестьянки. Он пожелал поступить со мной так. Да будет воля его! Я, баронесса Юло, невестка маршала Франции, я не совершила ни малейшего проступка; дети мои устроены, я могу спокойно ожидать смерти, облекшись в незапят-

нанный покров моей супружеской верности, в траур по моему погибшему счастью!»

Портрет Юло, писанный Робером Лефевром в 1810 году, в мундире главного интенданта императорской гвардии, висел на стене над рабочим столиком, в который Аделина, как только ей докладывали о посетителе, прятала книгу «Подражание Христу»,— это было ее обычное чтение. Так эта непорочная Магдалина внимала гласу духа святого в своей пустыне.

— Мариетта,— сказала кузина Бетта кухарке, отворившей ей дверь,— скажите, голубушка, как поживает наша дорогая Аделина?..

— Да как вам сказать... С виду неплохо, барышня. А не хочу греха таить: уморит она себя, коли будет стоять на своем! — шепнула Мариетта на ухо гостье.— Уж вы бы уговорили ее питаться получше! Со вчерашнего дня хозяйка приказала мне подавать ей к завтраку молока на два су и хлебец в одно су; а на обед — или селедку, или кусочек холодной говядины: фунт мяса велела растянуть на целую неделю,— конечно, если будет обедать одна... Она, видите ли, не хочет расходовать на свое пропитание больше десяти су в день. Куда же это годится? Думала я пожаловаться на такую затею господину маршалу, да боюсь, как бы он не разгневался на господина барона и не лишил бы его наследства... А вот вы у нас такая добрая да рассудительная, вы уж придумаете, как все наладить...

— Но почему же вы не скажете об этом барону? — спросила Лизбета.

— Ах, дорогая моя барышня, ведь мы не видели его вот уже три недели, а то и все четыре,— столько же, сколько вы у нас не были! А тут еще госпожа пригрозила мне: «Уволю тебя, посмей только попросить у барона денег!» А что у нее на сердце-то!.. Ах, бедная госпожа! И натерпелась же она горя! Впервые ведь случилось, что барон о ней не вспоминает так долго... Бывало, как она услышит звонок, так и кидается к окошку... А вот последние пять дней сидит, не сходя с кресла. Читает, видите ли! А всякий раз, как ей отправляться к дочке, скажет мне: «Мариетта, ежели барон придет, скажите, что я дома, и живо посылайте за мной швейцара; я ему хорошо заплачу!»

— Бедная кузина! — сказала Бетта.— У меня прямо сердце разрывается! Всякий день я говорю о ней с кузеном. Но что тут станешь делать? Он отвечает: «Ты права, Бетта, я негодяй! Моя жена ангел, а я чудовище. Я приду завтра...» И остается у госпожи Марнеф. Эта женщина его разоряет, а он ее боготворит, не надышится на нее. Я делаю все, что могу! Не будь там меня, не будь моей Матюрены, барон тратил бы вдвое больше! А так как в кармане у него ни гроша, то, чего доброго, еще пустил бы себе пулю в лоб. Ну, а что было бы дальше? Видите ли, Мариетта, смерть мужа убила бы Аделину, я в этом уверена! Вот я и стараюсь по крайней мере сводить концы с концами и не даю кузену транжирить деньги...

— Ах! То же самое говорит и бедная госпожа! Она хорошо понимает, как она вам обязана,— отвечала Мариетта.— Она говорит, будто долгое время была несправедлива к вам...

— А-а! — протянула Лизбета.— А больше она вам ничего не говорила?

— Нет, барышня! Если желаете ее порадовать, потолкуйте с ней о бароне. Она говорит, что вы счастливая, потому что всякий день его видите.

— Она сейчас одна?

— Что вы, помилуйте, у нее маршал! Ого! Он-то навещает ее каждый день. А госпожа всякий раз говорит ему, что барон уходит из дому утром и возвращается поздней ночью.

— А что, обед сегодня хороший? — спросила Бетта.

Мариетта медлила с ответом, ей было трудно выдержать сверлящий взгляд старой девы. Вдруг дверь гостиной распахнулась, и маршал Юло быстрыми шагами прошел через прихожую; мимоходом он кивнул Бетте, едва взглянув на нее, и не заметил, что обронил какую-то бумажку. Бетта подняла бумажку и побежала вслед за ним, потому что бесполезно было бы кричать глухому; но она сделала вид, что не успела догнать маршала, вернулась и прочла записку, написанную карандашом:

«Дорогой брат, муж выдал мне деньги на хозяйственные расходы на три месяца вперед; но у Гортензии были денежные затруднения, и я одолжила ей всю эту сумму, которой, кстати сказать, едва ей хватило. Не можете ли

вы дать мне взаймы несколько сот франков? Я не хочу снова просить денег у Гектора, мне было бы очень больно заслужить от него упрек».

«Ах, вот оно что! — подумала Лизбета.— Раз эта гордячка пошла на такое унижение, в какой же крайности она оказалась!»

Лизбета вошла, увидела, что Аделина плачет, и бросилась ей на шею.

— Аделина, дорогая моя, я знаю все!—сказала она.— Посмотри-ка, маршал обронил эту записку, до того он был взволнован. И он бежал, как борзая... А этот безобразник Гектор! Значит, он с тех самых пор не давал тебе денег?..

— Он выдает мне деньги очень исправно,— отвечала баронесса,— но Гортензии понадобилось... и...

— И тебе не на что было сегодня заказать для нас обед? — перебила ее Бетта.— Теперь я понимаю, почему у Мариетты был такой смущенный вид, когда я спросила ее насчет обеда. Перестань ребячиться, Аделина! Послушай, возьми у меня мои сбережения.

— Благодарю, хорошая моя Бетта,— отвечала Аделина, отирая слезы.— Временно я оказалась в стесненном положении, но впредь я буду осмотрительнее. Теперь я не стану тратить больше двух тысяч четырехсот франков в год, включая плату за квартиру, а такие деньги у меня всегда найдутся! Но, главное, Бетта, ни слова Гектору! А как его здоровье?

— Ого! Здоровьем он крепок, как Новый мост! Весел, как зяблик, и думает только о своей фокуснице Валери!

Госпожа Юло пристально смотрела на серебристую сосну за окном, и Лизбета не могла по выражению глаз кузины угадать ее мысли.

— А ты не напомнила ему, что сегодня у нас обедает, как заведено, вся наша семья?

— А как же! Конечно, сказала. Но, видишь ли, госпожа Марнеф дает нынче большой обед. Она надеется добиться отставки господина Коке... И перед этим все отступает! Послушай, Аделина, ты знаешь мой прямой характер: я всегда говорю правду в глаза. Твой муж, дорогая моя, разорит тебя, в этом нет сомнения. Я думала, что буду вам всем полезной, поселившись около этой женщины; но эта тварь развращена до последней степени,

она заставит твоего мужа натворить таких дел, что он всех вас опозорит.

Аделина вздрогнула, точно ее ударили кинжалом.

— Но, дорогая моя Аделина, в одном я уверена... Постараюсь тебе объяснить... Ну-ка, подумаем о будущем! Маршал стар, но он далеко пойдет, у него солидный оклад... Если он женится, вдова его будет получать шесть тысяч франков пенсии. С такими деньгами я берусь содержать вас всех! Воспользуйся своим влиянием на этого добряка, пожени нас! Хлопочу я не потому, что мне пришла охота сделаться госпожой маршальшей... Мне столько же дела до этого вздора, сколько до совести госпожи Марнеф! Но у вас у всех будет верный кусок хлеба. А я вижу, что Гортензии на хлеб не хватает, раз ты отдаешь ей последние крохи.

Пришел маршал. Старый солдат так спешил воротиться, что теперь усердно вытирал лоб платком.

— Я передал Мариетте две тысячи франков,—шепнул он на ухо невестке.

Аделина покраснела до корней волос. Слезы блеснули на ее все еще длинных ресницах, и она молча пожала руку старика, сиявшего, как счастливый влюбленный.

— Я хотел, Аделина, сделать вам подарок,— продолжал он,— так вы, пожалуйста, не возвращайте мне этих денег, а выберете себе сами, что вам будет по вкусу.

Он взял руку, которую ему протянула Лизбета, и даже поцеловал ее — в такую рассеянность впал он от восторга.

— Это многое обещает! — сказала Аделина Лизбете, улыбаясь через силу.

В эту минуту вошел молодой Юло с женой.

— А брат обедает с нами? — отрывисто спросил маршал.

Аделина взяла карандаш и на квадратном листке бумаги написала:

«Я его ожидаю. Он обещал мне нынче утром быть к обеду. Если Гектор не придет, значит, маршал задержал его, ведь теперь он буквально завален делами».

И она передала старику листок. Она давно придумала такой способ разговора с маршалом, и запас квадратных листочков лежал вместе с карандашом на ее рабочем столике.

— Знаю,— отвечал маршал.— Он завален делами в связи с Алжиром.

Тут вошли Гортензия с Венцеславом; баронесса, видя, что вся семья в сборе, остановила на маршале взгляд, значение которого было понятно только Лизбете.

Счастье придало еще бо́льшую красоту художнику, обожаемому женой, обласканному светом. Лицо его округлилось, изящная фигура была исполнена того благородства, которым природа наделяет настоящего дворянина. Скороспелая слава, видное положение, льстивые похвалы, которые свет расточает художникам с тою же легкостью, с какою люди желают знакомым доброго утра или говорят о погоде, породили в Венцеславе весьма высокое мнение о себе,— такая оценка становится жалким самомнением, когда талант иссякает. Украшавший его петлицу крест Почетного легиона лишь довершал в его глазах облик великого человека, каковым он себя почитал.

После трех лет супружества отношение Гортензии к мужу стало напоминать преданность собаки своему хозяину; она отзывалась на всякое его движение вопрошающим взглядом, не сводила с него глаз, как скупой со своих сокровищ; было что-то трогательное в ее самозабвенном поклонении мужу. В ней чувствовался характер и влияние матери. Она не утратила своей прелести, но теперь легкая тень скрытой грусти преобразила ее красоту, придав ей поэтичность.

Взглянув на свою юную родственницу, Лизбета подумала, что жалобы, так долго таимые, скоро прорвутся. В первые же дни медового месяца молодых супругов Лизбета рассудила, что у них слишком незначительные денежные средства для такой сильной страсти.

Поцеловав мать, Гортензия прижалась к ней и, прильнув губами к ее уху, шепнула ей несколько слов, тайну которых выдала Бетте сама баронесса, озабоченно покачавшая головой.

«Аделине тоже придется самой зарабатывать себе на жизнь,— подумала кузина Бетта.— Я постараюсь, чтобы она посвятила меня в свои планы... Наконец-то ее изнеженные ручки узнают, что такое подневольный труд!»

В шесть часов вся семья перешла в столовую. Прибор Гектора стоял на своем месте.

— Не убирайте прибор,— сказала баронесса Мариетте.— Барон иногда опаздывает.

— Отец придет обязательно! — сказал Викторен Юло матери.— Он мне это обещал, уходя из палаты.

Сидя за столом, как паук в центре своей паутины, Лизбета изучала физиономии всех присутствующих. Гортензию и Викторена она знала с самого рождения, и лица их были для нее прозрачны, как стекло: она все читала в их молодых душах. По беглому взгляду, брошенному Викторeном на мать, она догадалась, что Аделине грозит какое-то несчастье, о котором сын не решался ей сказать. Этот молодой, но уже известный адвокат таил про себя свое горе. И когда он печально смотрел на мать, видно было, что он перед ней преклоняется. Что касается Гортензии, она, несомненно, была поглощена своими собственными горестями; вот уже две недели, как Лизбете стало известно, что ее племянница впервые переживает те неприятности, какие безденежье причиняет безупречно честным людям, особенно молодым женщинам, прежде не знавшим горя, и теперь она пытается скрыть свою боль. Кузина Бетта сразу же догадалась, что мать ничего не дала своей дочери. Итак, щепетильная Аделина унизилась до обмана, солгав, как лгут многие, когда нужда заставляет их занимать деньги. Озабоченность Гортензии и ее брата, глубокая печаль баронессы омрачали обед, особенно, если представить себе, как расхолаживала общество глухота старого маршала. Только трое из сотрапезников вносили некоторое оживление: Лизбета, Селестина и Венцеслав. Любовь Гортензии пробудила в художнике чисто польскую оживленность, сродни гасконской живости, и веселую любезность, отличающую этих северных французов. Расположение духа и выражение лица Венцеслава достаточно ясно говорили о его самоуверенности и о том, что бедная Гортензия, верная материнским советам, скрывает от мужа все домашние беды.

— Ты должна быть очень довольна,— сказала Лизбета своей молоденькой племяннице, вставая из-за стола.— Мама выручила тебя, отдав тебе свои деньги.

— Мама? — удивленно воскликнула Гортензия.— Ах, бедная мамочка! Я сама бы хотела достать для нее денег! Ты не знаешь, Лизбета!.. Послушай! У меня есть

ужасное подозрение: уж не берет ли мама тайком работу.

Они проходили через большую неосвещенную гостиную, следуя за Мариеттой, которая переносила лампу из столовой в спальню Аделины. Вдруг Викторен тронул за руку Лизбету и Гортензию. Обе они, поняв значение этого жеста, пропустили Венцеслава, Селестину, маршала и баронессу в спальню, а сами остановились у оконной ниши в гостиной.

— Что случилось, Викторен? — спросила Лизбета.— Бьюсь об заклад, что твой отец опять что-нибудь натворил.

— Увы, это так! — отвечал Викторен.— У одного ростовщика, по фамилии Вовине, имеется отцовских векселей на шестьдесят тысяч франков, и он намеревается взыскать деньги судом. Встретив в палате отца, я хотел поговорить с ним об этом прискорбном обстоятельстве, но он и выслушать меня не пожелал, он чуть ли не избегает меня. Может быть, следует предупредить маму?

— Нет, нет,— возразила Лизбета,— у нее и без того достаточно горя, ты ее этим сразу убьешь! Надо ее беречь. Вы не знаете, до чего она дошла! Если бы не дядюшка ваш, ей бы нечего было нынче подать на стол.

— Ах ты, господи! Викторен, мы с тобой просто чудовища! — сказала Гортензия брату.— Мы должны были сами догадаться, а не ждать, пока нас надоумит Лизбета. У меня точно кусок в горле застрял!

И, не окончив фразы, Гортензия прижала платок к губам, чтобы не разрыдаться. Она плакала.

— Я сказал этому Вовине, чтобы он пришел ко мне завтра,— продолжал Викторен.— Но примет ли он в обеспечение ссуды мои закладные? Не думаю. Эти лихоимцы любят получать чистоганом да еще выжмут все соки ростовщическими процентами!

— Давай-ка продадим нашу ренту! — сказала Лизбета Гортензии.

— Ну, что это даст? Пятнадцать, ну, самое большее, шестнадцать тысяч франков,— возразил Викторен,— а требуется шестьдесят!

— Милая кузина! — воскликнула Гортензия, от чистого сердца обнимая Лизбету.

— Нет, Лизбета, поберегите для себя свои скромные сбережения,— сказал Викторен, пожав руку кузине Бетте.— Завтра я узнаю у этого субъекта, что у него на уме. Если жена согласится, я вмешаюсь в это дело и сумею отсрочить иск, потому что видеть репутацию отца под ударом... это ужасно! Что сказал бы министр? Жалованье отца заложено сроком на три года под взятую ссуду, рассчитывать на него можно только в декабре; стало быть, его нельзя предложить в качестве обеспечения. Вовине уже одиннадцатый раз переписывает векселя... Судите сами, какие проценты пришлось отцу уплатить! Пора положить этому конец!

— Хоть бы госпожа Марнеф его бросила!..— с горечью сказала Гортензия.

— О, боже нас сохрани! — воскликнул Викторен.— Отец заведет другую, а тут самые крупные затраты уже сделаны.

Какая перемена произошла в этих молодых людях, еще недавно таких почтительных, воспитанных матерью в безусловном преклонении перед отцом! И вот они его уже осуждали.

— Если бы не я,— сказала Лизбета,— ваш отец и вовсе бы промотался.

— Пойдемте,— сказала Гортензия,— мама догадлива, она, пожалуй, заподозрит недоброе. Послушаемся Лизбеты, скроем от нее все... будем веселы!

— Викторен, вы и не подозреваете, в какую беду вас может втянуть отец, гоняясь за каждой юбкой,— заметила Лизбета.— Подумайте, как бы обеспечить себя на будущее время, устройте мой брак с маршалом... Вы должны с ним поговорить об этом сегодня же вечером, я нарочно уйду пораньше.

Викторен пошел в спальню.

— Ну, а ты, моя бедняжка,—шепотом спросила Лизбета свою молоденькую родственницу,— а ты что будешь делать?

— Приходи завтра обедать к нам, мы поговорим,— отвечала Гортензия.— Право, у меня голова идет кругом! Ты разбираешься в житейских делах и что-нибудь мне посоветуешь.

В то время как все семейство пробовало уговорить маршала вступить в законный брак, а Лизбета возвра-

щалась на улицу Ванно, произошло одно из тех событий, которые у таких женщин, как г-жа Марнеф, пробуждают всю энергию их порочной души, и тогда они пускаются на самые вероломные махинации. Признаем по крайней мере как бесспорный факт следующее: в Париже у всех слишком занятая жизнь, чтобы люди порочные стали делать зло ради самого зла: порочность служит для них самозащитой в случае опасности — вот и все!

Гостиная г-жи Марнеф была переполнена ее верноподданными, составилось уже несколько партий в вист, когда лакей, отставной солдат, завербованный бароном, доложил:

— Барон Монтес де Монтеханос!

Валери взволновалась, но тут же вскочила и бросилась к двери, вскричав: «Кузен!..» Подбежав к бразильцу, она шепнула ему на ухо: «Назовись моим родственником, или все кончено между нами!»

— Ах, Анри! — громко сказала она, подходя с бразильцем к камину.— А мне сказали, что ты погиб во время кораблекрушения! Три года я оплакивала тебя...

— Здравствуйте, друг мой! — сказал г-н Марнеф, протягивая руку бразильцу, который держал себя, как и подобает настоящему бразильскому миллионеру.

Барон Анри Монтес де Монтеханос, обязанный тропическому климату крепким телосложением и медным цветом лица, каким наделяют на театральных подмостках Отелло, внушал страх своим мрачным видом; однако ж впечатление это было чисто внешнее, ибо мягкий характер и чувствительность превращали бразильца в раба слабого пола — положение, в каком обычно оказываются сильные мужчины! Высокомерие, написанное на его лице, вся его крепко сколоченная, подтянутая фигура,— короче говоря, все его физические достоинства обращались исключительно против мужчин, вызывая восторг женщин и приводя их в такое упоение, что тут уж любой спутник, с которым они шли под руку, начинал казаться им каким-то комическим персонажем. Синий фрак с массивными золотыми пуговицами и черные панталоны прекрасно обрисовывали его фигуру; он был в самых модных перчатках, обут в отменнейшие ла-

кированные сапоги, и только чересчур крупный бриллиант, стоимостью не менее ста тысяч франков, выдавал бразильское происхождение барона, сияя, как звезда, на синем атласе пышного галстука, выделявшегося в вырезе жилета на фоне белоснежной сорочки из тончайшего полотна. Лоб, крутой, как у сатира, указывал на упорство в страстях, из-под черной, как смоль, и густой, как девственный лес, шевелюры сверкали глаза, янтарный цвет которых невольно наводил на мысль: уж не испугал ли баронессу Монтеханос во время ее беременности какой-нибудь ягуар?

Этот великолепный образец португальца, акклиматизировавшегося в Бразилии, прислонился спиной к камину, выказывая всей своей позой парижские привычки; с цилиндром в одной руке, опершись другой рукой на задрапированную бархатом мраморную доску камина, слегка наклонясь к г-же Марнеф, он вполголоса завязал с нею разговор, не обращая никакого внимания на несносных буржуа, совсем некстати, по его мнению, торчавших в этой гостиной.

Появление на сцене бразильца, его внешность и поза равно встревожили и Кревеля и барона, и физиономии их вытянулись от неприятного удивления. То же выражение лица, те же предчувствия у обоих! Мимика, изобличавшая у обоих истинную страсть, была так забавна и до того схожа, что кое-кто из гостей улыбнулся, догадавшись, в чем тут дело. Кревель, все тот же неисправимый мещанин и лавочник, хотя он и был теперь парижским мэром, находился, на свою беду, в состоянии растерянности несколько дольше, чем его сподвижник, и неожиданно выдал себя барону Юло. Это было последней каплей, переполнившей чашу, и влюбленный старик решил объясниться с Валери.

«Сегодня же вечером,— сказал про себя и Кревель, разбирая карты,— надо покончить с этим...»

— *У вас на руках червонная дама*,— крикнул ему Марнеф,— а вы пасуете!

— Ах, виноват! — отвечал Кревель, спохватившись. «Второй барон, ну, это уж чересчур! — продолжал он рассуждать сам с собою.— Пусть Валери живет с бароном Юло, в этом моя месть, и я знаю, как от него отделаться... но этот кузен!.. Еще один барон совсем уж

лишний! Я вовсе не хочу быть околпаченным и сегодня же узнаю, с какой стороны он ей родня!»

В этот вечер, волею случая, благосклонного только к красивым женщинам, Валери была прелестно одета. Ее белоснежная грудь блистала сквозь гипюровый корсаж, и рыжеватые тона его выгодно оттеняли матовый атлас прекрасных плеч истой парижанки, которая умеет (неведомо каким способом!) приобрести округлость форм и не утратить стройности. На ней было черное бархатное платье, казалось, готовое во всякую минуту упасть с плеч; головку ее украшали кружева и цветы; из пышных рукавов с кружевными оборками выступали полные маленькие ручки; она напоминала поданный на великолепном блюде соблазнительный плод, глядя на который слюнки текут.

— Валери,— сказал бразилец, наклонясь к уху молодой женщины,— я верен тебе по-прежнему. Дядя мой умер, и я стал вдвое богаче, чем был до отъезда. Я хочу жить и умереть в Париже, возле тебя и для тебя.

— Тише, Анри, прошу тебя!

— Э, полно! Я не прочь вышвырнуть всю эту компанию за окно! Два дня я разыскивал тебя и должен объясниться с тобой сегодня же вечером! Я останусь после всех, не правда ли?

Валери улыбнулась своему мнимому кузену и сказала:

— Помните, вы сын сестры моей матери,— тетушка вышла замуж за вашего отца во время португальской кампании Жюно.

— Как! Я, Монтес де Монтеханос, правнук одного из завоевателей Бразилии, стану лгать?

— Тише, или мы никогда больше не увидимся...

— Но почему?

— Марнеф, как все умирающие, цепляется за жизнь: он воспылал страстью ко мне...

— Этот лакей?..— презрительно сказал бразилец, успевший изучить Марнефа.— Да я ему заплачу...

— Какая необузданность!..

— Послушай, откуда взялась вся эта роскошь?..— спросил бразилец, обратив, наконец, внимание на пышное убранство гостиной.

Валери расхохоталась.

— Что за дурной тон, Анри! — сказала она.

Тут только она заметила, что глаза двух ревнивцев устремлены на нее, и ей пришлось успокоить взглядом две тоскующие души. Кревель, игравший против барона и Коке, имел партнером Марнефа. Шансы на выигрыш у той и у другой стороны были одинаковы по причине рассеянности Кревеля и барона, допускавших ошибку за ошибкой. Влюбленные старцы, оба сразу и открыто признались в своей страсти, сведя на нет трехлетние усилия Валери держать в тайне их чувства. Но она не могла скрыть своей радости, увидев вновь того, кто был ее первой любовью и кому она была обязана первыми волнениями сердца. Права, которые дает таким счастливцам женщина, неотъемлемы до самой ее смерти.

В окружении этих трех полновластных любовников, из которых один опирался на наглость золота, другой на права признанного собственника, третий на молодость, силу, удачу и право первой любви, г-жа Марнеф сохраняла спокойствие и присутствие духа, подобно генералу Бонапарту, когда при осаде Мантуи он, под натиском двух вражеских армии, все же продолжал штурмовать крепость. Ревность, исказившая лицо Юло, придавала ему свирепый вид, какой бывал у генерала Монкорне перед кавалерийской атакой на русское каре. В качестве бесспорного красавца член государственного совета и понятия не имел, что такое ревность, подобно тому, как Мюрат не знал чувства страха. Гектор Юло всегда был уверен в победе. Свое поражение у Жозефы, первое в жизни, он приписывал ее алчности; он утешал себя, говоря, что побежден миллионом, а не каким-то недоноском, как он называл герцога д'Эрувиля. Отрава ревности, этого сумасшедшего чувства, в одно мгновение хлынула в его сердце. Юло поворачивался от карточного стола к камину движением, достойным Мирабо, и всякий раз, когда он, забывая о картах, бросал вызывающий взгляд на бразильца и Валери, завсегдатаи гостиной испытывали страх и любопытство, которые вызывает ярость, уже готовая вырваться наружу. Мнимый кузен поглядывал на члена государственного совета, как на какую-нибудь диковинную китайскую вазу. Такое положение вещей не могло тянуться долго: де-

ло клонилось к бурной развязке. Марнеф боялся барона Юло не меньше, чем Кревель опасался Марнефа, ибо помощник столоначальника отнюдь не собирался умереть в должности помощника Умирающие цепляются за жизнь, как каторжники цепляются за надежду выйти на свободу. Марнеф желал быть столоначальником во что бы то ни стало. Всерьез испугавшись пантомимы, разыгранной Кревелем и членом государственного совета, он встал, что-то сказал на ухо жене, и, к величайшему удивлению всего общества, Валери прошла в спальню вместе с бразильцем и мужем.

— Госпожа Марнеф говорила когда-нибудь с вами об этом кузене? — спросил Кревель барона Юло.

— Никогда! — отвечал барон, вставая.— На сегодняшний вечер довольно,— прибавил он.— Я проиграл два луидора. Получите!

Он бросил на стол два золотых и сел на диван, всем своим видом давая понять гостям, что им пора удалиться. Супруги Коке, посовещавшись между собою, покинули гостиную; Клод Виньон, в полном отчаянии, последовал их примеру. Вслед за ними потянулись и другие, менее догадливые гости, поняв, наконец, что они тут лишние. Барон и Кревель, оставшись одни, не проронили ни единого слова. Юло в конце концов перестал замечать Кревеля и, подойдя на цыпочках к двери, хотел подслушать, что делается в спальне, но должен был отскочить, ибо г-н Марнеф отворил дверь и, показав свое ясное чело, выразил удивление, что в гостиной остались всего только две особы.

— А как же чай? — спросил он.

— А где Валери? — отвечал взбешенный барон.

— Жена? — переспросил Марнеф.— Она поднялась к вашей кузине. Она сейчас придет.

— Почему же она нас бросила ради какой-то дурацкой Козы?

— Но мадемуазель Лизбета вернулась от баронессы, вашей супруги, с легким желудочным недомоганием,— сказал Марнеф.— Матюрена прибегала попросить для нее чашку чая. Вот Валери и пошла посмотреть, что с вашей кузиной.

— Ну, а бразильский кузен?..

— Уехал.

— Вы уверены в этом? — спросил барон.

— Я сам проводил его до кареты! — отвечал Марнеф с дьявольской усмешкой.

С улицы Ванно послышался стук колес на мостовой. Барон, не считавший Марнефа за человека, вышел и поднялся к Лизбете. У него мелькнула тревожная мысль, подсказанная жестокой ревностью. Низость Марнефа была ему так хорошо известна, что он вполне допускал возможность самого гнусного сговора между женой и мужем.

— Что же все-таки случилось? Где наши гости? — спросил Марнеф, оставшись один с Кревелем.

— Когда солнце садится, птичий двор пустеет,— отвечал Кревель.— Госпожа Марнеф исчезла, и, конечно, обожатели ее испарились. Предлагаю сыграть партию в пикет,— прибавил Кревель, который решил остаться наперекор всему.

Он тоже был уверен, что бразилец не уехал. Г-н Марнеф согласился сыграть партию. Мэр в хитрости не уступал барону. Он мог до утра просидеть в квартире Марнефов, играя в карты с мужем Валери, который, с тех пор как закрыли игорные дома, довольствовался игрой в гостиных по маленькой.

Барон Юло быстро взошел по лестнице, но дверь в квартиру кузины Бетты была заперта, а пока шли переговоры со служанкой, расторопные и сообразительные женщины успели подготовить комедию лечения мнимой больной чаем. Лизбета так сильно расхворалась, а перепуганная Валери так опасалась за ее жизнь, что обе они не обратили никакого внимания на появление в комнате взбешенного барона. Недомогание является своего рода ширмой, за которой женщины чаще всего укрываются от надвигающейся семейной бури. Юло украдкой заглянул во все уголки и не нашел в спальне кузины Бетты ни одного места, где бы мог спрятаться бразилец.

— Твое недомогание, Бетта, не делает чести обеду моей жены,— сказал он, всматриваясь в физиономию старой девы, которая чувствовала себя превосходно, но чтобы изобразить болезненное урчание в желудке, крупными глотками, захлебываясь, пила чай.

— Видите, как счастливо вышло, что наша дорогая

Бетта поселилась в моем доме! Без меня бедняжка непременно умерла бы...— заметила г-жа Марнеф.

— Вы так смотрите на меня, точно я притворяюсь,— сказала, обращаясь к барону, Лизбета.— И будет очень гадко...

— Что такое? — спросил барон.— Стало быть, вам известна причина моего посещения?

И он покосился на дверь туалетной комнаты, ключ от которой был вынут из замочной скважины.

— Вы говорите какими-то загадками!..— сказала г-жа Марнеф, и на лице ее появилось трогательное выражение невинности, оскорбленной в своих лучших чувствах.

— А все это из-за вас, дорогой кузен! По вашей милости нахожусь я в том состоянии, в каком вы меня видите! — злобно выкрикнула Лизбета.

Ее вопль отвлек внимание барона от злополучной двери, и он взглянул на старую деву с непритворным удивлением.

— Вы знаете, как я вас люблю,— продолжала Лизбета.— Я нахожусь здесь, этим все сказано! Я трачу последние свои силы, чтобы блюсти ваши интересы, а также интересы нашей дорогой Валери. Хозяйство стоит ей в десять раз дешевле, чем в любом доме, если его ведут на такую же широкую ногу, как у нее. Без меня, кузен, вместо двух тысяч франков в месяц вам пришлось бы выкладывать три, а то и все четыре тысячи!

— Я все это знаю,— нетерпеливо отвечал барон.— Вы только и делаете, что оказываете нам покровительство! — прибавил он и, подойдя к Валери, обнял ее за плечи.— Не правда ли, дорогая моя красавица...

— Честное слово,— сказала Валери,— мне кажется, вы сходите с ума!

— Ну-с! Стало быть, вы не сомневаетесь в моей привязанности,— продолжала Лизбета.— Но я люблю и мою кузину Аделину. Сегодня я застала ее в слезах. Вот уж целый месяц, как она не видела вас! Нет, это непростительно! Вы оставляете мою бедную Аделину без гроша. Дочь ваша Гортензия чуть не умерла со стыда, узнав, что сегодня пообедать мы могли только благодаря вашему брату! В доме даже хлеба не было. Аделина приняла героическое решение жить своим трудом. Она

мне сказала: «Я буду работать, как ты!» От этих слов у меня сердце сжалось! Подумать только, как жила моя кузина в тысяча восемьсот одиннадцатом году и как она живет в тысяча восемьсот сорок первом году!.. Тридцать лет спустя! У меня даже желудок перестал варить... Хотела я перетерпеть боль, а вот, едва добралась до дому, как меня схватило, думала, что умру...

— Видите, Валери,— сказал барон,— до чего доводит меня любовь к вам!.. До преступления против семьи...

— О, как я хорошо сделала, что не вышла замуж!— вскричала Лизбета с какою-то дикой радостью.— Вы добрый, превосходный человек, Аделина — ангел. И вот награда за ее слепую преданность!

— Престарелый ангел! — вполголоса заметила г-жа Марнеф, бросив нежный и вместе с тем насмешливый взгляд на своего Гектора, который смотрел на нее испытующе, как судебный следователь смотрит на обвиняемого.

— Бедная женщина! — сказал барон.— Вот уже скоро год, как я не давал ей денег, а для вас, Валери, деньги я достаю, и какой ценою! Никогда в жизни никто не будет любить вас так, как я люблю. А что я получаю в награду? Одни огорчения!

— Огорчения? — повторила она.— Что же вы тогда называете счастьем?

— Мне еще не известно, в каких отношениях состояли вы с этим так называемым кузеном, о котором вы никогда не упоминали,— продолжал барон, оставляя без внимания слова Валери.— Но когда он вошел, меня ножом резнуло по сердцу. Хотя я и ослеплен, но я не слепой. Я все прочел в ваших и в его взглядах. Ведь глаза этой обезьяны метали искры, обжигая вас... А ваши глаза... О, вы никогда так на меня не смотрели, никогда! Эта тайна, Валери, раскроется, не беспокойтесь... Вы единственная женщина, которая заставила меня испытать ревность, поэтому не удивляйтесь моим словам... Но есть еще одна тайна, покров с которой сброшен... Я нахожу, что это чудовищно...

— Продолжайте! Продолжайте! — сказала Валери.

— Конечно, это чудовищно! Какой-то Кревель, эта кубышка, набитая жиром и благоглупостями, влюблен

в вас, а вы столь милостиво принимаете его ухаживания, что этот болван выставляет свою страсть к вам напоказ всему свету...

— Итого трое! Не найдутся ли еще?—спросила г-жа Марнеф.

— Может быть, и найдутся,— сказал барон.

— Вы говорите, что господин Кревель любит меня? Но он имеет на это такое же право, как и всякий другой мужчина. По вашему мнению, я поощряю его страсть? Так назовите меня кокеткой или просто женщиной, которой в вашем обществе приходится желать очень многого... Ну что ж! Любите меня такую, какая я есть, или расстаньтесь со мной. Если вы скажете, что возвращаете мне свободу, то ни вы, ни господин Кревель больше сюда не вернетесь. Я уж как-нибудь обойдусь моим кузеном, чтобы не изменять милым привычкам, которые вы мне приписываете. Прощайте, барон Юло!

И она поднялась; но член государственного совета схватил ее за руку и заставил сесть. Старик уже не мог обходиться без Валери, она стала для него потребностью, самой настоятельной из всех насущных нужд его жизни, и он предпочел бы оставаться в неведении, чем получить малейшее доказательство неверности Валери.

— Валери, моя милая Валери! — сказал он.— Неужели ты не видишь, как я страдаю? Прошу тебя об одном, скажи мне... объясни....

— Пожалуйста! Обождите меня внизу. Вы, я полагаю, не захотите присутствовать при некоторых процедурах, необходимых сейчас по состоянию здоровья вашей кузины.

Юло нехотя поплелся к двери.

— Старый распутник! — крикнула ему вдогонку кузина Бетта.— Вы так и не спросите, как же, мол, поживают мои детки? Вы так и не скажете, что намерены сделать для Аделины? Что до меня, я завтра же отнесу ей свои сбережения.

— Надо хотя бы куском хлеба обеспечить жену,— сказала с усмешкой г-жа Марнеф.

Барон, пропустив мимо ушей дерзости Лизбеты, которая обошлась с ним не менее грубо, чем Жозефа, поспешил уйти, радуясь, что избежал неприятных вопросов.

Как только заперли наружную дверь, бразилец вышел из туалетной комнаты, где он прятался; на глазах у него блестели слезы, вид был самый жалкий Монтес, видимо, все слышал.

— Ты меня разлюбил, Анри! Я это вижу,— вскрикнула г-жа Марнеф и разрыдалась, пряча лицо в платок.

Это был неподдельный крик любви. Вопль женского отчаяния всегда звучит убедительно и способен вырвать прощение, которое неизменно таится в сердце каждого любовника, когда женщина молода, красива и так откровенно обнажена, что кажется, еще немного, и она предстанет в костюме Евы.

— Но если вы меня любите, почему бы вам не бросить все это и не соединиться со мной? — спросил бразилец.

Этот выходец из Бразилии, последовательный, как все дети природы, сразу же вернулся к теме прерванного разговора и опять обнял Валери за талию.

— Почему?..— сказала она, поднимая голову и с любовью глядя ему в глаза.— Но, милый мой, я замужем. Мы находимся в Париже, а не в саваннах, не в пампасах, не в пустынях Америки. Анри, хороший мой, моя первая и единственная любовь, выслушай меня! Муж мой — только помощник столоначальника в военном министерстве, а хочет быть столоначальником и кавалером ордена Почетного легиона. Могу ли я помешать ему в его честолюбивых замыслах? И вот по той же причине, по какой он предоставлял нам с тобой полнейшую свободу (скоро уже минет четыре года,— помнишь, неблагодарный?), Марнеф навязал мне господина Юло. Я не могу сейчас отделаться от этого ужасного сановника, который пыхтит, как тюлень, и у которого бакенбарды растут прямо из ноздрей, которому стукнуло шестьдесят три года и который за последние три года постарел лет на десять, потому что слишком молодился... и который до того мне противен, что лишь только Марнеф станет столоначальником и кавалером ордена Почетного легиона, я...

— На много ли у твоего мужа тогда увеличится жалованье?

— На тысячу экю.

— Он получит их от меня в виде пожизненной ренты,— сказал барон Монтес.— Бросим Париж, уедем...

— Куда? — спросила Валери, состроив очаровательную гримаску, какой женщины поддразнивают мужчин, когда уверены в своей власти над ними.— Париж— единственный город, где мы можем быть счастливы. Я слишком дорожу твоей любовью и не хочу видеть, как она будет угасать, едва мы окажемся одни в пустыне. Слушай, Анри, я люблю тебя, только тебя одного во всем мире!.. Вдолби это в свою тигриную башку.

Превратив мужчину в ягненка, женщина вечно внушает ему, что он лев и что у него железный характер.

— А теперь слушай меня хорошенько: Марнеф не проживет и пяти лет, он прогнил до мозга костей. Из двенадцати месяцев в году он семь месяцев проводит за питьем микстур и разных лекарственных снадобий, не снимает фуфайки... В общем, врач говорит, что каждую минуту он может умереть: любая болезнь, даже совсем не опасная для здорового человека, может унести его в могилу, кровь у него испорчена, здоровье подточено в корне. Ни разу за последние пять лет я не позволила ему обнять себя, потому что этот человек—ходячая чума! В один прекрасный день, а день этот недалек, я останусь вдовой... И что же! Хотя моей любви добивается человек, у которого шестьдесят тысяч годового дохода, он такой же мне любовник, как вот этот кусок сахара, и я заявляю тебе, что будь ты беден, как Юло, и такой же прокаженный, как Марнеф, то, даже если бы ты меня истязал,— только тебя я хочу иметь своим мужем, одного тебя, потому что я люблю тебя и хочу носить твое имя! И я готова дать тебе все доказательства любви, какие ты потребуешь...

— Так вот, сегодня же вечером...

— О дитя Рио, прекрасный мой ягуар, покинувший ради меня девственные леса Бразилии! — сказала Валери, взяв его руку, гладя и целуя ее.— Уважай же хоть сколько-нибудь женщину, которую ты хочешь назвать своей женой... Ведь я буду твоей женой, Анри?..

— Да,— ответил бразилец, побежденный исступленным лепетом страсти.

И он опустился на колени.

— Послушай, Анри,— сказала Валери, взяв обе его руки и словно проникая взглядом в самую глубину его

души,— ты поклянешься мне здесь, в присутствии Лизбеты, моего лучшего и единственного друга, моей сестры, что женишься на мне, как только минет год после смерти моего мужа!..

— Клянусь!

— Этого мне мало! Клянись прахом и спасением души твоей матери, как католик, клянись девой Марией и своей надеждой на будущую жизнь!

Валери была уверена, что бразилец сдержит такую клятву даже в том случае, если она опустится на самое дно страшного болота парижской жизни. Бразилец дал эту торжественную клятву, чуть не касаясь лицом белоснежной груди Валери, весь во власти ее чар; он был пьян ею, как пьянеет мужчина, встретившись с любимой женщиной после путешествия, длившегося сто двадцать дней!

— Ну, а теперь успокойся! Уважай в госпоже Марнеф будущую баронессу де Монтеханос. Не смей тратить на меня ни одного лиара, запрещаю тебе! Побудь здесь, в первой комнате, приляг на кушетку, я сама приду сказать, когда ты можешь выйти из своего убежища... Завтра утром мы вместе позавтракаем, и ты уйдешь отсюда около часу, как будто зашел ко мне в полдень с визитом. Не бойся ничего; швейцар и его жена преданы мне, как отец с матерью... А сейчас — до свиданья! Я иду к себе разливать чай.

Она сделала знак Лизбете, и та проводила ее до лестничной площадки. Тут Валери шепнула на ухо старой деве:

— Вот уж не вовремя принесло нашего мулата! Пусть поразит меня смерть, если я не отомщу Гортензии за тебя!..

— Успокойся, мой милый бесенок! — сказала старая дева, целуя ее в лоб.— Любовь и мщение, когда они действуют заодно, не останутся в накладе. Гортензия ждет меня завтра к себе. Она крайне нуждается в деньгах. Чтобы получить тысячу франков, Венцеслав тысячу раз тебя поцелует!

Расставшись с Валери, Юло сошел вниз, в швейцарскую, и неожиданно предстал перед г-жой Оливье.

— Госпожа Оливье!

Услыхав повелительный возглас, сопровождаемый

выразительным жестом, г-жа Оливье вышла из швейцарской и последовала за бароном, который повел ее во двор.

— Вам известно, что если кто и может помочь вашему сыну приобрести на льготных условиях собственную контору, так это я. Благодаря мне он уже состоит третьим клерком у нотариуса и заканчивает курс юриспруденции.

— Ваша правда, господин барон... Можете, господин барон, положиться на нашу благодарность. Не проходит дня, чтобы я не помолилась о вашем здравии и благоденствии, господин барон...

— Поменьше слов, почтеннейшая,— сказал Юло.— Мне нужны доказательства...

— Что прикажете, господин барон? — спросила г-жа Оливье.

— Сегодня вечером сюда приезжал в карете один господин, вы знаете его?

Госпожа Оливье отлично узнала Монтеса, да и могла ли она его забыть? Еще в бытность их на улице Дуайене Монтес, выходя из дому в чересчур ранний час, всякий раз совал ей в руку золотую монету. Если бы барон обратился к г-ну Оливье, может быть, у него он все бы выведал. Но Оливье спал. В низших классах общества женщина не только превосходит своей сообразительностью мужа, но и почти всегда командует им. Г-жа Оливье давно уже решила, на чьей стороне ей быть в случае раздора между двумя ее благодетелями: г-жу Марнеф она считала наиболее могущественной из двух держав.

— Знаю ли я его?..— повторила она.— Нет! Ей-богу, не знаю! Первый раз вижу!..

— Как! Кузен госпожи Марнеф ни разу не был у нее, когда она жила на улице Дуайене?

— Ах, вы говорите о кузене! — вскричала г-жа Оливье.— Может, он и приезжал, да я его не узнала. Впредь, сударь, буду внимательнее...

— Он сейчас выйдет,— настойчиво сказал Юло, обрывая г-жу Оливье на полуслове.

— Да ведь он уехал,— возразила г-жа Оливье, сразу все сообразив.— Кареты уже нет...

— А вы видели, как он уезжал?

— Своими глазами видела. Он еще крикнул слуге: «В посольство!»

Уверенный тон привратницы успокоил барона, и у него вырвался вздох облегчения; он схватил руку г-жи Оливье и пожал ее.

— Благодарю, голубушка. Но это еще не все! А господин Кревель?

— Господин Кревель? Что вы хотите сказать? Я не понимаю,— сказала г-жа Оливье.

— Слушайте меня хорошенько! У него любовь с госпожой Марнеф...

— Полноте, господин барон! Полноте! — воскликнула привратница, всплеснув руками.

— У него любовь с госпожою Марнеф! — настойчиво повторил барон.— Только как же они устраиваются? Не знаю. Но я хочу все знать, и вы должны все выведать. Ежели вы наведете меня на след этой интриги, сын ваш будет нотариусом.

— Господин барон, не портите себе кровь попусту,— продолжала г-жа Оливье.— Барыня любит вас, только одного вас любит. Ее горничная хорошо это знает, и мы говорим промежду себя, что счастливее вас человека нету, потому как вы и сами знаете, что госпоже Марнеф цены нет... Любо-дорого посмотреть на нее!.. Встает с постельки аккурат в десять часов... Ладно!.. Тут она завтракает... Ладно! Час уходит на то, чтобы принарядиться... Глядишь, времени-то уже второй час! Тут она выйдет прогуляться в Тюильри, себя показать и людей поглядеть... К четырем часам она уже дома, поджидает вас... Ого! Все идет как по часам. У нее нет секретов от горничной, а у Регины нет секретов от меня, говорю вам! Да у Регины секретов от нас и быть не может, потому как она с моим сыном... Вы сами видите, кабы у барыни была дружба с господином Кревелем, мы бы об этом знали.

Барон снова поднялся к г-же Марнеф; лицо у него просветлело, он чувствовал себя счастливым любовником этой опасной куртизанки, коварной, прекрасной и соблазнительной, как сирена.

Кревель и Марнеф начали вторую партию в пикет. Кревель, конечно, проигрывал,— ему было не до игры. Марнеф, зная причину рассеянности мэра, пользовался

ею без зазрения совести: заглядывал в прикуп, сбрасывал в зависимости от него свои карты и, учитывая все козыри партнера, играл наверняка. Каждая фишка равнялась двадцати су, и, когда появился барон, Марнеф уже обыграл мэра на тридцать франков.

— В чем дело, господа? — спросил член государственного совета, удивляясь, что гостиная опустела.— Вы одни? А где же остальные?

— Вы были в таком прекрасном расположении духа, что всех обратили в бегство! — отвечал Кревель.

— Нет, причиной тому приезд родственника моей жены,— возразил Марнеф.— Гости рассудили, что Валери и Анри хотят поговорить друг с другом после трех лет разлуки, и по сему случаю все деликатно удалились. Будь я тут, я бы их удержал; но, пожалуй, это получилось бы некстати: недомогание Лизбеты, которая обычно около половины одиннадцатого угощает нас чаем, внесло полное расстройство...

— Значит, Лизбета действительно нездорова? — со злостью спросил Кревель.

— Так мне сказали,— отвечал Марнеф равнодушно, как человек, для которого женщины более не существуют.

Мэр поглядел на часы, и по его расчету оказалось, что барон провел у Лизбеты сорок минут. Веселое настроение барона Юло служило тяжкой уликой против него, Валери и Лизбеты.

— Я только что оттуда; она очень страдает, бедняжка! — сказал барон.

— Выходит, что страдания близких радуют вас, дорогой друг,— кисло заметил Кревель.— У вас такой блаженный вид!.. Неужто Лизбета при смерти? Ваша дочь, говорят, ее наследница? Вас прямо узнать нельзя! Когда вы отсюда уходили, у вас физиономия была, как у венецианского мавра, а возвращаетесь, ни дать ни взять,— Сен-Пре!.. Хотелось бы мне взглянуть на личико госпожи Марнеф!

— Как прикажете вас понимать, господин Кревель? — сказал Марнеф, бросив на стол карты.

Потухшие глаза этого человека, одряхлевшего в сорок семь лет, оживились, дряблые, бледные щеки слегка порозовели; он полуоткрыл беззубый рот, и на его чер-

ных губах выступила белая, как мел, творожистая пена. Бессильная ярость человека, жизнь которого держалась на волоске и который на дуэли не рисковал бы ничем, тогда как Кревель мог потерять все, не на шутку испугала мэра.

— Я сказал,— отвечал Кревель,— что мне хотелось бы взглянуть на личико госпожи Марнеф. Желание вполне естественное, тем более что ваше лицо в настоящую минуту весьма неприятно. Убей меня бог! Вы страшно неказисты, дорогой Марнеф!

— Ну, знаете ли, вы просто невежливы!

— Человек, обыгравший меня в какие-нибудь полчаса на тридцать франков, никогда не кажется мне красивым.

— А поглядели бы вы на меня лет семнадцать назад!..— сказал помощник столоначальника.

— Вы были недурны? — спросил Кревель.

— Вот это-то меня и погубило. Будь я похож на вас, я был бы и пэр и мэр!

— Да-с! — сказал Кревель, усмехнувшись.— Вы, как видно, здорово пожили, хоть презренного металла и не нажили. Глотали полные рюмки, а теперь — ртутные пилюльки.

И Кревель расхохотался. Марнеф сердился, когда затрагивали его честь, весьма подмоченную, но был охотник до пошлых, грязных шуток, служивших как бы разменной монетой в их разговорах с Кревелем.

— Да-с! Дочери Евы обошлись мне дорого, это верно. Ну, черт возьми: коротко, да приятно,— вот мой девиз!

— А у меня другой: долго, да счастливо,— отвечал Кревель.

Госпожа Марнеф вошла и увидела, что в гостиной остались всего три человека: ее муж и Кревель за картами и барон; стоило ей взглянуть на главу муниципалитета, чтобы сразу же понять сложившуюся обстановку; и она тотчас приняла решение.

— Котик мой! — сказала она, опершись на плечо Марнефа и проводя своими тонкими пальчиками по его серым, жидким волосам, едва прикрывавшим череп, несмотря на замысловатые зачесы.— Пора тебе спать, час для тебя поздний! Ты не забыл, что утром тебе нужно

прочистить желудок? Так приказал доктор. Регина подаст тебе отвар из кореньев в семь часов утра... Если хочешь сохранить здоровье, брось свой пикет...

— Закончим на пяти? — спросил Марнеф Кревеля.

— Хорошо... У меня уже две,— отвечал Кревель.

— Сколько времени это еще продлится? — осведомилась Валери.

— Десять минут,— отвечал Марнеф.

— Уже одиннадцать часов,— сказала Валери.— Право, господин Кревель, можно подумать, что вы хотите убить моего мужа. Поторопитесь по крайней мере.

Двусмысленная фраза вызвала улыбку у Кревеля, у Юло и даже у самого Марнефа. Валери подошла к своему Гектору.

— Уходи, дорогой мой,— шепнула она ему.— Прогуляйся по улице Ванно, а как только увидишь, что Кревель убрался, возвращайся.

— Я предпочел бы выйти из квартиры, а потом вернуться и пройти в твою спальню через таулетную. Ты только скажи Регине, чтобы она мне открыла дверь.

— Регина наверху, она ухаживает за Лизбетой.

— Ну, а если я поднимусь к Лизбете?

Валери со всех сторон подстерегали опасности. Она предвидела объяснение с Кревелем и не хотела впускать Юло в спальню, откуда он мог бы все услышать. А у Лизбеты ожидал ее бразилец.

— Право же, все вы, мужчины, одинаковы,— сказала Валери барону Юло.— Когда у вас явится какая-нибудь фантазия, вы готовы поджечь дом, лишь бы войти. Лизбета в таком состоянии, что не может вас принять... Вы боитесь насморк схватить на улице, так, что ли?.. Ну, ну, идите... а не то прощайте!..

— До свиданья, господа,— громко сказал барон.

Получив щелчок по своему старческому самолюбию, Юло захотел доказать, что он ни в чем не уступит любому юноше, и согласен ожидать на улице хоть до рассвета... И он удалился.

Марнеф, войдя в роль нежного супруга, прощаясь с женой, взял ее за руки. Валери многозначительно пожала ему руку, как бы желая сказать: «Избавь же меня от Кревеля!»

— Покойной ночи, Кревель,— сказал Марнеф.— На-

деюсь, вы не засидитесь долго у Валери. О, я ревнив!.. Поздненько поддался я этому чувству, но теперь уж надолго! Я еще загляну сюда, полюбопытствовать, тут ли вы!

— Нам нужно поговорить о делах, но я не засижусь,— сказал Кревель.

— Говорите тише! Что вам нужно от меня? — спросила Валери безразличным тоном и глядя на Кревеля с нескрываемым высокомерием и презрением.

От этого надменного взгляда Кревель, оказавший Валери огромные услуги и думавший этим козырнуть, сразу присмирел.

— Ваш бразилец...

Испуганный пристальным и презрительным взглядом Валери, он осекся на полуслове.

— Ну, и что же?..— сказала она.

— Ваш кузен...

— Он мне вовсе не кузен,— возразила Валери.— Он мой кузен в глазах света и для господина Марнефа. Но, будь он даже моим любовником, смеете ли вы возражать против этого? Торгаш, покупающий женщину, чтобы этим отомстить приятелю, по-моему, стоит много ниже того, кто покупает ее из любви. Вы не были влюблены в меня, вы видели во мне любовницу господина Юло и купили меня, как покупают пистолет,— с целью убить соперника. Я бедствовала, ну и согласилась!

— Вы не выполнили условий сделки,— возразил Кревель, входя в привычную роль купца.

— А-а! Так вам угодно, чтобы барон Юло знал, что вы отбили у него любовницу в отместку за похищение Жозефы?.. Вы доказываете этим только свою низость. Вы говорите женщине, что любите ее, называете ее герцогиней и хотите ее опозорить! Что же, мой милый, вы правы! Эта женщина не стоит Жозефы. Ваша Жозефа по крайней мере откровенна в своем бесстыдстве, а я просто лицемерка, которую следовало бы высечь на городской площади. Увы! Жозефа защищена своим талантом и богатством. У меня же единственная опора — «порядочность»; я все еще слыву добродетельной, достойной женщиной. Но, если вы захотите скандала, что со мной станется? Будь я богата, ну, тогда куда ни шло! А у ме-

ня годового дохода всего каких-нибудь пятнадцать тысяч, не так ли?

— Гораздо больше,— возразил Кревель.— За последние два месяца я удвоил ваши вклады в Орлеанскую железную дорогу.

— Фу ты! В Париже человек с весом должен иметь по меньшей мере пятьдесят тысяч франков годового дохода, а вы ведь не собираетесь возместить в звонкой монете утрату моего положения в обществе! О чем я хлопочу? О назначении Марнефа начальником канцелярии. А это ведь всего-навсего шесть тысяч франков жалованья! Марнеф прослужил двадцать семь лет, и через три года, в случае его смерти, я получу пенсию в полторы тысячи франков! Я так добра к вам, вы просто захлебываетесь от счастья, а между тем не желаете подождать! И это называется любовью! — воскликнула она.

— Может быть, вначале мной и руководил расчет,— сказал Кревель,— зато теперь я превратился в вашу собачонку. Вы топчете своими ножками мое сердце, вы губите меня, доводите до сумасшествия, а я люблю вас, как никогда еще не любил. Валери, я люблю вас не меньше, чем Селестину! Для вас я готов на все... Слушайте, приходите на улицу Дофина не два раза в неделю, а три раза!

— Вот как? Вы молодеете, мой дорогой...

— Позвольте мне выставить Юло, унизить его, избавить вас от этого старика,— продолжал Кревель, не отвечая на ее дерзость.— Не принимайте больше вашего бразильца, отдайтесь всецело мне, и вы не раскаетесь! Сперва я обеспечу вас годовой рентой в восемь тысяч франков пожизненно; право на владение капиталом вы получите через пять лет, при условии вашей верности...

— Вечное торгашество! Мещане никогда не выучатся одаривать женщину! Вы хотите заручиться любовью пожизненно путем покупки ренты?.. Ах ты, лавочник, торговец помадой! На все ты наклеиваешь ярлыки с ценой. Гектор рассказывал мне, что герцог д'Эрувиль преподнес Жозефе документ на тридцать тысяч франков ежегодного дохода в пакете с дешевенькими конфетами! А я стою полдюжины ваших Жозеф! Ах, вот что значит быть любимой! — говорила она, поправляя

локоны перед зеркалом.— Анри любит меня, он убьет вас, как муху, стоит мне глазом мигнуть! Юло любит меня, он до нитки обобрал жену. Послушайте, будьте примерным отцом семейства, дорогой мой! О, ведь у вас на шалости имеется триста тысяч франков сверх основного капитала, целый клад. А вы только и думаете о том, как бы приумножить свое состояние...

— Для тебя, Валери! Ведь половину своего состояния я дарю тебе! — вскричал Кревель, падая на колени.

— Э, да вы все еще тут! — прогнусавил Марнеф, появляясь в халате на пороге комнаты.— Помилуйте, что с вами?

— Он просит у меня прощения, друг мой! Только что господин Кревель сделал мне оскорбительное предложение... Домогательства его не имели успеха, и он вздумал меня купить...

Кревель готов был провалиться сквозь землю, в какой-нибудь люк, как это бывает на театральных подмостках.

— Подымайтесь-ка, дорогой Кревель,— сказал Марнеф, осклабившись.— Вы слишком смешны. Вижу по Валери, что мне нечего опасаться.

— Ложись в постель и спи спокойно,— сказала г-жа Марнеф.

«Ну, не умница ли она? — подумал Кревель.— Она обворожительна! Она спасает меня!»

Когда Марнеф вышел из комнаты, мэр принялся целовать руки Валери, орошая их слезами.

— Все положу на твое имя! — твердил он.

— Вот что значит по-настоящему любить! — шепнула она ему на ухо.— Ну что ж! Любовь за любовь. Юло внизу, на улице. Бедный старичок ждет, когда я поставлю свечу на окно в спальной: условный знак, что он может сюда вернуться. Позволяю вам сказать ему, что вы единственный, кого я люблю! Он ни за что вам не поверит. Приведите его на улицу Дофина, дайте ему доказательства, отделайте его в лоск. Я вам позволяю, я вам приказываю! Этот тюлень мне надоел, он выводит меня из терпения. Держите его на улице Дофина, поджаривайте его всю ночь напролет на медленном огне, отомстите за похищение Жозефы! Юло, может быть, и не пе-

реживет этого, зато мы спасем его жену и детей от полного разорения. Госпожа Юло своими руками зарабатывает на хлеб!..

— Ах, бедная дама! Убей меня бог, это ужасно! — вскричал Кревель, в котором заговорили природные добрые чувства.

— Если ты любишь меня, Селестен,— шепнула Валери, касаясь губами его уха,— задержи барона, или я пропала. Марнеф что-то подозревает, а у Гектора ключ от входной двери, и он намерен вернуться.

Кревель сжал г-жу Марнеф в объятиях и вышел, чувствуя себя наверху блаженства Валери была так ласкова, сама проводила его до лестничной площадки. Затем, как загипнотизированная, она сошла до нижнего этажа и остановилась на последней ступеньке.

— Моя Валери, вернись, не роняй себя в глазах швейцара!.. Уходи! Моя жизнь, мое богатство — все твое!.. Уходи, моя герцогиня!

— Госпожа Оливье! — тихонько позвала Валери, как только дверь захлопнулась.

— Да неужто это вы, сударыня? — удивленно сказала г-жа Оливье.

— Заприте наружную дверь на две задвижки и, смотрите, больше никому не отпирайте.

— Слушаюсь, сударыня.

Заперев дверь, г-жа Оливье рассказала, как ее пытался подкупить высокий сановник.

— Вы вели себя, как ангел, дорогая госпожа Оливье. Мы еще поговорим об этом завтра.

Валери стрелой взлетела по лестнице на четвертый этаж, три раза тихонько постучала в дверь Лизбеты и, вернувшись к себе, отдала необходимые распоряжения Регине. Разве женщина упустит такой случай, как свидание со своим Монтесом, да еще прибывшим прямо из Бразилии?

«Нет! Черт возьми, только женщины из общества умеют так любить! — говорил сам с собою Кревель.— Как сверкали у нее глаза, когда она спускалась по лестнице! Ну, конечно, она мной увлечена! Разве когда-нибудь Жозефа!.. Жозефа просто-напросто шлюха! — воскликнул бывший коммивояжер.— Что, бишь, я сказал? Шлюха... Фу ты! Обронишь невзначай этакое словцо

в Тюильри... и шабаш! Ей-ей! Нет, если Валери не займется моим воспитанием, из меня проку не будет!.. А я-то из кожи лезу вон, чтобы казаться большим барином... Ах, что это за женщина! Стоит ей поглядеть на меня холодно, у меня резь в животе начинается!.. Что за изящество! А как умна! Никогда Жозефа так меня не волновала. А тайные ее прелести! Ба, вот и он!

Он разглядел во мраке Вавилонской улицы высокую, сутуловатую фигуру Юло, бродившего взад и вперед по деревянному настилу перед строившимся зданием. Кревель направился прямо к нему.

— Доброго утра, барон, потому что теперь уже за полночь, мой дорогой! На кой шут вы здесь торчите? Прогуливаетесь? А ведь моросит дождик. В нашем возрасте это опасно! Хотите послушать доброго совета? Разойдемся-ка по домам! Между нами будь сказано, не видать вам света в окошке...

Услышав эти слова, барон почувствовал, что ему шестьдесят три года и что плащ его насквозь промок.

— Но кто мог вам об этом сказать?..— спросил он.

— Валери! Ей-богу, *наша* Валери, которая желает быть только *моей* Валери. Теперь мы с вами квиты, барон, разыграем решающую партию, когда вам будет угодно. Вам нечего гневаться, вы знаете, что мое право взять реванш было включено в условие. Вам понадобилось три месяца, чтобы отбить у меня Жозефу, я же отнял у вас Валери в... Но к чему говорить об этом? — продолжал он.— Теперь я хочу, чтобы она принадлежала только мне. Но тем не менее мы останемся добрыми друзьями.

— Кревель, перестань шутить,— отвечал барон, задыхаясь от бешенства.— Дело идет о жизни и смерти.

— Вот как вы теперь заговорили!.. А что вы сказали мне, барон, в день свадьбы Гортензии? Неужто запамятовали? «Разве могут два таких старых распутника, как мы с вами, ссориться из-за юбки? Это мещанство, дурной тон...» Ведь решено: мы с вами — волокиты времен Регентства, голубых кафтанов, госпожи Помпадур... Словом сказать, мы — это восемнадцатый век, самый что ни на есть маршал Ришелье, стиль «рокайль» и даже «Опасные связи»!

Кревель мог сколько угодно щеголять своими лите-

ратурными познаниями, барон слушал его, как слушают глухие, еще не привыкшие к своей глухоте. Увидев при свете газового фонаря, что соперник его побледнел, победитель умолк. Откровения Кревеля были для барона громовым ударом, особенно после уверений г-жи Оливье, после прощального взгляда Валери.

— Бог мой! Мало ли женщин в Париже!..— воскликнул он наконец.

— То же самое и я сказал тебе, когда ты отбил у меня Жозефу,— заметил Кревель.

— Слушайте, Кревель, это невероятно... Дайте мне доказательства!.. Ведь у меня есть ключ от входной двери, а у вас?

И барон, подойдя к дому Валери, всунул ключ в замочную скважину. Но, как он ни старался, дверь не отпиралась.

— Не устраивайте скандала среди ночи,— спокойно сказал Кревель.— Видите ли, барон, мои ключи куда лучше ваших.

— Доказательства! Доказательства! — в отчаянии, близком к безумию, повторял барон.

— Пойдемте, я предоставлю вам доказательства,— отвечал Кревель.

И, следуя наказу Валери, он повел барона в сторону набережной, по улице Иллерен-Бертен. Злополучный член государственного совета шел с убитым видом, точно коммерсант накануне банкротства. Он не понимал, как могла его Валери дойти до такой развращенности, и начинал склоняться к мысли, что его дурачат. Проходя по Королевскому мосту, он вдруг почувствовал, что его жизнь так пуста, так безнадежно кончена и так запутаны его денежные дела, что у него блеснула недобрая мысль сбросить Кревеля в реку и броситься самому вслед за ним.

На улице Дофина, которая в те времена еще не была расширена, Кревель остановился у калитки небольшого дома. Калитка вела в длинный и узкий крытый проход, вымощенный белыми и черными плитками,— своего рода галерею, в конце которой находилась лестница и швейцарская с окном во внутренний дворик, каких много в Париже. Дворик, общий с соседним владением, представлял собою своеобразный пример не-

равного раздела. Особнячок Кревеля, ибо Кревель был его владельцем, имел пристройку с застекленной крышей, выстроенную на земле соседа, очень невысокую, согласно условию, и совершенно скрытую от глаз помещением швейцара и выступом лестничной клетки.

Пристройка, из тех, что часто встречаются в Париже, долгое время служила складом, подсобным помещением и кухней для лавки, выходившей на улицу. Кревель обособил пристройку от основного здания, а Грендо создал там скромную квартирку из трех комнат. Туда можно было попасть двояким путем: во-первых, через лавку мебельного торговца, которому Кревель сдавал помещение очень недорого и притом помесячно, чтобы воздействовать на лавочника, в случае если он вздумает болтать; во-вторых, через дверь, проделанную в стене крытой галереи так искусно, что она была почти не заметна. Таким образом, эта маленькая квартирка с верхним светом, состоявшая из столовой, гостиной и спальни, частично находившаяся на территории соседа, частично на земле Кревеля, была так расположена, что ее трудно было найти. За исключением торговца подержанной мебелью, даже жильцы дома не знали о существовании этого маленького рая. Привратница, которую Кревель хорошо оплачивал за ее преданность, оказалась превосходной кухаркой. Итак, господин мэр мог входить в свой скромный домик и выходить оттуда в любой час ночи, не опасаясь слежки. В любое время дня женщина, одетая, как одеваются парижанки, отправляясь за покупками, и имевшая при себе ключ, могла прийти к Кревелю, решительно ничем не рискуя; она якобы интересовалась вещами, продававшимися по случаю, приценивалась к ним, входила в лавку и выходила оттуда, не возбудив ни малейшего подозрения, если бы даже кто-нибудь ее и встретил тут.

Когда Кревель зажег канделябры в гостиной, барон был поражен обдуманной до тонкости и кокетливой роскошью обстановки. Бывший парфюмер предоставил Грендо полную свободу действий, и старик архитектор блеснул стилем Помпадур, что, впрочем, вскочило Кревелю в шестьдесят тысяч франков. «Я хочу,— сказал Кревель старику Грендо,— чтобы даже герцогиня, войдя сюда, ахнула от удивления...» Он мечтал создать прекрасней-

ший парижский Эдем, где он будет обладать своей Евой, женщиной из общества, своей Валери, своей герцогиней.

— Тут две кровати,— пояснял Кревель, указывая на диван, из которого выдвигалась постель, как ящик из комода.— Вот одна, а другая в спальне. Стало быть, мы оба можем здесь переночевать.

— Доказательства! — твердил барон.

Кревель взял свечу и повел своего приятеля в спальню, где на диванчике Юло увидел великолепный халат Валери,— в этом халате она щеголяла на улице Ванно, а потом переправила его в квартирку Кревеля. Мэр нажал потайную пружину прелестного наборного секретера, именуемого *поверенный тайн*, порылся в нем, вынул письмо и протянул барону.

— Вот тебе, читай.

Член государственного совета прочел записку, написанную карандашом:

«Прождала тебя даром, старая крыса! Такой женщине, как я, не пристало дожидаться отставного торгаша. Обед не был заказан, папирос не было. Ты за это поплатишься!»

— Узнаешь ее почерк?

— Бог мой! — сказал Юло, опускаясь в кресло, совершенно убитый.— Я узнаю все ее вещи... вот ее чепчики, ее туфли. Да ну же! Говори, давно ли...

Кревель кивнул в знак того, что он понял вопрос, и вытащил из секретера целую пачку счетов.

— Смотри, старина! Я уплатил подрядчикам в декабре тысяча восемьсот тридцать восьмого года, а в октябре, за два месяца перед тем, в этом прелестном домике мы справляли новоселье.

Член государственного совета понурил голову.

— Как же, черт возьми, вы устраиваетесь? Каждый ее час у меня на учете.

— А прогулка в Тюильри?..— потирая от восторга руки, сказал Кревель.

— Ну и что же? — спросил барон, недоумевая.

— Твоя так называемая любовница отправляется в Тюильри. Считается, что она прогуливается там от часу до четырех. Но, раз-два! Скок да скок, и она тут! Ты читал Мольера? Так вот! Твой титул, барон, не плод воображенья.

Сомнений больше не было, и Юло погрузился в зловещее молчание. Катастрофы располагают сильных и мыслящих людей к философствованию. По своему душевному состоянию барон напоминал человека, заблудившегося ночью в лесу. Его угрюмое молчание, его искаженное, осунувшееся лицо встревожили Кревеля, вовсе не желавшего смерти своему сподвижнику.

— Как я тебе уже сказал, старина, мы с тобою квиты. Сыграем решающую... Хочешь сыграть решающую, а? Ну-ка! Кто кого!

— Почему это, — говорил Юло, рассуждая сам с собою,— из десяти красивых женщин по меньшей мере семь распутниц?

Но барон был чересчур расстроен, чтобы найти решение загадки. Красота имеет великую власть над человеком. Всякая власть, не встречающая противовеса, власть без препон, ведет к злоупотреблениям, к безрассудству. Произвол — это безумие власти. У женщины произвол — это безумие ее прихотей.

— Тебе грех жаловаться, дорогой мой собрат,— у тебя жена красавица, и она весьма добродетельна.

— Я сам виноват,— сказал Юло.— Я пренебрег женой, причинил ей много страданий, а ведь она ангел! Бедная Аделина, ты отомщена! Она безропотно страдает в одиночестве, она достойна преклонения, она заслуживает моей любви, я должен бы... ведь она все еще прелестна, такая беленькая, стройная — и, право, даже помолодела... А есть ли на свете женщина подлее, бесстыднее этой злодейки Валери?

— Она негодяйка,— подтвердил Кревель,— развратница! Таких, как она, следовало бы стегать кнутом на площади Шатле... Но, дорогой мой Канильяк, раз мы с тобой «голубые кафтаны», распутники в духе Регентства и живем в самом что ни на есть восемнадцатом веке, среди всех этих Трюмо, маршалов Ришелье, маркиз Помпадур и Дюбарри, то нам, пожалуй, не к лицу прибегать к полицейской расправе.

— Как добиться, чтобы тебя любили?..— вопрошал Юло, не слушая Кревеля.

— Глупо нам с тобой мечтать о любви, милый мой,— сказал Кревель.— Хорошо еще, что нас с тобой терпят. Ведь госпожа Марнеф во сто раз распутнее Жозефы...

— И корыстнее!.. Она мне обошлась уже в сто девяносто две тысячи франков!..— вскричал Юло.

— И сколько сантимов? — съязвил Кревель. Как богач, он находил эту сумму ничтожной.

— Сразу видно, что ты ее не любишь,— печально сказал барон.

— С меня хватит! — заметил Кревель.— Ведь она от меня получила больше трехсот тысяч франков!..

— Где же все это? Куда все это уходит? — воскликал барон, хватаясь за голову.

— Ежели бы мы с тобой сговорились, как юнцы, которые в складчину содержат грошовую лоретку,— Валери дешевле бы нам обошлась...

— А ведь это мысль! — поддержал барон.— Но она бы все равно обманывала нас. Ну, а что ты думаешь, толстяк, о бразильце?..

— Ах ты, старый воробей! Да ведь ты прав! Нас надули, как каких-нибудь акционеров!..— сказал Кревель.— Любая из этих женщин — компания на паях!

— Так она сама сказала тебе про свечу на окне?..— спросил барон.

— Друг мой! — воскликнул Кревель, становясь в позу.— Мы с тобой околпачены! Валери просто... Она велела задержать тебя здесь... Теперь мне все ясно... У нее бразилец... Баста! Отказываюсь от нее! Все равно обманет. Держи ее за руки, она пустит в ход ноги. Ах ты, дрянь этакая, потаскуха!

— Она ниже всякой проститутки,— сказал барон.— Жозефа и Женни Кадин, те хоть имели право нас обманывать, они откровенно торгуют своими прелестями!

— Но она-то... Ведь она разыгрывает скромницу, святую,— сказал Кревель.— Слушай, Юло, возвращайся-ка к своей жене, ведь у тебя неважно идут дела... Поговаривают о каких-то векселях, выданных тобою мелкому ростовщику, некоему Вовине, специальность которого ссужать деньги лореткам. Что касается меня, теперь я уж излечился от пристрастия к порядочным женщинам. А впрочем, на что нам, в наши-то годы, нужны эти мошенницы, которые, говоря откровенно, и не могут не обманывать нас? У тебя, барон, седые волосы, вставные зубы. Ну, а я? Похож на Силена. Лучше я буду копить деньги. Деньги не обманут. Правда, казначейство до-

ступно каждому, но только раз в полгода, зато оно дает мне проценты, а этой женщине нам самим приходится платить... Ради тебя, дорогой мой собрат Гюбетта, старый мой сообщник, я еще могу мириться со своим положением — *патологическим*, нет, *философическим*. Но из-за какого-то бразильца, который, может быть, вывез из своей страны подозрительные колониальные товары...

— Женщина — существо необъяснимое,— изрек Юло.

— Вполне объяснимое,— возразил Кревель — Мы стары, а бразилец молод и красив...

— Да, это верно! — сказал Юло.— Согласен, мы стареем. Но, друг мой, как отказаться от этих прелестных созданий, от удовольствия видеть, как они раздеваются, причесываются, лукаво улыбаются нам из-под руки, укладывая свои папильотки, строят милые гримаски, несут всякий вздор, упрекают нас в холодности, когда у тебя голова пухнет от забот, и все-таки развлекают нас?

— Да, черт возьми, это единственная радость в жизни!..— воскликнул Кревель.— Ах, когда этакая очаровательная мордашка вам улыбнется да скажет: «Мой котик, знаешь ли ты, как ты мил! Ведь я совсем не такая, как другие женщины, которые увлекаются легкомысленными юнцами с козлиной бородкой, вертопрахами, курильщиками, грубыми, как лакеи! Они молоды и потому нахалы!.. Словом сказать, они приходят к вам, говорят: здравствуйте — и исчезают... Ты вот подозреваешь меня в кокетстве, а я предпочитаю этим молокососам людей солидных, так лет пятидесяти,— они надежнее. Уж они-то нам верны: они знают, что женщину легко потерять, и ценят нас... Вот почему я люблю тебя, мошенник ты этакий!..» И все эти, скажем, объяснения в любви сопровождаются такими милыми гримасками, шалостями и... Ах! Все это лживо, как посулы отцов города!..

— Ложь часто дороже истины,— сказал Юло, вспоминая прелестные сценки, которые комически воспроизвел Кревель, передразнивая Валери.— Ложь дается не легко, ведь приходится расшивать блестками ее театральные костюмы...

— Какие они ни есть лгуньи, а в конце концов мы у них своего добиваемся,— цинично сказал Кревель.

— Валери — настоящая фея! — воскликнул барон.— Она старика превращает в юношу...

— О да!—согласился Кревель.—Это какая-то змейка,— так и ускользает из рук. Но какая же это прелестная змейка... беленькая, сладкая, как сахар!.. Забавна, как Арналь, а уж до чего изобретательна! А-ах!..

— А как остроумна! — восклицал барон, уже позабыв о своей жене.

Оба собрата улеглись спать лучшими друзьями на свете, припоминая одно за другим совершенства Валери, ее голосок, ее кошачьи повадки, ее жесты, дурачества, остроты; ибо она была искусной артисткой в любви, подобно знаменитым тенорам, которые чем больше поют, тем лучше исполняют свои арии. И оба задремали, убаюканные дьявольски соблазнительными воспоминаниями, от которых так и пышет адским огнем.

На другой день, в девять часов, Юло собрался идти в министерство, а у Кревеля оказались дела за городом. Они вышли вместе, и Кревель, протянув руку барону, сказал:

— Забудем нашу размолвку, не так ли? Ведь нам с вами больше нет дела до госпожи Марнеф.

— О, с этим покончено! — отвечал Юло, содрогаясь от ужаса.

В половине одиннадцатого Кревель со всех ног взбегал по лестнице к г-же Марнеф. Он застал эту подлую тварь, эту обворожительную волшебницу в очаровательном утреннем туалете за изысканным завтраком в обществе барона Анри Монтес де Монтеханос и Лизбеты. Хотя присутствие бразильца было для Кревеля тяжелым ударом, он попросил г-жу Марнеф уделить ему минутку для разговора наедине. Валери прошла с Кревелем в гостиную.

— Валери, ангел мой,— начал влюбленный Кревель,— господин Марнеф долго не проживет. Если ты будешь мне верна, мы с тобой поженимся. Подумай об этом. Я избавил тебя от Юло... Посуди сама, стоит ли какой-то бразилец парижского мэра, человека, который ради тебя может добиться высокого положения, у кого-

рого и теперь восемьдесят с лишним тысяч годового дохода.

— Подумаем,— отвечала она.— Я приду на улицу Дофина в два часа, и мы поговорим. Но будьте паинькой! И помните о передаточном акте... Надеюсь, вы не забыли вчерашнее свое обещание?

Она вернулась в столовую, куда последовал за нею и Кревель, воображавший, что он нашел средство стать единственным собственником Валери, но тут он встретился с бароном Юло, который успел во время вышеописанного короткого разговора явиться с теми же намерениями. Член государственного совета попросил, как и Кревель, уделить ему несколько минут. Г-жа Марнеф поднялась и, опять направляясь в гостиную, улыбнулась бразильцу, как бы говоря: «Они просто с ума сошли! Разве они не видят тебя?»

— Валери,— сказал член государственного совета,— дитя мое, этот кузен похож на американского дядюшку...

— О, довольно! — перебила его Валери.— Марнеф никогда не был, не будет и не может быть моим мужем. Первый и единственный человек, которого я любила, вернулся совершенно неожиданно... Разве я виновата в этом? Но поглядите хорошенько на Анри и поглядите на себя в зеркало. А затем спросите себя, может ли женщина, в особенности женщина любящая, колебаться в выборе? Дорогой мой, я не какая-нибудь содержанка. С нынешнего дня я не хочу больше изображать библейскую Сусанну между двух старцев. Если вы и Кревель дорожите мной, будьте нашими друзьями. Но между нами все кончено, потому что мне двадцать шесть лет, и отныне я хочу быть святой, безупречной, достойной женщиной... как ваша супруга.

— Вот как! — воскликнул Юло.— Ах, вот как вы меня принимаете? А я-то шел к вам, как папа римский, с целым ворохом индульгенций!.. Хорошо же! Вашему мужу никогда не быть ни столоначальником, ни кавалером ордена Почетного легиона...

— Это мы еще посмотрим! — сказала г-жа Марнеф, устремив на Юло многозначительный взгляд.

— Не будем ссориться,— продолжал огорченный Юло.— Вечером я приду, и мы поговорим.

— У Лизбеты, да!..

— Ну что ж! — сказал влюбленный старик.— Пусть хоть у Лизбеты!..

Юло и Кревель вышли вместе, молча спустились по лестнице, но на улице они взглянули друг на друга и горько рассмеялись.

— Старые мы дураки!..— сказал Кревель.

— Я дала им отставку,— заявила Лизбете г-жа Марнеф, снова садясь за стол.— Я никогда не любила, не люблю и никогда не полюблю никого, кроме моего ягуара,— прибавила она, улыбнувшись Анри Монтесу.— Лизбета, душенька моя, ты знаешь, что Анри простил мне все гадкие поступки, на которые толкнула меня нужда?..

— Я во всем виноват,— сказал бразилец.— Я должен был послать тебе сто тысяч франков...

— Бедный мальчик! — вскричала Валери.— Мне бы надо было самой зарабатывать на хлеб! Но мои руки слишком изнежены для труда... Спроси у Лизбеты.

Бразилец удалился, чувствуя себя самым счастливым человеком в Париже.

Было около полудня; Валери и Лизбета беседовали, сидя в великолепной спальне г-жи Марнеф, где эта опасная парижанка, оканчивая свой туалет, наводила на себя последний лоск, что всякая женщина предпочитает делать собственноручно. Двери были заперты, портьеры опущены, и Валери описывала в мельчайших подробностях все события вечера, ночи и утра.

— Ты довольна, мое сокровище? — спросила она Лизбету, закончив свой рассказ.— Кем мне быть — госпожой Кревель или госпожой Монтес? Как лучше, по-твоему?

— Такой распутник, как Кревель, не проживет больше десяти лет,— отвечала Лизбета,— а Монтес молод. Кревель оставит тебе доходу около тридцати тысяч франков. Пусть Монтес подождет, с него достаточно того, что он всегда будет твоим любимцем. В тридцать три года ты все еще будешь красавицей, моя девочка, выйдешь замуж за своего бразильца, а шестьдесят тысяч франков ренты позволят тебе занять видное положение в обществе, особенно *при покровительстве супруги маршала Юло.*

— Да, но Монтес — бразилец, он никогда не добьется настоящего положения,— заметила Валери.

— Мы живем,— сказала Лизбета,— во времена железных дорог, когда иностранцы начинают играть видную роль во Франции.

— Подождем, когда Марнеф умрет,— сказала Валери.— Дни его сочтены.

— Припадки просто истерзали его,— заметила Лизбета.— Что ж, разве это не расплата грешной плоти?.. Ну-с, я иду к Гортензии!

— Да, да, ступай, моя дорогая,— отвечала Валери.— И приводи ко мне моего художника! За три года не подвинуться ни на шаг! К стыду для нас обеих! Венцеслав и Анри! Вот две мои страсти! Один — моя любовь, другой — мой каприз.

— И хороша же ты сегодня! — сказала Лизбета, обняв Валери за талию и целуя ее в лоб.— Я радуюсь твоим радостям, твоему богатству, твоим нарядам... Я живу только с того дня, как мы с тобой стали сестрами...

— Подожди, моя тигрица! — смеясь, сказала Валери.— У тебя шаль съехала набок. Ты все еще не умеешь носить шаль, хотя я обучаю тебя этому искусству вот уже три года. А еще хочешь быть супругой маршала Юло.

Обутая в прюнелевые ботинки, в серых шелковых чулках, в платье из великолепного левантина, в прелестной черной бархатной шляпке, подбитой желтым атласом, из-под которой виднелись черные бандо волос, Лизбета шла на улицу Сен-Доминик по бульвару Инвалидов, размышляя, когда же, наконец, сломится Гортензия и она, Лизбета, подчинит себе ее гордую душу, и устоит ли против соблазна любовь Венцеслава, если он, при его сарматском непостоянстве, будет захвачен врасплох.

Гортензия и Венцеслав занимали нижний этаж дома на углу улицы Сен-Доминик и площади Инвалидов. Квартира, которая так гармонировала в дни медового месяца с их любовью, представляла теперь смешение ярких и блеклых красок,— так сказать, картину осеннего увядания домашнего уюта. Новобрачные всегда беспорядочны, сами того не замечая, они портят прекрасные вещи, небрежно обращаясь с ними, подобно тому как

излишествами они губят свою любовь. Они поглощены друг другом и мало заботятся о будущем, о котором впоследствии только и думают матери семейства.

Когда пришла Лизбета, Гортензия кончала одевать маленького Венцеслава, и его вынесли в сад.

— Здравствуй, Бетта,— сказала Гортензия, открывая гостье дверь.

Кухарка ушла на рынок, а горничная, она же няня, была занята стиркой.

— Здравствуй, дорогая детка,— отвечала Лизбета, целуя Гортензию.— А где же Венцеслав? — шепнула она на ухо племяннице.— Он у себя в мастерской?

— Нет, беседует с Шандором и Стидманом в гостиной.

— Мы можем побыть вдвоем?

— Пройдем в мою комнату.

Комната Гортензии была обтянута персидской тканью с розовыми цветами и зелеными листьями на белом фоне, но от солнца обои уже выгорели, как и ковер. Занавеси давно не чистились. Все было пропитано запахом сигар, ибо Венцеслав, аристократ до мозга костей, став большим барином в искусстве и чувствуя себя любимцем семьи, которому все прощается, а также богачом, стоящим выше мещанских забот, стряхивал пепел на ручки кресел, на самые красивые вещи,— словом, куда попало.

— Ну что ж, поговорим о твоих делах? — спросила Лизбета, увидев, что Гортензия молчит, откинувшись в кресле.— Да что с тобой? Ты нынче что-то бледна, моя дорогая!

— Опять появились в печати две статьи, убийственные для моего бедного Венцеслава. Я их прочла и прячу от него, а иначе он, бедняжка, совсем падет духом. Мраморная статуя маршала Монкорне признана никуда не годной. Отдают справедливость барельефам, восхваляют Венцеслава как талантливого мастера в искусстве орнаментики... Какое жестокое коварство! Ведь этим они хотят сказать, что *серьезное* искусство ему недоступно! Я умоляла Стидмана высказать откровенное свое мнение, и он безмерно меня огорчил: он признался, что его суждение вполне сходится с оценкой всех художников, критиков и публики. «Если Венцеслав,— сказал он

мне вон там, в саду, перед завтраком,— не выставит в будущем году какой-нибудь образцовой вещи, ему придется бросить монументальную скульптуру и ограничиться идиллическими сюжетами, статуэтками, ювелирными изделиями и тонким мастерством чеканщика!» Приговор этот очень меня опечалил, а Венцеслав никогда с ним не согласится: он полон творческих сил, у него столько прекрасных замыслов...

— Замыслами не расплатишься с поставщиками,— заметила старая дева.— Сколько я ему об этом твердила!.. Тут нужны деньги. А деньги получают только за сделанные вещи. Да еще нужно, чтобы они пришлись по вкусу мещанам, которые их покупают. Раз дело идет о хлебе насущном, пусть лучше у скульптора на его верстаке красуется модель подсвечника, какой-нибудь подставки для углей, столика, а не группы или статуи, потому что обиходные вещи всякому нужны, а любителя статуй и его денег приходится дожидаться месяцами...

— Ты права, славная моя Лизбета! Скажи все это ему сама. У меня смелости не хватит... И кроме того, как он говорил Стидману, если ему взяться опять за орнаментику, за мелкую скульптуру, то надо отказаться от Академии, от создания монументальных произведений искусства, от трехсот тысяч франков, которые обеспечены нам в будущем заказами Версаля, города Парижа и военного министерства. Вот чего лишают нас эти ужасные статьи, продиктованные нашими конкурентами, которые сами притязают на наши заказы.

— О том ли ты мечтала, моя кисонька,— сказала Лизбета, целуя Гортензию в лоб.— Ты мечтала об аристократе, который царил бы в искусстве, стоял бы во главе скульпторов... Но, видишь ли, все это поэтическая фантазия... такая мечта требует годового дохода в пятьдесят тысяч франков, а у вас всего две тысячи четыреста франков, пока я жива, и три тысячи после моей смерти.

Слезы выступили на глазах Гортензии, и Бетта как будто слизнула их взглядом, как кошка слизывает пролитое молоко.

Вот краткая история медового месяца Гортензии. Рассказ этот будет, пожалуй, полезен для художников.

Упорная работа над собой, искания в области творчества требуют от человека напряжения всех его сил. В высокой сфере искусства, подразумевая под этим словом все создания человеческой мысли, из всех качеств человека самое ценное — мужество, то особое мужество художников и мыслителей, о котором и не подозревает толпа и значение которого, быть может, впервые будет разъяснено на этих страницах.

Изнемогая под бременем нищеты, оказавшись, по милости Бетты, в положении лошади, на которую надели шоры, чтобы она не озиралась по сторонам, измученный упреками черствой девицы, живого олицетворения Необходимости, этой низшей разновидности Судьбы, Венцеслав Стейнбок, поэт и мечтатель по природе, перескочил от Замысла к Воплощению, не измерив глубины пропасти, лежащей между этими двумя стадиями творчества. Мыслить, мечтать, задумывать прекрасные произведения — премилое занятие: это то же, что курить одурманивающие сигары или вести жизнь куртизанки, занятой удовлетворением своих прихотей. Задуманное произведение предстает перед очами художника во всей своей младенческой прелести, и он, исполненный материнского чувства, видит краски благоуханного цветка, вкушает сладость быстро зреющего плода. Таков творческий замысел и наслаждения, которые он дает. Тот, кто может бегло обрисовать словами свой замысел, уже прослывет человеком незаурядным. Этим даром обладают все художники и писатели. Но создавать! Но произвести на свет! Но выпестовать свое детище, вскормить его, убаюкивать его каждый вечер, ласкать его всякое утро, обхаживать с неиссякаемой материнской любовью, умывать его, когда оно испачкается, переодевать его сто раз в сутки в свежие платьица, которые оно поминутно рвет, не пугаться недугов, присущих этой лихорадочной жизни, и вырастить свое детище одухотворенным произведением искусства, которое говорит всякому взору, когда оно — скульптура, всякому уму, когда оно — слово, всем воспоминаниям, когда оно — живопись, всем сердцам, когда оно — музыка,— вот что такое Воплощение и Труд, совершаемый ради него. Рука всегда должна быть готова к действию, всегда послушна велениям мысли. Но мысли не прикажешь тво-

рить по заказу, как не прикажешь сердцу хранить постоянство.

Эта потребность созидания, эта неодолимая жажда материнства, воплощением которой является женщина-мать (дивное творение природы, так глубоко понятое Рафаэлем!), словом, способность нашего мозга к творчеству, этот редкий дар, утрачивается с необыкновенной легкостью. Вдохновение — это счастливые минуты гения. Оно не касается земли своими крыльями, оно парит в воздухе, взмывает ввысь, как недоверчивая птица, у него нет привязи, за которую поэт мог бы его поймать, кудри его — пламя, оно ускользает, как прекрасные бело-розовые фламинго, приводящие в отчаяние охотников. Поэтому творческий труд — это изнурительная борьба, которой страшатся и которой отдаются со страхом и любовью прекрасные и могучие натуры, рискуя надорвать свои силы. Великий поэт нашего времени сказал о тяжести творческого труда: «Я сажусь за работу с отчаянием и кончаю ее с сожалением». Да будет это известно непосвященным! Если художник, не раздумывая, не бросается в глубины творчества, как Курций в пропасть на римском Форуме, как солдат на вражеский редут, и если, в недрах этого кратера, он не трудится, как рудокоп, засыпанный обвалом,— словом, если он растерянно отступает перед трудностями, вместо того чтобы побеждать их одну за другой, по примеру любовников из сказок, которые, преодолевая злые чары, освобождали заколдованных принцесс, то произведение останется незавершенным, оно гибнет в стенах мастерской, где творчеству уже нет места, и художник присутствует при самоубийстве своего таланта. Россини, этот гений, столь родственный Рафаэлю, являет разительный пример творческого подвига, если вспомнить его нищету в юности и довольство в зрелые годы. Такова причина всеобщего признания, громкой славы и лавров, которыми равно венчают и великих поэтов и великих полководцев.

Венцеслав, натура мечтательная, истратил столько энергии на творчество, на обучение, на физический труд под неумолимым надзором Лизбеты, что теперь любовь и привольная жизнь оказывали на него обратное действие. Сказался его истинный характер. Леность и

беспечность, сарматская мягкость снова заняли в его душе насиженное место, откуда изгнала их розга наставника. Первые месяцы художник посвятил любви. Гортензия и Венцеслав с милой ребячливостью отдавались страсти, законной, счастливой и безрассудной. И Гортензия прежде всего старалась освободить Венцеслава от всякого труда, гордясь тем, что она восторжествовала над своей соперницей — Скульптурой. Впрочем, женские ласки всегда отпугивают Музу и ослабляют неукротимую, суровую волю к труду. Прошло шесть-семь месяцев, и пальцы скульптора разучились держать стеку. Когда же стало необходимым вернуться к труду, когда князь Виссембургский, председатель комитета по установке памятника, пожелал увидеть статую, Венцеслав произнес знаменитые слова лентяев: «Я принимаюсь за работу!» И он убаюкал свою дорогую Гортензию обманными речами, радужными надеждами художника-мечтателя. Гортензия еще больше полюбила своего поэта, она представляла себе статую Монкорне каким-то чудом искусства. Монкорне должен был являть собою образец храбрости, отваги в духе Мюрата, идеал кавалериста! Все победы императора станут понятны при взгляде на эту статую! А какое мастерское исполнение! Карандаш был весьма услужлив, он покорно следовал за словами.

Вместо статуи появился на свет прелестный маленький Венцеслав.

Как только скульптору надо было идти в мастерскую Гро-Кайу мять глину и делать макет, всякий раз случалось так, что либо часы, заказанные принцем, требовали его присутствия в мастерской Флорана и Шанора, где отливались фигуры, либо день был серый и пасмурный; сегодня — деловые разъезды, завтра — семейный обед, не считая тех дней, когда прихрамывал талант или прихрамывало здоровье, наконец — когда просто хотелось побыть с обожаемой женой. Дело дошло до того, что маршал князь Виссембургский разгневался и пригрозил пересмотреть свое решение, если ему не представят модель статуи. И только после бесконечных упреков и крупных разговоров комитету по установке памятника удалось получить от ваятеля гипсовый слепок. Возвращаясь из мастерской, Стейнбок всегда жаловался на усталость, на физическую слабость и сравнивал свой

труд с работой каменщика. Все же в продолжение всего первого года молодые супруги жили в достатке. Графиня Стейнбок, боготворившая мужа, счастливая взаимной любовью, проклинала военного министра; она отправилась к нему и заявила, что великие произведения не изготовляются, как пушки, и что, по примеру Людовика XIV, Франциска I и Льва X, правительство должно быть всегда готово оказать услугу гению. Бедная Гортензия, воображавшая, что она держит в своих объятиях нового Фидия, жила в вечной тревоге за своего Венцеслава,— чувство чисто материнское, свойственное женщинам, у которых любовь доходит до идолопоклонства. «Не утомляй себя,— говорила она мужу.— В этой статуе все наше будущее. Не торопись, создай образцовое произведение». Она приходила в мастерскую. Влюбленный Стейнбок из семи рабочих часов терял пять часов, описывая жене свою статую, вместо того чтобы работать над нею. Таким образом, потребовалось полтора года, чтобы закончить это произведение, столь для него важное.

Когда отливка гипсового слепка была закончена и модель появилась на свет, Гортензия, знавшая, каких огромных усилий эта работа стоила ее мужу, ибо от постоянного физического напряжения у него ломило все тело, болели руки и здоровье его пошатнулось, бедная Гортензия, увидев слепок, пришла от него в восхищение. Отец ее, полный невежда в скульптуре, баронесса, не менее невежественная в этих вопросах, громогласно объявили, что статуя — настоящий шедевр! Пригласили военного министра, и тот, под впечатлением их восторженных похвал, остался доволен этим одиноким экспонатом, выигрышно освещенным и красиво выделявшимся на фоне зеленого холста. Увы! На выставке 1841 года работа Стейнбока встретила всеобщее порицание, которое у людей, раздраженных успехом нового кумира, столь поспешно вознесенного на пьедестал, превратилось в злорадство: посыпались насмешки, поднялось улюлюканье. Стидман, пытавшийся открыть глаза своему другу Венцеславу, был обвинен им в зависти. Газетные статьи воспринимались Гортензией как вой злопыхателей. Стидман, этот благородный малый, добился благожелательных статей, где критики были посрамлены и где

доказывалось, что скульптура в гипсе и скульптура в мраморе производят разное впечатление и что выставлять вещь надо только в мраморе. «В процессе работы, от гипсовой модели до статуи в мраморе,— писал Клод Виньон,— можно изуродовать образцовое произведение и создать первоклассную вещь из посредственного слепка. Гипс — это рукопись, мрамор — это книга».

За два с половиной года Стейнбок успел произвести статую и ребенка. Ребенок был дивно хорош, статуя безобразна.

Деньги за часы, приобретенные принцем, и за статую ушли на покрытие долгов молодой четы. К тому времени Стейнбок уже усвоил привычку бывать в свете, в театре, у Итальянцев; он увлекательно рассуждал об искусстве; он поддерживал в глазах света свою славу художника краснобайством и склонностью во всем находить недостатки. В Париже встречаются «гениальные люди», которые только и делают всю жизнь, что разглагольствуют о себе и довольствуются, так сказать, салонной славой. По примеру этих милейших евнухов, Стейнбок стал гнушаться работы, и его отвращение к труду увеличивалось с каждым днем. Намереваясь приступить к осуществлению какого-нибудь замысла, он прежде всего замечал все его трудности, падал духом, и воля его ослабевала. Вдохновение, эта страстная жажда созидания, сравнимая только с жаждой материнства, отлетает одним взмахом крыльев при виде немощного любовника.

Скульптура, как и драматическое искусство, самое трудное и вместе с тем самое легкое из всех искусств. Сделайте точный слепок с живой натуры, и произведение выполнено. Но вдохнуть в него жизнь, сделать скульптурный портрет, мужской или женский, возвести его в типический образ — значит повторить грех Прометея. Такие творческие удачи в летописях ваяния встречаются редко, как редки поэты в истории человечества. Микеланджело, Мишель Коломб, Жан Гужон, Пракситель, Поликлет, Пюже, Канова, Альбрехт Дюрер — родные братья Мильтона, Вергилия, Данте, Шекспира, Тассо, Гомера и Мольера. Искусство ваяния столь величественно, что одной статуи довольно, чтобы обессмертить ее творца, как одного образа Фигаро, Ловласа,

Манон Леско было достаточно, чтобы обессмертить имя Бомарше, Ричардсона и аббата Прево. Люди поверхностные (а их очень много среди художников) говорят, что монументальная скульптура существовала лишь при обнаженной натуре, что это искусство умерло вместе с античной Грецией и современная одежда для него убийственна. Но, во-первых, древние ваятели оставили нам дивные мраморные фигуры, облаченные в одежду, как Полигимния, Юлия и прочие, из которых до нас не дошло и десятой доли. Во-вторых, пусть истинные любители искусства отправятся во Флоренцию и посмотрят на «Мыслителя» Микеланджело, а в Майнцском соборе на «Деву Марию» Альбрехта Дюрера, который вырезал из черного дерева женскую фигуру, достигнув полной передачи телесности под тройным покровом одежд, причем поражает обработка волос, падающих на грудь и плечи мягкими волнистыми прядями, каких никогда еще не доводилось причесывать ни одной горничной. Пусть невежды убедятся в этом воочию и признают, что гений может вдохнуть жизнь своих фигур в их одеяния, в военные доспехи, в судейские тоги, подобно тому, как на одежде любого человека лежит отпечаток его привычек и характера. Скульпторы непрерывно совершают подвиг, который в живописи был совершен одним лишь Рафаэлем! Разрешение этой сложнейшей задачи заключается в упорном, неослабном труде, ибо внешние препятствия должны быть настолько преодолены, рука должна быть так приучена к резцу, так послушна и тверда, чтобы скульптор мог вступить в единоборство с той неосязаемой, духовной натурой, которой он призван дать пластическое воплощение. Если бы Паганини, который умел изливать свою душу, касаясь смычком струн своей скрипки, провел три дня, не упражняясь в игре, он перестал бы чувствовать, по его выражению, *регистр* своего инструмента,— так определял он связь, существующую между деревом, смычком, струнами и им самим; будь это согласие нарушено, он сразу превратился бы в обыкновенного скрипача. Неустанный труд — основной закон искусства и жизни, ибо искусство есть творческое воспроизведение действительности. Поэтому великие художники, подлинные поэты не ожидают ни заказов, ни заказчиков, они творят сегодня,

завтра, всегда. Отсюда вытекает привычка к труду, постоянная борьба с трудностями, на которых зиждется вольный союз художника с Музой, с собственными творческими силами. Канова жил в своей мастерской, Вольтер жил у себя в кабинете. Гомер и Фидий, должно быть, вели такой же образ жизни.

Венцеслав уже стоял на тернистом пути, пройденном этими великими людьми и ведущем к горным вершинам Славы,— так было, когда Лизбета держала его взаперти в мансарде. Счастье в образе Гортензии располагало поэта к лени, естественному состоянию всех художников, ибо их лень — тоже своего рода занятие. Это — наслаждение паши в серале: они лелеют дивные замыслы, они припадают устами к источникам мысли. Талантливые художники, вроде Стейнбока, одержимые мечтой, справедливо именуются *мечтателями*. Эти курильщики опиума все впадают в нищету, между тем как в суровых условиях жизни из них вышли бы великие мастера. Впрочем, эти полухудожники обаятельны, все их любят, осыпают похвалами, возносят их выше истинных художников, обвиняемых в индивидуализме, в нелюдимости, в бунте против законов общества! И вот почему. Великие люди принадлежат своим творениям. Отрешенность их от всего окружающего, преданность своему труду делают их эгоистами в глазах невежд, которые хотят видеть их в обличье денди, искушенных в сложной эквилибристике, именуемой светскими обязанностями. Им хотелось бы, чтобы атласский лев был расчесан и раздушен, как болонка какой-нибудь маркизы. Творцы эти, редко встречая равных себе, обречены на полное одиночество и становятся какими-то чудаками, по мнению большинства, состоящего, как известно, из глупцов, завистников, невежд и людей поверхностных. Понятна ли вам теперь роль женщины возле этих величественных исключений из правила? Женщина должна быть для них тем, чем была в продолжение пяти лет Лизбета для Венцеслава, а кроме того, быть любящей, покорной, скромной, всегда готовой на жертвы, всегда улыбающейся.

Гортензия, умудренная страданиями матери, подавленная тяжестью нужды, слишком поздно заметила невольные ошибки, в которые ее вовлекла беззаветная любовь к мужу; но недаром она была дочерью Аделины:

сердце ее сжималось при одной мысли причинить огорчение Венцеславу; безмерная любовь не давала ей стать палачом своего дорогого художника, а между тем она видела, что близится день, когда нищета коснется не только ее, но и сына и мужа.

— Ну, ну, полно, моя девочка! — сказала Бетта, заметив слезинки на прекрасных глазах своей юной родственницы.— Не надо отчаиваться. Стакан твоих слез не оплатит тарелки супа! Сколько вам нужно?

— Пять-шесть тысяч франков.

— У меня больше трех тысяч не наберется,— сказала Лизбета.— А над чем сейчас работает Венцеслав?

— Ему предлагают вместе со Стидманом выполнить десертный сервиз для герцога д'Эрувиля; дадут шесть тысяч франков. И тогда господин Шанор берется уплатить четыре тысячи франков долга Леону де Лора и Бридо, а это долг чести!

— Как! Вы получили деньги за статую и за барельефы для памятника маршалу Монкорне и не уплатили этого долга?

— Но ведь последние три года мы тратили по двенадцати тысяч в год,— сказала Гортензия,— а я получаю всего сто луидоров. Памятник маршалу, если вычесть все, что на него затрачено, принес нам не больше шестнадцати тысяч франков. Если Венцеслав не будет работать, я просто не знаю, что с нами станется! Ах, если бы я могла научиться лепить статуи, как бы я славно мяла глину! — сказала она, вытягивая свои прекрасные руки.

Видно было, что эта молодая женщина оправдала надежды, которые она подавала, будучи девушкой. Глаза Гортензии сверкали; в ее жилах текла горячая кровь, насыщенная железом; она сокрушалась, что тратит свою энергию только на то, чтобы нянчить ребенка.

— Ах, мой ангелочек! Благоразумной девушке не следует выходить замуж за художника, пока он не составил себе состояние. Ни за что не следует!

В это время послышался шум шагов и голоса: Стидман и Венцеслав провожали Шанора; вскоре в комнату вошел Венцеслав вместе со Стидманом. Стидман, художник, вращавшийся в среде журналистов, прославленных актрис и знаменитых лореток, был элегантный молодой человек; Валери очень хотелось видеть его у себя,

и Клод Виньон совсем недавно представил его г-же Марнеф. Стидман только что порвал связь с пресловутой г-жой Шонтц, которая вышла замуж и уехала в провинцию несколько месяцев тому назад. Валери и Лизбета, узнав об этом разрыве, сочли нужным привлечь друга Венцеслава на улицу Ванно. Так как Стидман из деликатности бывал у Стейнбоков очень редко, а Лизбета не была у Марнефов в тот день, когда Клод ввел его к Валери, то теперь она увидела его в первый раз. Разглядывая знаменитого художника, Лизбета приметила, что он посматривает на Гортензию, и ее осенила мысль подготовить для графини Стейнбок утешителя в случае, если бы Венцеслав изменил ей. Стидман действительно думал, что, не будь Венцеслав его товарищем, молодая и блистательная графиня Стейнбок была бы божественной любовницей; но именно его влечение к ней, обузданное чувством порядочности, и отдаляло его от дома Стейнбоков. Лизбета заметила смущение художника, знаменательное смущение мужчины в присутствии женщины, которая ему нравится и за которой он не позволяет себе ухаживать.

— Какой милый молодой человек! — шепнула она Гортензии.

— Ты находишь? — отвечала Гортензия.— А я даже и не замечала...

— Стидман, голубчик,— сказал Венцеслав на ухо своему товарищу,— ведь мы друг с другом не стесняемся, не правда ли?.. Послушай, нам с женой надо поговорить о делах с этой старой девой.

Стидман откланялся дамам и ушел.

— Мы условились,— сказал Венцеслав, проводив Стидмана,— но работа потребует не менее шести месяцев, а на что жить все это время?

— А мои бриллианты!—воскликнула юная графиня Стейнбок в великодушном порыве любящего сердца.

Слезы показались на глазах Венцеслава.

— О, я примусь за работу! — отвечал он, садясь и привлекая жену к себе на колени.— Я займусь ходовым товаром: изготовлю свадебные корзины, бронзовые группы.

— Но, милые мои дети,— сказала Лизбета,— разве вы не знаете, что вы—мои наследники? А я уж, поверь-

те, оставлю вам кругленькую сумму, особенно, если вы поможете мне выйти замуж за маршала. Если нам удастся быстро наладить это дело, я вас всех обеспечу — и вас и Аделину. Ах, как хорошо мы тогда заживем! А пока что послушайтесь меня, поверьте моему опыту. Не обращайтесь в ломбард, это сущее разорение для закладчиков. Я столько раз наблюдала, что вещи пропадали только потому, что у бедняка не было денег, чтобы в срок внести проценты. Я могу достать вам деньги, всего из пяти процентов, под вексель.

— Ах, это было бы для нас спасением! — воскликнула Гортензия.

— Коли так, душенька, пусть Венцеслав сходит к той особе, которая может ссудить его деньгами по моей просьбе. Это госпожа Марнеф. Надо только польстить ей, потому что она тщеславная, как все выскочки, и она прекраснейшим образом выручит вас из беды. Побывай-ка и ты в ее доме, моя дорогая!

Гортензия посмотрела на Венцеслава: так, должно быть, смотрят приговоренные к смерти, всходя на эшафот.

— Клод Виньон ввел туда Стидмана,— отвечал Венцеслав.— Говорят, это очень приятный дом.

Гортензия опустила голову. То, что она испытывала, можно выразить в двух словах: то был не укол ревности, а жестокое страдание.

— Ах, дорогая моя Гортензия, пора тебе узнать жизнь! — вскричала Лизбета, поняв немое красноречие ее позы.— А то вот будешь, как твоя мать, сидеть затворницей в пустой комнате, оплакивая на манер Калипсо разлуку с Улиссом, да еще в том возрасте, когда уж не появится никакой Телемак!.. — прибавила она, повторяя остроту г-жи Марнеф.— Надо смотреть на людей, как на орудия, которыми пользуешься, берешь и отбрасываешь по мере надобности. Воспользуйтесь, милые мои дети, госпожой Марнеф, а потом бросьте ее. Венцеслав тебя обожает, Гортензия. Неужто ты боишься, что он вдруг влюбится в женщину старше тебя на четыре или на пять лет, увядшую, как пучок скошенной травы, и...

— Лучше я заложу свои бриллианты,— сказала Гортензия.— О, никогда не ходи туда, Венцеслав!.. Ведь это ад!

— Гортензия права! — согласился Венцеслав, целуя жену.

— Благодарю, мой друг! — отвечала молодая женщина, вне себя от радости.— Видишь, Лизбета, мой муж просто ангел: он не играет в карты, мы всюду бываем вместе, и если он еще примется за работу, я буду донельзя счастлива. Зачем нам идти к любовнице нашего отца. К женщине, которая его разоряет и является причиною всех наших несчастий, убивающих бедную страдалицу маму?

— Дитя мое, разорение твоего отца идет вовсе не оттуда. Разорила его певица, а потом твое замужество! — отвечала кузина Бетта.— Боже мой! Да госпожа Марнеф ему даже очень полезна!.. Полноте! Но я должна молчать...

— Ты всех защищаешь, милая Бетта...

Гортензия побежала в сад, услыхав крик ребенка, и кузина Бетта осталась вдвоем с художником.

— Ваша жена — ангел, Венцеслав! — сказала она.— Любите ее крепко, не огорчайте ее.

— Да я так люблю ее, что даже скрываю от нее, в каких мы стесненных обстоятельствах,— отвечал Венцеслав.— Но вам, Лизбета, вам я могу сказать... Видите ли... даже заложив в ломбарде бриллианты жены, мы не выйдем из положения.

— Ну так займите у госпожи Марнеф!..— сказала Лизбета.— Убедите Гортензию, Венцеслав! Пусть она разрешит вам пойти к Марнефам, или сходите-ка туда тайком, ей-богу!

— Я и сам подумал об этом,— отвечал Венцеслав.— Я отказался идти к ней, только чтобы не огорчать Гортензию.

— Слушайте, Венцеслав, я слишком люблю вас обоих и потому должна предупредить вас об опасности. Если вы туда пойдете, держите сердце обеими руками, потому что эта женщина — настоящий демон. Все в нее влюбляются с первого взгляда. Она так порочна, так соблазнительна!.. Она чарует, как какая-нибудь прелестная картина или статуэтка. Займите у нее денег, но не оставляйте в залог свое сердце! Я буду неутешна, если вы измените Гортензии. А вот и она! — воскликнула Лизбета.— Молчок об этом! Я устрою ваши дела.

— Поцелуй Лизбету, мой ангел,— сказал Венцеслав жене.— Она нас выручает, дает нам взаймы свои сбережения.

И он сделал знак Лизбете; та его поняла.

— Надеюсь, ты теперь примешься за работу, мой херувим? — сказала Гортензия.

— О, завтра же! — отвечал художник.

— Вот это «завтра» и губит нас,— заметила Гортензия с улыбкой.

— Ах, милое мое дитя! Ну, скажи сама, разве все это время не было у меня какой-нибудь помехи, какого-нибудь затруднения, неотложного дела?

— Да, ты прав, любовь моя!

— У меня тут столько замыслов!..— продолжал Стейнбок, ударив себя по лбу.— О, я удивлю всех своих врагов! Я сделаю столовый сервиз в немецкой манере шестнадцатого века, в манере романтической! Я вычеканю листья, по которым ползают букашки, среди листвы изображу спящих детей, между ними разбросаю в беспорядке фигуры невиданных еще химер, настоящих химер, воплощенные сновидения!.. Я уже вижу их! Все будет скульптурно, легко и пышно. Шанор ушел в полном восхищении. Я нуждался в поддержке, ведь последняя статья о памятнике Монкорне совсем меня убила.

Улучив минуту, когда они остались одни, художник условился со старой девой, что он завтра же пойдет к г-же Марнеф,— с позволения жены или потихоньку от нее.

Валери, узнав в тот же вечер об одержанной победе, приказала барону Юло пригласить к обеду Стидмана, Клода Виньона и Стейнбока, ибо она уже начинала тиранить барона, как умеют подобные женщины тиранить стариков, заставляя их рыскать по городу, кланяться каждому, в ком нуждаются их корыстные, тщеславные и жестокие любовницы.

На следующий день Валери появилась во всеоружии обдуманного туалета, а парижанки большие мастерицы в умении выставить напоказ свои прелести. Она изучала себя со всех сторон в новом своем наряде: так мужчина накануне поединка упражняется, делая шпагой *выпады* и *парады*. Ни одной лишней складки, ни морщинки на

корсаже! Валери была блистательна, как никогда, белокурая, томная, воздушная. А «мушки» ее невольно привлекали взгляд. Принято думать, что «мушки» восемнадцатого века упразднены или же утратили смысл. Это неверно. В наше время женщины более изобретательны, нежели в былые времена, и пользуются столь дерзкими приманками, что буквально все на них наводят лорнеты. Одна вводит в моду какой-нибудь бант с крупным бриллиантом вместо булавки и этим весь вечер приковывает к себе взгляды; другая воскресит старинную сетку для волос или воткнет в шиньон золотой кинжальчик, наводя на мысль, каковы же у нее подвязки; та наденет запястья из черного бархата; а эта появится вся в рюшах и оборочках! Когда эти великолепные выдумки, эти Аустерлицы кокетства или любви только еще входят в моду в низших кругах общества, счастливые изобретательницы уже увлекаются какой-нибудь иной новинкой. В тот вечер Валери, желая пленить Венцеслава, посадила себе три «мушки». Вымыв голову особым раствором, она на несколько дней придала своим белокурым волосам пепельный оттенок. Г-жа Стейнбок была золотистой блондинкой, и Валери не хотела походить на нее ни в чем. Новая окраска волос придала ей удивительную пикантность, настолько взволновавшую ее поклонников, что Монтес даже сказал ей: «Что это с вами сегодня?..» Затем она надела на шею довольно широкую черную бархатную ленту, которая оттенила белизну ее груди. Третья «мушка» могла сравниться с так называемыми *неотразимыми* мушками наших бабушек. В вырез корсажа, там, где кончается планшетка корсета и слегка обрисовывается грудь, Валери воткнула очаровательный розовый бутон. Взглянув на него, каждый мужчина моложе тридцати лет должен был от смущения опускать глаза.

«Я просто душечка!» — сказала она себе, принимая разные позы перед зеркалом, совсем как танцовщица, разучивающая свои *плие*.

Лизбета утром сама ходила на рынок: обед не должен был уступать наилучшим обедам, которые готовила Матюрена для своего епископа, когда тот угощал прелата из соседней епархии.

Стидман, Клод Виньон и граф Стейнбок явились по-

чти в одно время, около шести часов. Женщина заурядная, или, если угодно, непосредственная, выбежала бы навстречу человеку, которого она пламенно желала видеть у себя; но Валери, хотя она уже с пяти часов была готова к приему гостей, не спешила выйти к ним из своей комнаты: она была уверена, что все разговоры и тайные мысли мужчин сосредоточены на ней. В этот день она сама руководила уборкой гостиной, расставила на видные места очаровательные безделушки, которые производит только Париж и никакой другой город не может произвести, безделушки, которые молча повествуют о женщине и как бы предваряют ее появление: подношения «в знак памяти», оправленные в эмаль и украшенные жемчугом, чаши, наполненные прелестными перстнями, чудесные изделия из саксонского и севрского фарфора, собранные с большим вкусом Флораном и Шанором, наконец, статуэтки и альбомы,— все те дорогие игрушки, на которые, обогащая парижские мастерские, бросают сумасшедшие деньги в бреду первых восторгов страсти или в час сладостного примирения. Валери упивалась своим успехом. Она обещала Кревелю стать его женой после смерти Марнефа, и влюбленный Кревель оформил на имя Валери Фортен передаточный акт на десять тысяч франков годовой ренты — то есть сумму прибыли, полученной им с железнодорожных акций за три года.— короче говоря, все, что ему принес капитал в сто тысяч экю, предложенный им когда-то баронессе Юло. Итак, Валери обеспечена была годовым доходом в тридцать две тысячи франков. Кревель имел неосторожность дать обещание еще более значительное, чем принесенные им в подарок барыши. В этот день от двух до четырех часов он провел на улице Дофина со своей *герцогиней* (так он титуловал г-жу де Марнеф, желая создать себе полную иллюзию); Валери превзошла самое себя, и Кревель в приливе страсти, чтобы поощрить любовницу и обеспечить себе ее верность, пообещал подарить ей хорошенький особнячок на улице Барбе, выстроенный для своей семьи каким-то незадачливым подрядчиком, продававшим теперь этот дом с торгов. Валери уже видела себя в собственном прелестном особняке, при котором имелся сад, двор и каретник для будущих ее экипажей.

— Ну, разве можно, ведя честную жизнь, получить все это в такое короткое время и так легко? — сказала она Лизбете, оканчивая свой туалет.

Лизбета обедала в этот день у Валери, ибо должна была нашептывать Стейнбоку такие вещи о своей приятельнице, каких сам о себе никто не скажет. Г-жа Марнеф, вся сияя от счастья, грациозно изгибая стан, вошла в гостиную с самой скромной миной, за ней шла Бетта, вся в черном, в желтой шали, представляя собою выгодный для Валери фон, говоря языком художников.

— Здравствуйте, Клод,— сказала Валери, протягивая руку бывшему критику, стяжавшему столь громкую известность.

Клод Виньон, как и многие другие, стал теперь политиком — новое слово, обозначающее честолюбца в первой стадии его карьеры. *Политик* 1840 года — нечто вроде *аббата* XVIII века. Ни одна гостиная не обходится без своего политика.

— Душенька, вот мой родственник, граф Стейнбок,— сказала Лизбета, представляя Венцеслава, которого Валери, казалось, даже и не заметила.

— Я сразу вас узнала, граф,— промолвила Валери, любезно кивнув головкой художнику.— Я часто встречала вас на улице Дуайене. Я имела удовольствие присутствовать на вашей свадьбе. Душенька,— обратилась она к Лизбете,— кто видел хоть раз твоего бывшего сынка, тому трудно забыть его... Господин Стидман,— продолжала она, здороваясь со скульптором,— был так добр, что принял приглашение отобедать у меня. Все это вышло экспромтом, но ничего не поделаешь! Необходимость не знает законов! Мне сказали, что вы друг господина Виньона и господина Стейнбока. Что может быть скучнее, несноснее обедов, когда гости незнакомы между собою, и я завербовала вас, имея в виду именно их. Но в другой раз вы придете ради меня самой, не правда ли?.. Скажите: да!..

Несколько минут она прохаживалась по гостиной со Стидманом, делая вид, что поглощена им всецело. Появились один за другим Кревель, барон Юло и депутат по фамилии Бовизаж — провинциальный Кревель, один из тех субъектов, которые как будто созданы для того, что-

бы составлять толпу и голосовать в палате по указке члена государственного совета Жиро и Викторена Юло. Эти политические деятели стремились образовать в большом отряде консерваторов ядро сторонников прогресса. Жиро уже несколько раз появлялся вечером у г-жи Марнеф, которая льстила себя надеждой залучить когда-нибудь к себе и Викторена Юло; но молодой адвокат, пуританин по натуре, находил до сих пор всякие предлоги, чтобы уклоняться от приглашений своего отца и тестя. Появляться у женщины, из-за которой его мать проливает слезы, казалось ему преступлением. Викторен Юло был в среде пуритан от политики тем же, чем является благочестивая женщина среди ханжей. Бовизаж, бывший шапочник из Арси, жаждал приобрести парижский лоск. Человек этот, игравший в палате роль пешки, получал светское воспитание в салоне прелестной, восхитительной г-жи Марнеф; там он пленился бывшим парфюмером, да и сама Валери рекомендовала ему Кревеля как образец, достойный подражания. И Бовизаж во всем руководствовался советами Кревеля, одевался у его портного, перенимал его манеры и его картинные позы,— словом, Кревель был для него великим человеком. Валери в обществе этих важных особ и трех художников, да еще рядом с Лизбетой, показалась Венцеславу женщиной замечательной, тем более что Клод Виньон, как подобает влюбленному, пел хвалы г-же Марнеф.

— Это госпожа де Монтенон в юбках Нинон! — говорил бывший критик.— Понравиться ей можно в один вечер, если хватит остроумия; но заслужить ее любовь — это уже настоящий триумф, который может составить гордость мужчины и наполнить всю его жизнь.

Валери, выказывая равнодушие и пренебрежение к своему бывшему соседу, затронула его самолюбие, впрочем сама о том не подозревая, потому что она не знала польского характера. В натуре славянина есть нечто детское, как у всех первобытных народов, которые скорее вторглись в круг цивилизованных наций, нежели действительно цивилизовались. Раса эта распространилась, подобно наводнению, и заселила огромную часть поверхности земного шара. В необозримых пустынных просторах ей живется привольно; там нет скученности, как в Европе, а цивилизация становится невозможной, когда нет по-

стоянного соприкосновения умов и интересов. Украина, Россия, равнины Дуная,— короче говоря, славянский народ является звеном, связующим Европу и Азию, цивилизацию и варварство. Поэтому в характере поляков, наиболее одаренной ветви славянской расы, много ребячества и непостоянства юных наций. Они отважны, умны, сильны, но из-за их неустойчивости эта храбрость, эта сила, этот ум лишены системы и глубины, ибо поляк своей подвижностью подобен ветру, который властвует в тех бескрайных равнинах, пересеченных болотами; и если он в неистовстве уподобляется снежной вьюге, которая срывает и уносит дома, то, подобно этой сокрушительной воздушной лавине, он исчезает бесследно в первом попавшемся пруде, растворяясь в его водах. Человек всегда воспринимает нечто от той среды, в которой он обитает. Поляки, постоянно воюя с турками, заимствовали у них вкус к восточной пышности; они часто жертвуют необходимым, лишь бы блеснуть; они наряжаются, как женщины, а между тем климат наделил их крепким, как у арабов, организмом. Поляк в высшей степени благороден в несчастье, поэтому и опустилась рука его угнетателей, пытавшихся истребить этот народ и воскресивших в XIX веке историю гонения первых христиан. Введите десять процентов английской скрытности в польский характер, столь прямой, столь открытый,— и благородный белый орел и поныне царил бы повсюду, куда проник двуглавый орел. Обладай поляки некоторой долей макиавеллизма, они не стали бы спасать Австрию — виновницу раздела Польши, не сделали бы заем у Пруссии — ростовщицы, истощившей вконец их страну, и не предавались бы внутренним распрям в самый момент первого раздела Польши. На крестинах Польши, несомненно, присутствовала злая фея Карабос, о которой забыли добрые феи, одарившие эту пленительную нацию самыми блистательными качествами, и, должно быть, злая волшебница изрекла тогда: «Пусть остаются при тебе все дары, которыми столь щедро наделили тебя мои сестры, но никогда ты не будешь знать, чего ты хочешь!» Если бы в героическом своем поединке с Россией Польша победила, поляки еще и теперь, как в былые времена, дрались бы между собой на своих сеймах, оспаривая друг у друга королевский трон. В тот день, ко-

гда у этой нации, состоящей из храбрых сангвиников, хватит здравого смысла отыскать в недрах своих какого-нибудь Людовика XI и подчиниться его тирании и династии, она будет спасена. То, что представляла собою Польша в отношении политики, представляет собою большая часть поляков и в своей частной жизни, особенно когда их постигает несчастье. Так Венцеслав Стейнбок, который три года обожал свою жену и знал, что она боготворит его, был до такой степени задет за живое мнимым равнодушием к нему г-жи Марнеф, что для него стало вопросом самолюбия добиться ее милостей. Сравнивая Валери со своей женой, он отдавал предпочтение первой. Гортензия, как выразилась Валери в беседе с Лизбетой, была для него всего лишь «красивой куклой», меж тем как у прелестной г-жи Марнеф в каждом движении сказывалась острота ума и пряность порока. Преданность жены, чувство, столь ярко выраженное у Гортензии, принимается мужьями как нечто должное. Сознание, что беззаветная женская любовь— великая ценность, довольно быстро притупляется; так должник через некоторое время свыкается с мыслью, что деньги, взятые в долг, принадлежат ему. Благородная преданность становится вскоре как бы хлебом насущным для души, а неверность — соблазнительным лакомством. Женщина неприступная, и особенно женщина опасная, раздражает любопытство, как приправы возбуждают аппетит. Для Венцеслава после трех лет супружеской, всегда доступной любви в столь искусно разыгранном пренебрежении г-жи Марнеф была прелесть новизны. Гортензия — жена, Валери — любовница. Многие мужчины хотят иметь оба эти издания одного и того же произведения, хотя неспособность сделать из своей жены любовницу доказывает лишь неполноценность мужа. Поиски разнообразия в любви — признак бессилия. Постоянство — это гениальность в любви, признак могучей внутренней силы, составляющей сущность поэта! Надо уметь обрести в одной женщине всех женщин, подобно тому, как нищие поэты XVII века воспевали своих Манон в образах Ирид и Хлой!

— Ну как? — сказала Лизбета своему милому кузену, заметив, что он окончательно очарован.— Как вы находите Валери?

— Непозволительно прелестной! — отвечал Венцеслав.

— Вот не хотели вы меня послушаться,— сказала кузина Бетта.— Ах, милый мой Венцеслав! Если бы вы остались со мной, вы были бы любовником этой сирены, женились бы на ней, как только она овдовела бы, и имели бы сорок тысяч франков годового дохода, которые ей обеспечены!

— В самом деле?

— Ну, конечно,— отвечала Лизбета.— Смотрите же, берегитесь! Я вас предупреждала об опасности, не обожгитесь!.. Дайте мне руку, обед подан.

Слова эти таили в себе опаснейший соблазн, ибо укажите поляку пропасть, и он тотчас же туда ринется. У этого народа нрав кавалериста, он мнит себя способным преодолеть все препятствия и выйти победителем.

Речи Лизбеты, подстегнувшей тщеславие своего кузена, были поддержаны великолепием столовой, где серебро ослепляло своим блеском, где пред Стейнбоком предстала во всей своей утонченности и изысканности парижская роскошь.

«Лучше было бы мне жениться на этой Селимене»,— подумал он.

Во время обеда Юло, довольный присутствием своего зятя и еще более того примирением с Валери и воображая, что теперь верность ее закреплена его обещанием назначить Марнефа преемником Коке, был просто обворожителен. Стидман отвечал на любезности барона целым фейерверком парижских шуток и забавных выходок. Стейнбок, не желая отставать от своего приятеля, пустил в ход все свое остроумие, мило дурачился, произвел впечатление и остался доволен собою; г-жа Марнеф, поощряя художника, не раз ему улыбалась, тонкие блюда, крепкие вина окончательно погрузили Венцеслава в пучину удовольствий,— выражение, вполне рисующее его состояние. Возбужденный выпитым вином, он, выйдя из-за стола, развалился на диване, отдавшись ощущению физического и душевного блаженства, которое г-жа Марнеф довела до крайних пределов, присев подле него, легкая, благоухающая и такая обольстительная, что ангелы не устояли бы перед нею. Она склонилась к Венцеславу и, почти касаясь его уха, нашептывала ему:

— Нынче нам не удастся поговорить о делах,— разве что вы останетесь здесь дольше других. Втроем — вы, Лизбета и я — мы все устроим, как вам будет удобнее...

— О, вы ангел, сударыня! — шепотом отвечал ей Венцеслав.— Я сделал непростительную глупость, не послушавшись Лизбеты...

— А что она вам говорила?

— Она уверяла меня, еще на улице Дуайене, что вы меня любите!..

Госпожа Марнеф взглянула на Венцеслава и, словно смутившись, вскочила с дивана. Еще никогда молодой и красивой женщине не удавалось безнаказанно подавать мужчине надежду на молниеносный успех. Смущение порядочной женщины, которая боится обнаружить страсть, затаенную в глубине ее сердца, в тысячу раз красноречивее самого страстного признания.

Желание овладело Венцеславом с неодолимой силой, и Валери стала для него вдвое привлекательнее. Женщина, на которую все смотрят, которую все желают! Вот на чем основана страшная власть актрис! Г-жа Марнеф, зная, что все взоры прикованы к ней, вела себя, как признанная любимица публики. Она была очаровательна и одержала полную победу.

— Теперь я не удивляюсь безумствам моего тестя,— сказал Венцеслав.

— Если вы и дальше поведете такие речи,— отвечала Бетта,— я всю жизнь себе не прощу, что устроила вам этот заем в десять тысяч франков. Неужели же вы, как и все прочие,— сказала она, указывая на гостей,— влюбитесь без памяти в эту тварь? Подумайте-ка, ведь вы окажетесь соперником своего тестя. Подумайте, наконец, какое горе вы причините Гортензии.

— Это верно,— сказал Венцеслав,— Гортензия ангел, и я был бы извергом!

— Довольно и одного изверга в семье,— заметила Лизбета.

— Художникам не следует жениться! — вскричал Стейнбок.

— А что я вам говорила на улице Дуайене? Ваши скульптурные группы, ваши статуи, ваши шедевры — вот ваши дети.

— О чем вы тут беседуете? — спросила Валери, подходя к Лизбете.— Приготовь чай, милая Бетта.

Стейнбоку из чисто польского фанфаронства хотелось похвалиться своей победой над этой салонной феей. Окинув Стидмана, Клода Виньона и Кревеля дерзким взглядом, он взял Валери за руку и посадил ее на диван рядом с собой.

— Вы держите себя чересчур большим барином, граф Стейнбок,— сказала Валери, слабо сопротивляясь.

И она засмеялась, опускаясь на диван рядом с ним, не преминув поправить бутон розы, украшавший ее корсаж.

— Увы! Будь я большим барином,— сказал Венцеслав,— я не пришел бы к вам в качестве просителя.

— Бедный мальчик! Я помню, что вы посвящали целые ночи труду там, на улице Дуайене. Вы, простите, *дурака сваляли.* Вы ухватились за женитьбу, как голодный за кусок хлеба. Вы совсем не знаете Парижа. Смотрите же, до чего вы дошли? Но вы оказались глухи и к преданности Бетты и к любви парижанки, прекрасно знающей Париж!

— Ни слова больше! — вскричал Стейнбок.— Я балда!

— Вы получите десять тысяч франков, милый мой Венцеслав, но с одним условием...— сказала Валери, играя своими восхитительными локонами.

— А именно?

— Я не хочу брать процентов...

— Сударыня!..

— О, не обижайтесь! Вместо этого вы сделаете для меня группу из бронзы. Вы начали историю Самсона, так закончите ее... Изобразите Далилу, срезающую волосы иудейскому Геркулесу!.. Из вас выйдет великий художник, если вы послушаетесь меня. И, надеюсь, вы поймете этот сюжет. Надо показать власть женщины. Самсон — ничто. Это лишь труп былой силы. Далила же — олицетворение всеразрушающей страсти. Насколько этот *вариант*... Кажется, так вы это называете?..— лукаво прибавила она, обращаясь к Клоду Виньону и Стидману, которые подошли поближе, услыхав, что речь идет о скульптуре.— Насколько этот вариант темы «Геркулес у ног Омфалы» прекраснее греческого мифа! Как вы

думаете, Греция подражала Иудее? Или Иудея заимствовала у Греции этот символ?

— О, вы затрагиваете серьезный вопрос, сударыня, вопрос о том, к какой эпохе относятся те или иные книги библии. Великий и бессмертный Спиноза, так нелепо причисленный к атеистам, хотя он математически доказывал существование бога, утверждал, что «Книга бытия» и, так сказать, политическая часть библии относятся ко временам Моисея, и привел доказательства филологического характера, что в тексте имеются позднейшие вставки. За это он и получил три удара ножом при входе в синагогу.

— А я и не подозревала, что я такая ученая,— сказала Валери, досадуя, что прервали ее разговор с Венцеславом.

— Женщины все знают инстинктивно,— заметил Клод Виньон.

— Так вы мне обещаете? — обратилась она к Стейнбоку, касаясь его руки с робостью влюбленной девушки.

— Какой же вы счастливец, дорогой мой!—воскликнул Стидман.— Сама госпожа Марнеф обращается к вам с просьбой!..

— О чем идет речь? — спросил Клод Виньон.

— О бронзовой группе,— отвечал Стейнбок.— Далила срезает волосы Самсону.

— Задача трудная,— заметил Клод Виньон,— ведь там постель...

— Напротив, очень легкая,— возразила Валери, улыбнувшись.

— Ах, порадуйте нас этой группой! — сказал Стидман.

— Вот и модель для Далилы! — прибавил Клод Виньон, бросая лукавый взгляд на Валери.

— Как я воображаю себе композицию этой группы? — продолжала она.— Самсон проснулся без волос на голове, как многие денди с накладным тупеем! Герой сидит на краю постели. И вам потребуется обрисовать только контуры кровати, скрытой простынями и драпировкой. Он сидит, совсем как Марий на развалинах Карфагена или как Наполеон на острове святой Елены, верно? Он скрестил руки на груди, волосы у него коротко острижены. Далила перед ним на коленях, как «Магдалина»

Кановы. Когда обольстительница погубит любовника, тут-то она и начинает его обожать! По-моему, эта еврейка боялась грозного, могучего Самсона, но она должна была полюбить Самсона, когда он превратился в малого ребенка. Итак, Далила раскаивается в своем поступке, ей хотелось бы вернуть своему любовнику волосы, она не смеет на него взглянуть и все же смотрит и улыбается, так как понимает, что Самсон уже прощает ее по своей слабости. Такая группа да еще статуя свирепой Юдифи объяснили бы самую сущность женщины. Добродетель отсекает голову, Порок срезает только волосы. Берегите свои хохолки, господа!

И, приведя в замешательство обоих художников, она ушла, предоставив им вместе с критиком петь ей хвалы.

— Можно ли быть прелестнее! — вскричал Стидман.

— Право,— сказал Клод Виньон,— я еще ни разу не встречал такой умной и привлекательной женщины. Соединение ума и красоты — большая редкость!

— Ну, если уж вы, имевший счастье близко знать Камилла Мопен, выносите такой приговор,— отвечал Стидман,— что же говорить нам?

— Ежели вы, дорогой граф, сделаете из Далилы портрет Валери,— сказал Кревель, на минуту оторвавшись от карт и прислушиваясь к разговору,— я заплачу вам за экземпляр этой группы тысячу экю. Убей меня бог, готов *выложить на бочку!*

— *Выложить на бочку!* Что это значит? — спросил Клода Виньона Бовизаж.

— Если только госпожа Марнеф соблаговолит позировать...— сказал Стейнбок, указывая Кревелю на Валери.— Попросите ее.

В эту минуту Валери собственноручно принесла Стейнбоку чашку чая. То было больше, чем внимание, то было благоволение. Какое богатство оттенков вносят женщины в манеру угощать чаем! И как тонко владеют они этим искусством! Любопытно было бы изучить их движения, жесты, взгляды и все интонации, которыми они сопровождают этот акт вежливости, с виду такой простой. От обыденного вопроса: «Вы выпьете чаю?», «Не хотите ли чаю?», «Чашку чая?» — этой холодной формулы, от приказания, данного нимфе, скромно держащей урну, подать чай, и до волнующей поэмы об одалиске,

шествующей от чайного стола с чашкой в руке к паше, избраннику ее сердца, с покорным видом, ласковыми словами на устах и сладостными обещаниями во взоре,— психолог может наблюдать все проявления женских чувств, начиная от отвращения, равнодушия и до признания Федры Ипполиту. Женщины могут тут выказать себя, смотря по желанию, оскорбительно надменными или покорными, как восточные рабыни. Валери была больше, чем женщина, то был змий-искуситель в образе женщины, она завершила дьявольское обольщение, когда подошла к Стейнбоку с чашкой чая в руке.

— Я готов выпить сколько угодно чашек чая, если вы будете так любезно подносить их мне! — шепнул художник, вставая с дивана и касаясь пальцами ее руки.

— Что вы тут говорили о позировании? — спросила Валери, не подавая и виду, как близко к сердцу она приняла это долгожданное признание.

— Папаша Кревель покупает у меня экземпляр вашей группы за тысячу экю.

— Это он-то? Тысячу экю за группу?

— Да, если вы согласитесь позировать для Далилы,— сказал Стейнбок.

— Надеюсь, он не будет при этом присутствовать,— заметила Валери,—иначе у него не хватит, пожалуй, всего его состояния, чтобы купить эту группу. Ведь Далила должна быть несколько... декольтированной...

Подобно тому как Кревель любил картинные позы, у всякой женщины есть свой победоносный прием, изученная поза, в которой она неотразима. В гостиных можно встретить женщин, которые только и заняты тем, что разглаживают кружева своих блузок и оправляют плечики платья или же созерцают карниз, играя глазками, чтобы все видели их блеск. Что до г-жи Марнеф, она не торжествовала своей победы открыто, как это делают другие. Она быстро повернулась и направилась к Лизбете, сидевшей за чайным столом. И это движение танцовщицы, взмахивающей юбками, которым она в свое время покорила Юло, очаровало и Стейнбока.

— Ты отомщена,— шепнула Валери Лизбете.— Гортензия выплачет все глаза, проклянет день и час, когда она отняла у тебя Венцеслава.

— Пока я не стану женой маршала, дело еще не

сделано,— отвечала кузина Бетта,— но *они* все уже начинают желать этого брака... Сегодня утром я ходила к Викторену,— я забыла тебе рассказать. Молодой Юло выкупил отцовские векселя у Вовине. Завтра супруги подписывают обязательство на семьдесят две тысячи франков из пяти процентов, сроком на три года, под залог своего дома. Вот молодые Юло и закабалились на три года. Ну, а денег на выкуп дома им будет взять негде! Викторен страшно опечален: теперь он раскусил своего папашу. А тут еще Кревель! Он вполне способен поссориться со своими детками, когда узнает об их великодушном поступке.

— Так, значит, барон остался без всяких средств?— шепнула Валери на ухо Лизбете и тут же улыбнулась Юло.

— По-моему, без гроша. Но в сентябре он снова начнет получать свое жалованье.

— И у него есть еще страховой полис, он возобновил его! Право, пора бы уж ему назначить Марнефа столоначальником. Я пристану к нему с ножом к горлу нынче же вечером!

— Милый кузен,— сказала Лизбета, подходя к Венцеславу,— уходите, пожалуйста! Вы становитесь просто смешны. Разве можно так глядеть на Валери? Вы ставите ее в неловкое положение, а муж ее бешено ревнив. Не идите по стопам своего тестя, возвращайтесь-ка домой, я уверена, что Гортензия вас ждет не дождется...

— Госпожа Марнеф просила меня обождать, пока не разойдутся гости, чтобы нам втроем уладить наше дело,— отвечал Венцеслав.

— И напрасно,— возразила Лизбета.— Я сама передам вам эти десять тысяч франков; ведь ее муж глаз с вас не спускает! Просто неразумно вам оставаться. Завтра, в девять часов утра, приносите вексель. Чудак Марнеф в это время уже уходит на службу, и Валери может дышать спокойно... Вы, кажется, просили ее позировать для какой-то группы? Зайдите сначала ко мне. Ах, я всегда говорила, что в вас сидит распутник,— прибавила Лизбета, поймав взгляд, каким Стейнбок обменялся на прощание с Валери.— А не правда ли, Валери очень хороша? Но все же постарайтесь не огорчать Гортензию!

Ничего так не раздражает женатых мужчин, как неуместное напоминание о жене, когда дело касается их увлечения, пусть даже мимолетного!

Венцеслав вернулся домой около часа ночи. Гортензия ждала его больше трех часов. С половины десятого до десяти она чутко прислушивалась к шуму экипажей и думала, что раньше, если Венцеславу и случалось обедать без нее у Шанора и Флорана, он никогда не возвращался так поздно. Она шила, сидя у колыбели сына: теперь Гортензия сама занималась починкой белья, чтобы обойтись без поденной швеи. Между десятью и половиной одиннадцатого у ней зародилось подозрение, она задала себе вопрос: «Действительно ли пошел он обедать к Шанору и Флорану? Одеваясь, он выбрал самый красивый галстук, самую красивую булавку. Он занимался своим туалетом так тщательно, точно кокетка, которая прихорашивается для поклонника. Я с ума сошла! Он меня любит! А вот и он...» Послышался стук колес, но проезжавшая карета не остановилась у подъезда. С одиннадцати часов до полуночи Гортензия рисовала себе всякие ужасы, какие только могли произойти в их уединенном квартале. «Если он возвращался пешком,— говорила она себе,— с ним, наверно, что-нибудь случилось!.. Разве нельзя расшибиться насмерть, споткнувшись о край тротуара или свалившись в яму? Художники так рассеянны!.. А что, если на него напали воры?.. Ведь в первый раз он оставил меня одну на шесть с половиной часов! Но зачем так мучиться! Он меня любит, одну меня!»

Мужчины должны были бы хранить верность своим женам, если жены их любят, хотя бы во имя тех чудес, которые постоянно творит истинная любовь в высшем мире, именуемом *миром духовным*. Любящая женщина находится по отношению к любимому человеку в положении сомнамбулы, которую магнетизер наделил печальной способностью: перестав быть зеркалом внешнего мира, она переживает как женщина то, что видит как сомнамбула.

Страсть приводит нервную систему женщины в состояние экзальтации, в котором предчувствие равносильно ясновидению. Женщина знает, что ей изменили, но она не слушает своего внутреннего голоса, она все еще сомне-

вается, так сильна ее любовь! И она заглушает в себе этот пророческий голос: порыв любви, достойный поклонения. Для благородных сердец восхищение этой божественной силой любви служит преградой против измены. И в самом деле, можно ли не обожать прекрасное, одухотворенное существо, чья душа возвысилась до таких озарений?.. К часу ночи тревога Гортензии возросла до последней степени; узнав звонок Венцеслава, она кинулась к двери, обняла мужа, прижалась к нему с материнской нежностью.

— Наконец-то! Вот и ты!..— сказала она, когда к ней вернулась способность говорить.— Друг мой, теперь я буду всюду ходить с тобой, я не хочу еще раз пережить такое мучительное ожидание... Чего мне только не привиделось; я представляла, что ты споткнулся о тротуар, разбил себе голову! Что тебя убили воры!.. Нет, если это повторится, я сойду с ума... А ты, верно, веселился... без меня! Негодный!

— Что прикажешь, мой ангел! Там был Бисиу, который развлекал нас новыми карикатурами; был Леон де Лора, все такой же остряк; Клод Виньон, которому я обязан единственным благожелательным отзывом о памятнике маршалу Монкорне. Были там...

— Там были женщины?..— с живостью спросила Гортензия.

— Почтенная госпожа Флоран...

— А ты мне сказал, что вы соберетесь в «Роше де Канкаль»! А, значит, обед устраивали у них в доме?

— Да, у них, я ошибся...

— Ты приехал в карете?

— Нет.

— И ты шел пешком с улицы Турнель?

— Стидман и Бисиу проводили меня бульварами до Мадлен. Мы всю дорогу болтали.

— Видно, и на бульварах, и на площади Согласия, и на Бургундской улице совсем сухо: ты ничуть не испачкался,— сказала Гортензия, глядя на лакированные сапоги мужа.

Ночью шел дождь, но Венцеслав, возвращаясь пешком с улицы Ванно на улицу Сен-Доминик, не успел загрязнить обуви.

— Смотри, вот пять тысяч франков, которые любезно

одолжил мне Шанор,— сказал Венцеслав, чтобы прекратить этот допрос.

Он разделил полученные десять тысяч франков на две пачки: одну для Гортензии, а другую для себя, потому что у него было пять тысяч франков долгу, о чем не знала Гортензия: он был должен своему мастеру и рабочим.

— Ну вот, все твои тревоги кончились, моя дорогая,— сказал он, целуя жену.— С завтрашнего дня принимаюсь за работу! О, завтра в половине девятого я убегаю, и прямо в мастерскую! А сейчас иду спать, надо встать пораньше. Ты мне позволишь, кисонька?

Подозрение, вкравшееся в сердце Гортензии, рассеялось; она была за тридевять земель от истины. Г-жа Марнеф! Она о ней и не думала. Она боялась для своего Венцеслава общества лореток. Имена Бисиу и Леона де Лора, двух художников, известных своей беспутной жизнью, встревожили ее.

На другой день Венцеслав ушел из дома в девять часов утра, и Гортензия совершенно успокоилась. «Вот он уже работает,— говорила она себе, принимаясь одевать ребенка.— И я уверена, он сегодня в ударе!.. Ну что ж! Если мы не заслужили славы Микеланджело, то по крайней мере достигнем славы Бенвенуто Челлини!» Убаюканная радужными надеждами, Гортензия вновь поверила в светлое будущее; она разговаривала со своим сыном, которому было около двух лет, на том звукоподражательном языке, что так веселит ребенка, как вдруг, около одиннадцати часов, кухарка, не видевшая, как уходил Венцеслав, ввела в комнату Стидмана.

— Извините, сударыня,— сказал художник.— Как! Венцеслав уже ушел?

— Он у себя в мастерской.

— Я пришел условиться с ним относительно нашей работы.

— Я пошлю за ним,— сказала Гортензия, жестом приглашая Стидмана сесть.

Молодая женщина в душе благословляла небо за то, что ей представился случай поговорить со Стидманом и узнать от него подробности вчерашнего вечера. Стидман поклонился, поблагодарив графиню за ее любез-

ность. Гортензия позвонила, явилась кухарка, и ей было приказано сходить за графом в мастерскую.

— Вы вчера приятно провели время?—сказала Гортензия.— Венцеслав вернулся во втором часу ночи.

— Приятно? Как сказать...— отвечал художник, у которого накануне были свои *виды* на г-жу Марнеф.— В свете приятно проводишь время только тогда, когда тебя кто-нибудь интересует. Госпожа Марнеф удивительно умна, но она кокетка...

— А как ее нашел Венцеслав? — спросила бедная Гортензия, стараясь сохранить спокойствие.— Он ничего не говорил мне о ней.

— Скажу вам только одно,— отвечал Стидман,— я лично нахожу ее весьма опасной.

Гортензия побледнела, как роженица.

— Стало быть, это... у госпожи Марнеф...— сказала она,— а не... у Шанора вы обедали... вчера... с Венцеславом, и он...

Стидман сообразил, что натворил беды, хотя и не знал, в чем она заключалась. Гортензия не окончила фразы и потеряла сознание. Художник позвонил, вошла горничная. Когда Луиза попыталась перенести графиню Стейнбок в спальню, с той сделался сильнейший нервный припадок, все ее тело сводили судороги. Стидман, как и всякий, кто необдуманным словом разрушает лживые хитросплетения мужа, никак не думал, что в припадке графини повинна его болтливость; он решил, что графиня находится в том болезненном состоянии, когда бывает опасна малейшая неприятность. Кухарка вернулась и громогласно объявила, что графа в мастерской нет. Услыхав эти слова, Гортензия, едва придя в себя, снова забилась в судорогах.

— Бегите за мамашей барыни!..— приказала Луиза кухарке.— Да поживей!

— Если бы я знал, где сейчас Венцеслав, я дал бы ему знать,— сказал в отчаянии Стидман.

— Он у этой женщины!..— воскликнула бедная Гортензия.— Ведь он оделся совсем не для мастерской.

Стидман поспешил к г-же Марнеф, признав правоту этой догадки, подсказанной *ясновидением* страстной любви. В это самое время Валери позировала для Далилы. Стидман, как человек сообразительный, не стал

спрашивать, дома ли г-жа Марнеф, он прошмыгнул мимо швейцарской и взбежал на третий этаж, рассудив так: «Если я спрошу госпожу Марнеф, дома ее, конечно, не окажется. Если напрямик вызвать Стейнбока, мне в глаза засмеются... Ну, была не была!» На звонок вышла Регина.

— Вызовите графа Стейнбока, его жена при смерти!..

Регина, не менее сметливая, чем Стидман, уставилась на него с самым бессмысленным видом.

— Не понимаю, сударь... Что вам угодно?..

— Я знаю, что мой приятель Стейнбок находится здесь. Его жена при смерти. Причина достаточно уважительная, чтобы побеспокоить вашу хозяйку.

И Стидман ушел. «Совершенно ясно, Венцеслав там!» — решил он. И действительно, подождав несколько минут на улице Ванно, Стидман увидел Венцеслава, выходившего из дома Валери, и знаком подозвал его к себе. Рассказав ему о трагедии, разыгравшейся на улице Сен-Доминик, Стидман пожурил Стейнбока за то, что он не предупредил о необходимости держать в тайне вчерашний обед.

— Я погиб,— отвечал Стейнбок,— но я тебя прощаю. Я совсем забыл, что мы с тобой должны были встретиться нынче утром, и сделал ошибку, не предупредив тебя, что обедали мы у Флорана. Что прикажешь? Валери меня с ума свела! Но ради нее, дорогой мой, можно пожертвовать славой, пожертвовать счастьем... Ах! Да что же это... Бог мой! Вот в какое ужасное положение я попал! Посоветуй, как быть? Что сказать? Как оправдаться?

— Посоветовать, как тебе быть? Право, не знаю,— отвечал Стидман.— Но ведь твоя жена любит тебя, не так ли? Ну что ж, она всему поверит! Скажи ей, что ты как раз был у меня, когда я заходил к тебе. Таким образом ты вывернешься, хотя бы на нынешнее утро. Прощай!

Лизбета, осведомленная Региной о случившемся, тут же помчалась вслед за Стейнбоком и на углу улицы Илерен-Бертен догнала его: она опасалась его польской наивности. Не желая попасть в неловкое положение перед родственниками, она что-то шепнула Венцеславу, и тот от радости тут же расцеловал ее, не обращая внимания на прохожих. Без сомнения, Бетта подала худож-

нику руку помощи, чтобы он мог обойти рифы супружеской жизни.

Когда прибежала мать, Гортензия, увидав ее, залилась слезами. Итак, нервный припадок принял благоприятный оборот.

— Он изменил мне, мама! — сказала она.— Венцеслав дал мне честное слово, что не пойдет к госпоже Марнеф. А сам вчера там обедал и вернулся во втором часу ночи!.. Если бы ты знала! Накануне у нас была не то что ссора, а просто объяснение. Я говорила ему такие трогательные слова: «Я ревнива, измена убьет меня. Я подозрительна, ты должен уважать мои слабости,— ведь они исходят из моей любви к тебе. У меня в жилах не только материнская, но и отцовская кровь. Узнав об измене, я могу сгоряча натворить всяких безумств; я способна отомстить, я могу опозорить всех: и тебя, и себя, и нашего ребенка. Наконец я способна убить тебя, а потом убить себя!» Как я его молила!.. И он все-таки пошел туда, он и сейчас там! Эта женщина решила погубить всех нас! Вчера брат и Селестина заложили свой дом, чтобы выкупить на семьдесят две тысячи франков отцовских векселей, подписанных из-за этой негодяйки... Да, мама, отца хотели преследовать судом, посадить в тюрьму. Неужели этой ужасной женщине мало моего отца и твоих слез? На что ей еще отнимать у меня Венцеслава? Я пойду к ней, убью ее!

Госпожа Юло, раненная в самое сердце ужасным признанием Гортензии, которая в бешенстве уже не помнила, что говорит, подавила свое горе героическим усилием воли, на какое способна только мать, и прижала к груди головку дочери, покрыв ее поцелуями.

— Обожди Венцеслава, дитя мое, и все объяснится. Горе еще не так велико, как ты думаешь! Мне тоже изменяли, милая моя Гортензия! Ты находишь, что я красива, совесть моя чиста, и, однако, меня променяли на разных Женни Кадин, Жозеф, Марнеф! Вот уже двадцать три года... Знала ты об этом?

— Тебя, мама, тебя!.. И ты страдаешь уже двадцать...

Она замолчала, уйдя в свои думы.

— Следуй моему примеру, дитя мое,— продолжала мать.— Будь кротка, добра, и совесть твоя будет спокойна. На смертном одре твой муж скажет: «Жена моя не

причинила мне ни малейшего огорчения!..» И бог, который внемлет нашим последним вздохам, зачтет нам все. Если бы я, как ты, впадала в неистовство, что сталось бы с нами? Отец твой, озлобившись, возможно, бросил бы меня совсем, ведь его не удерживала бы боязнь огорчить меня; разорение, постигшее нас сейчас, случилось бы на десять лет раньше; мы представляли бы печальную картину — супруги, живущие врозь. Зрелище скандальное, положение прискорбное, ибо тут уже гибель семьи! Ни твой брат, ни ты сама не могли бы устроиться в жизни... Я принесла себя в жертву и так хорошо владела собой, что, если бы не последняя связь твоего отца, свет до сих пор считал бы меня счастливой женщиной. Моя спасительная и мужественная ложь до сих пор охраняла доброе имя Гектора: он все еще человек уважаемый. Но эта старческая страсть завела его слишком далеко, я это вижу. Его безрассудство, боюсь, опрокинет ширму, которой я заслонила нас от общества... Целые двадцать три года прикрывала я истину этой завесой, за которой проливала слезы в одиночестве, не имея ни матери, ни друга, никакой поддержки, кроме религии... Двадцать три года охраняла я честь семьи...

Гортензия слушала мать, не отрывая от нее взгляда. Этот спокойный голос, эта покорность скорбной доле утишила боль первой раны, нанесенной молодой женщине; слезы выступили у нее на глазах; она опять разрыдалась. Подавленная величием души своей матери, в порыве благоговейной дочерней любви она опустилась перед Аделиной на колени и, схватив край ее платья, поцеловала его, как благочестивые католики целуют священный покров мученика.

— Встань, Гортензия,— сказала баронесса.— Ведь твоя любовь сглаживает многие мои тяжелые воспоминания! Дай я прижму тебя к своему сердцу, оно болит только твоей болью. Твое счастье было моей единственной радостью, и отчаяние моей бедной дочурки сломало печать, которой были сомкнуты мои уста. Да, я хотела унести свои страдания с собой в могилу, сокрытые смертным саваном. Но чтобы смягчить твой гнев, я заговорила... Да простит меня бог! О, чего бы я не сделала, только чтобы твоя жизнь не была повторением моей жизни!.. Люди, свет, случай, природа, бог — словом, все

в мире заставляет нас расплачиваться за любовь жестокими страданиями. Горечью обид, отчаяньем, вечными огорчениями, омрачившими последние двадцать четыре года моей жизни, заплатила я за десять лет счастья...

— Ты была счастлива десять лет, милая мама, а я всего три года!..— воскликнула дочь с эгоизмом влюбленной.

— Но ведь еще ничто не потеряно, моя пташка, жди Венцеслава.

— Мамочка,— сказала Гортензия,— он солгал! Он обманул меня... Он сказал мне: «Я не пойду», и пошел. И это у колыбели ребенка!..

— Ангел мой, мужчины ради чувственного удовольствия совершают величайшие низости, подлости, преступления; это, по-видимому, у них в натуре. А мы, женщины, созданы для самопожертвования. Я думала, что все мои несчастья кончились, но вот они начинаются снова: не ожидала я, что мне придется мучиться вдвойне, глядя на страдания дочери. Мужайся и молчи!.. Гортензия, поклянись мне, что никому, кроме меня, ты никогда не обмолвишься о своем горе, никому и виду не покажешь, что ты страдаешь... Будь горда и ты!

Тут Гортензия встрепенулась: она услыхала шаги мужа.

— Оказывается,— сказал Венцеслав, входя,— здесь был Стидман, а я ходил к нему!

— В самом деле? — вскричала Гортензия с жестокой иронией, которой оскорбленные женщины пользуются, как кинжалом.

— Ну да, мы только что с ним встретились,— отвечал Венцеслав, разыгрывая удивление.

— А вчера? — спросила Гортензия.

— Вчера я тебе солгал, любовь моя, и пусть твоя мать нас рассудит...

Откровенность мужа успокоила Гортензию. Все истинно благородные женщины предпочитают лжи правду. Они не хотят видеть свой кумир поверженным, они хотят гордиться тем, кому покоряются.

Есть нечто от этого чувства и в отношении русских к царю.

— Выслушайте меня, дорогая матушка,— сказал Венцеслав.— Из любви к моей хорошей, доброй Гортензии

я скрыл от нее, в каком бедственном положении мы оказались... что прикажете? Ведь она еще кормила тогда ребенка, огорчения могли дурно на ней отозваться. Вы же знаете, чем это может грозить женщине! Ее красота, свежесть, ее здоровье подвергались опасности. Ну, разве я не был прав? Она думает, что долгу у нас всего пять тысяч франков, а я лично должен еще пять тысяч. Позавчера мы пришли в полное отчаяние! Ведь никто не даст в долг художнику. Талантам нашим так же мало доверяют, как и нашей фантазии!.. Я стучался во все двери!— напрасно! Тут Лизбета и предложила свои сбережения.

— Бедняжка,— сказала Гортензия.

— Бедняжка! — вторила ей баронесса.

— Но что такое эти две тысячи франков?.. Для Лизбеты — все, для нас — ничто. Тогда кузина вспомнила о госпоже Марнеф... Вот кто, сказала она, может дать денег взаймы без всяких процентов, просто из самолюбия,— ведь она всем обязана барону... Разве это не так было? Гортензия хотела заложить свои бриллианты в ломбарде. Мы получили бы три-четыре тысячи; а нам нужно десять тысяч франков. И вот эти десять тысяч нам предлагают, сроком на год, и без процентов!.. Я и подумал: «Гортензия не узнает, возьмем-ка эти деньги!» Эта женщина, через моего тестя, вчера пригласила меня к обеду, намекнув, что Лизбета говорила с ней и что деньги я получу. Отчаяние Гортензии или этот обед? Я не колебался в выборе. Вот и все! Как могла Гортензия, целомудренная, чистая, цветущая женщина двадцати четырех лет, все мое счастье, моя гордость, моя Гортензия, без которой я шагу не ступил за все время нашего супружества, как могла она вообразить, что я предпочту ей... кого?.. женщину истрепанную, поблекшую, *пожухлую*,— сказал он, употребив выражение из жаргона художников и стараясь в угоду жене подчеркнуть свое мнимое презрение к г-же Марнеф преувеличениями, которые так нравятся женщинам.

— Ах, если бы твой отец говорил со мной так! — воскликнула баронесса.

Гортензия с милой грацией бросилась в объятия мужа.

— Вот так бы и я поступила,— сказала Аделина.— Венцеслав, друг мой, ваша жена чуть не умерла,— про-

должала она серьезно.— Видите, как она любит вас. Увы! Вы для нее — все! — И она глубоко вздохнула.— «Он может сделать ее мученицей или счастливой женщиной!» — сказала она про себя, думая о том, о чем думают все матери, выдав дочь замуж.— Мне кажется,— произнесла она вслух,— достаточно я настрадалась в своей жизни, пусть хоть дети мои будут счастливы.

— Успокойтесь, дорогая мама,— продолжал Венцеслав, радуясь, что все обошлось благополучно.— Через два месяца я возвращу деньги этой ужасной женщине. Прошу прощения! — продолжал он, произнося это польское выражение с чисто польским изяществом.— Бывают моменты, когда готов занять у самого дьявола! В конце концов это наши семейные деньги. А разве я получил бы эти десять тысяч, которые обошлись нам так дорого, если бы ответил дерзостью на любезное приглашение?

— Ах, мамочка, сколько зла причиняет нам отец! — воскликнула Гортензия.

Баронесса приложила палец к губам, и Гортензия упрекнула себя за непозволительную дерзость; осуждение, впервые сорвавшееся с ее уст, нарушило героическое молчание, охранявшее от света слабости барона Юло.

— Прощайте, дети мои,— сказала г-жа Юло.— Вот и солнышко выглянуло! Только смотрите, больше не ссорьтесь.

Когда Венцеслав с женой, проводив баронессу, вернулись к себе в спальню, Гортензия попросила мужа:

— Расскажи, как ты провел вечер!

И она глаз не сводила с Венцеслава, пока он говорил; она прерывала его вопросами, которые в таких случаях так и рвутся с женских уст. Рассказ мужа заставил Гортензию задуматься, она старалась представить себе, какие сатанинские удовольствия испытывают художники в порочном обществе.

— Говори правду, Венцеслав! Там были Стидман, Клод Виньон, Вернисе, кто еще?.. Словом, тебе было весело?

— Мне?.. Да я только и думал что о наших десяти тысячах и говорил себе: «Теперь моя Гортензия успокоится».

Допрос этот чрезвычайно утомил Стейнбока, и, воспользовавшись благоприятной минутой, он спросил жену:

— А ты, мой ангел, что бы ты сделала, если бы твой Венцеслав действительно провинился перед тобой?

— Я? — сказала она решительно.— Я взяла бы в любовники Стидмана, не любя его, конечно!

— Гортензия! — вскричал Стейнбок, вскакивая и принимая театральную позу.— Тебе бы это не удалось, я бы убил тебя!

Гортензия кинулась к мужу, обняла его и, осыпая поцелуями, восклицала:

— Ах! Ты меня любишь! О Венцеслав, теперь я ничего не боюсь! Но смотри, чтобы не было никаких Марнеф! Никогда больше не окунайся в это болото...

— Клянусь тебе, дорогая моя Гортензия, я пойду туда только для того, чтобы выручить свой вексель...

Гортензия надулась, как дуются любящие женщины, желая извлечь выгоду из своих капризов. Венцеслав, утомленный событиями этого утра, предоставил жене дуться и отправился в мастерскую, торопясь сделать макет группы «Самсона и Далилы», набросок которой лежал у него в кармане. Гортензия, вообразив, что Венцеслав рассердился на нее, встревожилась и прибежала в мастерскую, как раз когда ее муж уже кончал макет из глины, работая с горячностью художника, одержимого творческим замыслом. Увидав жену, он поспешно набросил мокрую тряпку на модель и обнял Гортензию, сказав ей:

— Ах! Мы больше не сердимся, не правда ли, детка?

Гортензия видела, как он закрыл эскиз тряпкой, и не проронила ни слова. Но, уходя из мастерской, она обернулась, приподняла тряпку и, взглянув на макет, спросила:

— А это что такое?

— Макет одной группы, чистейшая фантазия!

— А почему ты от меня скрыл?

— Хотел показать ее тебе уже в законченном виде.

— Женщина очень красива! — сказала Гортензия.

И тысячи подозрений мгновенно возникли в ее душе, подобно тому, как в Индии в одну ночь поднимается мощная и пышная растительность.

Прошло около трех недель, и г-жа Марнеф почувствовала сильное раздражение против Гортензии. Женщины такого сорта весьма тщеславны, они хотят, чтобы лобы-

зали их дьявольские коготки, они никогда не простят добродетели, которая не страшится их власти и даже борется с ними. А Венцеслав ни разу не появился на улице Ванно, даже не сделал визита, которого требует простая вежливость, особенно если женщина позировала вам для Далилы. Лизбета несколько раз наведывалась к Стейнбокам, но никогда не заставала их дома: граф и графиня буквально жили в мастерской. Поймав, наконец, двух голубков в их гнездышке в Гро-Кайу, кузина Бетта увидела, что Венцеслав увлечен работой, и узнала от кухарки, что Гортензия вовсе не расстается с мужем. Венцеслав подчинился деспотизму любви. Теперь и Валери, по примеру Лизбеты, возненавидела Гортензию. Женщины так же дорожат любовниками, которых у них оспаривают, как мужчины дорожат женами, за которыми волочится длинный хвост обожателей. Стало быть, замечания, высказанные по поводу г-жи Марнеф, вполне относятся и к мужчинам, баловням женщин,— своего рода куртизанкам мужского пола. Каприз Валери обратился в настоящую одержимость, и особенно ей не терпелось получить свою группу. Она уже собиралась в ближайшее утро пойти к Венцеславу в мастерскую, но тут произошло одно из тех важных событий, которые в отношении женщины такого разбора могут быть названы fructus belli [1]. И вот как Валери сообщила эту новость, сугубо интимного характера. Она завтракала с Лизбетой и г-ном Марнеф.

— Скажи, Марнеф, ты, видно, и не догадываешься, что скоро опять станешь отцом?

— В самом деле? Ты беременна?.. О, дай я тебя поцелую!

Он встал, обошел вокруг стола, и жена подставила ему лоб, но так ловко, что поцелуй скользнул по ее волосам.

— На этот раз,— заявил он,— быть мне столоначальником и кавалером ордена Почетного легиона! Ай да умница! Но я не желаю, чтобы Станислав потерпел убыток! Бедный малыш!..

— Бедный малыш?.. — вскричала Лизбета.— Вот уж семь месяцев, как вы его не навещали. В пансионе меня

---

[1] Плод войны *(лат.)*.

считают его матерью, ведь только я одна из всей семьи забочусь о нем!..

— Этот ребенок стоит нам недешево,— сто экю каждые три месяца! — сказала Валери.— А ведь это твой ребенок, Марнеф! Тебе следовало бы оплачивать его содержание в пансионе из своего жалованья... Ну, а тот, что родится, не только не будет для нас обузой, но еще спасет нас от нужды...

— Валери,— отвечал Марнеф, заимствуя у Кревеля его картинную позу,— надеюсь, барон Юло позаботится о своем сыне и не посмеет взвалить заботы о нем на бедного чиновника. Я намерен поговорить с ним, и в весьма решительном тоне. Поэтому примите меры, сударыня! Постарайтесь заручиться письмами, в которых он распространялся бы о своем счастье. А то, видите ли, барон туговат на ухо, когда речь заходит о моем назначении...

И Марнеф отправился в министерство, куда драгоценная дружба с директором департамента позволяла ему являться к одиннадцати часам; впрочем, толку от его работы было мало ввиду явной его бестолковости и полного отвращения к труду.

Оставшись вдвоем, Лизбета и Валери с минуту смотрели друг на друга, как авгуры, а потом громко расхохотались.

— Послушай, Валери, это правда? — спросила Лизбета.— Или только комедия?

— Это физическая истина! — отвечала Валери.— Гортензия *у меня в печенках сидит!* И вот нынче ночью мне пришло в голову швырнуть этого ребенка, как бомбу, в лоно семьи графа Стейнбока.

Валери пошла к себе в спальню вместе с Лизбетой и там показала ей заранее написанное письмо:

«Венцеслав, друг мой, я все еще верю в твою любовь, хотя не видела тебя скоро уже три недели. Что это — презрение? Далила не может допустить такой мысли. Не правда ли, всему виной деспотизм твоей жены, которую ты, по твоим словам, уже не любишь? Венцеслав, столь большой художник, как ты, не должен быть под властью жены. Брак — это могила славы... Ну посмотри сам: похож ли ты на прежнего Венцеслава с улицы Дуайене? Не случайно ты потерпел неудачу с памятником моего отца. Но как любовник ты выше художника, и тебе по-

счастливилось с дочерью маршала: ты будешь отцом, мой обожаемый Венцеслав! Если ты не придешь ко мне, зная, в каком я положении, то уронишь себя в глазах своих друзей. Но я так безумно тебя люблю, что у меня, конечно, не хватит сил проклинать тебя. Могу ли я по-прежнему назвать себя

твоя Валери?»

— Что ты скажешь о моем плане? — спросила Валери Лизбету.— Я хочу послать это письмо в мастерскую, когда наша дорогая Гортензия будет там одна. Вчера вечером я узнала от Стидмана, что Венцеслав должен зайти за ним в одиннадцать часов в связи с их работой у Шанора; значит, эта неряха Гортензия будет одна.

— После такой проделки,— отвечала Лизбета,— я уже не смогу открыто быть твоим другом, и мне придется расстаться с тобою, сделать вид, что я больше не хочу видеть тебя, говорить с тобою.

— Очевидно,— сказала Валери,— но...

— О, будь покойна! — прервала ее Лизбета.— Мы увидимся, когда я буду супругой маршала. *Они* теперь все хотят этого; один только барон не знает о нашем проекте, но ты, конечно, уговоришь его принять нашу сторону.

— Но, возможно, что в скором времени мы с бароном будем в натянутых отношениях,— возразила Валери.

— А знаешь, кто сумел бы подсунуть Гортензии письмо? Госпожа Оливье! — воскликнула Лизбета.— Надо сказать ей, чтобы она сперва пошла на улицу Сен-Доминик, а уж потом в мастерскую.

— О, наша красотка, конечно, сидит сейчас дома!— отвечала г-жа Марнеф, позвонив Регине, чтобы послать ее за г-жой Оливье.

Через десять минут после того, как роковое письмо было послано, пришел барон Юло. Г-жа Марнеф кошачьим движением бросилась к нему на шею.

— Гектор, ты — отец! — шепнула она ему на ухо.— Вот что значит поссориться и помириться...

Заметив, что барон принял новость с некоторым удивлением и не сумел достаточно быстро это скрыть, Валери состроила холодную мину, повергнув тем самым члена государственного совета в отчаяние. Ему пришлось вытягивать из нее, одно за другим, доказательства своего отцовства. Когда же Уверенность, осторожно ведомая

рукой Тщеславия, проникла в старческое сознание, Валери поведала барону, что г-н Марнеф в бешенстве.

— Ну, старая гвардия,— сказала она ему,— теперь тебе волей-неволей придется повысить в чинах нашего издателя, или, если угодно, нашего ответственного редактора! Быть ему теперь столоначальником и кавалером ордена Почетного легиона! Ведь ты его разорил, беднягу. Он обожает своего Станислава; этот *ублюдок* весь в отца, и оттого я его просто не выношу! Но, может быть, ты предпочтешь положить на имя Станислава ренту в тысячу двести франков, разумеется, с передачей мне права пользования?

— Что касается ренты, я предпочел бы сделать вклад на имя моего будущего сына, а не какого-то *ублюдка!* — сказал барон.

Неосторожная фраза, в которой слова *мой сын* вздулись, как воды реки в половодье, превратилась к концу беседы, длившейся час, в формальное обещание обеспечить будущего ребенка рентой в тысячу двести франков. Затем это обещание сыграло для Валери роль трубы в руках мальчишки: она трубила на эту тему в течение трех недель, пуская в ход свой острый язычок и свои забавные гримаски.

В то время как барон Юло, счастливый, точно молодой супруг, мечтающий о наследнике, выходил с улицы Ванно, г-жа Оливье разыгрывала комедию, позволив Гортензии взять у нее письмо, якобы предназначенное для передачи графу Стейнбоку в собственные руки. Молодая женщина оплатила это письмо золотой монетой в двадцать франков. Ведь платит же самоубийца за опиум, за пистолет, за уголь. Гортензия прочла письмо, прочла его еще раз; она видела только этот белый листок бумаги, испещренный черными строками; в природе существовал только этот листок бумаги, все вокруг было погружено во мрак. Зарево пожара, пожиравшего здание ее счастья, освещало этот белый листок, а вокруг царила черная ночь. Крики маленького Венцеслава, увлеченного игрой, доносились до ее слуха издалека, словно ребенок находился где-то далеко, в глубокой долине, а она на вершине горы. Оскорбление, нанесенное женщине двадцати четырех лет, в полном блеске красоты, гордой своей чистой и преданной любовью, сразило ее: то не была

тяжелая рана, то была сама смерть. Первый приступ отчаяния был чисто нервного характера: тело, истерзанное ревностью, извивалось в судорогах; но несомненность несчастья опустошила душу, тело смирилось. Минут десять находилась Гортензия в угнетенном состоянии. Образ матери встал перед нею, и наступил душевный перелом: она успокоилась, пришла в себя, в ней заговорил рассудок. Она позвонила.

— Пусть Луиза поможет вам, моя милая,— сказала она кухарке.— Уложите поскорее все мои вещи и вещи ребенка. Даю вам час времени. Когда все будет готово, наймите на площади карету и доложите мне. Пожалуйста, не возражайте! Я ухожу из дому и беру с собой Луизу. Вы же останетесь с графом. Хорошенько заботьтесь о нем...

Она прошла к себе в комнату, села за столик и написала следующие строки:

«Граф!

Прилагаемое письмо объяснит вам причину принятого мною решения.

Когда вы будете читать эти строки, меня уже не будет в вашем доме, я уезжаю к матери и беру с собой ребенка.

Не рассчитывайте, что я когда-нибудь изменю свое решение. Не объясняйте мой поступок горячностью молодости, необдуманностью, местью оскорбленной любви,— вы глубоко ошибетесь.

Все эти две недели я очень много думала о жизни, о любви, о нашем браке, о наших взаимных обязанностях. Я поняла всю глубину самоотверженности моей матери: она рассказала мне о своих страданиях! Она героически переносила свое горе, день за днем, двадцать три года! Но я не чувствую в себе сил подражать ей,— не потому, чтобы я любила вас меньше, нежели она любит отца: причиной тому мой характер. Наша семейная жизнь превратилась бы в ад, и я могла бы потерять голову до такой степени, что обесчестила бы вас, обесчестила себя, обесчестила нашего ребенка. Я не хочу быть госпожой Марнеф; а ведь, вступив на этот путь, женщина моего склада, возможно, не остановится ни перед чем. К своему несчастью, я Юло, а не Фишер.

В одиночестве, вдали от вашей беспорядочной жизни,

я отвечаю за себя; тем более что я вся уйду в заботы о нашем ребенке и возле меня будет моя благородная, сильная духом мать; близость ее действует благотворно на бурные порывы моего сердца. Около нее я буду хорошей матерью, воспитаю как должно нашего ребенка и найду в себе силы жить. Останься я с вами, во мне жена убьет мать, а постоянные ссоры испортят мой характер.

Я готова умереть сразу, но я не хочу страдать двадцать пять лет сряду, как моя мать. Если вы изменили мне после трех лет безраздельной, глубокой любви, изменили с любовницей вашего тестя, какими же соперницами наградите вы меня впоследствии? Ах, сударь, вы гораздо раньше, чем мой отец, вступаете на путь разврата, мотовства, позорный для отца семейства, ибо дети теряют к такому отцу уважение, и будущее грозит всей семье бесчестьем и отчаянием.

Это не значит, что я неумолима. Непреклонность чувств не свойственна существам слабым, живущим под недреманным оком божиим. Если вы завоюете славу и состояние упорным трудом, если вы откажетесь от куртизанок, сойдете с пути порока и позора, вы вновь обретете жену, достойную вас.

Я знаю, что вы джентльмен и не захотите прибегнуть к закону. Вы уважите мою волю, граф, предоставив мне жить подле матери; но не вздумайте появиться там, это главное. Я оставила вам все деньги, которыми ссудила вас эта ненавистная женщина. Прощайте.

Гортензия Юло».

Мучительно было писать это письмо. У Гортензии лились слезы, перемежаясь с воплями оскорбленной любви. Она бросала и опять бралась за перо, чтобы откровенно высказать то, что любовь обычно высказывает в этих завещательных письмах. Сердце изливалось в жалобах, слезах, восклицаниях, но разум брал верх.

Когда Луиза доложила, что вещи уложены и карета подана, молодая женщина медленно обошла садик, спальню, гостиную, все оглядела в последний раз. Затем она обратилась к кухарке с горячей просьбой всячески заботиться о графе, обещая вознаградить ее за добросовестную службу. Наконец она села в карету и уехала к матери; сердце ее было разбито, она так рыдала, что рас-

трогала свою горничную; она целовала маленького Венцеслава с каким-то упоением, в котором еще было столько любви к отцу!

Баронесса уже знала от Лизбеты, что тесть сильно виноват в проступке зятя, она не удивилась приезду дочери, одобрила ее и согласилась приютить у себя. Видя, что кротость и преданность никогда не останавливали ее Гектора, и уже начиная терять уважение к нему, Аделина рассудила, что дочь ее права, избрав другой путь. В три недели бедная мать получила две раны, которые причинили ей боль, превзошедшую все ее прежние муки. По вине барона Викторен и его жена оказались в стесненном положении; затем, по словам Лизбеты, он был причиной падения Венцеслава, он совратил своего зятя. Авторитет этого отца семейства, столь долгое время поддерживаемый бессмысленными жертвами, рухнул. Молодые Юло не жалели брошенных на ветер денег, но почувствовали недоверие к отцу, соединенное с беспокойством за него. Чувства их, достаточно явно выраженные, глубоко огорчили Аделину; она предвидела распад семьи. Баронесса поместила дочь в столовой, наскоро превращенной в спальню с помощью денег маршала; прихожая стала служить столовой, как и во многих других домах.

Когда Венцеслав вернулся домой и прочел оба письма, он испытал двойственное чувство: прежде всего обрадовался, а затем ему взгрустнулось. Находясь под неусыпным надзором жены, он внутренне восставал против этого нового пленения в духе Лизбеты. Пресыщенный любовью трехлетней давности, он тоже многое передумал в последние две недели и пришел к мысли, что семья — тяжкое бремя. Стидман, тая заднюю мысль, о которой легко догадаться, счел нужным польстить тщеславию мужа Гортензии, надеясь впоследствии утешить его жертву. Итак, Венцеслав был очень доволен, что может вернуться к г-же Марнеф. Но тут он вспомнил те чистые, безоблачные радости, которые дала ему Гортензия, все ее достоинства, ее рассудительность, ее невинную и наивную любовь и пожалел о разлуке с женой. Он хотел было бежать к ней, вымолить прощение, но поступил, как Юло и Кревель: пошел к г-же Марнеф и понес ей письмо жены, чтобы показать, какие беды

Валери натворила, и, поставив это несчастье ей в счет, потребовать награды от своей любовницы. У Валери он застал Кревеля. Мэр, напыжившись от гордости, расхаживал по гостиной, как человек, волнуемый бурными чувствами. Он становился в позу, как бы намереваясь держать речь, но не осмеливался слова вымолвить. Физиономия его сияла, он подбегал к окну, барабанил по стеклу пальцами. Когда он глядел на Валери, лицо его принимало умильное, растроганное выражение. К счастью для Кревеля, пришла Лизбета.

— Кузина,— сказал он ей на ухо,— вы слыхали новость? Я отец! Мне кажется, что я уже меньше люблю мою бедняжку Селестину. О, вот что значит иметь ребенка от женщины, которую боготворишь! Соединить отцовство по сердцу с отцовством по крови! О, как я счастлив! Передайте это Валери. Я буду работать для нашего ребенка, я хочу, чтобы он был богат! Она сказала мне, что по некоторым признакам должен быть мальчик! Если родится сын, я хочу, чтобы он носил фамилию Кревель: посоветуюсь с моим нотариусом.

— Я знаю, как она вас любит,— сказала Лизбета,— но ради вашего будущего и будущего вашего сына сдерживайте себя, не потирайте себе руки каждую минуту.

Пока Лизбета a parte [1] разговаривала с Кревелем, Валери выручала свое письмо у Венцеслава, и сладкие речи, которые она вела с ним шепотком, развеяли его грусть.

— Вот ты и свободен, друг мой,— говорила она.— Разве можно великим художникам жениться? Без полета воображения и свободы вы — ничто! Ну, успокойся! Я буду так любить тебя, мой милый поэт, что никогда ты не пожалеешь о жене. Но если ты, как и многие, пожелаешь соблюсти внешние приличия, я берусь вернуть тебе Гортензию в самое короткое время...

— Ах, если б это было возможно!

— Уверена в этом,— сказала Валери, задетая за живое.— Твой бедный тесть во всех отношениях человек конченный; но из самолюбия он желает слыть счастливым любовником, желает, чтобы молва приписывала ему любовницу; играя на этой струнке, я верчу им, как мне вздумается. Баронесса все еще любит своего Гектора

---

[1] В сторонке *(итал.)*.

(право, мне всегда кажется, что речь идет о героях «Илиады»), старики вдвоем сумеют повлиять на Гортензию, и перемирие состоится. Однако ж, если ты не хочешь накликать на себя беду, впредь не смей забывать свою любовницу на три недели... Я истосковалась! Джентльмен должен, милый мой, оказывать больше внимания женщине, которую он поставил в такое ложное положение, в каком нахожусь я; в особенности, если эта женщина обязана заботиться о своем добром имени... Оставайся обедать, мой ангел!.. Только помни, я буду вынуждена держаться с тобой холодно — именно потому, что ты виновник чересчур очевидного греха.

Доложили о прибытии барона Монтеса. Валери встала, побежала к нему навстречу, быстрым шепотом сказала несколько слов, давая ему те же наставления, что и Венцеславу; бразилец напустил на себя дипломатическую сдержанность, чтобы скрыть радостное волнение, которым его преисполнила такая весть! Уж этот-то был уверен в том, что он отец!..

Благодаря такой стратегии, основанной на мужском самолюбии, Валери обедала в обществе четырех счастливых, оживленных, обходительных мужчин, из которых каждый воображал, что он любим, и Марнеф, подразумевая и себя в их числе, в разговоре с Лизбетой называл всю эту свиту *пятью отцами церкви*.

Один лишь барон Юло был вначале весьма озабочен. И вот почему: в тот день, прежде чем уйти из министерства, он зашел к начальнику личного состава, генералу, с которым был в товарищеских отношениях тридцать лет, и заговорил с ним о назначении Марнефа на место Коке, ибо столоначальник согласился подать в отставку.

— Дорогой друг,— сказал ему Юло,— я не хотел бы просить маршала об этой милости, не поговорив с вами и не получив вашего согласия.

— Дорогой друг,—отвечал начальник личного состава,— позвольте мне заметить, что, в ваших собственных интересах, вам не следует настаивать на этом назначении. Я уже и раньше высказывал вам такое мнение. Это вызовет скандал в канцелярии, а там уж и без того слишком много занимаются вами и госпожой Марнеф. Пусть все останется между нами. Я не хочу касаться ваших слабостей и не хочу причинять вам неприятностей,

что я сейчас и докажу на деле. Если уж вы желаете во что бы то ни стало просить о замещении Коке другим лицом (его отставка будет настоящей потерей для канцелярии министерства: он ведь служит тут с тысяча восемьсот девятого года), то я уеду на две недели в деревню, чтобы предоставить вам полную свободу действий: сами хлопочите у маршала, который любит вас, как сына. Таким образом, я не буду ни за, ни против, и как администратор не погрешу против своей совести.

— Благодарю вас,— отвечал барон,— я подумаю о ваших словах.

— Если я позволил себе сделать подобное замечание, дорогой друг, то потому лишь, что тут ваши интересы затронуты в большей степени, нежели мои дела и мое самолюбие. Прежде всего маршал тут полный хозяин. Затем, дорогой мой, нам ставят в упрек столько проступков, что в конце концов одним больше или меньше!.. Мало ли мы подавали поводов для критики? При Реставрации раздавали высокие должности, и люди только получали оклады, не утруждая себя службой!.. Мы с вами старые товарищи...

— Да,— отвечал барон,— и, памятуя о нашей давней, дорогой для меня дружбе, я...

— Ну, полноте! — продолжал начальник личного состава, заметив смущение Юло.— Я отправлюсь в путешествие, старина... Но берегитесь! У вас есть враги, то есть люди, которые завидуют вашему высокому окладу, и вы висите на волоске. Вот ежели бы вы были депутатом, как я, вам бы нечего было бояться. Итак, действуйте осмотрительно...

Эти дружеские слова произвели сильное впечатление на барона Юло.

— Но, наконец, в чем же дело, Роже? Что за таинственность?

Генерал, которого Юло назвал Роже, поглядел на него, взял его за руку, пожал ее.

— Мы с вами старинные друзья, и я должен предостеречь вас от опрометчивого шага. Если вы желаете удержаться в своей должности, надо вам самому об этом позаботиться. И будь я в вашем положении, я не стал бы испрашивать у маршала отставку господина Коке ради Марнефа, а воспользовался бы влиянием маршала,

чтобы сохранить за собой постоянное место в государственном совете. Тогда вы могли бы умереть спокойно; ваша директорская должность все равно, что шкура бобра — много на нее охотников... Уйдите-ка лучше от зла и сотворите благо.

— Как? Разве маршал запамятовал...

— Эх, старина! Маршал с таким жаром защищал вас в совете министров, что больше нет речи о том, чтобы вас освободить. Но ведь вопрос все-таки был поднят!.. Итак, не подавайте повода... Ничего больше не скажу. В настоящий момент вы можете ставить свои условия, быть членом государственного совета, пэром Франции. Советую вам не медлить и не подавать повода к осуждению вас, иначе я не отвечаю ни за что... Ну как?.. Уезжать мне или нет?

— Обождите, я повидаюсь с маршалом,— отвечал Юло,— и пошлю брата прощупать почву.

Можно себе представить, в каком расположении духа барон возвратился к г-же Марнеф; он чуть не забыл, что он отец, ибо Роже поступил действительно по-товарищески, открыв ему глаза на положение дел. Однако же влияние Валери было так велико, что в середине обеда барон настроился на общий лад, стараясь заглушить веселостью томившие душу заботы; несчастный не предвидел, что в тот же вечер ему предстоит сделать выбор: отказаться от счастья или пренебречь опасностью, на которую указывал ему начальник личного состава; короче говоря, либо поступиться г-жой Марнеф, либо своим служебным положением.

К исходу одиннадцатого часа, когда вечер достиг высшей степени оживления, ибо салон был полон гостей, Валери усадила Гектора рядом с собой в уголок дивана.

— Послушай, дружок,— сказала она ему шепотом,— твоя дочь разгневалась на Венцеслава за то, что он бывает здесь, и бросила его. Сумасбродка твоя Гортензия! Попроси Венцеслава показать тебе письмо, которое эта дурочка ему написала. Разрыв двух влюбленных супругов, виновницей которого почему-то считают меня, может принести мне большой вред. Вот какими приемами пользуются, нападая друг на друга, добродетельные женщины! Ведь это просто скандал: разыгрывать жерт-

ву лишь для того, чтобы бросить пятно на женщину, вся вина которой только в том, что в доме у нее приятно бывать! Если ты любишь свою Валери, ты оправдаешь ее перед всеми, примирив двух голубков. Притом, я вовсе не цепляюсь за твоего зятя. Привел его в мой дом ты, так ты и уводи его отсюда! Если ты пользуешься влиянием в своей семье, мне кажется, ты мог бы потребовать от жены, чтобы она устроила это примирение. Скажи своей доброй старушке, что если меня станут несправедливо обвинять, будто бы я поссорила молодую чету, расстроила семейный союз, прибрала к рукам и тестя и зятя, то я такого натворю, что и в самом деле заслужу эту дурную славу! Вот и Лизбета меня огорчает... Разве не сказала она, что собирается бросить нас? Она предпочитает мне свою родню, я не могу ее за это осуждать. Лизбета останется тут только в том случае, как она сказала, если молодые супруги помирятся. Каково нам будет без нее? Расходы ведь втрое возрастут!..

— О, что касается этого,— сказал барон, узнав о скандальном поступке дочери,— я восстановлю порядок.

— Хорошо,— продолжала Валери,— теперь о другом: как с назначением мужа?

— Дело это,—отвечал барон, потупив глаза,—весьма трудное, если не сказать — невыполнимое!

— Невыполнимое, дорогой Гектор? — прошептала г-жа Марнеф в самое ухо барона.— Но ты не знаешь, до каких крайностей может дойти Марнеф, а ведь я в его власти... Он человек безнравственный, как и большинство мужчин, когда дело касается их интересов; притом он крайне мстителен, как все ничтожные, бессильные люди. В том положении, в которое ты меня поставил, я вполне завишу от него. В силу необходимости мне придется сойтись с ним на короткое время, но я боюсь, что он так и расположится навсегда у меня в спальне!

Юло даже покачнулся.

— Он оставлял меня в покое при том условии, что получит место столоначальника. Подло, но логично!

— Валери, ты любишь меня?

— Вопрос ваш, дорогой мой, если принять во внимание положение, в каком я нахожусь, свидетельствует о неблагодарности чисто лакейской...

— Но ведь если я попытаюсь,— только попытаюсь!—

попросить у маршала место для Марнефа, я и сам лишусь должности и Марнефа уволят.

— Я думала, что вы с князем близкие друзья.

— Очень близкие, и он не раз доказал мне это. Однако, дитя мое, над маршалом стоит еще кое-кто, хотя бы, к примеру сказать, совет министров... Но через несколько месяцев мы потихоньку своего добьемся. Для успеха дела надобно выждать момент, когда от меня самого потребуется какая-нибудь услуга. А тогда я могу заявить: услуга за услугу...

— Если я скажу такую вещь Марнефу, бедный ты мой Гектор, он сыграет с нами какую-нибудь скверную штуку. Послушай, скажи-ка ты ему сам, что нужно обождать, а я за это не берусь. О, я предвижу, что меня ожидает! Он знает, как наказать меня: он не уйдет из моей спальни... И не забудь: тысячу двести франков ренты для малыша!

Юло отозвал Марнефа в сторону; чувствуя, что его наслаждениям угрожает опасность, он впервые в жизни оставил свой высокомерный тон,— так его ужаснула мысль, что этот полумертвец расположится в спальне красавицы.

— Марнеф, друг мой,— сказал он,— сегодня подымался вопрос о вас. Но сразу вам не удастся стать столоначальником... Нужно выждать некоторое время.

— Я буду столоначальником, господин барон,— отчеканил Марнеф.

— Но, милейший...

— Я буду столоначальником,— холодно повторил Марнеф, глядя попеременно то на барона, то на Валери.— Вы поставили мою жену перед необходимостью помириться со мною. Ну что ж! Оставлю ее при себе, потому что она просто прелесть, *милейший*,— прибавил он с ужасающей иронией.— Тут я больше хозяин, чем вы в министерстве.

Барон почувствовал нестерпимую острую боль в сердце и едва сдержал слезы. Во время этой короткой сцены Валери успела шепотом сообщить Анри Монтесу о мнимых притязаниях Марнефа и, таким образом, на некоторое время избавилась и от бразильца.

Из четырех верноподданных только один Кревель, расчетливый владелец вышеобрисованного особнячка, не

подпал под эту меру; поэтому он так и сиял от удовольствия, воистину недвусмысленного, хотя Валери хмурила брови и строила укоризненные мины; но ничто не могло согнать с физиономии счастливого отца выражения полного блаженства. В ответ на упрек, высказанный ему Валери шепотом, он схватил ее за руку и сказал:

— Завтра, моя герцогиня, ты получишь особняк!.. Завтра ведь окончательная продажа с торгов.

— А обстановка? — спросила она с улыбкой.

— У меня имеется тысяча версальских, левобережных акций, купленных по ста двадцати пяти франков, а они подымутся до трехсот благодаря соединению двух железнодорожных путей, в тайну чего и я был посвящен. У тебя будет обстановка, как у королевы!.. Но уж теперь ты будешь принадлежать только мне! Верно?..

— Да, господин мэр! — промолвила с улыбкой эта буржуазная г-жа де Мертей.—Но веди себя чинно! Уважай свою будущую супругу.

— Дорогой кузен,— сказала Лизбета барону,— завтра же, с раннего утра, я прибегу к Аделине, потому что — вы должны это понять — оставаться здесь мне просто неприлично. Займусь-ка я хозяйством маршала, вашего брата!

— Сегодня вечером я возвращаюсь к себе,— заявил барон.

— В таком случае я приду к завтраку,— усмехнувшись, добавила Лизбета.

Она понимала, насколько ее присутствие было необходимо при той семейной сцене, которая должна разыграться на следующий день. Поэтому с самого утра она отправилась к Викторену и сообщила ему, что Гортензия разошлась с Венцеславом.

Когда барон пришел домой — это было около половины одиннадцатого вечера,— Мариетта и Луиза, окончив трудовой день, запирали наружную дверь квартиры, поэтому звонить ему не пришлось. Супруг, весьма раздосадованный своей вынужденной добродетельностью, прошел прямо в спальню жены и через приотворенную дверь увидел ее перед распятием: она молилась, застыв в выразительной позе, которая создает славу художникам и скульпторам, ежели им посчастливится передать всю ее живописность. В порыве исступленного восторга

Аделина взывала: «Господи, помилуй нас, просвети его!» Так молилась она за своего Гектора. Картина эта, столь непохожая на то, что барон недавно видел в гостиной Валери, и эта мольба, в которой прорывалось все накопившееся за день горе, растрогали его; он невольно вздохнул. Аделина обернулась, лицо ее было залито слезами. Твердо уверенная, что молитва ее услышана, она вскочила и обняла своего Гектора со всею силой, какую придает нам счастье. Она освободилась от всяких эгоистических женских чувств, горе угасило последнее о них воспоминание. В ней живо было лишь чувство матери, забота о семейной чести, привязанность жены-христианки к заблудшему мужу, та святая нежность, которая никогда не умирает в сердце женщины. Все это читалось на ее лице.

— Гектор! — сказала она наконец.— Неужели ты вернулся к нам? Неужели бог сжалился над нашей семьей?

— Дорогая Аделина! — отвечал барон, входя в комнату и усаживая жену в кресло рядом с собою.— Ты самое святое существо на земле, и я давно уже не считаю себя достойным тебя.

— Тебе совсем немного придется приложить усилий, мой друг,— сказала она, держа Юло за руку и дрожа так сильно, словно у нее был нервный тик,— совсем немного усилий, чтобы все пошло хорошо...

Она не осмеливалась продолжать, она чувствовала, что каждое слово будет ему в осуждение, а ей не хотелось омрачать радость свидания, потоком хлынувшую в ее душу.

— Поступок Гортензии привел меня сюда,— отвечал Юло.— Эта девочка может сделать нам больше вреда своим необдуманным шагом, нежели моя безрассудная страсть к Валери. Но мы поговорим обо всем этом завтра утром. Гортензия спит, как сказала мне Мариетта. Оставим ее в покое.

— Да, оставим,— сказала г-жа Юло, которой вдруг овладела глубокая тоска.

Она догадалась, что барон вернулся домой не столько из желания повидаться с семьей, сколько из посторонних побуждений.

— Не надо ее тревожить и завтра. Бедняжка в таком

угнетенном состоянии: она плакала весь день,— продолжала баронесса.

На другой день, в девять часов утра, барон, в ожидании дочери, которую приказано было позвать, не спеша ходил взад и вперед по огромной унылой гостиной, подыскивая доводы, силою коих он мог бы сломить упорство молодой женщины, оскорбленной и неумолимой, как бывает неумолима только безупречная юность, не ведающая постыдных сделок, ибо ей неведомы корыстные страсти и расчеты.

— Вот и я, отец! — произнесла дрожащим голосом Гортензия; милое личико ее уже побледнело от горестных переживаний.

Юло, сидя на стуле, обнял дочь и посадил ее к себе на колени.

— Ну-с, дитя мое,— сказал он, целуя ее в лоб,— мы повздорили и решились на смелый, но необдуманный шаг?.. Так не поступают благовоспитанные девицы. Уйти из дома, бросить мужа!.. Моя Гортензия не должна была делать этого, не посоветовавшись с родителями... Ежели бы моя милая Гортензия повидалась со своей доброй, превосходной матерью, она бы не причинила мне такого жестокого огорчения! Ты не знаешь света, а свет зол. Могут сказать, что твой муж сам отослал тебя к твоим родителям. Дети, воспитанные, как вы, под крылышком матери, дольше других остаются детьми, они не знают жизни! К несчастью, такое наивное и здоровое чувство, как твоя любовь к Венцеславу, не рассуждает, оно следует первому побуждению. Сердечко пых-пых, а вслед за ним и головка! Ревнивицы способны из мести сжечь Париж, не подумав о суде присяжных! Когда старик отец приходит к тебе и говорит, что ты не соблюдаешь правил приличия, ты должна ему верить. Я не говорю уже о том, какую боль, какие горькие минуты приходится мне переживать, потому что ты бросаешь пятно на женщину, сердца которой ты не знаешь, ненависть которой может быть страшна... Увы! Ты — сама искренность, наивность, чистота, ты все видишь в розовом свете. А тебя могут втоптать в грязь, оклеветать. Да и зачем, ангел мой, шутку принимать всерьез! Я могу поручиться, что твой муж невиновен. Госпожа Марнеф...

До этой минуты барон очень мило и выразительно чи-

тал дочери нотацию и, как искусный дипломат, готовился ввернуть в свою речь имя г-жи Марнеф; но, услышав это имя, Гортензия вздрогнула, словно ей нанесли тяжкое оскорбление.

— Выслушай меня! У меня есть и жизненный опыт и наблюдательность,— продолжал отец, не давая дочери заговорить.— Эта дама обходится с Венцеславом чрезвычайно холодно. Да, да, над тобой просто подшутили. Я приведу тебе доказательства. Видишь ли, вчера Венцеслав там обедал...

— Он там обедал?..— спросила молодая женщина, вскочив на ноги, и ужас изобразился на ее лице, когда она поглядела на отца.— Вчера? После моего письма?.. О боже мой!.. Почему я не пошла в монастырь, вместо того чтобы выйти замуж! Но моя жизнь больше не принадлежит мне, у меня ребенок! — прибавила она, рыдая.

Эти рыдания терзали сердце г-жи Юло; она вышла из своей комнаты, бросилась к дочери и, обняв ее, шептала ей какие-то бессмысленные ласковые слова, первые, что приходят на ум в минуты горя.

«Ну вот и слезы!..— подумал барон.— А ведь все шло так хорошо! Что мне делать теперь с двумя плачущими женщинами?»

— Дитя мое,— сказала баронесса Гортензии.— Выслушай отца! Он любит нас...

— Полно, Гортензия! Милая моя дочурка, не плачь! От слез ты очень дурнеешь,— добавил барон.— Полно же! Обдумай все здраво, возвращайся благоразумно к себе, и я тебе обещаю, что ноги Венцеслава не будет *в том доме*. Прошу тебя, принеси эту жертву, если можно назвать жертвой то, что ты простишь любимому мужу невинный проступок. Прошу тебя, сделай это ради моих седин, ради твоей любви к матери... Неужели ты пожелаешь омрачить горечью и скорбью мою старость?..

Гортензия, как безумная, бросилась к ногам отца, и от этого порывистого движения у нее распустились волосы; и во всей ее позе с простертыми к нему руками сказалось, как велико было ее отчаяние.

— Отец, вы просите у меня мою жизнь! — сказала она.— Возьмите ее, если желаете; но возьмите ее чистой, незапятнанной, я с радостью отдам ее вам. Но только не просите меня умереть обесчещенной, преступной! Я

не похожа на мать! Я не стерплю оскорблений! Если я вернусь под супружеский кров, я могу в припадке ревности задушить Венцеслава или сделать что-нибудь еще того хуже. Не требуйте от меня того, что выше моих сил. Не хороните меня живую! Ведь еще немного, и я сойду с ума... Я уже чувствую это! Вчера!.. Вчера он обедал у той женщины, прочитав мое письмо!.. Неужели все мужчины таковы?.. Я отдаю вам мою жизнь, но пусть смерть моя не будет позорной! Что вы сказали? Его проступок невинный?.. Иметь ребенка от этой женщины!..

— Ребенка? — сказал Юло, отпрянув от нее.— Ну, уж это несомненно шутка!

В эту минуту Викторен и кузина Бетта вошли в комнату и остановились в дверях, пораженные представшей перед ними картиной. Дочь лежала распростертая у ног отца. Баронесса стояла безмолвно, в душе ее шла борьба между чувствами матери и жены, и по ее расстроенному лицу текли слезы.

— Лизбета, приди мне на помощь,— сказал барон, взяв старую деву за руку и указывая на Гортензию.— Моя бедная дочь совсем потеряла голову, она думает, что госпожа Марнеф влюбилась в ее Венцеслава, между тем как госпожа Марнеф просто-напросто желает получить от него скульптурную группу.

— Далилу? — вскричала молодая женщина.— Единственную вещь, которую он сделал со времени нашей свадьбы? Господин Стейнбок не мог работать для меня, для своего сына, а для какой-то негодяйки работал с великим жаром... О, добивайте же меня, отец! Ведь каждое ваше слово — удар кинжала.

Обернувшись к баронессе и Викторену, Лизбета пожала плечами, с сожалением указывая на барона, который не мог видеть ее жеста.

— Послушайте, кузен,— сказала Лизбета,— я не знала, что представляет собою госпожа Марнеф, когда вы попросили меня переселиться в тот дом, где живет она, этажом выше ее квартиры, и вести ее хозяйство. Но за три года можно многое понять. Она просто-напросто тварь, продажная девка! И тварь до того развращенная, что может сравниться в этом отношении только со своим гнусным, омерзительным мужем! Вы одурачены этими людьми, *милорд Простофиля!* Они доведут вас до того, что

вам и во сне не снилось! Надобно сказать вам все начистоту, потому что вы на дне бездны.

Слушая Лизбету, баронесса и Гортензия смотрели на нее так, как смотрят верующие на мадонну, вознося ей благодарственные молитвы за спасение их от гибели.

— Она хотела, эта ужасная женщина, расстроить семейную жизнь вашего зятя. С какой целью? Не знаю. Моего ума не хватает, чтобы разобраться в этих темных, подлых, мерзких интригах. Конечно, госпожа Марнеф не любит вашего зятя, но она из мести желает видеть его у своих ног. Я только что обошлась с этой негодяйкой, как она того заслуживает. Бесстыжая содержанка! Я объявила, что покидаю ее дом. Мне моя честь не позволяет пачкаться в этой грязи... Прежде всего я принадлежу своим родным! Я узнала, что Гортензия бросила Венцеслава, и вот я тут! Кузен, ваша Валери, которую вы принимаете за святую, причина этого рокового разрыва. Как же я могу после этого оставаться у подобной женщины? Наша милая, дорогая Гортензия,— продолжала она, касаясь руки барона выразительным жестом,— не должна страдать из-за прихоти подлых женщин, которые ради какой-нибудь безделушки готовы разрушить счастье целой семьи. Я не считаю, что Венцеслав провинился, но считаю, что он человек слабовольный, и не поручусь, что он устоит против такого изощренного кокетства. Решение мое бесповоротно. В этой женщине — ваша погибель, она доведет вас до нищеты. Я не желаю, чтобы на меня падала хотя бы тень подозрения, будто я принимаю участие в разорении моих родных; ведь вот уже три года, как я торчу там лишь затем, чтобы помешать вашему разорению. Вас обманывают, кузен. Скажите твердо, что вам дела нет до назначения этого мерзавца Марнефа, и вы увидите, что тогда будет! Славный сюрприз вам готовят!

Лизбета подняла с колен свою милую племянницу и горячо поцеловала ее.

— Не сдавайся, дорогая Гортензия,— шепнула она ей на ухо.

Баронесса, видя, что она отомщена, поцеловала кузину Бетту с чисто женской восторженностью. Вся семья в глубоком молчании стояла вокруг отца, который был достаточно умен, чтобы понять, что означало это молчание. Явные признаки страшного гнева проступили во всех

его чертах: жилы на лбу вздулись, глаза налились кровью, лицо пошло багровыми пятнами. Аделина бросилась перед ним на колени, схватила его за руки:

— Друг мой, друг мой, прости!

— Я вам ненавистен! — воскликнул барон, не в силах заглушить голос совести.

Зная за собой глубокую вину, мы почти всегда считаем, что наши жертвы жаждут мести и питают к нам ненависть; и, несмотря на все усилия лицемерия, наша речь или наше лицо выдают нас в минуту непредвиденных испытаний, как некогда выдавали себя преступники, попав в руки палача.

— Родные дети в конце концов становятся нашими врагами,— сказал барон, желая взять назад свое признание.

— Отец...— начал Викторен.

— Как вы смеете перебивать отца! — громовым голосом крикнул барон, в упор глядя на сына.

— Отец, выслушайте! — сказал Викторен твердым и ясным голосом, голосом депутата-пуританина.— Я очень хорошо знаю, что обязан оказывать вам уважение и ни в коем случае его не нарушу. Я всегда был и буду для вас самым почтительным, самым покорным сыном.

Всякий, кому доводилось присутствовать на заседании палаты, признает навыки парламентской борьбы в этих елейных фразах, с помощью которых политики стараются успокоить противников и выиграть время.

— Мы никогда не были и не можем быть вашими врагами,— продолжал Викторен.— Я поссорился с моим тестем Кревелем из-за того, что выкупил у Вовине на шестьдесят тысяч франков ваших векселей, а, конечно, деньги, занятые вами, попали в руки госпожи Марнеф. О, я не осуждаю вас, отец,— прибавил он, отвечая на гневный жест барона,— я только хочу присоединить свой голос к голосу кузины Бетты и указать, что если моя преданность вам слепа и безгранична, любезный батюшка, то, к несчастью, наши денежные средства ограничены.

— Деньги! — крикнул сластолюбивый старик и, сраженный этим доводом, рухнул на стул.— И это мой сын! Вам возвратят, сударь, ваши деньги,— сказал он, вставая.

Он пошел к двери.

— Гектор!

Возглас этот вынудил барона обернуться; и как только Аделина увидела его залитое слезами лицо, она обняла мужа с силой, которую придает отчаяние.

— Не уходи так!.. Не покидай нас в гневе! Я-то ведь ничего тебе не сказала!..

При этом крике благородной души дети упали на колени перед отцом.

— Мы все вас любим,— промолвила Гортензия.

Лизбета, недвижимая, как статуя, с горделивой улыбкой смотрела на своих родственников. В это время маршал Юло вошел в прихожую, послышался его голос. Семья поняла, как необходимо сохранить происходящее в тайне, и сцена сразу приобрела другой характер. Дочь и сын встали с колен, и каждый постарался скрыть свое волнение.

У входных дверей возникла перебранка между Мариеттой и каким-то солдатом, причем солдат проявил такую настойчивость, что кухарке пришлось войти в гостиную.

— Сударь, какой-то писарь полковой из *Алжера* беспременно хочет поговорить с вами.

— Пусть обождет.

— Сударь,— шепнула Мариетта своему хозяину,— он велел сказать вам потихоньку, что тут дело касается вашего дядюшки.

Барон вздрогнул, подумав, не привезли ли ему деньги, которые он два месяца назад негласно просил прислать ему, чтобы уплатить по векселям; он бросился в прихожую. Тут он увидел эльзасскую физиономию.

— *Каспадин парон Юлот?*

— Да...

— *Он самий?*

— Он самый.

Солдат пошарил за подкладкой форменной фуражки и вынул оттуда письмо; барон живо его распечатал и прочел следующее:

«Племянник, я не только не имею ни малейшей возможности прислать вам сто тысяч франков, которые вы просите, но мое положение таково, что ежели вы не примете решительных мер для моего спасения, я пропал.

На нас наседает королевский прокурор, который читает нам мораль и несет всякую чепуху о том, как нам себя вести. Рот не заткнешь этому шпаку! Ежели военное министерство станет слушаться чернофрачников, я погиб. В подателе сего письма я вполне уверен, постарайтесь продвинуть его по службе: он оказал нам большую услугу. Не бросайте меня воронью на съеденье!»

Письмо было как гром среди ясного неба: барон ничего не знал о тех внутренних раздорах, которые идут в Алжире между гражданской и военной властями, притязающими на монопольное управление страной; и сразу же он стал думать, какие временные средства изобрести для предотвращения этого нового удара. Он сказал солдату, чтобы тот приходил на другой день, надавал ему самых заманчивых обещаний насчет повышения в чине и, отпустив его, вернулся в гостиную.

— Здравствуй и прощай, брат! — сказал он маршалу.— Прощайте, дети, прощай, добрая моя Аделина! А что ты теперь станешь делать, Лизбета? — спросил он.

— Стану вести хозяйство маршала. Так вот и буду до конца жизни помогать то одному, то другому.

— Не покидай Валери, пока я не увижусь с тобой,— сказал Юло на ухо своей кузине.— Прощай, Гортензия, строптивая моя девочка. Будь умницей. Мне сейчас недосуг, у меня важные дела, позже мы поговорим о твоем примирении с мужем. Подумай об этом, моя хорошая кошечка,— прибавил он, целуя ее.

Он расстался с женой и детьми в состоянии столь явного смятения, что у них невольно возникли самые тревожные предчувствия.

— Лизбета,— сказала баронесса,— надобно узнать, что могло случиться с Гектором. Я еще никогда не видела его таким расстроенным. Оставайся еще на два, на три дня у этой женщины; ей он все говорит, и таким путем мы узнаем, отчего он так сильно взволновался. Будь покойна, мы устроим твой брак с маршалом, потому что это просто необходимо для всех нас.

— Я никогда не забуду, как ты смело держала себя сегодня,— сказала Гортензия, целуя Лизбету.

— Ты отомстила за нашу бедную мать,— сказал Викторен.

Маршал наблюдал с любопытством за изъявления-

ми любви, которые расточались Лизбете; а Лизбета, вернувшись к себе, расписала Валери всю эту сцену.

Этот набросок позволит простым душам понять, какие многообразные опустошения производят всякие госпожи Марнеф в современных семьях и какими средствами они наносят вред добродетельным женщинам, от которых они как будто так далеки. А если все эти треволнения мысленно перенести в высшие слои общества, ближе к трону, и представить себе, во что обходятся любовницы королей, то можно судить, как велика должна быть признательность народа своим государям, когда те подают пример добрых нравов и образцовой семейной жизни.

В Париже каждое министерство — это маленький город, откуда женщины изгнаны; но сплетни и интриги в них процветают, как будто там служат целые сотни женщин. За три года положение г-на Марнефа было, так сказать, изучено со всех сторон, установлено, определено, и в канцеляриях все спрашивали друг у друга: «Будет или не будет господин Марнеф преемником господина Коке?» — совершенно так, как недавно в палате спрашивали: «Пройдет или не пройдет дотация?» Чиновники следили за малейшими перемещениями в управлении личным составом, выведывали обо всем, что делалось в департаменте барона Юло. Барон хитроумно привлек на свою сторону жертву служебного продвижения Марнефа, сказав этому весьма толковому чиновнику, что если он пожелает исполнять за Марнефа его обязанности, то непременно будет его преемником, а Марнефу, мол, уже не долго остается жить. После этого чиновник стал строить козни уже в пользу Марнефа.

Проходя через свою приемную, где ждали многочисленные посетители, Юло увидел в углу бледную физиономию Марнефа, и Марнефа вызвали первым.

— Что вам угодно, милейший? — сказал барон, скрывая свое беспокойство.

— Господин директор, в канцелярии меня поднимают на смех!.. Всем уже известно, что господин начальник личного состава взял отпуск по состоянию здоровья и сегодня утром уехал. Он пробудет в отсутствии около месяца. Ждать целый месяц — известно, что это значит!.. Вы отдаете меня на посмешище моим врагам. Достаточно уж барабанили с одной стороны, а ежели примутся

барабанить с двух сторон, господин директор, барабан может лопнуть.

— Милейший Марнеф, чтобы достигнуть цели, надо запастись терпением. Раньше чем через два месяца вы не можете получить место столоначальника, если вы вообще его получите. Сперва я сам должен упрочить свое положение, и сейчас совсем не время испрашивать повышения для вас,— это вызовет скандал.

— Ежели вы полетите, мне, конечно, никогда не быть столоначальником,— сухо возразил Марнеф.— Добейтесь для меня назначения, от этого вам не будет ни лучше, ни хуже.

— Стало быть, я должен пожертвовать собой ради вас? — спросил барон.

— А будь это иначе, я бы сильно в вас разочаровался.

— Вы ведь пока еще только Марнеф, господин Марнеф,— сказал барон, вставая и указывая помощнику столоначальника на дверь.

— Честь имею кланяться, господин барон,— отвечал смиренно Марнеф.

«Вот продувная бестия! — подумал барон.— Словно вексель предъявил с требованием уплатить по нему в течение суток, под страхом описи имущества».

Два часа спустя, в ту минуту, когда барон давал последние наставления Клоду Виньону, которого он хотел послать в министерство юстиции собрать сведения о судебных властях того округа, где находился Иоганн Фишер, Регина, отворив дверь в кабинет господина директора, вручила ему письмо, прося дать ответ.

«Посылать сюда Регину!..— сказал про себя барон.— Валери с ума сходит! Она подведет всех нас и повредит назначению этого мерзавца Марнефа!»

Он отпустил чиновника по особым поручениям, состоявшего при министре, и прочел следующее:

«Ах, мой друг, какую сцену я только что выдержала! Тебе я обязана тремя годами счастья, но как дорого я за них заплатила сейчас! Марнеф вернулся из своей канцелярии вне себя от ярости, меня просто дрожь пробирала! Мне хорошо известно, что он дурен собою, но тут я увидела, что он страшилище! Он скрежетал своими последними четырьмя зубами и грозил мне своим гнусным сожительством, если я еще буду принимать тебя. Мой

бедный котик! Увы! Дверь нашего дома отныне будет для тебя заперта. Ты видишь мои слезы,— они падают на мое письмо, вся бумага мокрая от слез! Можешь ли ты еще прочесть эти строки, мой дорогой Гектор? Ах, не видеть тебя, отказаться от тебя, когда я уже ношу в себе частицу твоей жизни и, как мне кажется, владею твоим сердцем, ведь это равносильно смерти! Подумай о нашем маленьком Гекторе! Не покидай меня, но и не позорь себя ради Марнефа, не поддавайся на его угрозы! Ах, я люблю тебя, как никогда еще не любила! Я вспоминаю все те жертвы, которые ты принес ради твоей Валери. Она не была и никогда не будет неблагодарной: ты есть и ты будешь моим единственным мужем. Не думай больше о ренте в тысячу двести франков, о которой я тебя просила для нашего малютки Гектора. Ведь он появится на свет через несколько месяцев... Я больше не хочу, чтобы ты тратился на меня... Впрочем, мое состояние всегда будет твоим.

Ах! Если бы ты любил меня так же, как я люблю тебя, мой Гектор, ты бы вышел в отставку, мы бы все бросили — семью, заботы, окружающих нас людей, в которых столько ненависти, и переселились бы вместе с Лизбетой в какие-нибудь благословенные края — в Бретань или куда ты захочешь. Мы бы ни с кем не виделись и были бы счастливы вдали от всего мира. Твоей пенсии и того немногого, что я лично имею, хватило бы нам вполне. Ты стал ревнивым... Ну что ж! Твоя Валери безраздельно принадлежала бы своему Гектору, и тебе никогда не пришлось бы повышать голоса, как в тот раз. Настоящим моим сыном будет только наш Гектор, будь в этом уверен, мой возлюбленный ворчун! Нет, ты не можешь представить себе, в каком я была негодовании,— ведь ты не знаешь, как *он* со мной обращался, какие он изрыгал ругательства, пороча твою Валери! Слова его загрязнили бы бумагу. Такая женщина, как я, дочь Монкорне, не должна слышать подобных слов. О, как мне хотелось, чтобы ты был тут, чтобы я могла покарать его, показав всю свою безумную любовь к тебе. Мой отец зарубил бы этого негодяя, я же могу сделать только то, что возможно для женщины: любить тебя до сумасшествия! Я не в силах, любовь моя, отказаться от свидания с тобою. когда я охвачена таким возмущением. Да, я хочу

видеться с тобою тайно, каждый день! Таковы мы, все женщины: я не могу простить обиду, нанесенную тебе. Если ты меня любишь, не делай его столоначальником, пусть он издохнет помощником!.. В эту минуту я совсем потеряла голову, я все еще слышу его оскорбления. Бетта, которая хотела меня покинуть, сжалилась надо мной и остается еще на несколько дней.

Мой милый, я не знаю еще, что делать. Я не вижу иного выхода, кроме бегства. Я всегда обожала деревню. Бретань, Лангедок — все что хочешь, лишь бы я могла любить тебя на свободе. Бедный котик, как мне жаль тебя! Тебе придется вернуться к своей старой слезоточивой Аделине, потому что мой урод, верно, сказал тебе, что он будет сторожить меня день и ночь; он грозил полицейским приставом! Не приходи! Я понимаю теперь, что он способен на все, раз он уже так гнусно торгует мною. Я хотела бы вернуть тебе все, чем обязана твоей щедрости. Ах, добрый мой Гектор! Пусть я была кокеткой и, может быть, казалась тебе легкомысленной, но ты не знаешь своей Валери: ей нравилось мучить тебя, но ты ей дороже всего на свете. Тебе никто не может запретить навещать свою кузину, а я придумаю вместе с ней, как нам с тобой встречаться. Славный мой котик, напиши мне, ради бога, словечко, утешь меня, раз тебя нет со мною... Я готова пожертвовать рукой, лишь бы ты был со мною здесь, на нашем диванчике! Письмо твое будет для меня талисманом. Напиши мне что-нибудь ласковое, чтобы я почувствовала твою прекрасную душу; я верну тебе письмо, потому что надо быть осторожной; я не знаю, где его спрятать, он роется повсюду. Словом, успокой твою Валери, твою жену, мать твоего ребенка. И мне приходится *писать* тебе, а я ведь виделась с тобой каждый день! Потому я и говорю Лизбете: я не ценила своего счастья... Целую тебя, котик, тысячу раз! Люби крепко

твою Валери».

«На бумагу падали слезы!.. — сказал себе Юло, прочитав письмо.— И какие слезы! Имени разобрать невозможно...»

— Как ее здоровье? — спросил он Регину.

— Барыня в постели, у нее судороги,— отвечала Ре-

гина.— Нервный припадок скрутил ее, как тростинку. Это с ними вдруг случилось, когда они написали письмо. Тут горе всему причиной! Господин Марнеф так кричал, что на лестнице было слышно.

Барон, взволновавшись, написал следующее письмо на официальном бланке, с печатным заголовком:

«Будь покойна, мой ангел, он издохнет помощником! Тебе пришла счастливая мысль! Мы поселимся вдали от Парижа, мы будем счастливы с нашим крошкой Гектором. Я выйду в отставку, найду отличное место где-нибудь на железной дороге. Ах, любезный мой друг! Я чувствую себя помолодевшим после твоего письма! О, я начну жизнь сызнова, наживу состояние нашему малютке. Твое письмо, в тысячу раз более страстное, нежели письма «Новой Элоизы», совершило чудо: я не думал, что моя любовь к тебе может еще увеличиться. Сегодня вечером мы увидимся у Лизбеты.

Навеки твой Гектор».

Регина унесла ответное письмо, первое письмо, которое барон написал «своему любезному другу»! Сердечные волнения были противовесом уже надвигавшейся грозе; впрочем, в этот момент барон, будучи уверен, что ему удастся отвести удар, направленный на его дядю, Иоганна Фишера, был озабочен только полнейшим своим безденежьем.

Одна из особенностей бонапартистов — это их вера в силу оружия, уверенность в превосходстве всего военного над гражданским. Юло смеялся над королевским прокурором, ибо в Алжире царило военное министерство. Человек остается верен себе. Как могли офицеры императорской гвардии забыть те времена, когда мэры славных городов империи, императорские префекты, эти императоры в миниатюре, выходили навстречу императорской гвардии к самой границе департаментов, чтобы приветствовать ее и оказать ей царские почести?

В половине пятого барон отправился прямо к г-же Марнеф; подымаясь по лестнице, он мысленно спрашивал себя: «Увижу я ее или не увижу?». И сердце у него колотилось, как у влюбленного юноши. Мог ли он сейчас думать об утренней сцене, когда вся семья в слезах ле-

жала у его ног? Разве письмо Валери, вложенное в тоненький бумажник и хранившееся у самого сердца, не доказывало ему, что он любим, как редко бывает любим даже самый привлекательный молодой человек? Позвонив, злосчастный барон услышал шарканье туфель и хриплый кашель хилого Марнефа. Марнеф отворил дверь, но только для того, чтобы, встав в театральную позу, указать Юло на лестницу, повторив в точности тот жест, каким Юло указал ему на дверь своего кабинета.

— А вы, Юло, не юлите здесь, хоть вы и барон!..— сказал он.

Барон хотел войти, но Марнеф вытащил из кармана пистолет и взвел курок.

— Господин член государственного совета, когда человек так низок, как я,— а ведь вы считаете меня человеком самым низким, не так ли? — то надо быть последним дураком, чтобы не воспользоваться всеми преимуществами, сопряженными с продажей чести. Вы желаете войны? Война будет жаркая и беспощадная. Не показывайтесь больше и не пытайтесь войти: я предупредил полицейского пристава о сложившихся между нами отношениях.

Пользуясь замешательством Юло, он вытолкнул его на лестницу и запер дверь.

«Вот отъявленный негодяй! — говорил сам с собою барон, поднимаясь к Лизбете.— О, теперь мне понятно письмо Валери! Мы с ней покинем Париж. Валери будет принадлежать мне до конца дней моих; она закроет мне глаза».

Лизбеты не было дома. Г-жа Оливье сообщила Юло, что она пошла к баронессе, думая там застать господина барона.

«Бедняжка Бетта! А я до сегодняшнего утра и не подозревал, что она такая хитрая»,— думал барон, возвращаясь с улицы Ванно на улицу Плюме и вспоминая поведение Лизбеты. Поворачивая с улицы Ванно на Вавилонскую улицу, он взглянул на райскую обитель, откуда только что изгнал его Гименей с мечом закона в руках. Валери стояла у окна, провожая глазами Юло; когда он поднял голову, она помахала ему платочком, но гнусный Марнеф сорвал с жены чепчик и грубо оттащил ее от окна. Слезы выступили на глазах барона. «Быть так

любимым и видеть, как обижают дорогую тебе женщину! Ах, если бы не мои семьдесят лет!..» — восклицал он про себя.

Лизбета пришла сообщить своим родственникам приятную новость. Аделина и Гортензия узнали от нее, что барон не пожелал опозорить себя в глазах всего министерства назначением Марнефа столоначальником и за это его изгнал из дома разгневанный супруг, который вдруг стал *юлофобом*. Счастливая Аделина заказала тонкие блюда, в надежде, что они придутся по вкусу Гектору больше, чем обеды Валери, и преданная Лизбета помогла Мариетте выполнить эту трудную задачу. Кузина Бетта стала отныне кумиром семьи; мать и дочь целовали у нее руки и тут же с трогательной радостью сообщили, что маршал согласен поручить ей вести его хозяйство.

— А от хозяйки до жены, дорогая моя, один только шаг,— сказала Аделина.

— Короче говоря, он не сказал «нет», когда Викторен заговорил с ним на эту тему,— прибавила графиня Стейнбок.

Семья встретила барона такими милыми, такими трогательными изъявлениями чувств, с такой безграничной любовью, что он волей-неволей вынужден был скрывать свою печаль. К обеду прибыл маршал. После обеда Юло остался дома. Пришли Викторен с женой. Составился вист.

— Давненько, Гектор, ты не дарил нас такими вечерами!..— сказал значительно маршал.

Слова эти в устах старого солдата, который в мягкой форме высказывал порицание своему баловню брату, произвели сильное впечатление. В словах этих сказалась глубокая и давнишняя боль сердца, то был как бы отголосок всех скрытых огорчений, ныне ставших явными. В восемь часов барон пожелал проводить Лизбету, пообещав вернуться.

— Послушай, Лизбета, *он* дурно обращается с нею!— сказал Юло, когда они вышли на улицу.— Ах, никогда еще я не любил ее так!

— Я и не думала, что Валери так вас любит! — отвечала Лизбета.— Она легкомысленна, она кокетлива, ей нравится, чтобы за ней ухаживали, разыгрывали коме-

дию любви, как она говорит, но вы единственная ее привязанность.

— А что она велела передать мне?

— Погодите же! — ответила Лизбета.— Она, как вы знаете, благоволила к Кревелю. Не надо сердиться на нее, ведь благодаря Кревелю она может теперь не бояться нищеты до конца жизни. Но она питает к нему отвращение, и между ними почти все кончено. Так вот! Она сохранила ключ от одной квартиры.

— На улице Дофина! — вскричал счастливый Юло.— За одно это я прощаю ей Кревеля!.. Я был там, я знаю...

— Вот он, этот ключ,— сказала Лизбета.— Закажите завтра точно такой же, а еще лучше — два.

— Ну, а дальше?..— нетерпеливо спросил Юло.

— Ну-с, а завтра я опять приду отобедать с вами, вы вернете мне ключ Валери (ведь папаша Кревель может потребовать его обратно), а увидитесь вы с ней послезавтра и условитесь, как поступать дальше. Вы будете там в полной безопасности, потому что в квартире имеются два выхода. Если ненароком туда нагрянет Кревель, который, как он сам говорит, подражает нравам времен Регентства, то беспокоиться нечего: он войдет через коридор — вы выйдете через лавку, и наоборот. Итак, старый лиходей, всем этим вы обязаны мне. А что сделаете вы для меня?..

— Все, что пожелаешь!

— Ладно! Не возражайте против моего брака с вашим братом!

— Ты — жена маршала Юло? Ты — графиня Форцхеймская? — вскричал изумленный Гектор.

— А что ж? Аделина ведь стала баронессой! — возразила Бетта язвительным и грозным тоном.— Слушайте-ка, старый распутник! Разве вы не знаете, в каком состоянии ваши дела? Ваша семья может оказаться и без куска хлеба и без крова...

— Эта мысль преследует меня денно и нощно! — сказал Юло, глубоко потрясенный.

— Если ваш брат умрет, кто поддержит вашу жену и вашу дочь? Вдова маршала Франции может получить по меньшей мере шесть тысяч франков пенсии, не так ли? Ну вот, я и хочу выйти за маршала только для того, что-

бы обеспечить кусок хлеба вашей дочери и вашей жене, безрассудный вы старик!

— Я не предвидел такого оборота дела! — сказал барон.— Я уговорю брата, потому что мы уверены в тебе... Скажи моему ангелу, что жизнь моя всецело принадлежит *ей!*..

Барон подождал, пока Лизбета не скрылась за углом улицы Ванно, потом возвратился домой и сел играть в вист.

Баронесса была на верху блаженства, ее муж, казалось, остепенился и стал семьянином — вот уже около двух недель он уходил с девяти часов утра в министерство, в шесть часов возвращался к обеду и весь вечер проводил в кругу родных. Два раза он вывозил Аделину и Горгензию в театр. Мать и дочь заказали три благодарственных обедни и молили бога сохранить им мужа и отца, которого всевышний наконец возвратил им. Однажды вечером Викторен Юло, когда отец удалился в спальню, сказал матери: «У нас с вами теперь такая радость, отец вернулся к нам! Мы с женой не пожалеем о затраченных деньгах, лишь бы это продолжалось и впредь...»

— Вашему отцу скоро семьдесят лет,— отвечала баронесса,— а он все еще думает о госпоже Марнеф, я это заметила. Но в скором времени он перестанет думать о ней: страсть к женщинам — это не то, что игра, спекуляция или скупость, она имеет предел.

Прекрасная Аделина — а эта женщина все еще была прекрасна наперекор своим пятидесяти годам и перенесенным огорчениям — на этот раз обманулась. Природа одарила распутников драгоценной способностью любить даже за пределом возраста, положенного для любви, и они всегда моложе своих лет. В тот короткий промежуток времени, когда барон вел добродетельный образ жизни, он трижды побывал на улице Дофина и ни разу там не сказались его преклонные годы! Возрожденная страсть молодила его, и он готов был без сожаления пожертвовать для Валери своей честью, своей семьей, решительно всем! Но Валери как будто подменили — она ни словом не обмолвилась ни о деньгах, ни о ренте в тысячу двести франков для будущего их сына; напротив, она сама предлагала ему деньги, она любила Юло, как женщина под сорок лет любит какого-нибудь красивого студента

юридического факультета, очень бедного, очень поэтичного, очень влюбленного юношу. А бедная Аделина воображала, что ей удалось отвоевать своего дорогого Гектора! Четвертое свидание любовников было назначено в последнюю минуту третьего по счету свидания, точно так же, как в старину Итальянская комедия объявляла в конце каждого представления о следующем спектакле. Условлено было встретиться в девять часов утра. В день, назначенный для этой счастливой встречи, в предвкушении коей старый сластолюбец мирился с положением семьянина, около восьми часов утра ему доложили о приходе Регины. Испугавшись, не случилось ли какого-нибудь несчастья, Юло вышел к ней, так как Регина не пожелала войти в квартиру. Верная горничная г-жи Марнеф передала барону следующее послание:

«Мой старый вояка, не спеши на улицу Дофина,— наше страшилище заболело, и я должна за ним ухаживать. Но будь там сегодня вечером, в девять часов. Кревель уехал в Корбей, к господину Леба, и, стало быть, не приведет никакой принцессы в свой домик. Я устроюсь так, чтобы в нашем распоряжении была целая ночь, а вернусь домой раньше, чем Марнеф проснется. Отвечай мне, согласен ли ты; ведь может случиться, что твоя плаксивая супруга не даст тебе теперь той свободы, какой ты пользовался прежде. Говорят, она еще очень красива. Пожалуй, ты способен мне изменить с ней, ведь ты ужасный распутник! Сожги мое письмо, я всего опасаюсь».

Юло написал следующий краткий ответ:

«Любовь моя! За последние двадцать пять лет не было еще случая, чтобы моя жена, как я тебе и говорил, стесняла меня в моих удовольствиях. Тебе я готов пожертвовать целой сотней Аделин! Сегодня вечером, в девять часов, в храме Кревеля я буду ожидать мое божество. Хоть бы скорее издох помощник столоначальника! Тогда уж никто нас не разлучит. Вот самое мое заветное желание.

Твой Гектор».

Вечером барон сказал жене, что он едет с министром в Сен-Клу по делам службы и вернется не ранее четырехпяти часов утра, а сам отправился на улицу Дофина. Это было в конце июня.

Не много найдется людей, которые испытали бы в своей жизни чувства человека, идущего на казнь; людей, вернувшихся живыми с эшафота, можно перечесть по пальцам; но иные мечтательные натуры с необычайной остротой переживают предсмертные муки в сновидениях: они испытывают все, вплоть до прикосновения ножа к шее в ту минуту, когда, наконец, вместе с рассветом наступает пробуждение и дарует им свободу... Ну, а то ощущение, которое испытал барон Юло, член государственного совета, в пять часов утра, лежа в пышной и нарядной постели Кревеля, было во много раз острее, чем ощущение человека, поставленного на роковой помост в присутствии десяти тысяч зрителей, вперивших в него двадцать тысяч горящих глаз. Валери спала в прелестной позе. Она была хороша, как бывают хороши женщины, настолько красивые, что они остаются красивыми и во сне. Это — вторжение искусства в природу, короче, это живая картина. Так как барон лежал в постели, в трех футах расстояния от пола, взгляд его, рассеянно блуждавший по комнате, как у всякого человека, который только что проснулся и собирается с мыслями, упал случайно на дверь, разрисованную цветами художником Жаном, пренебрегающим славой. Барон не увидел, подобно приговоренному к смерти, двадцати тысяч горящих глаз, он увидал только один-единственный глаз, но это око воистину было страшнее всех очей десятитысячной толпы, собравшейся поглядеть на казнь; многие англичане, страдающие сплином, дорого бы дали, чтобы испытать такое ощущение в минуту полного блаженства, что, кстати, встречается еще реже, чем переживание приговоренного к смерти. Барон так и замер в своем горизонтальном положении, буквально обливаясь холодным потом. Он хотел бы усомниться, но этот убийственный глаз заговорил! За дверью послышался шепот.

«Хорошо, если это только Кревель вздумал надо мной подшутить!» — сказал про себя барон, который не мог более сомневаться в присутствии постороннего лица в святилище.

Дверь растворилась. Величественный французский закон, упоминаемый в указах вслед за именем короля, предстал в образе приземистого полицейского пристава, которого сопровождал долговязый мировой судья, и их обо-

их вел за собою г-н Марнеф. Вся фигура пристава, начиная с ног, обутых в башмаки, завязанные пышным бантом из лент, свисавших до полу, кончая желтой лысиной, окаймленной скудной растительностью, изобличала прожженного шельму, насмешника, весельчака, для которого в парижской жизни уже ничто не представляет тайны. Глаза его сквозь стекла очков поблескивали хитро и насмешливо. Мировой судья, бывший стряпчий, старый поклонник прекрасного пола, с завистью поглядывал на преступника.

— Прошу извинить, но мы должны точно выполнять наши обязанности, барон!— сказал пристав.— Мы вызваны подателем жалобы. Господин мировой судья присутствовал при вскрытии двери. Мне известно, кто вы и кто ваша соучастница.

Валери удивленно раскрыла глаза, пронзительно вскрикнула, как кричат актрисы, изображая на сцене сумасшествие, и забилась в судорогах на постели, как средневековая бесноватая в пропитанной серою рубашке на ложе из горящего хвороста.

— Лучше смерть, дорогой мой Гектор!.. Но исправительная полиция?.. О, ни за что на свете! — Она вскочила, пронеслась белым облачком мимо трех зрителей и забилась под секретер, съежившись в комок и закрыв лицо руками.— Погибла! Смерть! — кричала она.

— Милостивый государь,— обратился Марнеф к барону,— ежели госпожа Марнеф лишится рассудка, вы окажетесь не только распутником, но и убийцей...

Что остается делать, что остается сказать человеку, застигнутому в постели, которая ему не принадлежит, даже не взята им напрокат,— с женщиной, которая и подавно не принадлежит ему? А это мы сейчас увидим.

— Господин мировой судья, господин пристав,— с достоинством сказал барон,— потрудитесь позаботиться о несчастной женщине, рассудок которой, как мне кажется, в опасности... а протокол вы составите после. Двери, несомненно, заперты, вам нечего опасаться побега ни с ее, ни с моей стороны ввиду того положения, в каком нас застали...

Оба чиновника повиновались приказанию члена государственного совета.

— Поди-ка сюда, поговорим с тобою, подлый ла-

кей!..— прошипел Юло, хватая Марнефа за руку и отводя его в сторону.— Убийца не я, а ты! Хочешь быть столоначальником и кавалером ордена Почетного легиона?

— Всенепременно, господин директор,— отвечал Марнеф, наклоняя голову.

— Ты получишь и то и другое. Успокой жену, отошли этих господ.

— Ни-ни-ни! — возразил хитроумный Марнеф.— Пусть сперва составят протокол о поимке вас на месте преступления, иначе чего же я добьюсь без этого документа? На чем же будет основана моя жалоба? От высокого начальства только и жди какого-нибудь надувательства. Вы украли у меня жену и не предоставили места столоначальника. Господин барон, даю вам сроку два дня на исполнение моих требований. Вот письма...

— Письма?..— воскликнул барон, перебивая Марнефа.

— Да, письма. доказывающие, что ребенок, которого носит во чреве моя жена, от вас... Поняли?.. Извольте обеспечить моего законного сына рентой, в той сумме, какую у него отнимет этот незаконнорожденный. Но я буду скромен, меня это не касается, ведь я не чадолюбив! Ренты в сто луидоров с нас достаточно. Завтра же утром я должен быть назначен преемником господина Коке и занесен в список лиц, представленных к награждению орденом в связи с июльскими торжествами, или... протокол и моя жалоба будут направлены в прокуратуру. Разве я не великодушен?

— Боже! Какая хорошенькая женщина! — шепнул полицейскому приставу мировой судья.— Какая потеря для общества, если она сошла с ума!

— Она и не думала сходить с ума,— поучительным тоном отвечал пристав.

Полиция — это воплощенное недоверие.

— Барон Юло попался в ловушку,— прибавил пристав достаточно громко, чтобы Валери его услыхала.

Валери бросила на пристава взгляд, который убил бы его на месте, если бы молнии, сверкавшие в ее глазах, обладали смертоносной силой. Пристав усмехнулся: он тоже расставил сети, и жертва запуталась в них. Марнеф предложил жене пройти в туалетную комнату и при-

вести себя в приличный вид, потому что он по всем пунктам получил согласие барона, который успел тем временем накинуть халат и вернуться в спальню.

— Господа,— сказал он представителям власти,— надеюсь, не нужно просить вас о сохранении тайны.

Чиновники поклонились. Пристав легонько постучал два раза в дверь, вошел писарь, сел за секретер и принялся строчить протокол под диктовку пристава, который говорил вполголоса. Валери по-прежнему плакала горькими слезами. Когда она окончила свой туалет, в комнату вошел Юло и оделся там. За это время протокол был составлен. Марнеф хотел было увести жену, но Юло, думая, что видит ее в последний раз, умоляющим тоном попросил разрешения поговорить с ней.

— Сударь, госпожа Марнеф стоит мне достаточно дорого, и вы могли бы мне позволить попрощаться с ней,— разумеется, в присутствии всех.

Валери подошла, и Юло шепнул ей:

— Нам остается только одно — бежать! Но как нам условиться! Нас предали...

— Регина предала! — отвечала она.— Но, дорогой друг, после этого скандала мы не можем больше встречаться. Я обесчещена. К тому же тебе наговорят обо мне разных гнусностей, а ты всему поверишь...— Барон сделал отрицательный жест.— Ты всему поверишь, и, слава богу, ведь тогда ты не будешь сожалеть обо мне.

— *Он не издохнет помощником столоначальника!* — сказал Марнеф на ухо члену государственного совета, уводя от него жену, которой он бросил грубо: — Довольно, сударыня, если я слаб с вами, то вовсе не желаю быть дураком в глазах людей посторонних.

Покидая особнячок Кревеля, Валери на прощание кинула барону такой плутовской взгляд, что он поверил в ее любовь к нему. Мировой судья любезно предложил руку г-же Марнеф, провожая ее до кареты. Барон, который должен был подписаться под протоколом, остался наедине с приставом; он находился в каком-то отупении. Когда член государственного совета поставил свою подпись, пристав взглянул на него поверх очков с весьма лукавым видом.

— Вы очень любите эту бабенку, барон?..

— Да, к своему несчастью. Вы же видели...

— А что, если она вас не любит? — продолжал пристав.— А что, если она вас обманывает?

— Мне уже пришлось услышать об этом, сударь, и в этом же самом месте... Мы говорили на эту тему с господином Кревелем.

— А-а! Так вам известно, что вы находитесь в особняке господина мэра?

— Да, известно.

Пристав слегка приподнял шляпу и поклонился барону.

— Вы очень влюблены, я умолкаю,— сказал он.— Я уважаю неизлечимые страсти, как врачи уважают болезни застаре... Я знавал господина Нусингена, одержимого подобной же страстью.

— Нусинген мой приятель,— заметил барон.— Я не раз ужинал в обществе прекрасной Эстер. Она стоила двух миллионов, которые он на нее истратил.

— Больше того! — подхватил пристав.— Прихоть старого финансиста стоила жизни четырем людям. О, эти страсти! Это все равно, что холера...

— Так что вы имели мне сказать? — спросил член государственного совета, которому пришлось не по вкусу это косвенное предостережение.

— Зачем мне лишать вас иллюзий? — возразил пристав.— Редко кто сохраняет их в ваши годы.

— Избавьте меня от иллюзий! — воскликнул член государственного совета.

— А потом будете проклинать врача,— сказал пристав, усмехаясь.

— Сделайте милость, господин пристав!..

— Так слушайте, эта дамочка была в сговоре со своим мужем...

— О!..

— Так бывает, сударь, в двух случаях из десяти. Уж нам-то это знакомо!

— Какие же у вас доказательства ее соучастия?

— Да прежде всего сам муж!..— отвечал хитрый пристав со спокойствием хирурга, привыкшего вскрывать любые гнойники.— Расчет так и написан на этой пошлой, гаденькой физиономии. Скажите, разве вам не было особенно дорого одно письмо этой женщины, где речь идет о ребенке...

— Я так дорожу этим письмом, что всегда ношу его при себе,— отвечал барон Юло, роясь в боковом кармане, чтобы извлечь бумажник, с которым он никогда не расставался.

— Оставьте в покое ваш бумажник,— сурово, как прокурор, сказал пристав.— Вот это письмо. Теперь я знаю все, что мне нужно было знать. Госпожа Марнеф, вероятно, была осведомлена о том, что хранится в этом бумажнике.

— Только она одна знала.

— Так я и думал... Вот вам доказательство, что эта дамочка — сообщница мужа.

— Посмотрим! — сказал барон все еще недоверчиво.

— Когда мы явились сюда, господин барон,— продолжал пристав,— негодяй Марнеф вошел первым, сразу же направился вот к этому столику,— сказал он, указывая на дамский секретер,— и взял там ваше письмо, которое, конечно, положила туда госпожа Марнеф. Очевидно, между мужем и женой было условлено положить письмо именно на это место, в случае, если ей удастся выкрасть его у вас, когда вы уснете; ведь письмо, написанное вам этой дамой наряду с письмами, которые вы ей адресовали, окажется решающей уликой на процессе.

И пристав протянул барону Юло письмо, которое тот в свое время получил через Регину в своем служебном кабинете.

— Оно должно быть приобщено к делу,— сказал пристав,— верните мне его, сударь.

— Ну что ж, сударь! — сказал Юло, изменившись в лице.— Женщина эта — само распутство и голый расчет. Теперь я убежден, что у нее три любовника!

— По всему видно,— согласился пристав.— Э, далеко не все они шатаются по тротуарам! Когда этим ремеслом, господин барон, занимаются в собственных экипажах, в великосветских гостиных, в семейных домах, тут уже речь идет не о каких-то там франках да сантимах. Мадемуазель Эстер, о которой вы упомянули, та, что отравилась, пожирала миллионы... Послушайтесь моего совета, барон, остановитесь, пока не поздно! Ваша последняя шалость дорого вам обойдется. Закон на

стороне этого негодяя, ее мужа... Короче говоря, если бы не я, эта дамочка вас дочиста бы обобрала!

— Благодарю вас, сударь,— сказал член государственного совета, все еще пытаясь сохранить внешнее достоинство.

— А теперь, сударь, мы запрем квартиру. Фарс сыгран, и вы возвратите ключ господину мэру.

Юло вернулся домой в состоянии полного изнеможения, близкий к обмороку, его одолевали самые мрачные мысли. Он разбудил жену и с полной откровенностью выложил перед этой благородной, святой, чистой женщиной все события трех последних лет, рыдая, как ребенок, у которого отняли любимую игрушку. Признание старика, юного сердцем, его ужасная, раздирающая душу исповедь глубоко растрогала Аделину, и вместе с тем она втайне испытывала искреннюю радость: она благодарила небо за этот последний удар, ибо надеялась, что теперь-то ее муж навсегда останется в лоне семьи.

— Лизбета была права! — сказала г-жа Юло кротким голосом, не пускаясь в бесполезные нравоучения.— Ведь она предостерегала нас.

— Да! Ах, если бы я, вместо того чтобы сердиться, послушался ее в тот день, когда я так настаивал, чтобы бедная Гортензия вернулась в свой дом,— только для того, чтобы не пострадала репутация этой... О дорогая Аделина! Нужно спасти Венцеслава! Он по уши увяз в грязи!

— Бедный мой друг! И с мещаночкой тебе посчастливилось не больше, чем с актрисами,— сказала Аделина, улыбнувшись.

Баронесса была испугана переменой, которая произошла с ее Гектором; когда она видела его несчастным, страдающим, подавленным тяжестью невзгод, в ней говорило только сердце, только сострадание, только любовь, она готова была пожертвовать своей жизнью, лишь бы Юло опять был счастлив.

— Оставайся с нами, дорогой мой Гектор. Скажи, чем эти женщины так тебя привязывают к себе? Я попытаюсь... Почему ты не воспитал меня по своему вкусу? Или у меня не хватает ума? Меня еще находят красивой, даже ухаживают за мной.

Многие замужние женщины, преданные своему долгу и мужу, могут задать себе вопрос: почему это мужчины, такие сильные, такие добрые и такие жалостливые к разным госпожам Марнеф, не избирают предметом своих прихотей и страстей собственных жен, особенно, если они похожи на баронессу Аделину Юло? Это одна из глубочайших тайн человеческой природы. Любовь, этот безмерный разгул воображения, это мужественное, суровое наслаждение великих душ, и низкое наслаждение, что продается на площади,— вот две стороны одного и того же явления. Женщина, удовлетворяющая требования этих двух вожделений двоякой природы, такая же редкость среди представительниц своего пола, как великий полководец, великий писатель, великий художник, великий изобретатель среди своего народа. И человек недюжинный и пошляк, какой-нибудь Юло и какой-нибудь Кревель, равно чувствуют потребность как в идеале, так и в плотском наслаждении; все они устремляются на поиски этого таинственного андрогина, этой редкости, которая в большинстве случаев оказывается книгой в двух томах. Эти искания говорят об извращенности, порождаемой обществом. Поистине брак надлежит рассматривать, как своего рода задачу; брак — это жизнь с ее трудами и тяжелыми жертвами равно как с той, так и с другой стороны. Распутники, эти вечные искатели сокровищ, столь же виновны, как и всякие другие преступники, которые несут гораздо более суровое наказание. Рассуждение это не является нравоучительным отступлением, оно лишь указывает причину многих необъяснимых несчастий. Впрочем, настоящая Сцена сама по себе достаточно поучительна и подсказывает различного рода выводы.

Барон тотчас же направился к маршалу князю Виссембургскому, решив прибегнуть к его высокому покровительству, ибо это был его последний оплот. Находясь под защитой старого воина в продолжение тридцати пяти лет, он неизменно пользовался свободным доступом к нему и мог появляться в его апартаментах даже в утренние часы.

— А-а, здравствуйте, милый мой Гектор,— сказал этот доблестный и человечный полководец.— Что с вами? Вы как будто озабочены. Ведь сессия уже кончи-

лась. Еще одна с плеч долой! Теперь я говорю о сессиях, как прежде говорил о наших кампаниях. Газеты, если я не ошибаюсь, тоже называют сессии парламентскими кампаниями.

— Туго нам иной раз приходится, маршал, правильно вы говорите, но такое уж скверное время! — ответил Юло.— Что поделаешь? Так устроен мир. Каждая эпоха имеет свои трудности. Величайшее несчастье тысяча восемьсот сорок первого года в том, что ни королевская власть, ни министры не пользуются свободой действий, какую имел в свое время император.

Маршал бросил на Юло орлиный взгляд, гордый, ясный, проницательный взгляд, который свидетельствовал, что, несмотря на годы, этот человек большой души сохранил твердость характера и светлый ум.

— Тебе что-нибудь нужно от меня? — спросил он, добродушно усмехнувшись.

— Я вынужден просить вас, как о личном одолжении, о производстве одного моего подчиненного в должность столоначальника и о представлении его к ордену Почетного...

— Как его звать? — спросил маршал, бросив на барона блеснувший, как молния, взгляд.

— Марнеф!

— У него хорошенькая жена, я видел ее на свадьбе твоей дочери... Если Роже... Но Роже сейчас нет! Гектор, друг мой, стало быть, речь идет о твоих шалостях? Ты до сих пор еще проказничаешь, а? Ты делаешь честь императорской гвардии! Вот что значит принадлежать к интендантству: у тебя есть запасы!.. Брось-ка это дело, дружок, оно ведь чисто любовное, а не административное.

— Нет, маршал, это скверное дело, потому что тут речь идет об исправительной полиции. Вы, я думаю, не хотите, чтобы я попал в ее руки?

— Ах, черт возьми! — воскликнул маршал, помрачнев.— Ну, продолжай!

— Я нахожусь в положении лисицы, пойманной в капкан... Вы всегда были так добры ко мне, и я умоляю вас выручить меня из постыдного положения, в котором я оказался.

Юло рассказал о своем злоключении насколько мог остроумно и весело.

— Неужели вы захотите, князь,— сказал он в заключение,— чтобы мой брат, которого вы так любите, умер от горя? Неужели вы допустите, чтобы директор департамента военного министерства, член государственного совета был опозорен? Этот Марнеф отъявленный негодяй, мы уволим его через два-три года.

— Как ты легко говоришь о двух-трех годах, милый друг!..— заметил маршал.

— А как же иначе, князь? Императорская гвардия бессмертна!

—Только я один остался в живых из первых маршалов Наполеона,— сказал министр.— Послушай, Гектор! Ты не знаешь, до какой степени я к тебе привязан! Ты в этом убедишься! Ты уйдешь из министерства только вместе со мной. К сожалению, ты не депутат, мой друг! Многие претендуют на твое место, и ежели бы не я, тебя бы давно уже не было тут. Да, немало я сломал копий, защищая тебя! Ну что ж! Исполню обе твои просьбы, ибо и в самом деле было бы тяжело увидеть тебя на скамье подсудимых,— в твои-то годы и при том положении, которое ты занимаешь! Но ты уже достаточно повредил своей репутации. Ежели это назначение наделает шуму, нам не поздоровится. Мне-то, положим, наплевать, но для тебя это лишний камень преткновения. На ближайшей же сессии ты слетишь. На твою должность точат зубы пять-шесть влиятельных лиц, и ты держишься на ней только благодаря мне. К каким только доводам я не прибегал! Я заявил, что в тот день, когда ты выйдешь в отставку и твое место займет другой, у нас окажется пять недовольных и один счастливец; тогда как, оставив тебя висеть на ниточке еще два-три года, мы обеспечим себя шестью голосами. Это рассмешило совет, и все нашли, что старая гвардия, как нас называют, начинает постигать парламентскую тактику... Говорю с тобой без обиняков. К тому же ты уже начал седеть... Какой ты, право, счастливец, что до сих пор способен попадать в такого рода затруднения! Ах, ушло то время, когда у подпоручика Коттена были любовницы! — Маршал позвонил.— Необходимо уничтожить этот протокол! — прибавил он.

— Ваше сиятельство, вы для меня, как отец родной! А я-то не осмеливался сказать вам, в какой я крайности!

— Все же мне очень нужен Роже! — сказал маршал, увидав, что в кабинет входит курьер Митуфле.— Я собрался было вызвать его. Ступайте, Митуфле. А ты, старый товарищ, иди, подготовь приказ о назначении, я подпишу его. Но этот гнусный интриган недолго будет наслаждаться плодами своих преступлений; за ним будут следить, и мы его уволим с позором при первом же промахе. Ну, а теперь, раз уж ты спасен, милый Гектор, будь осторожен. Не докучай своим друзьям. Назначение пришлют тебе сегодня же утром, и твой Марнеф будет кавалером ордена!.. Сколько тебе лет?

— Семьдесят минет через три месяца.

— Какой же ты молодец! — сказал маршал, улыбаясь.— Ты сам заслуживаешь повышения, но... тысяча чертей!.. Мы живем не при Людовике Пятнадцатом!

Такова сила товарищеских уз, связывающих между собою славные остатки наполеоновской фаланги: они всегда, как некогда на бивуаках, готовы защищать друг друга против всех и каждого.

«Еще одна такая милость,— подумал Юло, шагая по двору,— и я погиб!»

Злополучный сановник пошел к барону Нусингену, которому он еще оставался должен незначительную сумму; ему удалось занять у банкира сорок тысяч франков под залог жалованья, продлив срок закладной еще на два года; но Нусинген оговорил в условии, что в случае отставки Юло известная доля его пенсии будет удерживаться для выплаты взятой ссуды, вплоть до полного погашения долга вместе с процентами. Эта новая сделка заключена была, как и первая, на имя Вовине, которому барон выдал векселей на двенадцать тысяч франков. На другой день роковой протокол, жалоба мужа, письма — все было уничтожено. Скандальное повышение Марнефа, едва замеченное в суете июльских торжеств, не вызвало отклика в прессе.

Лизбета, для виду поссорившись с г-жой Марнеф, водворилась у маршала Юло. Через десять дней после этих событий состоялось первое оглашение предстоящего бракосочетания старой девы и знаменитого старца;

Аделина, чтобы добиться его согласия на этот брак, рассказала ему о финансовой катастрофе, постигшей ее Гектора, умоляя маршала никогда не говорить об этом с бароном, который, по ее словам, был мрачен, упал духом, совсем убит... «Увы! Годы берут свое!» — прибавила она. Итак, Лизбета торжествовала. Она была уже близка к осуществлению своих честолюбивых планов; сбывались все ее замыслы, перед ней открывалась полная возможность удовлетворить свою ненависть. Она предвкушала удовольствие властвовать над семьей, так долго ее презиравшей. Она намеревалась стать покровительницей своих покровителей, ангелом-хранителем, который поддержит существование этой разорившейся семьи; она сама себя называла: *госпожа графиня* или *супруга маршала!* Она сама с собой раскланивалась перед зеркалом. Аделина и Гортензия окончат свои дни в жестокой нужде, в борьбе с нищетой, меж тем как кузина Бетта, принятая в Тюильри, будет царить в свете.

Трагическое событие свергло старую деву с вершин общественной жизни, где она так величественно расположилась!

В тот самый день, когда состоялось первое оглашение, барон получил еще одно письмо из Африки. Явился другой эльзасец и вручил ему послание, удостоверившись предварительно, что он действительно имеет дело с бароном Юло; оставив свой адрес, он ушел, поклонившись важному сановнику, который как громом был поражен с первых же строк письма.

«Племянник, вы получите это письмо, по моим расчетам, седьмого августа. Если предположить, что вам потребуется три дня на то, чтобы послать нам помощь, которой мы просим, а недели две уйдет на обратный путь, значит, ожидать ответ надо к первому сентября.

Если ваша помощь прибудет к этому сроку, то вы спасете честь и жизнь преданного вам Иоганна Фишера.

Вот о чем просит вас чиновник, которого вы дали мне в компаньоны, так как самого меня, по-видимому, собираются предать суду присяжных или военному трибуналу. Но вы, конечно, не сомневаетесь, что Иоганна Фишера никогда не привлекут ни к какому суду: он сам предстанет пред судом божьим.

Ваш чиновник кажется мне подозрительным молодчиком, весьма способным вас подвести; но он умен, как всякий отъявленный плут. Он полагает, что вы должны шуметь больше всех, должны направить к нам инспектора, специального комиссара с поручением обнаружить виновных, вскрыть злоупотребления, короче говоря, нагнать страху; но прежде всего он должен встать между нами и трибуналом, вызвав конфликт.

Если ваш комиссар прибудет сюда к первому сентября, имея ваш пароль, и если вы пришлете нам двести тысяч франков на пополнение запасов, недостающих в наших складах и якобы имеющихся у нас в отдаленных местах, нас признают честными людьми, а нашу бухгалтерию безупречной.

Солдату, который вручит вам это письмо, вы вполне можете доверить вексель моему приказу на один из алжирских банков. Это человек надежный, мой родственник, и он не станет заглядывать в ту посылку, которую повезет от вас. Я принял меры, чтобы обеспечить возвращение этого малого. Если вы не в состоянии ничем помочь мне, я готов умереть за человека, которому мы обязаны счастьем нашей Аделины».

Тревоги и упоения страсти, катастрофа, которой закончилась любовная интрига барона Юло, помешали ему вовремя позаботиться о несчастном Иоганне Фишере, хотя тот еще в первом письме весьма недвусмысленно предупреждал о грозящей беде, теперь уже нависшей над головой. Из столовой барон вышел в гостиную в таком смятении, что тут же, как подкошенный, упал на диван. Он был совершенно растерян, оглушен этим сокрушительным ударом. Он смотрел невидящим взглядом на какой-то завиток в узоре ковра, не замечая, что держит в руке роковое письмо Иоганна. Аделина услыхала из своей комнаты, как ее муж рухнул на диван. Шум, вызванный этим падением, был так необычен, что у нее мелькнула мысль об апоплексическом ударе. Охваченная страхом, от которого замирает дыхание и цепенеют все члены, она взглянула через раскрытую дверь в зеркало и увидела, что ее Гектор сидит в позе человека, убитого несчастьем. Баронесса вошла на цыпочках. Гектор ничего не слышал; она подошла к нему, замети-

ла письмо, взяла его, прочла и задрожала всем телом. Она испытала сильное нервное потрясение, какое никогда не проходит бесследно. Спустя несколько дней у нее появилась нервная дрожь во всем теле, и она страдала этим недугом до конца жизни; но на первых порах необходимость действовать придала ей силу, которую мы черпаем из самых глубоких источников нашей жизненной энергии.

— Гектор, пойдем ко мне в комнату,— сказала она голосом тихим, как дуновение.— Дочь не должна видеть тебя в таком состоянии! Пойдем, мой друг, пойдем.

— Где взять двести тысяч франков? Я могу добиться, чтобы послали в качестве комиссара Клода Виньона. Он человек умный, сообразительный... Это дело двух дней... Но двести тысяч франков!.. У сына их нет, дом его заложен за триста тысяч франков. У брата сбережений самое большее тридцать тысяч. Нусинген подымет меня на смех!.. А Вовине? Он весьма неохотно одолжил мне десять тысяч франков на пополнение суммы, предназначенной для сына этого мерзавца Марнефа. Нет, все кончено. Остается лишь одно: идти к маршалу, броситься ему в ноги, объяснить положение вещей, выслушать, как он назовет меня подлецом, стерпеть его брань, затем благопристойно исчезнуть.

— Но, Гектор! Ведь это уже не только разорение, это бесчестие,— сказала Аделина.— Мой бедный дядя покончит с собой. Убивай нас, ты имеешь на это право, но не будь его убийцей! Возьми себя в руки, ведь есть же какой-нибудь выход.

— Никакого! — ответил барон. Никто из членов правительства не может достать двухсот тысяч франков, даже если бы речь шла о спасении целого министерства! О Наполеон! Где ты?

— Ах, дядюшка, бедный дядюшка! Гектор, ведь нельзя же допустить, чтобы он умер обесчещенным!

— Положим, есть один выход,— сказал он.— Но это весьма сомнительно... Ведь Кревель на ножах со своей дочерью... Ах! У него-то денег хватит, он один мог бы...

— Послушай, Гектор! Пусть лучше я погибну, чем погибнет наш дядя, твой брат и наше доброе имя! — воскликнула баронесса, у которой вдруг блеснула новая мысль.— Да, я могу вас всех спасти... О боже мой! Ка-

кая низкая мысль! Как только она могла прийти мне в голову!

Она сложила руки и, упав на колени, стала молиться. Поднявшись, она уловила на лице мужа выражение такой безумной радости, что дьявольская мысль снова вернулась к ней, и тут Аделина впала в тупое отчаяние.

— Ступай, мой друг, беги в министерство! — воскликнула она, стряхивая с себя оцепенение.— Постарайся послать туда комиссара, это необходимо. *Расшевели маршала!* А к своему возвращению, часов в пять, ты, может быть, получишь... Да, ты получишь двести тысяч франков! Твоя семья, твоя честь, честь мужчины, члена государственного совета, администратора, твое доброе имя, твой сын — все будет спасено; но твоя Аделина погибнет, и ты ее больше никогда не увидишь! Гектор, друг мой,— прибавила она, становясь на колени, сжимая его руку и целуя ее,— благослови меня, простись со мною.

Сцена эта надрывала душу, и Юло, обняв жену, поднимая ее и целуя, мог только сказать:

— Я тебя не понимаю!

— Если бы ты меня понял,— отвечала она,— я умерла бы со стыда. У меня не хватило бы духа принести эту последнюю жертву.

— Кушать подано,— доложила Мариетта.

Вошла Гортензия, поздоровалась с отцом и матерью. Надо было идти завтракать и сохранять наружное спокойствие.

— Идите, садитесь за стол без меня, я сейчас к вам приду! — сказала баронесса.

Она села у своего бюро и написала следующее письмо:

«Дорогой господин Кревель! Я хочу просить вас об одном одолжении. Нынче же утром ожидаю вас к себе и, рассчитывая на вашу любезность, надеюсь, что вы не заставите ждать себя слишком долго.

Ваша покорная слуга

Аделина Юло».

— Луиза,— сказала она горничной, которая прислуживала за завтраком,— передайте это письмо швейцару.

Скажите, чтобы он тотчас же отнес письмо по адресу и подождал ответа.

Барон, читавший в это время газеты, протянул жене республиканскую газету и, указывая ей на одну статью, сказал:

— Не поздно ли? Вот уже и статья — одна из тех отвратительных заметок, которыми они приправляют свою политическую стряпню.

«Наш корреспондент сообщает из Алжира, что в интендантском ведомстве в провинции Оран раскрыты крупные злоупотребления, по которым ведется судебное расследование. Установлена растрата; виновные обнаружены. Если не примут суровых мер, мы по-прежнему будем нести потери в людском составе больше от казнокрадства, отражающегося на питании солдат, чем от оружия арабов и жаркого климата. Подождем новых сообщений, прежде чем продолжать беседу на столь плачевную тему.

Нас больше не удивляет, почему вызвало такую панику разрешение издавать в Алжире газеты, согласно Хартии 1830 года».

— Сейчас оденусь и поеду в министерство,— сказал барон, вставая из-за стола.— Время дорого, каждая минута может стоить человеческой жизни!

— Ах, мама! Я потеряла последнюю надежду,— воскликнула вдруг Гортензия.

И, не в силах удержать слезы, она протянула матери журнал «Обозрение изящных искусств». Г-жа Юло увидела гравюру с группы Далилы, работы графа Стейнбока, под которой значилось: *Собственность госпожи Марнеф*. С первых же строк статьи, подписанной буквой В., можно было узнать талант и услужливость Клода Виньона.

— Бедная девочка...— сказала баронесса.

Испуганная почти безучастной интонацией, с какой произнесены были эти слова, Гортензия взглянула на мать и увидела на ее лице выражение такой душевной боли, перед которой померкла ее собственная скорбь; она подошла к матери, обняла ее, спросила:

— Что с тобой, мама? Что случилось? Неужели можно быть еще несчастнее?

— Дитя мое, в сравнении с тем, что мне пришлось перестрадать сегодня, все мои прошлые страдания — ничто. Когда же я перестану мучиться?

— На небесах, мамочка! — серьезно сказала Гортензия.

— Пойдем, мой ангел, помоги мне одеться... Нет, нет... Не надо! Я не хочу, чтобы ты сегодня занималась моим туалетом. Пошли мне Луизу.

Аделина, войдя в свою комнату, подошла к зеркалу. Она смотрела на себя с грустью и любопытством, задавая себе вопрос: «Все ли я еще красива?.. Могу ли я еще нравиться?.. Нет ли у меня морщин?..»

Приподняв свои прекрасные белокурые волосы, она приоткрыла виски. Кожа на висках была свежа, как у молодой девушки. Аделина не успокоилась на этом. Она обнажила плечи, и от удовольствия у нее вырвалось горделивое движение. Безупречная красота плеч сохраняется дольше всего у женщины, особенно если жизнь ее была чиста. Аделина тщательно выбрала все принадлежности своего туалета; но наряд этой благочестивой, скромной женщины был все же очень скромным, несмотря на наивные ухищрения кокетства! К чему было надевать совсем новые шелковые серые чулки, атласные туфли в виде котурн, если неведомо искусство выставить в решительную минуту хорошенькую ножку, чуть-чуть приподняв платье, чтобы дать простор воображению? Она надела свое лучшее муслиновое платье, разрисованное цветами, с вырезом и короткими рукавами; но, испугавшись своей наготы, тотчас прикрыла прекрасные руки прозрачными газовыми рукавами, скрыла грудь и плечи под вышитой косынкой. Прическа по английской моде показалась ей чересчур вызывающей, и, чтобы сгладить это впечатление, она надела прелестный чепчик. Но в чепце или без чепца, разве сумела бы она, играя своими золотистыми локонами, выставить напоказ точеные руки, чтобы все ими любовались?.. А вот что заменило ей румяна. Глубокое сознание своей преступности, приготовления к заранее обдуманному проступку вызвали у этой святой женщины жестокую лихорадку, которая возвратила ей на короткое время блеск молодости. Глаза ее сверкали, цвет лица был ослепителен. Ей показалось, что, желая придать себе обольстительный вид, она на

самом деле стала похожа на распутницу, и это ужаснуло ее. Однажды Лизбета, по просьбе Аделины, рассказала ей, при каких обстоятельствах произошла измена Венцеслава, и баронесса узнала, к великому своему удивлению, что г-же Марнеф достаточно было одного вечера, чтобы пленить художника и стать его любовницей. «Как же они этого добиваются, такие женщины?» — спросила Лизбету баронесса. Ничто не может сравниться с любопытством добродетельных женщин, когда дело касается этой темы; они хотели бы обладать всеми обольщениями порока, оставаясь непорочными. «Да очень просто! Они обольщают, ведь это их ремесло,— отвечала кузина Бетта.— Видишь ли, моя милая, в тот вечер Валери могла бы соблазнить и святого».— «Объясни мне, как она за это взялась?» — «Тут не может быть теории, в этом деле есть только практика»,— насмешливо отвечала Лизбета. Разговор этот вспомнился баронессе, и ей захотелось посоветоваться с кузиной Беттой, но не было времени. Бедная Аделина, не способная выдумать какую-нибудь «мушку», приколоть бутон розы в вырезе корсажа, внести в свой наряд изощренный штрих для оживления притупленных мужских желаний, была всего лишь тщательно одета. Не всякая женщина способна быть куртизанкой! «Женщина — первое блюдо для мужчины»,— сказал в шутку Мольер устами рассудительного Гро-Рене. Сравнение это предполагает своего рода кулинарное искусство в любви. Женщину добродетельную и достойную можно в таком случае сравнить с трапезой времен Гомера, приготовленной без затей на раскаленных угольях. Куртизанка, напротив, является как бы произведением Карема со всякими пряностями и изысканными приправами. Баронесса не могла, не умела *преподнести* свою белую грудь на роскошном блюде из кружев, наподобие г-жи Марнеф. Она не была посвящена в тайну известных поз, в действие известных взглядов. Короче, она не обладала искусством обольщать. Как бы ни старалась эта благородная женщина, она все же не сумела бы ничем прельстить искушенный взгляд распутника. Быть честной, недоступной для света и куртизанкой для мужа—значит быть женщиной гениальной, а таких мало. В этом заключается тайна длительных привязанностей, необъяснимых для тех женщин, которые

лишены этого двойного и великолепного таланта. Представьте себе г-жу Марнеф добродетельной!.. И вы получите маркизу Пескара! Эти выдающиеся и знаменитые женщины, эти прекрасные добродетельные Дианы де Пуатье все наперечет.

Итак, сцена, которой начинается этот важный и страшный очерк парижских нравов, должна была повториться с тем только различием, что несчастья, предсказанные в свое время капитаном национальной гвардии, коренным образом изменили роли действующих лиц. Г-жа Юло ожидала Кревеля с теми же намерениями, с какими три года назад он сам ехал к ней, улыбаясь парижанам с высоты своего «милорда». Удивительное дело! — баронесса была верна себе, своей любви, готовясь совершить самую грубую измену, не оправдываемую в глазах иных судей даже увлечением страсти. «Как сделать, чтобы быть такой, как госпожа Марнеф!» — подумала она, услыхав звонок. Она подавила слезы, лихорадка оживила ее лицо, она обещала себе быть настоящей куртизанкой, бедная благородная женщина!

«На кой черт я понадобился почтенной баронессе Юло? — говорил сам с собою Кревель, поднимаясь по широкой лестнице.— Ах! Она, верно, будет толковать о моей ссоре с Селестиной и Викторе́ном. Нет уж, извините, я не поддамся на уговоры!» Войдя в гостиную вслед за Луизой, Кревель подумал, оглядывая *голехонькие* стены (стиль Кревеля): «Бедняжка!.. Она точь-в-точь прекрасная картина, выброшенная на чердак невеждой, который не знает толку в живописи». Кревель, зная, что граф Попино, министр торговли, покупает картины и статуи, захотел и сам получить известность среди парижских меценатов, у которых любовь к искусству выражается в том, что они норовят купить на грош пятаков. Аделина, любезно улыбаясь Кревелю, указала ему на стул прямо перед собою.

— Вот и я, несравненная, к вашим услугам,— сказал Кревель.

Господин мэр, став государственным мужем, усвоил привычку одеваться во все черное. Физиономия его выплывала из этого мрачного одеяния, точно полная луна из-за темных туч. Пластрон сорочки, на котором мерцали звездами три крупных жемчужины по пятьсот

франков, давал представление о замечательном развитии его... грудной клетки, как бы говоря: «Сразу виден будущий борец парламентской трибуны!» Его широкие, грубые руки с самого утра были затянуты в светло-желтые перчатки. Блеск лакированных сапог свидетельствовал, что хозяин их приехал в экипаже, и действительно он подкатил к дому в коричневой двухместной карете. За последние три года из чванства Кревель изменил свою прежнюю позу. Подобно великим художникам, он вступил в свою вторую манеру. В большом свете, бывая у князя Виссембургского, в префектуре, у графа Попино и у других важных особ, он с самым непринужденным видом держал шляпу в левой руке, как его научила Валери, а большой палец правой руки закладывал за вырез жилета, жеманно поводя головой и играя глазами. Этой второй *позитурой* он был обязан насмешнице Валери, которая, якобы желая придать моложавость своему мэру, наградила его еще одной карикатурной чертой.

— Я просила вас пожаловать ко мне, дорогой господин Кревель,— сказала баронесса взволнованным голосом,— по одному крайне важному делу...

— Догадываюсь, сударыня,— сказал Кревель, состроив хитрую физиономию.— Но вы просите невозможного... О, я не из жестоких отцов, я не какой-нибудь скупец *в квадрате*, по выражению Наполеона. Выслушайте меня, несравненная. Ежели бы мои дети разорились, истратив свои деньги лично на себя, я бы оказал им помощь. Но давать поручительство за вашего мужа, сударыня?.. Это все равно, что пытаться наполнить бездонную бочку Данаид! Заложить дом за триста тысяч франков ради неисправимого отца! У этих несчастных гроша ломаного не осталось! А они даже не пожили в свое удовольствие! Теперь им придется существовать только на то, что Викторен получает в суде. Пусть-ка он там поработает языком, сынок-то ваш!.. А ведь метил в министры, этот педант! Наша общая надежда! Хорош буксир, который сразу же, по-дурацки, сел на мель! Ну пусть бы он занимал деньги, чтобы выйти в люди, пусть бы залез в долги, чтобы угощать депутатов, вербовать голоса, усиливать свое влияние, я бы ему худого слова не сказал: «Вот тебе мой кошелек, черпай из него, друг!» Но оплачивать папашины шалости!.. Ведь я давно вам

про них говорил. Эх, встал-таки ему папаша поперек дороги... Скорее уж я буду министром...

— Увы, *дорогой Кревель*, речь идет не о наших детях, которые так нам преданы, бедняжки!.. Если вы изгоните из своего сердца Викторена и Селестину, я постараюсь своей любовью утешить их горе, ведь ваш гнев омрачит их прекрасные души. Вы наказываете своих детей за доброе дело!

— Дело-то доброе, а поступили они плохо! Это *полупреступление!* — сказал Кревель, чрезвычайно довольный найденным словом.

— Делать добро, дорогой Кревель,— продолжала баронесса,— не значит черпать деньги из туго набитого кошелька; это значит терпеть лишения из-за своей щедрости, страдать из-за своего доброго поступка! И не ожидать благодарности! Милосердие, которое нам ничего не стоит, не угодно небесам...

— Святые могут позволить себе умирать в богадельне, сударыня: они знают, что это для них преддверие царства небесного. Ну, а я человек мирской, я боюсь бога, но еще больше боюсь ада нищеты. Остаться без гроша, да ведь это самое страшное несчастье при нашем общественном строе. Я человек современный. Я чту деньги!

— Вы правы с точки зрения света,— сказала Аделина.

Она была бесконечно далека от своей цели и, думая об Иоганне Фишере, чувствовала себя, как святой Лаврентий на раскаленной решетке; ей представлялось, что старый эльзасец уже наводит на себя дуло пистолета! Она опустила глаза, потом опять подняла их на Кревеля с ангельской кротостью, и в выражении ее глаз не было и тени откровенного и многообещающего сладострастия Валери. Три года тому назад она обворожила бы Кревеля этим чарующим взглядом.

— Раньше вы были более великодушны...— произнесла она.— Вы говорили о трехстах тысячах франков, как какой-нибудь вельможа...

Кревель посмотрел на г-жу Юло: она напомнила ему отцветающую лилию; у него мелькнула смутная догадка; но он так чтил эту святую женщину, что тут же отогнал всякое подозрение, приписав его своей испорченности.

— Сударыня, я все тот же; но бывший коммерсант не может позволить себе повадки вельможи, он должен действовать методично, у него на первом месте экономия и порядок. Можно, конечно, открыть счет на свои причуды и ассигновать на эту статью расходов известную часть своих доходов, но тронуть капитал!.. Да это же безумие! Мои дети получат целиком состояние матери и мое личное; но они, разумеется, не захотят, чтобы их отец затосковал, превратился в аскета, в какую-то мумию!.. Дайте мне насладиться! Я весело плыву по течению. Я добросовестно исполняю все, что требуют от меня закон, мое сердце и семья, так же как плачу в срок по своим векселям. Пускай мои дети ведут свои дела так же, как я, и, поверьте, я буду доволен; а что до настоящих обстоятельств, то, поскольку мои шалости (а я иной раз позволяю себе пошалить) ничего не стоят никому, кроме каких-нибудь *шляп* (Извините! Вы не знакомы с биржевым жаргоном...), моим детям не в чем будет меня упрекнуть, а после моей смерти они получат прекрасное состояние. Ну, а ваши детки не поблагодарят своего папашу, который выкидывает такие коленца, что дотла разорит и родного сына и мою дочь...

Чем дальше, тем больше удалялась баронесса от своей цели...

— Вы очень недолюбливаете моего мужа, дорогой Кревель, но я думаю, вы стали бы его лучшим другом, если бы его жена проявила к вам слабость...

Она бросила на Кревеля пламенный взгляд. Но тут она поступила, как в свое время Дюбуа, который чересчур увлекся, надавав регенту пинков,— она слишком перестаралась, и развратные мысли так овладели парфюмером, поклонником Регентства, что он задал себе вопрос: «Уж не вздумала ли она отомстить Юло? Может быть, я кажусь ей привлекательнее в роли мэра, нежели капитана национальной гвардии? У женщин столько причуд!» И он принял позу в своей второй манере, поглядывая на баронессу, как заправский повеса времен Регентства.

— Можно подумать,— продолжала она,— что вы вымещаете на нем досаду, встретив сопротивление со стороны... женщины, которую вы так любили... что даже пытались... купить ее,— прибавила она совсем тихо.

— Женщины божественной,— заметил Кревель, многозначительно улыбаясь баронессе, которая потупилась, чтобы скрыть слезы, навернувшиеся на глаза.— Ну, а сколько горя пришлось вам хлебнуть за эти три года, а, моя прелесть?

— Не будем говорить о моих страданиях, дорогой Кревель, они выше человеческих сил. Ах, если бы вы все еще меня любили, вы могли бы спасти меня из бездны, в которой я очутилась! Да, я в кромешном аду! Цареубийцы, которых терзали раскаленными щипцами, которых четвертовали, покоились на розах в сравнении со мною, потому что им терзали только тело, а у меня раздирают на части сердце!..

Кревель вынул руку из проймы жилета, он положил шляпу на рабочий столик, он нарушил свою позу, он улыбался! Улыбка его была так некстати, что баронесса обманулась: она приняла ее за проявление доброты.

— Перед вами женщина не просто впавшая в отчаяние, но готовая в смертных муках расстаться со своей честью, решившаяся на все, *мой друг*, лишь бы предотвратить преступление...

Опасаясь, как бы Гортензия не вошла в комнату, она заперла дверь на задвижку; потом так же порывисто опустилась на колени перед Кревелем, схватила его руку и поцеловала ее.

— Будьте моим спасителем! — воскликнула она.

Она вообразила, что затронула чувствительные струны в сердце этого торговца, и у нее блеснула надежда получить двести тысяч франков, не навлекая на себя позора.

— Вы хотели купить добродетель, так купите мою душу! — продолжала она, устремляя на него безумный взгляд.— Доверьтесь моей порядочности, моей женской чести,— ведь вам известна моя безупречность! Будьте мне другом! Спасите целую семью от разорения, позора, отчаяния, не дайте ей скатиться в пропасть, где грязь смешивается с кровью! О, не просите у меня объяснений! — воскликнула она, заметив, что Кревель хочет сказать что-то.— А главное, не говорите мне: «Я вас предупреждал!» — как говорят люди, радуясь беде своих друзей. О, послушайте!.. Уступите той, которую вы любили когда-то, уступите просьбам женщины, лежащей

в унижении у ваших ног, что, может быть, делает ей честь; но не спрашивайте ее ни о чем, положитесь всецело на ее признательность!.. Нет, не дарите ничего, дайте мне взаймы, дайте взаймы той, кого вы называли Аделиной!

Тут слезы хлынули у нее из глаз; Аделина так рыдала, что перчатки Кревеля стали влажными. Слова: «Мне нужны двести тысяч франков!..» — потонули в этом потоке слез; так тонут камни, даже самые крупные, в бурных водах альпийских рек, вздувшихся во время таяния снегов.

Вот как неопытна добродетель! Порок ни о чем не просит, как вы могли видеть на примере г-жи Марнеф; он умеет добиться, чтобы ему все преподносили добровольно. Женщины такого пошиба становятся требовательными лишь в том случае, если чувствуют себя желанными или же решают эксплуатировать мужчину наподобие того, как эксплуатируют карьер, где гипс уже истощается и работы ведутся там *в развал*, как говорят каменоломы. Услыхав слова: «Двести тысяч франков!», Кревель все понял. Он галантно поднял баронессу с полу, обронив дерзкую фразу: «Ну, ну, успокойтесь, *мамаша!*», которой Аделина в смятении чувств даже не расслышала. Сцена приобрела совсем иной характер. Кревель стал, как он выражался, хозяином положения.

Величина суммы так подействовала на Кревеля, что с него как рукой сняло умиление, которое он было почувствовал при виде прекрасной женщины, плачущей у его ног. Притом, когда женщина плачет горькими слезами, как бы ангелоподобна и божественна она ни была, красота ее исчезает. Г-жа Марнеф, как мы видели, плакала не один раз, позволяя слезам тихо струиться по своему лицу, но рыдать так, чтобы от слез покраснели глаза и нос!.. Нет, она никогда не совершала такой ошибки!

— Ну, ну, голубушка, успокойтесь, черт возьми! — продолжал Кревель, схватив своими ручищами ручки прекрасной г-жи Юло и похлопывая по ним.— Ну, на что вам двести тысяч франков? Что вы будете с ними делать? Для кого это?

— Не требуйте от меня никаких объяснений,— отвечала она,— дайте мне эти деньги!.. Вы спасете жизнь троим людям и честь наших детей.

— И вы думаете, мамаша,— сказал Кревель,— что найдется в Париже человек, готовый по одному слову женщины, притом почти безумной, так вот сразу, hic et nunc [1] вытащить из ящика стола или откуда бы там ни было двести тысяч франков, которые полеживали там потихоньку и поджидали, когда эта дамочка соблаговолит их слизнуть? Вот как вы знаете жизнь и денежные дела, красавица моя!.. Если ваши близкие тяжело больны, позовите священника их соборовать, потому что в Париже, за исключением ее святейшества банкирской конторы знаменитого Нусингена или сумасшедших скупцов, влюбленных в золото, как мы, глупцы, влюбляемся в женщин, никто не в состоянии совершить подобного чуда! Цивильный лист, и тот, будь он хоть самый что ни есть цивильный,— даже сам цивильный лист призадумался бы над вашей просьбой. Все извлекают пользу из своих денег и спекулируют кто во что горазд. Вы думаете, ангел мой, что у нас царствует Луи-Филипп? Ошибаетесь, но он-то сам не заблуждается на этот счет. Он знает не хуже нас, грешных, что выше хартии стоит святая, досточтимая, солидная, любезная, милостивая, прекрасная, благородная, вечно юная, всемогущая монета в пять франков! Ну, а ведь капитал, ангел мой прекрасный, требует процентов и вечно занят их выколачиванием! «Бог Израиля, ты побеждаешь!» — сказал великий Расин. Короче говоря, вечная аллегория золотого тельца!.. Во времена Моисея спекулировали ценностями в пустыне! Право, мы возвратились к библейским временам! Золотой телец был первой бухгалтерской книгой,— прибавил он.— А вы, Аделина, не видите ничего дальше улицы Плюме! Египтяне занимали у евреев огромные деньги, и погнались они в пустыне не за народом божьим, а за его капиталами.— Кревель посмотрел на баронессу с таким видом, точно хотел сказать: «Как я остроумен, правда?»

— Неужели вы не знаете, как крепко всякий гражданин держится за свое добро? — продолжал он после короткого молчания.— Извините, голубушка. Выслушайте меня хорошенько! Вдумайтесь в мои слова. Вам нужно двести тысяч франков?.. Никто не может их дать,

---

[1] Без всякого промедления *(лат.)*.

не нарушив состояния своих вкладов. Сосчитайте!.. Чтобы получить двести тысяч *чистоганом*, нужно продать примерно на семьсот тысяч франков трехпроцентной ренты. И вы получите эти деньги не раньше как через два дня. Вот самый скорый способ. А чтобы убедить человека выпустить из рук этакое состояние,— ибо для многих двести тысяч франков это огромное богатство! — необходимо по крайней мере сказать, куда все это пойдет, на какие цели...

— Речь идет, мой дорогой Кревель, о жизни двух людей, из которых один может умереть с горя, а другой покончить с собой. Наконец речь идет обо мне, потому что я близка к сумасшествию! Разве это не заметно?

— Пока еще не очень! — сказал он, касаясь рукой колен г-жи Юло.— Значит, папаша Кревель на что-нибудь да годится, раз ты, мой ангел, удостоила его своим вниманием!

«Кажется, нужно ему позволить прикасаться к моим коленям!» — подумала святая, благородная женщина, закрывая лицо руками.

— Когда-то вы предлагали мне целое состояние! — сказала она, краснея.

— Ах, мамаша! Ведь этому уже три года!..— возразил Кревель.— О, я еще никогда не видел вас такой прекрасной!..— воскликнул он, схватив руку баронессы и прижимая ее к сердцу.— У вас, милочка моя, хорошая память, черт возьми!.. Вот видите, как вы ошиблись в тот раз, изображая недотрогу! Ведь тогда вы так благородно отвергли триста тысяч франков, а теперь они уже в кошельке у другой. Я любил вас и все еще люблю. Но перенесемся на три года назад. Когда я вам говорил: «Вы будете моей!»,—какое у меня было намерение? Я хотел отомстить этому злодею Юло. А ваш супруг, красавица моя, взял себе в любовницы не женщину, а сокровище, настоящую жемчужину, плутовку двадцати трех лет,—теперь ей двадцать шесть. Я решил, что будет забавнее, удачнее, более во вкусе Людовика Пятнадцатого и маршала Ришелье, более утонченно, если я свистну у него это прелестное создание. А впрочем, она никогда не любила Юло и вот уже три года как без ума от вашего покорного слуги...

Пока Кревель разглагольствовал, баронесса высво-

бодила руки из его рук, и он опять принял свою излюбленную позу. Заложив большие пальцы в проймы жилета, он ладонями, словно крылышками, похлопывал себя по груди, воображая, что в таком виде он неотразим. Вся его фигура, казалось, говорила: «Вот какого человека вы отвергли!»

— Итак, моя дорогая, я отомщен, и ваш муж узнал об этом! Я категорически доказал барону, что его околпачили, что ему, как говорится, натянули нос... Госпожа Марнеф — *моя* любовница, и, если господин Марнеф подохнет, она станет моей женой.

Госпожа Юло смотрела на Кревеля остановившимся, почти безумным взглядом.

— Значит, Гектор узнал об этом? — спросила она.

— И вернулся к ней! — отвечал Кревель.— И я все это терпел, потому что Валери хотелось быть супругой столоначальника. Но она поклялась мне устроить так, что наш барон полетит кубарем и больше у нее не покажется. И моя герцогинюшка (ведь эта женщина прирожденная герцогиня, клянусь честью!) сдержала свое слово. Она отправила к вам, сударыня, вашего Гектора, как она остроумно выразилась, *на пожизненную добродетель!* Урок ему дан был хороший, что и говорить! Крутенько пришлось барону! Не станет он больше содержать ни танцовщиц, ни порядочных женщин! Вылечен радикально, потому что его обобрали до нитки. Если бы вы в тот раз послушались Кревеля, вместо того чтобы его унижать да указывать ему на дверь, у вас было бы теперь четыреста тысяч франков,— ведь моя месть обошлась мне не меньше этого. Но я надеюсь вернуть свои денежки после смерти Марнефа... Я положил их на имя моей будущей жены. Вот в чем секрет моей расточительности. Я разрешил задачу, как быть большим барином на даровщинку!

— И вы собираетесь дать такую мачеху вашей дочери?..— вскричала г-жа Юло.

— Вы не знаете Валери, сударыня,— с важностью возразил Кревель, принимая позу в своей первой манере.— Она хорошего происхождения, порядочная женщина, женщина с прекрасной репутацией. Как раз вчера у нее обедал приходский викарий. Мы пожертвовали в церковь великолепную дароносицу,— ведь Валери

набожна. О, она ловка, умна, обаятельна, образованна, она всем взяла! Что до меня, дорогая Аделина, я премного обязан этой прелестной женщине: она расшевелила меня, облагородила, как видите, мою речь; она поправляет мои остроты, она подсказывает мне и слова и мысли. Я не говорю теперь ничего неуместного. Во мне произошли большие перемены,— вы, наверно, это заметили. Наконец, она пробудила во мне честолюбие. Я буду депутатом и уже не стану *мазать в игре*, потому что во всем буду советоваться с моей Эгерией. У великих политиков,— у нынешнего Нумы, нашего знаменитого министра,— у всех у них была своя сивилла из самых сливок общества! Валери принимает у себя человек двадцать депутатов, она становится очень влиятельной, а теперь, когда переедет в красивый особняк и будет иметь собственный выезд, она станет одной из негласных парижских владычиц. Такая женщина — что твой локомотив! Ах, я не раз благодарил вас за вашу суровость!..

— Тут невольно усомнишься в высшей справедливости,— сказала Аделина, у которой от негодования высохли слезы.— Но нет, божественное правосудие уже занесло меч над ее головой!

— Вы не знаете света, прекрасная дама,— возразил великий политик Кревель, глубоко оскорбленный.— Свет, милая Аделина, любит успех. Скажите, пожалуйста, разве уж он так гонится за вашей высокой добродетелью, цена которой двести тысяч франков?

При этих словах г-жа Юло вся похолодела, и у нее опять началась нервная дрожь. Она поняла, что бывший парфюмер мстит ей самым низким образом, как он отомстил Юло; ее охватило отвращение, сердце у нее болезненно сжалось, горло сдавило, и она не могла произнести ни слова.

— Деньги!.. Вечно эти деньги! — вымолвила она наконец.

— Вы меня совсем растрогали, когда я увидел, как вы рыдаете вот тут, у моих ног!..— продолжал Кревель, который при упоминании о деньгах вспомнил, до какой степени унизила себя эта женщина.— Знаете что, вы, может быть, мне не поверите, а право, будь сейчас при мне бумажник, он был бы к вашим услугам! Слушайте, вам нужна именно эта сумма?

Вопрос, заданный так грубо, но, быть может, суливший двести тысяч франков, заставил Аделину забыть возмутительные оскорбления, которые нанес ей этот «большой барин на даровщинку», она поддалась на хитрую приманку, преподнесенную Кревелем, который хотел лишь проникнуть в тайну Аделины, а потом посмеяться над ней вместе с Валери.

— Ах, я согласна на все! — воскликнула несчастная женщина.— Сударь, я готова продать себя, готова стать, если это угодно, такой, как Валери.

— Для вас это будет трудновато,— отвечал Кревель.— Валери единственная в своем роде. Двадцать пять лет добродетельной жизни, мамаша! Да ведь она всегда дает себя знать, как плохо залеченная болезнь. А ваша добродетель порядочно-таки заплесневела, дитя мое дорогое! Но вы увидите, как я вас люблю. Я добуду для вас двести тысяч франков.

Аделина схватила руку Кревеля, прижала ее к своему сердцу, не в состоянии слова вымолвить, и слезы радости заблестели на ее ресницах.

— Ну-ну, подождите! Тут еще большая закавыка! Но я, знаете ли, человек опытный и, что называется, добрый малый, без предрассудков, я все выложу вам начистоту. Вы желаете быть такой, как Валери, ладно! Но этого недостаточно. Надобно добыть еще *шляпу*, так сказать акционера, какого-нибудь Юло. Я знаю одного толстяка лавочника, бывшего шапочника. Он туп, тяжел на подъем, звезд с неба не хватает; я его развиваю, но неизвестно, когда он сделает честь своему учителю. Он у меня депутат, глуп, тщеславен; в глуши провинции, сидя под башмаком какой-то особы в тюрбане, он сохранился в девственном состоянии и не имеет понятия о роскоши и удовольствиях парижской жизни; но Бовизаж (его фамилия Бовизаж) — миллионер, и этот Бовизаж дал бы, моя цыпочка, как и я три года назад, сто тысяч экю за любовь порядочной женщины... Да-с,— прибавил Кревель, воображая, что верно истолковал жест Аделины.— Он, знаете ли, завидует мне!.. Ну да, завидует моему счастью с госпожой Марнеф и готов спустить крупную собственность, чтобы стать собственником какой-нибудь...

— Довольно, господин Кревель! — сказала г-жа Юло, не скрывая более своего отвращения и покраснев от стыда.— Я наказана за свой грех даже больше, чем заслужила. Мою совесть до сих пор подавляла жестокая необходимость, но я не в силах вынести подобного оскорбления; честь моя вопиет, что такая жертва невозможна. У меня нет больше гордости, и я не гневаюсь, как в тот раз, я не говорю вам: «Уходите прочь!», получив от вас смертельный удар. Я больше не имею на это права: я предложила вам себя, как проститутка... Да,— продолжала она в ответ на протестующий жест Кревеля,— я запачкала свою жизнь, до сей поры чистую, низким намерением, и... мне нет прощения, я это знаю!.. Я заслужила все ваши оскорбления. Да будет воля господня! Если богу угодна смерть двух существ, достойных предстать пред лицом его, пусть они умрут, я буду их оплакивать, буду молиться за них! Если ему угодно унижение нашей семьи, преклонимся перед его карающей десницей и облобызаем ее, как истинные христиане! Я знаю, как мне искупить позор этой минуты, которая будет моим мучением до последнего дня жизни. Сударь, с вами говорит уже не госпожа Юло, а бедная, смиренная грешница, христианка, в чьем сердце будет отныне жить лишь одно чувство — раскаяние и чья жизнь будет посвящена молитве и делам милосердия. Теперь я последняя из женщин и должна вечно каяться — так велико мое прегрешение! Вы послужили орудием моего духовного просветления, и глас божий достиг моего слуха: благодарю вас!

Она вся дрожала, и с этого часа нервная дрожь уже никогда не покидала ее. Слова ее, полные кротости, резко отличались от бредовой речи женщины, решившейся опозорить себя ради спасения семьи. Кровь отхлынула у нее от щек, она побледнела, слезы ее сразу высохли.

— Впрочем, я очень плохо сыграла свою роль, не так ли? — продолжала она, глядя на Кревеля с такой кротостью, с какою некогда мученики взирали на проконсула.—Истинная любовь, святая женская любовь дает наслаждения, непохожие на те, что покупаются на ярмарке продажной любви! Но к чему я все это говорю? — прибавила она, углубляясь в себя и делая новый шаг на

пути к совершенству.— Это похоже на иронию, а у меня се нет! Простите мне мои слова! А впрочем, сударь, возможно, я самое себя хотела ими уязвить...

Величие добродетели, ее небесное сияние разогнало тень порока, на миг омрачившую лицо этой женщины, к ней вернулась лучезарная красота, и Аделина Юло словно выросла в глазах Кревеля. В эту минуту она напоминала вдохновенные образы святых, опирающихся на крест, как их писали живописцы старой венецианской школы; весь облик этой женщины проникнут был величием ее горя и величием католической церкви, под сенью которой она укрылась, подобно раненой голубке. Кревель был ослеплен, ошеломлен.

— Сударыня, я к вашим услугам без всяких оговорок! — сказал он в порыве великодушия.— Давайте обсудим ваше дело, и... Чего вы желаете? Говорите! Невозможного? Я все сделаю. Я внесу ренту депозитом в банк, и через два часа вы получите деньги...

— Боже мой, совершилось чудо! — воскликнула несчастная Аделина, падая на колени.

Она прочла вслух молитву с таким умилением, что Кревель был растроган; и г-жа Юло, поднявшись с колен, увидела слезы на его глазах.

— Будьте мне другом, сударь,— сказала она.— Душа у вас лучше, чем поведение и слова. Бог дал вам душу, а ваш образ мыслей внушен светом и страстями! О, я буду так любить вас!..— воскликнула она, охваченная неземным восторгом, и ангельское выражение ее лица представляло резкий контраст с ужимками ее недавнего жалкого кокетства.

— Да не дрожите же так! — сказал Кревель.

— Разве я дрожу? — спросила баронесса, не замечая недуга, внезапно овладевшего ею.

— Посмотрите сами,— сказал Кревель, взяв Аделину за руку, по которой пробегала нервная дрожь.— Ну, успокойтесь, сударыня! — прибавил он почтительно.— Я иду в банк.

— Возвращайтесь скорее! Помните, друг мой,— сказала она, невольно выдавая свою тайну,— что нельзя допустить до самоубийства моего бедного дядюшку Фишера, которого мой муж поставил в ужасное положение. Ведь я теперь доверяю вам и говорю вам все! Ах, если

мы упустим время... Я знаю маршала, у него такая добрая душа, он не переживет этого несчастья.

— Так я иду,— сказал Кревель, целуя руку баронессы.— Но что же все-таки сделал бедняга Юло?

— Он обокрал казну!

— О боже мой! Бегу, сударыня, бегу!.. Я понимаю вас, восхищаюсь вами.

Кревель встал на колени, поцеловал край платья г-жи Юло и исчез со словами:

— До скорого свиданья!

С улицы Плюме Кревель отправился к себе домой, чтобы захватить необходимые бумаги, но, к несчастью, путь его лежал через улицу Ванно, и, конечно, он не мог отказать себе в удовольствии взглянуть на свою «герцогинюшку». Он явился к ней с расстроенной физиономией. Когда он вошел в спальню Валери, она была занята своей прической. Валери увидела Кревеля в зеркале и, подобно всем женщинам такого сорта, еще не зная, в чем дело, уже была неприятно задета его встревоженным видом, потому что причиной волнения была не ее особа.

— Что с тобой, дружок? — спросила она Кревеля.— Разве с такой физиономией приходят к своей герцогинюшке? Пусть даже я не буду для вас герцогиней, сударь, все же я всегда останусь твоей цыпочкой, старый урод!

Кревель грустно улыбнулся и указал на Регину.

— Регина, милочка, на сегодня довольно, я закончу прическу сама. Подай мне китайский халатик, так как у *моего господина*, сдается мне, какая-то *китайщина* на уме...

Регина, физиономия которой, изрытая оспинами, напоминала кухонную шумовку и точно нарочно была создана, чтобы оттенять красоту личика Валери, обменялась улыбкой со своей госпожой и принесла халатик. Валери сбросила пеньюар и, оставшись в одной рубашке, скользнула в китайское одеяние, как змейка в цветущий куст.

— Прикажете никого не принимать?

— Что за вопрос! — сказала Валери.— Ну, ну, выкладывай все, жирный котик! Неужели левобережные акции падают?

— Нет.

— На особняк вздули цену?

— Нет.

— Ты сомневаешься, твой ли сын наш будущий малыш?

— Что за вздор! — воскликнул Кревель, не допуская и мысли об измене.

— Ну, в таком случае я ничего не понимаю! — сказала г-жа Марнеф.— Удивительно интересно вытягивать из своего дружка каждое слово, как пробку из бутылки шампанского! Не желаю... Пошел прочь, надоел!..

— Сущие пустяки,— сказал Кревель.— Мне нужно достать через два часа двести тысяч франков...

— И ты их достанешь! Слушай, я еще не истратила те пятьдесят тысяч франков, что получила от Юло за протокол, и я могу попросить пятьдесят тысяч франков у Анри!

— Анри! Вечно этот Анри!..— вскричал Кревель.

— А ты воображаешь, Макиавелли ты этакий, что я расстанусь с Анри? Разве Франция разоружает свой флот?.. Анри! Да ведь это кинжал в ножнах, безобидное украшение на стене. Этот мальчик,— сказала она,— нужен мне для того, чтобы судить, любишь ли ты меня... А ты меня нынче не любишь.

— Это я тебя не люблю, Валери? — воскликнул Кревель.— Да я люблю тебя, как целый миллион чистоганом!

— Мало, мало!..— возразила Валери и, прыгнув на колени к Кревелю, повисла у него на шее, как занавес, подхваченный розеткой.— Я хочу, чтобы ты меня любил, как десять миллионов, как все золото, какое только есть на земле, и даже больше. Анри и пяти минут не выдержит, чтобы не выложить мне все, что у него на душе. Ну, что с тобой, пузанчик? Давай-ка разгружаться... Рассказывай все, да поживее, своей цыпочке! — И она коснулась лица Кревеля своими волосами, теребя его за нос.— Ну, можно ли, имея такой нос,— продолжала она,— хранить тайну от своей Вава-леле-рири!..

Вава — нос повернулся вправо, *леле* — повернулся влево, *рири* — его водворили на место.

— Так вот, я видел сейчас...

Кревель замялся, взглянул на г-жу Марнеф.

— Валери, сокровище мое, обещай мне... дай честное слово?.. Помнишь наш уговор?.. Обещай ни словом не обмолвиться о том, что я тебе расскажу...

— Обещаю, господин мэр! Вот вам моя рука... и нога!

Она приняла такую позу, что Кревель, по выражению Рабле, сомлел с головы до пят, так она была забавна и прелестна в своей наготе, розовевшей сквозь облако батиста.

— Я видел сейчас добродетель, впавшую в отчаяние!..

— Разве добродетель и отчаяние совместимы? — сказала Валери, покачивая головкой и по-наполеоновски скрестив руки на груди.

— Я говорю о несчастной госпоже Юло. Ей нужны двести тысяч франков. Иначе и маршал и дядюшка Фишер пустят себе пулю в лоб; а поскольку ты, моя герцогинюшка, отчасти являешься причиной всего случившегося, то я и хочу поправить беду. О, это святая женщина, я ее знаю, она возвратит мне все сполна.

Как только он упомянул имя Юло и назвал сумму — двести тысяч, из-под длинных ресниц Валери блеснул взгляд, как огонь сквозь дым пушечного выстрела.

— Чем же разжалобила тебя эта старуха? Что она показала тебе... что? Свою... набожность?..

— Не смейся над ней, мое сердечко. Она в самом деле святая, благородная и благочестивая женщина, достойная всякого уважения!

— А я, стало быть, недостойна никакого уважения? — сказала Валери, бросая на Кревеля грозный взгляд.

— Я этого не говорил,— отвечал Кревель, поняв, как должна была задеть г-жу Марнеф эта похвала добродетели.

— Я тоже благочестивая,— сказала Валери, усаживаясь в кресло.— Но я не выставляю напоказ свою набожность. Я прячусь от людей, когда иду в церковь.

Она замолчала и отвернулась от Кревеля. Крайне обеспокоенный, Кревель подсшел к креслу Валери; казалось, она вся ушла в свои думы, которые он так неосторожно в ней пробудил.

— Валери, мой ангелочек!..

Глубокое молчание. Украдкой смахивается слезинка (правда, воображаемая).

— Одно словечко, цыпочка!..

— Что вам угодно?

— О чем ты думаешь, любовь моя?

— Ах, господин Кревель, я думаю о моем первом причастии. Как я была тогда хороша! Как же я была чиста! Как же я была светла и непорочна!.. Ах, если бы кто-нибудь сказал тогда моей бедной матушке: «Ваша дочь будет шлюхой, она обманет своего мужа; в один прекрасный день полицейский пристав застанет ее в квартире для свиданий; она продаст себя некоему Кревелю и изменит некоему Юло, двум гнусным старикам...» Брр!.. Фи! Да она бы умерла, не дослушав этих слов до конца. Ведь она так любила меня, бедняжка!..

— Успокойся!

— Ты и понятия не имеешь, как сильно нужно любить мужчину, чтобы подавить в себе угрызения совести, терзающие сердце женщины, нарушившей супружескую верность. Жаль, что Регина ушла; она сказала бы тебе, что нынче утром она застала меня в слезах за молитвой. Да будет вам известно, господин Кревель, я не глумлюсь над религией. Разве вы слыхали от меня хоть одно дурное слово о религии?

Кревель одобрительно закивал головой.

— Я запрещаю говорить о религии в моем присутствии... Я готова шутить над чем угодно: над королями, политикой, казной, над всем, что только есть святого, над судьями, браком, любовью, над молодыми девушками, над стариками!.. Но церковь... но бог!.. О, тут я пасую! Я отлично знаю, что веду себя дурно, что я приношу вам в жертву спасение своей души. А вы и не подозреваете, как велика моя любовь!

Кревель умоляюще сложил руки.

— Ах, нужно проникнуть в мое сердце, измерить силу моих религиозных убеждений, чтобы понять, чем я для вас жертвую!.. Я чувствую в себе задатки святой Магдалины... Смотрите, с каким почтением я отношусь к священникам! Подсчитайте, сколько я жертвую на церковь! Мать воспитала меня в католической вере, и

господь живет в моей душе! К нам, грешницам, обращает он грозный свой глагол...

Валери отерла две крупные слезы, катившиеся по ее щекам.

Кревеля охватил ужас. Г-жа Марнеф поднялась с кресла, она была в каком-то экстазе.

— Успокойся же, цыпочка, ты меня пугаешь!.

Госпожа Марнеф упала на колени.

— Боже мой! Я вовсе не такая скверная! — воскликнула она, молитвенно складывая руки.—Снизойди к твоей заблудшей овце, накажи ее, покарай, но вырви из рук, ввергнувших ее в бездну зла и прелюбодеяния. С какою радостью припадет она к твоей груди! Она вернется, счастливая, в отчий дом!

Она поднялась с колен, посмотрела на Кревеля, и Кревель испугался пустых глаз Валери.

— Порою, знаешь ли, Кревель?..— порою меня охватывает страх... Ведь божественное правосудие карает людей как в загробном мире, так и здесь, на земле. Могу ли я ждать милостей от господа бога? Возмездие настигает виновного различными путями: оно сказывается во всякого рода несчастьях. Всякое несчастье, необъяснимое для глупца,—это искупление грехов. Вот что сказала мне мать на смертном одре, думая о своей горькой старости. А вдруг я потеряю тебя?..— прибавила она, с неистовой силой сжимая Кревеля в своих объятиях.— О, я тогда умру!

Госпожа Марнеф выпустила Кревеля из объятий, снова преклонила колени перед креслом, сложила руки (и в какой прелестной позе!) и с неизъяснимым умилением произнесла следующие слова:

— Святая Валери, всеблагая моя заступница, почему так редко склоняешь ты свой взор к изголовью той, для кого ты являешься ангелом-хранителем? О, снизойди ко мне в час вечерний, как снизошла нынче в утренний час! О, внуши мне добрые помыслы, уведи меня со стези порока, и я, подобно Магдалине, отрекусь от греховных наслаждений, от суетного мирского блеска и даже от человека, которого я так люблю!

— Моя цыпочка! — воскликнул Кревель.

— Нет больше цыпочек, сударь!

Она горделиво повернулась к нему, как подобает доб-

родетельной женщине; глаза ее были влажны от слез, она предстала перед Кревелем недоступная, замкнутая, холодная.

— Оставьте меня,— сказала она, отстраняя Кревеля.— В чем состоит мой долг?.. Хранить верность мужу. Человек умирает, а я что делаю? Я обманываю несчастного, стоящего на краю могилы! Он считает вашего сына своим... Я открою ему всю правду и вымолю у него прощение, прежде чем молить о прощении господа бога. Расстанемся!.. Прощайте, господин Кревель!..— прибавила она, выпрямляясь во весь рост и протягивая Кревелю ледяную руку.— Прощайте, мой друг! Мы увидимся с вами только в лучшем мире!.. Я доставляла вам греховные радости, теперь я хочу... да, я хочу заслужить ваше уважение...

Кревель плакал горькими слезами.

— Ах ты, дурень толстопузый! — вдруг крикнула она, разразившись адским хохотом.— Вот каким манером эти благочестивые женщины выманивают у вас подарочки в двести тысяч франков! Толкуешь о маршале Ришелье, этом прообразе Ловласа, а сам попадаешься на такой шаблон, как говорит Стейнбок! Если бы я только захотела, я бы уже давным-давно вырвала у тебя эти двести тысяч франков, старый болван!.. Побереги-ка свои денежки! Что они у тебя, лишние? Так пусть они лучше попадут в мой кошелек! Если ты вздумаешь дать хоть грош этой старухе, которая ударилась в ханжество, потому что ей стукнуло пятьдесят семь лет, мы с тобой никогда больше не увидимся. Можешь взять ее в любовницы! Ты прибежишь ко мне на другой же день, весь помятый ее неуклюжими ласками, сытый по горло ее нытьем и ее коленкоровыми ночными чепцами, ее слезливостью, орошающей поцелуи, как проливным дождем!..

— Оно, конечно,— сказал Кревель,— двести тысяч франков — это деньги...

— У святош, как видно, хороший аппетит! Ах, дряни! Они продают свои проповеди выгоднее, чем мы продаем самое ценное, самое бесспорное, что есть на свете,— наслаждение... Да еще какие они романы сочиняют! Нет, подумайте только!.. Я их знаю, я на них нагляделась у своей мамаши! Они воображают, что все позволено ра-

ди религии, ради... Слушай, как тебе не стыдно, мой миленький! Ты ведь не очень щедрый... Ведь в общей сложности я-то не получила от тебя двухсот тысяч франков!

— Как бы не так,— возразил Кревель.— Один твой особнячок будет того стоить...

— Стало быть, у тебя имеется добрых четыреста тысяч франков? — спросила она с мечтательным видом.

— Нет.

— Хорошо, сударь! А как же это вы собирались одолжить какой-то старой карге двести тысяч франков, предназначенных на покупку особняка для меня? Вот уж поистине преступление против своей цыпочки!..

— Да выслушай же меня!

— Если бы ты еще пожертвовал эти деньги на какую-нибудь глупую филантропическую затею, ты сошел бы по крайней мере за человека с благородными принципами,— продолжала она, все более воодушевляясь,— и я бы первая тебе это посоветовала, потому что ты слишком простоват, чтобы писать политические трактаты, которые создают мужчинам репутацию; и ты недостаточно владеешь слогом, чтобы кропать разные там брошюрки; ты ведь можешь выдвинуться только как все молодцы твоего десятка, которым удается позолотить славой свое имя, став во главе какого-нибудь начинания — социального, морального, национального, ну, словом, универсального!.. Благотворительность отпадает, она нынче не в моде... Бедненькие громилы, о которых больше пекутся, чем о честных бедняках,— это уже избито! Я хочу, чтобы ты придумал какой-нибудь более замысловатый способ истратить свои двести тысяч франков,— нечто действительно полезное. Тогда о тебе заговорят, ты станешь известен не меньше, чем *человек в синем плаще*, или даже Монтион, и я буду гордиться тобой! Но выбросить двести тысяч франков на ветер, одолжить их какой-то ханже, покинутой мужем по неизвестной причине,— э-э! причина всегда есть (разве меня кто-нибудь покинет?) — ну, это уж такая глупость, которая в наше время может зародиться лишь в мозгу бывшего парфюмера! От нее пахнет прилавком. Пройдет два дня, и тебе будет стыдно взглянуть на себя в зеркало! Ступай-ка вложи свои деньги в кассу погашений, ну,

бегом! И не показывайся мне на глаза, покуда не принесешь квитанции о вкладе. Ступай, живо! Ну, поворачивайся!

Она взяла Кревеля за плечи и вытолкала из комнаты, заметив по его физиономии, что в нем вновь заговорила скупость. Когда дверь захлопнулась, она сказала:

— Вот Лизбета и отомщена сверх всякой меры! Какая досада, что она торчит у своего старика маршала, как бы мы с ней посмеялись вдвоем! А-а! Старуха вздумала вырвать у меня изо рта кусок хлеба!.. Я тебе покажу!

Маршал Юло, который вынужден был нанять квартиру, приличествующую его высокому военному званию, поселился в великолепном особняке на улице Монпарнас, где сохранились еще два-три старинных дворянских владения. Хотя маршал снял весь особняк, занимал он только нижний этаж. Когда Лизбета вступила в управление его хозяйством, она сразу же решила отдать внаем верхний этаж, который, как она утверждала, может окупить все остальное помещение, и квартира графу обойдется почти даром; но старый солдат воспротивился этому. В последние месяцы его преследовали грустные думы. Он догадывался о стесненных обстоятельствах своей невестки, подозревал о ее несчастьях, хотя и не знал их причины. Старик, от природы отличавшийся ясностью ума и веселостью нрава, стал молчалив; он предвидел, что когда-нибудь его дом может стать прибежищем для баронессы Юло и ее дочери, и сохранял для них верхний этаж. Ограниченность средств графа Форцхеймского была широко известна, и военный министр, князь Виссембургский, потребовал от своего старого товарища, чтобы тот принял от казны пособие на устройство квартиры. Юло употребил эти деньги на меблировку нижнего этажа и обставил квартиру весьма прилично, ибо старик не желал, по его выражению, превратить свой маршальский жезл в обыкновенную палку для прогулок. Во времена Империи особняк принадлежал одному сенатору, гостиные нижнего этажа были отделаны с большой пышностью,— сплошь белые с позолотой, с лепными украшениями,— и хорошо сохранились. Маршал обставил эти покои прекрасной старинной мебелью, в соответствии со стилем особняка. В сарае

у него стояла карета, на дверцах которой нарисованы были два скрещенных маршальских жезла; и когда ему приходилось отправляться in fiocchi[1] в министерство или во дворец на какой-нибудь прием или торжество, он нанимал лошадей. Так как вся его прислуга состояла из двух человек — отставного солдата шестидесяти лет, служившего у него лет тридцать в лакеях, и сестры этого солдата, исполнявшей должность кухарки,— то он мог сэкономить около десяти тысяч франков, которые и присоединил к небольшому капиталу, предназначенному для Гортензии. Каждодневно старик шел пешком с улицы Монпарнас на улицу Плюме бульварами; ни один инвалид при встрече с ним не забывал встать во фронт и отдать честь, на что маршал отвечал ветерану улыбкой.

— Перед кем это вы вытягиваетесь? — спросил однажды молодой рабочий старого капитана, инвалида.

— Сейчас расскажу тебе, паренек,— отвечал офицер.

Юноша нехотя остановился, видимо, покорившись необходимости выслушать словоохотливого ветерана.

— В тысяча восемьсот девятом году,— начал инвалид,— мы прикрывали фланг великой армии, которая под командованием императора шла на Вену. Подходим к мосту, а он защищен тройным рядом батарей: пушки выставлены на манер утеса, в три редута, один над другим, и все орудия обстреливают мост. Мы были под командой маршала Массена. Человек, которого ты сейчас видел, был тогда полковником гренадерского полка императорской гвардии, и я был в его части... Наши колонны занимали один берег реки, редуты были расположены на другом. Три раза французы атаковали мост и три раза пасовали. «Пошлите за Юло! — приказал маршал.— Только одному ему да его ребятам этот орешек по зубам». Мы подходим; генерал, который последним отступил от моста, останавливает Юло под самым огнем и собирается подать ему совет, как взяться за дело, причем загораживает ему дорогу. «Советов не требуется, было бы где пройти моим молодцам»,— спокойно говорит командир — и двинулся по мосту во главе своего полка. А тут — тррах!.. Залп из тридцати пушек, прямо по нашей колонне.

---

[1] В полном параде *(итал.)*.

— Ах, чтоб тебя разорвало! — воскликнул рабочий.— Вот-то, поди, всыпали вам!

— Если бы ты слышал, паренек, как он это спокойно сказал, ты бы до земли поклонился этому человеку! Про это знают меньше, чем про Аркольский мост, ну, а дело-то было, пожалуй, почище. И мы с Юло единым духом добрались до батарей. Слава павшим! — добавил офицер, обнажая голову.— Австрияки были ошеломлены таким ударом. Тут император и пожаловал графским титулом старика, которого ты видел,— он нам всем воздал честь в лице нашего командира. А *нынешние* хорошо сделали, что произвели его в маршалы.

— Да здравствует маршал! — крикнул рабочий.

— О, кричи сколько хочешь: маршал глух — очень уж много на своем веку пушек наслушался.

Рассказ этот может дать понятие о том уважении, с каким ветераны относились к маршалу Юло; благодаря своим твердым республиканским убеждениям он пользовался симпатиями всего своего квартала.

Тяжело было видеть, как горе омрачает эту спокойную, чистую и благородную душу. Баронессе оставалось только лгать и с чисто женской ловкостью скрывать от деверя жестокую правду.

В это злополучное утро маршал, который спал мало, как все старики, заставил, наконец, Лизбету сказать ему всю правду о положении дел в семье его брата, пообещав жениться на ней в награду за откровенность. Всякий поймет, с каким наслаждением позволила старая дева «вырвать» у себя тайну, которой она жаждала поделиться со своим нареченным с того самого часа, как водворилась у него в доме, ибо таким образом она могла обеспечить свое замужество.

— Ваш брат неисправим! — кричала Лизбета в самое ухо маршалу.

Сильный и звонкий голос Лизбеты позволял ей объясняться со стариком. Она не щадила легких, стараясь доказать своему будущему супругу, что с ней он никогда не будет чувствовать себя глухим.

— Как! Он содержал одну за другой трех любовниц, имея Аделину!..— говорил старик.— Бедная Аделина!

— Послушайтесь моего совета! — кричала старая

дева.— Воспользуйтесь своим влиянием на князя Виссембургского и выхлопочите для моей кузины приличное место. Она будет нуждаться в заработке, потому что жалованье барона заложено на целых три года.

— Сию минуту еду в министерство,— отвечал он,— повидаюсь с князем Виссембургским, узнаю, какого он мнения о моем брате, и попрошу его оказать протекцию сестре. Прошу вас, подыщите должность, которая была бы ее достойна!..

— Парижские дамы организовали благотворительное общество под руководством архиепископа; им нужны инспектрисы, которым они назначили хороший оклад; обязанность этих инспектрис — выяснять, действительно ли нуждаются лица, обращающиеся за помощью. Должность вполне подходящая для нашей дорогой Аделины,— это занятие было бы ей по душе.

— Пошлите за лошадьми,— приказал маршал.— Я сейчас оденусь. Ежели понадобится, поеду в Нейи!

— Как он любит ее! Всегда и во всем она стоит мне поперек дороги! — воскликнула старая дева.

Лизбета уже царила в доме, но втайне от маршала. Она внушала страх всем трем слугам. Она уже обзавелась горничной и развивала лихорадочную деятельность, свойственную старым девам: приказывала обо всем себе докладывать, присматривала за всем и заботилась, вплоть до мелочей, об удобствах своего дорогого маршала. Будучи такой же ярой республиканкой, как и ее будущий супруг, Лизбета привлекала его своим демократическим духом; притом она умела ему польстить с необычайной ловкостью. И вот за последние две недели маршал, которому жилось теперь лучше, ибо он был окружен чисто материнским уходом, стал уже находить, что Лизбета до некоторой степени отвечает его идеалу жены.

— Дорогой маршал,— кричала она, провожая его до подъезда,— поднимите стекла, не сидите на сквозняке, ну, прошу вас, сделайте это для меня!..

Маршал, старый холостяк, не избалованный женской заботливостью, отъезжая, улыбнулся Лизбете, хотя у него сердце обливалось кровью.

В это самое время барон Юло выходил из канцелярии военного министерства, направляясь в кабинет маршала,

князя Виссембургского, который прислал за ним курьера. Казалось, нет ничего удивительного, что министр вызывает к себе одного из главных начальников министерства, но на совести у Юло было крайне неспокойно, и ему почудился даже какой-то зловещий холодок в выражении лица Митуфле.

— Ну, как князь, Митуфле? — спросил он, заперев дверь кабинета и догоняя курьера, шедшего впереди.

— Верно, у него зуб против вас, господин барон,— отвечал курьер.— И по голосу и по глазам видно — быть буре...

Юло побледнел и умолк; он миновал прихожую, приемные и с бьющимся сердцем подошел к двери кабинета. Маршалу минуло уже семьдесят лет; это был белый, как лунь, старик с землистым цветом лица, характерным для его возраста; отличительной чертой его внешности был необыкновенно широкий лоб, глядя на который невольно рисовалось поле сражения. Под этим потускневшим куполом, запорошенным снегами, сверкали затененные нависшими дугами бровей глаза наполеоновской голубизны, обычно печальные, таившие немало горьких мыслей и сожалений о былом. Этот соперник Бернадота когда-то мечтал о троне. Но эти глаза метали молнии, если в них вспыхивало сильное чувство. Голос, обычно глухой, напоминал тогда раскаты грома. В гневе князь снова превращался в солдата и говорил языком подпоручика Коттена, уже не выбирая выражений. Когда Юло д'Эрви вошел, старый лев с разметавшейся гривой стоял у камина, прислонясь к каминной доске; брови у него были насуплены, взгляд казался рассеянным.

— Я к вашим услугам, князь! — сказал Юло с обворожительной непринужденностью.

Маршал пристально смотрел на своего подчиненного и молчал, покуда тот, пройдя по кабинету, не остановился в нескольких шагах от него. Этот свинцовый взгляд пронизывал, словно око божье. Юло, не выдержав, смущенно потупил глаза. «Он все знает»,— подумал он.

— Ваша совесть ничего не говорит вам? — спросил маршал глухим и суровым голосом.

— Совесть говорит мне, князь, что я, видимо, допустил ошибку, предприняв без вашего ведома рискован-

ную экспедицию в Алжире. В мои лета и с моими вкусами я остался без всякого ссстояния, и это после сорока пяти лет службы! Вам известно направление мыслей у четырехсот избранников Франции. Господа эти завидуют любому из нас, они урезали оклады министров,— этим все сказано!.. Попробуйте-ка попросить у них денег для старого служаки!.. Что можно ожидать от людей, которые назначают такие скудные оклады должностным лицам, а рабочим Тулонского порта платят по тридцати су в день, хотя прекрасно известно, что и на сорок су нет никакой возможности прокормить семью? От людей, которые не задумываются над тем, что они обрекают на нищенскую жизнь парижских чиновников, получающих шестьсот, тысячу и тысячу двести франков жалованья в год, а сами притязают на наши места с окладом в сорок тысяч франков?.. От людей, которые к тому же отказывают короне в имуществе, конфискованном у нее в тысяча восемьсот тридцатом году, и даже в имуществе, благоприобретенном на личные средства Людовика Шестнадцатого, когда это имущество испрашивают для нищего принца?!. Не будь у вас личного состояния, князь, вас преспокойно оставили бы сидеть, как и моего брата, на одном вашем скудном окладе, и никто бы не вспомнил о том, что мы с вами спасли в свое время великую армию в болотистых равнинах Польши.

— Вы обокрали казну! Вы подлежите суду присяжных, как какой-нибудь вор казначей! — сказал маршал.— И, по-вашему, сударь, это пустяки?..

— Как можно сравнивать, ваше превосходительство! — вскричал барон Юло.— Разве я запустил руку в казну, которая была мне вверена?..

— Вдвойне виновен тот, кто, занимая столь высокий пост, совершает такую подлость, какую вы совершили, да еще так неловко. Вы опозорили нашу высшую администрацию, до сих пор самую безупречную во всей Европе!.. И все это, сударь, из-за каких-то двухсот тысяч франков, ради какой-то шлюхи!..— грозно сказал маршал.— Вы член государственного совета, а ведь простого солдата присуждают к смертной казни за растрату полкового имущества. Вот что мне рассказывал полковник Путен, командир второго уланского полка. В Саверне один из его солдат влюбился в молоденькую эльзаску,

которой приглянулась какая-то шаль; эта дрянь добилась того, что бедняга улан, гордость полка, за выслугу двадцати лет представленный к производству в унтер-офицеры, продал ротное имущество, чтобы купить эту шаль. Знаете ли, барон д'Эрви, как поступил наш улан? Он проглотил растертое в порошок стекло и в тот же день умер в госпитале, якобы от болезни... Постарайтесь и вы умереть, ну, хотя бы от апоплексического удара, чтобы можно было спасти вашу честь...

Барон растерянно глядел на старого воина, а тот, заметив его смущение, изобличавшее труса, весь вспыхнул, и глаза его загорелись.

— Неужели вы отступитесь от меня? — пробормотал Юло.

В эту минуту маршал Юло, узнав, что, кроме его брата, у министра никого нет, позволил себе войти в кабинет и, как все глухие, молча зашагал прямо к хозяину.

— О, я знаю, зачем ты пришел ко мне, старый товарищ!..— вскричал герой польской кампании.— Но все бесполезно...

— Бесполезно? — повторил маршал Юло, расслышавший только последнее слово.

— Да, ты пришел просить меня за брата. А знаешь ли ты, кто твой брат?

— Мой брат? — переспросил глухой.

— Он недостоин тебя!.. Он...— и маршал скверно выругался.

В глазах разгневанного маршала сверкали молнии, напоминая взгляд Наполеона, сковывавший в людях волю и разум.

— Ты лжешь, Коттен! — воскликнул маршал Юло, побледнев.— Брось твой жезл, как я бросаю свой!.. Я к твоим услугам.

Князь подошел вплотную к старому товарищу, пристально поглядел на него и, взяв его за руку, крикнул ему в самое ухо:

— Мужчина ты?

— Суди сам...

— Так возьми себя в руки! Случилось величайшее для тебя несчастье.

Князь обернулся, взял со стола папку с бумагами и вручил ее маршалу Юло, крикнув:

— Читай!

Граф Форцхеймский прочел письмо, находившееся в материалах дела:

«Его сиятельству
председателю совета министров.
Секретно.

Алжир...

Дорогой князь, у нас на руках весьма скверное дело, в чем вы убедитесь из препровождаемых мною бумаг.

Коротко говоря, барон Юло д'Эрви направил в провинцию Оран своего родственника Иоганна Фишера для спекуляций на хлебе и фураже, дав ему в качестве пособника смотрителя складов. Этот смотритель, выгораживая себя, сознался во всем и в конце концов бежал. Королевский прокурор круто повел дело, предполагая, что в преступлении замешаны лишь два низших служебных лица; но Иоганн Фишер, дядя вышеупомянутого барона Юло, одного из главных начальников военного министерства, узнав, что его привлекают к суду присяжных, покончил с собою в тюрьме, заколовшись гвоздем.

Тем бы все и кончилось, если бы этот достойный и честный человек, обманутый, по-видимому, и своим сообщником и племянником, не написал барону Юло. Письмо это, попавшее в руки судебных властей, настолько озадачило королевского прокурора, что он лично явился ко мне. Было бы большим скандалом арестовать и предать уголовному суду члена государственного совета, директора департамента военного министерства, человека, за которым числится столько заслуг,— ведь он спас нас всех после Березины, реорганизовав интендантское управление; поэтому я приказал представить мне все документы по этому делу.

Следует ли дать делу ход? Или можно будет, поскольку главный и явный виновник умер, замять всю эту историю, осудив смотрителя складов заочно?

Генеральный прокурор дал согласие на то, чтобы все документы были препровождены вам; а так как барон д'Эрви проживает в Париже, дело будет слушаться в парижском судебном округе. Благодаря этому довольно сомнительному средству мы хотя бы на некоторое время выйдем из затруднительного положения.

Только, дорогой маршал, не медлите с решением. Слишком большая шумиха поднялась по поводу этого прискорбного случая; он может повлечь за собой большие неприятности, если причастность к делу высокого лица, известная покуда лишь королевскому прокурору, судебному следователю, генеральному прокурору и мне, получит огласку».

Тут бумага выпала из рук маршала Юло; он посмотрел на брата и сразу понял, что больше нет нужды справляться с документами; он ограничился тем, что отыскал среди бумаг письмо Иоганна Фишера, пробежал его глазами и протянул брату.

«Из Оранской тюрьмы.

Племянник, когда вы получите это письмо, меня уже не будет в живых.

Будьте покойны, против вас не найдут улик. Я сейчас умру, а ваш иезуит Шарден бежал,— судебный процесс будет прекращен. Образ нашей дорогой Аделины, которую вы сделали счастливой, облегчит мне предсмертные минуты. Можете уже не посылать мне двести тысяч франков. Прощайте.

Письмо будет вам переправлено одним заключенным, на которого, я думаю, можно положиться.

Иоганн Фишер».

— Прошу вас простить меня,— с трогательным достоинством сказал маршал Юло князю Виссембургскому.

— Полно! Говори мне по-прежнему «ты», Юло! — возразил министр, пожимая руку своему старому другу.— Бедняга улан лишил жизни только себя самого,— сказал он, бросая на Гектора Юло уничтожающий взгляд.

— Сколько вы взяли? — строго спросил брата граф Форцхеймский.

— Двести тысяч франков.

— Дорогой друг,— обратился граф к министру,— через сорок восемь часов я принесу вам двести тысяч франков. Никто не посмеет сказать, что человек, но-

сящий имя Юло, причинил ущерб государственной казне.

— Какое ребячество! — сказал маршал.— Мне известно, где находятся эти двести тысяч франков, и я возвращу их. Сдайте дела и уходите в отставку! — продолжал он, швырнув лист веленевой бумаги в ту сторону стола, где сидел член государственного совета, у которого поджилки тряслись от страха.— Судебный процесс опозорит всех нас, поэтому я добился от совета министров свободы действий в данном случае. Раз уж вы готовы жить, потеряв честь, потеряв мое уважение, жить опозоренным, вы получите положенную вам отставку. Но постарайтесь, чтобы о вас все позабыли.

Маршал позвонил.

— Чиновник Марнеф здесь?

— Да, ваше сиятельство,— отвечал курьер.

— Позовите его.

— Вы, сударь! — крикнул министр, едва только Марнеф переступил порог кабинета.— Вы и ваша жена умышленно разорили барона д'Эрви, здесь присутствующего.

— Извините, господин министр, я живу только на свое жалованье, а у меня двое детей, причем последний появился в моей семье по милости господина барона.

— Каков мошенник, а? — сказал князь, указывая маршалу Юло на Марнефа.— Довольно болтать, вы тут не Сганареля играете! — продолжал он.— Вы вернете двести тысяч франков или отправитесь в Алжир.

— Но вы не знаете моей жены, *господин министр!* Она все уже промотала. Господин барон приглашал каждый день полдюжины гостей к обеду... Мы расходовали пятьдесят тысяч франков в год.

— Удалитесь! — крикнул министр грозным голосом, прозвучавшим как команда к атаке в разгар сражения.— Через два часа получите приказ о вашем перемещении... Ступайте.

— Я предпочитаю подать в отставку,— дерзко ответчал Марнеф.— Это уж чересчур! Поставить человека в такое положение, да еще вдобавок его побить. Это мне не нравится!

И он вышел.

— Отпетый негодяй! — сказал князь.

Маршал Юло стоял неподвижно в продолжение всей этой сцены, бледный как смерть, украдкой наблюдая за своим братом; теперь он подошел к князю, взял его за руку и повторил:

— Через сорок восемь часов материальный ущерб будет возмещен, но честь!.. Прощай, маршал! Это последний, смертельный удар. Да, я этого не переживу,— прибавил он шепотом.

— Зачем же ты, черт возьми, пришел ко мне? — спросил взволнованный князь.

— Я пришел ради его жены,— отвечал граф, указывая на Гектора.— Она осталась без куска хлеба... а теперь...

— У него есть пенсия.

— Пенсия в закладе.

— Седина в бороду, а бес в ребро! — сказал князь, пожимая плечами.— Каким зельем опаивают вас эти бабы, что вы теряете рассудок? — обратился он к Юло д'Эрви.— На что вы надеялись? Ведь вы знали, с какой щепетильной точностью французские административные органы все учитывают, все протоколируют, изводят целые стопы бумаги, чтобы занести в приход и расход какие-то сантимы? Ведь вы сами плакались, что нужна сотня подписей, чтобы провести самое пустячное дело: отпустить какого-нибудь солдата или купить скребницы для лошадей... Как же вы могли надеяться, что хищение долгое время останется нераскрытым?.. А газеты! А завистники! А люди, которые сами не прочь нагреть себе руки! Или эти бабы вконец лишают вас здравого смысла? Чем это они вам глаза отводят? Или вы созданы иначе, чем мы? Надо было уйти из управления, отказаться от государственной деятельности, раз вы уж не человек, а какая-то сплошная похоть! Помимо преступления, вы натворите еще кучу глупостей и кончите... не хочу говорить, где...

— Обещаешь мне позаботиться о ней, Коттен? — спросил граф Форцхеймский, который не мог слышать их разговора и думал только о своей невестке.

— Будь покоен! — сказал министр.

— Ну, спасибо, и прощай! Идемте, сударь,— сказал маршал Юло брату.

Князь, наружно спокойный, смотрел вслед братьям, столь несхожим между собою и по внешности и по душевному складу: один — храбрец, другой — трус, один — пуританин, другой — сластолюбец, один — честный, другой — казнокрад; и он подумал: «У этого труса не хватит духа умереть! А у бедняги Юло, человека безукоризненно честного, смерть уже стоит за плечами!»

Он сел в кресло и погрузился в чтение депеш, присланных из Алжира.

Во всех его движениях сказывалось хладнокровие полководца и вместе с тем глубокое сострадание, которое вызывает картина поля битвы; ибо военные люди, как бы ни были они суровы с виду, на самом деле глубоко человечны, и нас не должно обманывать их мнимое бесстрастие, которое порождается привычкой к боевой обстановке и необходимо солдату на поле сражения.

На другой день в некоторых газетах под разными рубриками появились следующие сообщения:

«Барон Юло д'Эрви подал в отставку. Причиной его решения явились непорядки в отчетности алжирского отделения интендантства, обнаруженные в связи со смертью одного из чиновников и бегством другого. Узнав о проступках этих лиц, которым он имел несчастье довериться, барон Юло был так потрясен, что с ним тут же, в кабинете министра, случился апоплексический удар.

У господина Юло д'Эрви, брата маршала Юло, сорок пять лет беспорочной службы. Его решение выйти в отставку, от которого все тщетно его отговаривали, было принято с сожалением всеми, кто знал барона Юло и ценил его таланты администратора и его высокие личные достоинства. Всем памятны также его заслуги на посту главного комиссара по снабжению императорской гвардии в Варшаве и его самоотверженная деятельность как организатора различных служб армии, спешно созданной в 1815 году Наполеоном.

Итак, еще один из славных представителей наполеоновской эпохи сходит со сцены. С 1830 года и до последнего дня господин барон Юло состоял непременным членом государственного совета и являлся одним из светил военного министерства».

«*Алжир.*— Так называемое провиантское дело, нелепо раздутое некоторыми газетами, закончилось смертью главного виновника, некоего Иоганна Виша, который покончил с собою в тюрьме; его сообщник бежал, но будет судим заочно.

Виш, бывший поставщик армии, был честный и весьма уважаемый человек; он не мог примириться с мыслью, что его обманул сбежавший Шарден, смотритель складов».

А в «Парижских новостях» было напечатано:

«Господин маршал, военный министр, во избежание в будущем каких-либо непорядков решил учредить особое провиантское управление в Африке. Как говорят, организация этого дела будет поручена столоначальнику министерства, господину Марнеф».

«В связи с вопросом о преемнике барона Юло разгорелись страсти многих честолюбцев. Должность эта, по нашим сведениям, обещана графу Марсиалю де Ла Рош-Югону, депутату, зятю графа де Растиньяка. Господин Массоль, докладчик дел в государственном совете, назначается членом государственного совета, а господин Клод Виньон — докладчиком дел».

Из всех пород *уток* опаснее всего для оппозиционных газет утка официальная. Как бы ни были хитры журналисты, они зачастую бывают вольно или невольно одурачены ловкой игрой своих же коллег, которые, подобно Клоду Виньону, из журналистики перешли в высокие правительственные сферы. Газету могут победить только журналисты. Поэтому должно сказать, перефразируя Вольтера: «*Парижские новости*» *совсем не то, за что их принимают наивные люди.*

Маршал Юло повез к себе своего брата, который поместился на передней скамейке кареты, почтительно предоставив заднее место старшему брату. Братья не обменялись ни единым словом. Гектор был совершенно подавлен. Маршал весь сжался, словно в великом напряжении собирал душевные силы, чтобы выдержать сокрушительный удар. Войдя в свой особняк, он молча, повелительным жестом приказал брату следовать за

собой в кабинет. Некогда граф получил от императора Наполеона пару великолепных пистолетов изделия Версальского завода, они хранились в ларце с выгравированной надписью: «Даровано императором Наполеоном генералу Юло». Вынув из конторки ларец и указав на него брату, старик сказал:

— Вот твое лекарство.

Лизбета, наблюдавшая эту сцену через приотворенную дверь, бросилась к карете и приказала кучеру скакать во весь опор на улицу Плюме. Минут через двадцать она привезла баронессу, которую предупредила об опасности, угрожавшей барону со стороны брата.

А тем временем маршал, не удостаивая Гектора ни одним взглядом, позвонил; явился его фактотум, старый солдат, служивший ему тридцать лет.

— *Скороход,*— сказал ему маршал,— привези ко мне моего нотариуса, а также графа Стейнбока, мою племянницу Гортензию и биржевого маклера. Теперь ровно половина одиннадцатого; надо, чтобы все они были тут к двенадцати часам. Нанимай извозчиков и гони *единым духом!* — добавил он, вспомнив излюбленное республиканцами выражение, которое в былые времена не сходило у него с языка.

И он состроил грозную гримасу, которой, бывало, призывал солдат к вниманию, когда им приходилось в 1799 году прочесывать бретонские кустарники (см. «Шуаны»).

— Слушаюсь, маршал,— сказал Скороход, отдавая честь.

Старик, воротившись в кабинет и по-прежнему не обращая внимания на брата, достал из конторки ключ и отпер малахитовую шкатулку, изнутри окованную сталью, дар императора Александра. В свое время ему довелось, выполняя приказание императора Наполеона, вручить русскому императору некоторое личное имущество, захваченное в сражении при Дрездене; взамен этого Наполеон надеялся получить Вандама. Царь щедро вознаградил генерала Юло, подарив ему эту шкатулку; при этом он сказал, что надеется в будущем оказать французскому императору такую же любезность, но Вандама не отдал. На крышке шкатулки, оправленной в золото, был русский императорский герб, тоже из золота.

Маршал пересчитал банковые билеты и червонцы, хранившиеся в шкатулке; у него оказалось сто пятьдесят две тысячи франков. Старик вздохнул с облегчением. В эту минуту вошла г-жа Юло; при взгляде на нее дрогнули бы сердца самых суровых судей. Она бросилась к Гектору, глядя, как безумная, то на ларец с пистолетами, то на маршала.

— Что вы имеете против брата? Что сделал вам мой муж? — крикнула она таким пронзительным голосом, что маршал расслышал ее слова.

— Он обесчестил нас всех! — с трудом проговорил старый солдат Республики, растравляя этими словами свою рану.— Он обокрал государство! Он сделал мне ненавистным мое собственное имя; он заставляет меня желать смерти, он убил меня... Силы у меня достанет лишь на то, чтобы возместить похищенное!.. Я был опозорен перед князем Виссембургским, ибо этого человека, которого я уважаю превыше всех, как Конде Республики, я несправедливо обвинил во лжи!.. Разве, по-вашему, этого мало? Вот счет, который предъявляет ему отечество!

Старик отер слезу.

— Теперь о его семье! — продолжал он.— Он вырывает у вас из рук кусок хлеба, который я для вас приберегал, плод тридцатилетней экономии, сбережения старого солдата! Я предназначал это для вас! — сказал он, указывая на банковые билеты.— Он убил своего дядю Иоганна Фишера, благородного и достойного сына Эльзаса, который, не в пример ему, не мог вынести мысли, что его честное крестьянское имя будет запятнано. Наконец господь, по неизреченной своей милости, позволил ему избрать среди женщин сущего ангела! Ему выпало неслыханное счастье иметь женой Аделину! И он изменил ей, отравил ей жизнь, променял ее на распутниц, потаскух, плясуний, актрис, на всяких Кадин, Жозеф, Марнеф!.. И этого человека я называл своим сыном, своей гордостью! Уходи же, несчастный, раз ты миришься с жизнью, которую ты сам опозорил, уходи прочь! Я не в силах проклясть брата, ведь я так любил его и так же был слаб в отношении его, как и вы, Аделина; но пусть он больше не попадается мне на глаза. Я запрещаю ему присутствовать на моих похоронах, следовать за

моим гробом. Пусть преступник испытает хоть стыд за содеянное, если он не чувствует угрызений совести...

Маршал сделался бледен и упал на диван, обессиленный своей торжественной речью. Может быть, впервые в жизни у него на глазах показались слезы и скатились по щекам двумя крупными каплями.

— Бедный мой дядюшка Фишер! — вскричала Лизбета, прикладывая платок к глазам.

— Брат! — сказала Аделина, опускаясь на колени перед маршалом.— Вы должны жить ради меня. Помогите мне примирить Гектора с жизнью, чтобы он мог искупить свои грехи...

— Искупить? — повторил маршал.— Да если этот преступник останется в живых, он снова нас опозорит. Человек, который не умел ценить Аделины и угасил в себе чувства истинного республиканца, любовь к родине, к семье и бедному люду, все то, что я старался ему внушить, такой человек — закоренелый негодяй, скот!.. Уведите его, если вы все еще его любите, иначе я послушаюсь голоса своей совести: заряжу пистолеты и прострелю ему голову! Убив его, я спасу вас всех, а этого человека спасу от него самого.

Старый маршал встал с таким грозным видом, что бедная Аделина вскрикнула:

— Идем, Гектор!

Она схватила мужа за руку, увела его из комнаты и вышла вместе с ним из дома маршала; барон покорно шел за женой, еле волоча ноги, так он ослабел; пришлось везти его в извозчичьей карете, а дома он сразу же слег. Несколько дней он пролежал в постели, безучастный ко всему, отказываясь от пищи, не произнеся ни одного слова. Аделина со слезами заставляла его проглотить ложку бульона; она неотлучно находилась возле его кровати, ухаживая за ним, и из всех чувств, недавно переполнявших ее сердце, осталась лишь одна глубокая жалость.

В половине первого Лизбета, неотступно находившаяся при своем дорогом маршале,— так напугала ее происшедшая в нем перемена,— ввела к нему в кабинет нотариуса и графа Стейнбока.

— Граф,— сказал маршал,— я прошу вас подписать разрешение моей племяннице, вашей супруге, на продажу ренты, владелицей которой она является пока без

права пользования доходом.— Мадемуазель Фишер, вы дадите свое согласие на эту продажу, отказавшись от вашего права на проценты?

— Да, дорогой граф,— сказала Лизбета без малейшего колебания.

— Отлично, моя дорогая,— ответил старый солдат.— Надеюсь, я еще поживу немного и успею вас вознаградить. Я не сомневался в вас: вы-то настоящая республиканка, дочь народа.

Он взял руку старой девы и поцеловал ее.

— Господин Ганнекен,— продолжал он, обращаясь к нотариусу,— составьте необходимый документ в форме доверенности. Нужно, чтобы он был готов через два часа, я хочу сегодня же продать ренту на бирже. Все облигации у графини, моей племянницы; она сейчас приедет и подпишет доверенность, как только вы ее принесете; то же сделает и мадемуазель Фишер. Граф отправится с вами и даст свою подпись в вашей конторе.

Художник, по знаку Лизбеты, почтительно поклонился маршалу и вышел.

На другой день в десять часов утра граф Форцхеймский приказал доложить о себе князю Виссембургскому и был немедленно принят.

— Ну-с, мой дорогой Юло,— сказал маршал Коттен, подавая газеты старому другу,— как видите, мы соблюли приличия... Читайте.

Маршал Юло отложил газеты на письменный стол и протянул старому товарищу двести тысяч франков.

— Вот то, что мой брат взял у государства,— сказал он.

— Что за безумие! — воскликнул министр.— Мы не можем провести по документам эту сумму,— прибавил он, взяв из рук маршала слуховую трубку и поднеся ее к самому уху старика.— Это значило бы признать казнокрадство, совершенное вашим братом, а мы уже предприняли все, чтобы замять дело...

— Распорядитесь этими деньгами, как знаете, но я не хочу, чтобы на счету фамилии Юло был хотя бы один лиар, украденный у государства,— сказал граф.

— Я испрошу указаний короля на сей предмет. Не будем больше говорить об этом,— отвечал министр, не надеясь переломить благородное упрямство старика.

— Прощай, Коттен,— сказал Юло, пожимая руку князю Виссембургскому,— чувствую, что у меня сердце холодеет.

Потом, сделав шаг к двери, он оборотился, поглядел на князя, и оба бросились друг к другу в объятия.

— Прощай! — сказал маршал.— Я как будто прощаюсь со всей великой армией...

— Прощай же, мой добрый старый товарищ! — сказал министр.

— Да, прощай, ибо я иду туда, где встречу всех наших солдат, которых мы оплакивали...

В это время вошел Клод Виньон. Два старых обломка наполеоновской армии степенно раскланялись друг с другом, согнав с чела всякий след волнения.

— Надеюсь, вы довольны газетами, князь? — сказал будущий докладчик прошений.— Мне удалось внушить оппозиционным газетам, будто они предали гласности самые наши сокровенные тайны...

— К несчастью, все это уже бесполезно,— сказал министр, провожая глазами маршала, проходившего через приемную.— Я только что с великой болью сказал последнее «прости» своему старому соратнику. Маршал Юло не проживет и трех дней. Я это, впрочем, и вчера понял. Человек, почитавшийся образцом честности, солдат, которого и пули щадили, несмотря на его беззаветную храбрость... вот тут... на этом кресле... получил смертельный удар, да еще от моей руки,— от клочка бумаги!.. Позвоните и прикажите подать мне карету. Я еду в Нейи,— прибавил он, пряча в портфель двести тысяч франков.

Несмотря на заботливый уход Лизбеты, маршал Юло спустя три дня скончался. Такие люди делают честь партии, к которой они принадлежат. Для республиканцев маршал был идеалом патриотизма, и все они присутствовали на его похоронах, собравших несметную толпу народа. Армия, министерство, двор, народ — все пришли отдать последний долг человеку высокой доблести, безупречной честности, воину, покрывшему себя неувядаемой славой. Не всякий удостоится того, чтобы его провожал в могилу народ. Похороны маршала Юло были отмечены одним из тех проявлений тонкости чувства, хорошего вкуса и доброго сердца,

которые нет-нет да и напомнят о заслугах и славе французского дворянства. За гробом маршала шел старый маркиз де Монторан, брат того Монторана, который во время восстания шуанов в 1799 году был противником — и несчастным противником — Юло. Маркиз, павший под пулями синих, умирая, доверил заботы о состоянии своего юного брата солдату Республики (см. «Шуаны»). Юло так добросовестно отнесся к устному завещанию дворянина, что спас имение молодого человека, бывшего тогда в эмиграции. Поэтому старое французское дворянство не преминуло воздать честь солдату, который за девять лет перед тем победил герцогиню Беррийскую.

Эта смерть, случившаяся за четыре дня до последнего оглашения брака маршала с Лизбетой, была для нее ударом молнии, уничтожившей и жатву и житницу. Как это часто случается, дочь Лотарингии хватила через край. Маршал умер от ударов, нанесенных семье Юло ею же самой вкупе с г-жой Марнеф. Ненависть старой девы, казалось бы, утоленная успехами, вдруг возросла от всех ее обманутых надежд. Лизбета отправилась выплакать свою злобу у г-жи Марнеф, ведь она осталась теперь без крова, ибо маршал арендовал дом лишь пожизненно. Кревель, желая утешить друга своей Валери, взял ее сбережения, великодушно удвоил их и поместил весь этот капитал в пятипроцентную ренту, предоставив Лизбете право пользования доходом, а право собственности закрепив за Селестиной. Благодаря такой операции Лизбета сделалась пожизненной обладательницей двух тысяч франков годового дохода. В бумагах маршала нашли записку, адресованную его невестке, племяннице Гортензии и племяннику Викторену, в которой он обязывал всех троих выплачивать ежегодно и пожизненно тысячу двести франков мадемуазель Лизбете Фишер, которая должна была стать его супругой.

Аделине удавалось в течение некоторого времени скрывать кончину маршала от барона, который находился между жизнью и смертью; но через одиннадцать дней после похорон Лизбета явилась в трауре, и роковая истина открылась Гектору. Этот страшный удар пробудил в больном энергию, вернул ему силы; он встал, прошел в гостиную, где собралась его семья, одетая в

траур. Все умолкли при его появлении. За две недели барон Юло обратился в скелет, так он исхудал, и теперь перед глазами близких была лишь его тень.

— Надо незамедлительно принять решение,— сказал он слабым голосом, опускаясь в кресло и оглядывая собравшихся, среди которых не было Кревеля и Стейнбока.

— Мы не можем больше оставаться здесь,— говорила Гортензия в ту минуту, когда отец вошел,— квартира слишком дорога...

— Что касается квартиры,— сказал Викторен, нарушая тягостное молчание,— я предлагаю *нашей матери*...

Услыхав эти слова, исключавшие отца из круга семьи, барон оторвал от ковра свой взгляд, рассеянно скользивший по блеклым его цветам, поднял голову и жалобно посмотрел на адвоката. Так священны права отца, даже если он низок и опозорен, что Викторен умолк на полуслове.

— Вашей матери?..— повторил барон.— Вы правы, мой сын!

— Квартиру над нами, в нашем особнячке,— закончила Селестина фразу, начатую мужем.

— Я вам в тягость, дети?..— сказал барон с кротостью человека, который сам себя осудил.— О, не тревожьтесь за будущее! Вам больше не придется жаловаться на своего отца, он предстанет перед вами только тогда, когда вам уже нечего будет краснеть за него.

Он подошел к Гортензии, взял ее за плечи и поцеловал в лоб. Затем открыл объятия сыну, и тот с отчаянием бросился к отцу, угадывая его намерения. Барон знаком подозвал Лизбету и, когда она подошла, тоже поцеловал ее в лоб. Потом он удалился в спальню, куда за ним последовала Аделина, крайне встревоженная.

— Мой брат был прав, Аделина,— сказал он, взяв ее руку.— Я недостоин жить в кругу семьи. Поведение бедных моих детей было безукоризненно, но я не посмел благословить их открыто. Я только осмелился прижать их к своему сердцу. Объясни им это. Ведь благословение бесчестного отца, ставшего убийцей, бичом своей семьи, тогда как он обязан быть ее покровителем и гордостью,— такое благословение может навлечь только беду.

Но я буду благословлять их издали, каждодневно. А тебя, Аделина, один господь бог, ибо он всемогущ, может вознаградить в меру твоих заслуг! Прости меня,— сказал он, опускаясь на колени перед женой и обливая ее руки слезами.

— Гектор! Гектор! Велики твои грехи, но милосердие божие бесконечно, и, оставшись со мной, ты можешь еще все исправить. Друг мой, вспомни, что ты христианин, и воспрянь духом... Я тебе жена, а не судья. Я твоя вещь, делай со мной все, что захочешь, веди меня туда, куда сам пойдешь, я найду в себе силы утешить тебя; моя любовь, мои заботы и уважение скрасят твою жизнь... Наши дети устроены, они больше не нуждаются во мне. Позволь мне попробовать быть твоей утехой, твоей забавой. Позволь мне разделить с тобою горесть изгнания, нищеты, облегчить твою жизнь. Я тебе на что-нибудь да пригожусь,— ну, хоть избавлю тебя от расходов на служанку...

— Прощаешь ли ты меня, моя дорогая, любимая моя Аделина?

— О да! Но встань же, мой друг!

— Ну, Аделина, твое прощение дает мне силу жить! — продолжал он, подымаясь с колен.— Я ушел сюда, в спальню, чтобы дети не были свидетелями моего унижения. Ах, каково им постоянно видеть преступного отца! Страшное зрелище, которое в корне подрывает отцовскую власть, разрушает семью. Поэтому я не могу оставаться с вами, я ухожу, чтобы избавить вас от присутствия отца, опозорившего себя, отца, лишенного достоинства. Не противься моему бегству, Аделина. Ведь не захочешь же ты своими руками зарядить пистолет, которым я размозжу себе череп... Не следуй за мной, Аделина, иначе ты лишишь меня единственной нравственной опоры: угрызений совести.

Настойчивость Гектора вынудила умолкнуть Аделину, сраженную горем. Эта женщина, обнаружившая истинное величие души перед лицом стольких бедствий, черпала стойкость в надежде на соединение с мужем; она твердо верила, что он будет принадлежать только ей, и перед ней откроется высокая миссия быть его утешительницей, вернуть его в лоно семьи, примирить с самим собой.

— Гектор, ты хочешь, стало быть, чтобы я умерла от отчаяния, тоски, тревоги?..— сказала Аделина, видя, что она лишается последнего источника мужества.

— Я возвращусь к тебе, ангел мой, сошедший с небес, наверно, лишь ради меня! Я возвращусь к вам, если не богатым, то по меньшей мере обеспеченным. Послушай, хорошая моя Аделина, я не могу оставаться здесь по тысяче причин. Прежде всего моя пенсия, исчисляемая в шесть тысяч франков, заложена на четыре года, значит, у меня нет ничего. Но это еще не все! Через несколько дней мне грозит арест из-за векселей, выданных мною Вовине... Итак, я должен исчезнуть до тех пор, пока мой сын, которому я дам точные инструкции, не выкупит этих векселей. Мое исчезновение поможет делу. Когда моя пенсия очистится, когда Вовине будет заплачено, я возвращусь к вам... А с тобой мне было бы трудно сохранить тайну моего изгнания. Будь покойна, не плачь, Аделина... Речь идет лишь о каком-нибудь месяце...

— Куда ты денешься? Что будешь ты делать? Кто позаботится о тебе? Ведь ты уже не молод! Позволь мне скрыться вместе с тобой, мы уедем за границу,— сказала она.

— Хорошо, там увидим,— отвечал он.

Барон позвонил, отдал Мариетте приказание собрать его вещи и, не подымая шума, уложить их поскорее в дорожный баул. Потом, поцеловав жену с непривычною для нее нежностью, попросил на минуту оставить его одного, чтобы он мог написать письмо с указаниями для Викторена; при этом он обещал жене, что не покинет дома раньше ночи и непременно возьмет ее с собой. Не успела баронесса вернуться в гостиную, как хитрый старик прошмыгнул через туалетную комнату в переднюю и вышел на улицу, передав Мариетте клочок бумаги, на котором он написал: «Вышлите мои чемоданы по железной дороге в Корбей на имя господина Гектора, до востребования». Когда Мариетта подала баронессе записку, сказав, что барин только что вышел из дома, он уже катил по Парижу в фиакре. Аделина бросилась в спальню, охваченная сильнейшей дрожью. Услышав ее пронзительный крик, дочь и сын в испуге побежали вслед за ней. Баронесса была без сознания, ее при-

шлось уложить в постель, ибо у нее началась нервная горячка, и целый месяц больная была на краю могилы.

«Где он?» — вот единственное, что от нее слышали.

Поиски, предпринятые Викторе́ном, оказались бесплодными. И вот почему. Барон приказал извозчику везти себя на площадь Пале-Руаяль. Он уже вполне овладел собой и теперь собирался осуществить замысел, созревший в его голове в те дни, когда он, разбитый болезнью и горем, лежал в постели. Барон пешком пересек площадь Пале-Руаяль и взял на улице Жокле великолепную наемную карету. По его приказанию, кучер повез его на улицу Виль-л'Эвек и остановился перед воротами особняка, где жила Жозефа. На окрик кучера, восседавшего на козлах такого превосходного экипажа, ворота сразу же распахнулись. Лакей доложил госпоже, что какой-то немощный старик, не имея сил выйти из экипажа, просит ее сойти на минуту вниз. Жозефа, сгорая от любопытства, в одно мгновение сбежала с лестницы.

— Жозефа, это я!..

Знаменитая актриса узнала Юло только по голосу.

— Как? Неужели это ты, мой старичок?.. Черт побери! Да, ты стал совсем нехорош, ну точь-в-точь монета в двадцать франков, которую немецкие евреи до того подточили, что в меняльных лавках ее не принимают.

— Увы, да! — отвечал Юло.— Я вырвался из когтей смерти! А ты все так же хороша собою! Может быть, ты и добра по-прежнему?

— Смотря в чем... Все относительно! — сказала она.

— Послушай,— продолжал Юло,— не можешь ли ты приютить меня на несколько дней в мансарде, в комнате для слуг? Я оказался без денег, без надежд, без куска хлеба, без пенсии, без жены, без детей, без пристанища, без доброго имени, без капли мужества, без друга и — что хуже всего! — под угрозой долгового обязательства...

— Бедняжка! Сколько у тебя оказалось всяких «без»!.. Неужто и без штанов?

— Ты еще шутишь! Я пропал! А я-то рассчитывал на тебя, как Гурвиль на Нинон!

— И до такого состояния тебя довела, говорят, женщина из общества? — спросила Жозефа.— Эти шельмы умеют почище нас ощипывать индюков!.. Что ты те-

перь? Труп, обглоданный воронами!.. Одни кости остались...

— Время не терпит, Жозефа!

— Входи, мой старенький! Я одна, а люди мои тебя не знают. Отошли экипаж. Карета хоть оплачена?

— Да,— сказал барон. И он вышел из экипажа, опершись на руку Жозефы.

— Можешь назваться моим папашей, если хочешь,— сказала певица, почувствовав к нему жалость.

Она усадила барона в роскошной гостиной, где они виделись последний раз.

— Неужто это правда, старина,— продолжала Жозефа,— что ты доконал брата и дядю, разорил семью, заложил и перезаложил дом своих детей и проглотил со своей принцессой весь провиант из наших африканских складов?

Барон уныло повесил голову.

— Браво! Мне это нравится! — вскричала Жозефа в каком-то восторге и даже вскочила с кресел.— Вот так пожарище! Каков Сарданапал! Широко! Разгульно! Хоть ты и каналья, а сердце в тебе есть. Люблю я таких мотов, как ты, таких одержимых сладострастников! Что толку в этих бездушных, замороженных банкирах? Смотрят святошами, а как начнут прокладывать железные дороги, разорят своими махинациями тысячи семейств. Для них-то самих эти рельсы — чистое золото, а простофиль они пускают по шпалам! А ты что сделал? Разорил? Так только своих близких! Погубил? Так только себя! И потом, у тебя есть оправдание и физическое и нравственное...

Она приняла трагическую позу и проскандировала:

— То Венера сама неотступно преследует жертву свою!

— Фюить! — прибавила она, повернувшись на одной ножке.

Порок отпускал грехи Юло. Порок улыбался ему среди своей сумасшедшей роскоши. Даже самая тяжесть преступления служила тут, как и в суде присяжных, смягчающим обстоятельством.

— А хороша хоть она собою, твоя женщина из общества? — спросила певица, милостиво пробуя для начала развлечь Юло.

— Не так хороша, как ты, но хороша, ей-ей! — тонко польстил барон.

— И как слышно... большая искусница? Что она с тобой проделывала? Она, пожалуй, и меня перещеголяет?

— Не будем говорить об этом,— сказал Юло.

— Говорят, она опутала моего Кревеля, бедного Стейнбока и какого-то великолепного бразильца?

— Очень возможно...

— У нее теперь особняк не хуже моего! Подарок Кревеля. Эта негодяйка стала вроде моей помощницы: я кладу почин, а она приканчивает! Вот почему мне любопытно знать, старина, хороша ли она собою. Я мельком видела ее в коляске, в Булонском лесу, но издали.. Карабина говорила, что это самая отпетая грабительница! Она точит зубы на Кревеля, но ей не удастся его проглотить. Кревель жмот! Добродушный жмот: на все соглашается, а все делает по-своему. Он тщеславен, у него есть страстишки, но на деньги — кремень! От таких скряг не разживешься! Больше двух-трех тысяч в месяц из них не выжмешь. А перед крупными расходами они останавливаются, как осел перед речкой. Не то, что ты, мой старичок, ты — человек страстей, из-за них ты способен родину продать! И зато, видишь ли, я на все для тебя готова! Ты мой крестный папаша, ты пустил меня в ход! А это, знаешь ли, не забывается! Сколько тебе надо? Хочешь сто тысяч франков? Чтобы заработать такие деньги, нужно себя в лоск уложить! А насчет угла и куска хлеба не беспокойся, это пустое дело! Твой прибор всегда будет тебя ожидать, комнату ты можешь занять прекрасную, в третьем этаже, и у тебя каждый месяц будет сто экю на карманные расходы.

Барон, растроганный таким радушием, ощутил в последний раз приступ благородства.

— Нет, моя девочка, я не для того к тебе пришел, чтобы поступить на содержание,— сказал он.

— В твои годы это была бы немалая победа! — заметила она.

— Ты спрашиваешь, чего я хочу, дитя мое? У твоего герцога д'Эрувиля огромные владения в Нормандии, и мне хотелось бы поступить к нему управляющим, под именем

Фуля. У меня есть способности, я честен... Да, да! Ежели человек решается позаимствовать у казны, это еще не значит, что он запустит руку в чужой карман...

— Кто знает! Стоит только начать! — сказала Жозефа.

— Короче говоря, мне надо скрыться года на три.

— Устроить это — минутное дело. Можно нынче же вечером, после обеда,— сказала Жозефа.— Стоит мне только словечко замолвить... Герцог на мне женится, если я захочу. Я держу в руках его состояние, но мне мало этого!.. Я хочу, чтобы он меня уважал. Это герцог самого высокого полета. Настоящий дворянин, вельможа! Он выше Людовика Четырнадцатого и Наполеона, вместе взятых, хотя ростом он карлик. Кстати, я сделала для него не меньше, чем Шонтц для Рошфида: благодаря моим советам он нажил два миллиона. Но послушай, мой старенький пистолет!.. Я тебя знаю, ты любишь женщин и будешь бегать за нормандками. Превосходные девицы! Старики ли, молодежь ли, но тебе обязательно там переломают ребра, и герцогу придется тебя уволить. Уж по одному тому, как ты на меня смотришь, сразу видно, что *юноша* в тебе еще не убит, как сказано у Фенелона! Нет, должность управляющего не по тебе! Видишь ли, старина, с Парижем и с нами не так-то легко порвать! Ты в Эрувиле умрешь от скуки!

— Что же делать? — спросил барон.— Ведь если я воспользуюсь твоей любезностью, то лишь временно, пока не приму какое-нибудь решение.

— Не горюй, старина, хочешь знать, какая мысль пришла мне в голову? Так вот слушай, старый разбойник... Тебе нужны женщины. В них всему найдешь забвение, не так ли? Слушай же меня хорошенько. Под Куртилем, на улице Сен-Мор-дю-Тампль, живет бедное семейство, я его хорошо знаю. У них есть настоящее сокровище: девчонка, да еще такая красотка, какой и я не была в шестнадцать лет! Ай-ай-ай! У тебя уже глаза разгорелись! Она трудится по шестнадцати часов в сутки, расшивая дорогие ткани для торговцев шелками, и зарабатывает шестнадцать су в день, по одному су в час, просто несчастье!.. Вся семья питается, как ирландцы, картофелем, изжаренным, как говорится, на крысином сале; хлеб видят пять раз в неделю, а воду берут из Урка, из

городских труб, потому что вода из Сены чересчур дорого обходится; собственного заведения девочка не может открыть: для этого нужны шесть-семь тысяч франков, а у нее их нет! Она готова принять адские муки, лишь бы добыть эти деньги. Тебе семья и жена наскучили, верно?.. Притом тяжело человеку быть *ничем* там, где он прежде был богом! Отец, потерявший состояние и честь, на что он годится! Разве что сделать из него чучело и выставить под стеклом для всеобщего обозрения.

Барон не мог удержаться от улыбки, слушая эти жестокие шутки.

— Так вот! Малютка Бижу принесет мне завтра расшитую шелками ткань для халатика, пальчики расцелуешь!.. Вся семья трудилась над вышивкой целых полгода. Ни у кого не будет такого халатика! Бижу меня любит, я угощаю ее сластями, дарю старые платья. Посылаю хлеб, дрова, говядину для всей семьи. И эти люди пойдут за меня, если понадобится, в огонь и в воду. Я стараюсь хоть немножко делать добро людям. Ах! Я еще не забыла, что значит быть голодной! Бижу доверила мне свои маленькие тайны. В этой девчурке есть задатки для фигурантки в театре «Амбигю-Комик». Бижу грезит красивыми нарядами, как у меня, а больше всего ей хочется разъезжать в карете. Я скажу ей: «Милочка, не хочешь ли получить господина?..» Тебе сколько? — спросила она, прерывая свою речь,— семьдесят два?..

— У меня уже нет возраста!

— Не хочешь ли ты,— скажу я ей,— получить господина семидесяти двух лет? Он старичок опрятный, табаку не нюхает, крепок, как яблочко, и стоит любого юноши. Ты будешь его побочной супругой. Он отлично заживет вместе с вами, даст вам на мастерскую семь тысяч франков, меблирует тебе всю квартиру красным деревом, а если ты будешь умницей, сведет тебя разок-другой в театр. Он будет давать сто франков в месяц тебе лично, а пятьдесят франков на расходы! Я знаю Бижу! Я сама была такой в четырнадцать лет. Я прыгала от радости, когда этот мерзкий Кревель сделал мне свое гнусное предложение! Ну вот, старик! Ты будешь запрятан туда на три года. Оно благоразумно, пристойно, а иллюзий тут хватит как раз года на три, на четыре...

Юло не колебался, он твердо решил отказаться. Но,

не желая обидеть отказом милейшую, отзывчивую актрису, которая по-своему хотела ему добра, он сделал вид, что в нем идет борьба между Пороком и Добродетелью.

— Вот тебе на! Ты холоден, как мостовая в декабре! — сказала Жозефа с удивлением.— Помилуй! Да ты составишь счастье всего семейства. Ведь дедушка-то еле ноги волочит, мать изводится на работе, а дочери портят глаза, зарабатывая всего тридцать два су в день, притом одна из них дурнушка! Ты этим искупишь все несчастья, какие принес своей семье, все свои грехи и притом будешь веселиться, как лоретка на балу в зале Мабиль.

Юло, желая положить предел искушению, жестом показал, что у него нет денег.

— Будь покоен насчет средств,— возразила Жозефа.— Мой герцог одолжит тебе десять тысяч франков: семь тысяч на вышивальную мастерскую для Бижу, три тысячи на обстановку, и, наконец, шестьсот пятьдесят франков тебе будут выдаваться каждые три месяца под расписку. Когда ты получишь свою пенсию, ты выплатишь герцогу семнадцать тысяч франков. А пока что будешь кататься, как сыр в масле, да еще спрячешься в такую дыру, что никакая полиция тебя не сыщет! Ты облачишься в длиннополый суконный сюртук — ни дать ни взять зажиточный домовладелец. Назовись Фулем, если такова твоя фантазия. Девочке я скажу, что ты мой дядюшка, бежавший из Германии после банкротства, и с тобой станут нянчиться как с каким-то божком! Так-то, папаша! Как знать, может быть, тебе там и понравится. Ну, а если ты невзначай соскучишься, приходи ко мне отобедать и провести со мной вечерок. Сбереги только кое-что из твоего гардероба, чтобы при случае можно было влезть в прежнюю шкуру.

— Я ведь хотел начать порядочную, скромную жизнь! Послушай, Жозефа! Устрой мне заем в двадцать тысяч франков, и я уеду искать счастья в Америку, как мой приятель д'Эглемон, когда Нусинген его разорил...

— Ты? — вскричала Жозефа.— Предоставь блюсти чистоту нравов лавочникам, простым пехотинцам, ф-р-р-ранцузским гражданам, которым, кроме добродетели, и похвалиться нечем! А ты! Ты рожден не для того,

чтобы изображать собою какого-то фофана! Ты среди мужчин то же, что я среди женщин: само беспутство!

— Утро вечера мудренее, поговорим завтра.

— Ты отобедаешь с герцогом. Мой д'Эрувиль примет тебя любезнейшим образом, как будто ты спас государство! А завтра ты решишь, что тебе делать. Ну, ну, старина, веселее! Жизнь — то же, что и одежда: когда она загрязнится, ее чистят, когда продырявится, ее чинят; но одетым надо быть, кто как может!

Эта увлекательная философия порока несколько рассеяла мучительные мысли Юло.

На другой день, в полдень, после вкусного завтрака, Юло увидал одно из тех живых произведений искусства, которые могут быть порождены только Парижем, где тесно уживаются роскошь и нищета, порок и невинность, обузданные желания и неискоренимые искушения,— Парижем, преемником Ниневии, Вавилона и императорского Рима. У Олимпии Бижу, шестнадцатилетней девочки, было божественное лицо Рафаэлевых мадонн, невинные глаза, печальные от непосильного труда, черные, задумчивые глаза, осененные длинными ресницами, глаза, затуманенные усталостью после бессонных ночей, иссушивших их влажный блеск. Но это прекрасное существо с чернокудрой головкой, с лицом фарфоровой, почти болезненной белизны, на котором, как полураскрытый гранат, алел рот и блистала драгоценная эмаль зубов, было облачено в дешевое ситцевое платье с самодельным воротничком, скрывавшее ее стройный стан и трепетную грудь, обуто в козловые башмаки, обряжено в нитяные перчатки, которые уродовали ее прелестные ручки. Ребенок, не знавший себе цены, вырядился в свое лучшее платье, чтобы предстать перед важной дамой. Барон, вновь схваченный когтистой рукой сладострастия, замер, весь обратившись в зрение. Он забыл обо всем, любуясь этим дивным созданием. Он напоминал охотника, который, выследив дичь, взводит курок, присутствуй тут хоть сам император!

— И притом,— шепнула ему Жозефа,— это сама честность с гарантией! А кушать нечего! Таков Париж! Я сама прошла через все это!

— Решено,— отвечал старик, подымаясь с кресел и потирая руки.

Когда Олимпия Бижу ушла, Жозефа лукаво поглядела на барона.

— Если ты не желаешь иметь неприятности, папаша,— сказала она,— будь строг, как генеральный прокурор в заседании суда. Держи девчонку на привязи, будь Бартоло! Берегись Огюстов, Ипполитов, Несторов, Викторов и прочих молодых шалопаев! Ну, конечно! Раз мадемуазель будет одета, сыта, стоит ей только поднять носик, ты будешь одурачен, как какой-нибудь русский князь... Я хочу тебя устроить по-семейному. Герцог готов тебе помочь. Он тебе одолжит... короче, он тебе даст десять тысяч франков, а восемь тысяч внесет своему нотариусу, который будет выдавать тебе шестьсот франков каждые три месяца, потому что тебе-то доверять опасно. Ну, попробуй сказать, что я не мила?

— Очаровательна.

Через десять дней после того, как барон покинул свой дом, как раз в тот час, когда вся семья стояла вокруг постели умирающей Аделины, шептавшей слабым голосом: «Что с ним?» — Гектор Юло, назвавшись Фулем, водворился на улице Сен-Мор, возглавив вместе со своей Олимпией вышивальное заведение, появившееся на свет под фирмой *Фуль и Бижу*.

Для Викторена Юло несчастья, обрушившиеся на его семью, послужили тем последним испытанием, из которого человек выходит или нравственно окрепшим, или опустившимся. На него эти испытания повлияли благотворно. Когда человека настигают житейские бури, он поступает, как капитан на корабле, который во время урагана выбрасывает за борт лишний балласт. Адвокат утратил свое тайное самомнение, свою явную самоуверенность, свою ораторскую спесь и политические притязания. Короче говоря, среди мужчин он стал тем, чем была его мать среди женщин. Он решил примириться со своей Селестиной, которая, конечно, не была воплощением его мечтаний, и стал здраво судить о жизни, поняв, что закон ее обязывает во всем довольствоваться малым. И он дал себе клятву исполнять свой долг семьянина, так ужасало его поведение отца. Чувства эти упрочились в нем у постели больной матери, когда он узнал, что опасность для ее жизни миновала. Радость следовала за радостью. Клод Виньон, который ежедневно справлялся по пору-

чению князя Виссембургского о состоянии здоровья г-жи Юло, пригласил вторично выбранного депутата поехать с ним к министру.

— Его превосходительство,— сказал он,— желает побеседовать с вами касательно ваших семейных дел.

Викторен Юло и министр давно уже были знакомы, и ласковый прием, оказанный адвокату, тем более мог служить добрым предзнаменованием.

— Друг мой,— сказал старый воин,— я дал клятву, вот тут, в этом самом кабинете, дядюшке вашему, взять на себя заботы о вашей матери. Здоровье этой святой женщины, как мне сказали, восстанавливается, настало время залечить ваши раны. У меня имеются для вас двести тысяч франков, я хочу вручить их вам.

Адвокат сделал движение, достойное его дяди, маршала.

— Успокойтесь,— сказал князь с улыбкой.— Это *фидеикомисс*. Мои дни сочтены, я не вечен. Итак, примите эти деньги и замените меня в кругу вашей семьи. Вы можете воспользоваться ими для выкупа заложенного вами дома. Эти двести тысяч франков принадлежат вашей матери и сестре. Если бы я передал эту сумму лично госпоже Юло, она, из преданности мужу, способна была бы их растратить, а ведь те, кто возвращает эту сумму, желают обеспечить именно существование госпожи Юло и ее дочери графини Стейнбок. Вы человек разумный, достойный сын своей благородной матери и племянник моего покойного друга; вас высоко ценят тут, впрочем, как и всюду, дорогой мой. Будьте же ангелом-хранителем своих близких, примите то, что завещано вам вашим дядей и мною.

— Ваше высокопревосходительство,— сказал Юло, пожимая руку министру,— такие люди, как вы, знают, что благодарность на словах ничего не значит; признательность доказывается делами.

— Докажите ее на деле! — сказал старый солдат.

— Что я должен сделать?

— Принять мои предложения,— ответил министр.— Вас желают назначить поверенным по тяжебным делам военного министерства, которое по инженерной части переобременено спорными делами из-за парижских укреплений; затем юрисконсультом полицейской префектуры

и советником по бюджету королевского двора. Эти три должности обеспечат вам оклад в восемнадцать тысяч франков и не лишат вас независимости. Вы по-прежнему будете голосовать в палате сообразно с вашими политическими убеждениями и требованиями вашей совести... Вы свободны в своих действиях, знайте это! Мы были бы в большом затруднении, если бы у нас не было национальной оппозиции! Наконец, желание, изложенное в записке вашего дяди за несколько часов до того, как он испустил последний вздох, определяет мое отношение к вашей матери, которую маршал очень любил!.. Госпожи Попино, де Растиньяк, де Наваррен, д'Эспар, де Гранлье, де Карильяно, де Ленонкур и де Лабасти учредили для вашей матушки должность инспектрисы в их благотворительном обществе. Эти дамы-патронессы не в состоянии все делать сами, они нуждаются в помощи особы с безукоризненной репутацией, которая оказалась бы им полезна: могла бы посещать несчастных, выяснить, не вводят ли милосердие в обман, действительно ли выдано пособие нуждающимся, прийти на помощь бедняку, который сам стыдится просить о помощи, и прочее. Ваша матушка возьмет на себя миссию доброго ангела; иметь дело ей придется только с приходскими священниками и дамами-благотворительницами. Оклад ее составит шесть тысяч франков в год, разъезды оплачиваются дополнительно. Как видите, мой друг, даже в могиле этот благородный человек, человек самых высоких добродетелей, не оставляет родных своими попечениями. Такие имена, как имя вашего дяди, служат и должны служить щитом против несчастий в благоустроенном обществе. Следуйте же по стопам вашего дяди и не уклоняйтесь с этого пути, раз вы уже вступили на него! Я верю вам.

— Такая сердечная внимательность, князь, не удивляет меня со стороны друга моего дяди,— сказал Викторен.— Постараюсь оправдать ваши надежды.

— Ступайте же, утешьте скорее своих близких... Ах, да! Скажите мне,— прибавил князь, обмениваясь рукопожатием с Викторeном,— отец ваш исчез?

— Увы, да!

— Тем лучше. Бедняга поступил умно. Впрочем, ума ему не занимать стать.

— Над ним висела угроза неоплаченных векселей.

— Кстати, вы получите вперед за шесть месяцев гонорар с ваших трех должностей,— сказал маршал.— Деньги эти помогут вам выкупить векселя из рук ростовщиков. Наконец я повидаюсь с Нусингеном, и, может быть, мне удастся освободить пенсию вашего отца без всякого ущерба для вас и нашего министерства. Пэр Франции не убил в Нусингене банкира. Он ненасытен: опять хлопочет о какой-то концессии.

Вернувшись на улицу Плюме, Викторен все обдумал и решил, что может теперь осуществить свое намерение— взять к себе в дом мать и сестру.

Все состояние молодого адвоката заключалось в недвижимости, приобретенной им в 1834 году, как раз перед своей женитьбой, и находившейся на бульварах, между улицей де ла Пэ и улицей Людовика Четырнадцатого. Это было одно из лучших владений в Париже. Какой-то спекулянт выстроил на бульваре два дома, выходивших фасадами — один на бульвар, другой на улицу Людовика, а между этими зданиями, в глубине двора, в саду, приютился прелестный флигель — все, что осталось от великолепного особняка де Верней. Рассчитывая на приданое мадемуазель Кревель, Викторен Юло купил это превосходное владение с торгов за миллион франков, заплатив наличными только пятьсот тысяч. Он занял нижний этаж флигеля, предполагая остальные помещения сдать внаем и квартирной платой погасить долг по покупке дома; но если дома в Париже и доходная статья, однако ж все тут зависит от случая и многих непредвиденных обстоятельств. Парижане, прогуливаясь по городу, вероятно, заметили, что бульвар, в той части, которая находится между улицей Людовика Четырнадцатого и улицей де ла Пэ, только недавно стал отстраиваться; он приводился в порядок и украшался с таким трудом, что Торговля обосновалась там лишь в 1840 году, и лишь тогда в ослепительных витринах лавок засверкало золото менял, появились чудеса мод, плоды сумасшедшей роскоши. Хотя Кревель дал за своей дочерью двести тысяч франков, в то время, когда его самолюбию еще льстил этот брак, а барон еще не посягал на его Жозефу, и хотя Викторен в течение семи лет уже выплатил двести тысяч, все же на его недвижимости еще тяготел долг в пятьсот ты-

сяч франков, что объяснялось сыновней преданностью Викторена отцу. К счастью, постоянное повышение цен на квартиры, тем более в таком красивом месте, через некоторое время окупило оба дома. Спекулятивные расчеты осуществились в течение восьми лет, но за этот срок адвокат исчерпал все свои средства на уплату процентов и на погашение небольшими суммами основного долга. Теперь купцы сами предлагали высокую плату за наем помещений под лавки, с условием сдачи их в аренду на восемнадцать лет. Квартиры вздорожали благодаря перемещению делового центра в этот район, расположенный между биржей и церковью Мадлен, ставший отныне средоточием политической и финансовой власти Парижа. Сумма, врученная Викторену министром, вместе с окладом, выданным за год вперед, и повышение квартирной платы, с согласия съемщиков, снизили долг Юло-сына до двухсот тысяч франков. Два доходных дома, сданные целиком внаем, должны были приносить сто тысяч франков в год. Еще два года Юло-сыну оставалось жить на свои гонорары, удвоенные, однако, окладами по трем должностям, полученным через маршала, и положение всей семьи обещало быть превосходным. Это была манна небесная. Викторен мог теперь предоставить матери весь второй этаж флигеля, а сестре третий этаж, где две комнаты предназначались Лизбете. Под руководством кузины Бетты это тройное хозяйство способно было выдержать любые испытания и даже могло быть поставлено на широкую ногу, как и подобало дому знаменитого адвоката. Светила судебного красноречия быстро меркли, а Юло-сын благодаря обдуманности своих выступлений и неподкупной честности заставлял прислушиваться к себе и судей и советников; он тщательно изучал порученные ему дела, говорил, только опираясь на доказательства, не всякое дело брался защищать,— короче говоря, делал честь адвокатскому сословию.

Квартира на улице Плюме настолько опостылела баронессе, что она охотно переселилась на улицу Людовика Четырнадцатого. Итак, благодаря заботливости сына Аделина жила теперь в прекрасных комнатах и была избавлена от всяких материальных забот, потому что Лизбета с готовностью взяла в руки бразды правления и совершала такие же хозяйственные подвиги, какие она ус-

пешно проделывала в доме г-жи Марнеф,— теперь она видела в этом средство осуществить свои замыслы в отношении трех благороднейших существ, которых она еще сильнее возненавидела после крушения всех своих надежд. Раз в месяц она навещала Валери по поручению Гортензии, желавшей получить вести о Венцеславе, и Селестины, крайне обеспокоенной открытой связью отца с женщиной, которая была причиной разорения ее свекрови и невестки, а также принесла несчастье и ей самой. Надо полагать, что их любопытство было на руку Лизбете: таким образом, она могла видеться с Валери так часто, как ей того хотелось.

Минуло около двух лет, и здоровье баронессы восстановилось, хотя ее нервная дрожь не проходила. Г-жа Юло приступила к исполнению своих обязанностей, оказавшихся для нее благородным средством забвения скорби и дававших удовлетворение высоким запросам ее души. Притом самый характер ее деятельности предоставлял ей возможность вести поиски мужа, ибо случай приводил ее во все кварталы Парижа. За это время векселя Вовине были выкуплены, пенсия барона Юло почти освобождена от долгов. Викторен оплачивал все расходы как матери, так и Гортензии из десяти тысяч франков, составлявших проценты с капитала, переданного маршалом по фидеикомиссу. А так как жалованье Аделины исчислялось в шесть тысяч франков, то эта сумма вместе с пенсией барона приносила матери и дочери двенадцать тысяч франков годового дохода, свободного от всяких обязательств. Бедная женщина чувствовала бы себя счастливой, если бы не вечные тревоги об участи мужа, особенно обидные теперь, когда судьба начинала улыбаться ее семье, если бы не горе покинутой дочери и не страшные удары, *нечаянно* наносимые ей Лизбетой, которая дала полную волю своему сатанинскому характеру.

Впрочем, сцена, разыгравшаяся в начале марта месяца 1843 года, объяснит наглядно, к чему приводила упорная и скрытая ненависть Лизбеты, по-прежнему поощряемой г-жой Марнеф. За это время в жизни г-жи Марнеф произошли два больших события. Во-первых, она произвела на свет мертвого ребенка, могила которого стоила ей двух тысяч франков ренты. Вторая новость касалась самого г-на Марнефа, и новость эту одиннадцать

месяцев тому назад сообщила Лизбета, вернувшись однажды из особняка Марнефов, куда она ходила на разведку.

— Нынче утром эта ужасная Валери,— рассказывала она,— пригласила доктора Бьяншона, чтобы узнать, не ошиблись ли врачи, которые накануне приговорили ее мужа к смерти. Бьяншон сказал, что в эту же ночь негодяй попадет в ад, где его давно уже поджидают. Папаша Кревель и госпожа Марнеф провожали врача до самых дверей, и ваш отец, дорогая моя Селестина, раскошелился на пять червонцев в награду за такую добрую весть. Воротившись в гостиную, Кревель начал выкидывать такие коленца, что твой плясун! Бросился обнимать свою Валери, кричал: «Наконец-то ты станешь госпожой Кревель!..» Ну-с, а когда она ушла дежурить подле постели своего хрипевшего муженька и мы с Кревелем остались одни, ваш почтенный папаша сказал: «С такой женой, как Валери, я сделаюсь пэром Франции! Куплю землю, за которой давно охочусь, имение Прель,— госпожа Серизи хочет его продать. Я буду называться Кревель де Прель, сделаюсь членом генерального совета Сены-и-Уазы и депутатом. Заведу себе сына! Добьюсь всего, чего захочу!» — «Ну-те,— сказала я,— а ваша дочь?» — «Большое дело! — отвечал он.— К тому же она стала чересчур Юло, а Валери терпеть не может это отродье... Мой зять ни разу не пожелал явиться сюда. К чему он разыгрывает какого-то ментора, спартанца, пуританина, филантропа? Впрочем, я покончил счеты с дочерью: она получила все состояние матери да еще двести тысяч франков в придачу! Теперь я сам себе хозяин! Вот посмотрим, как будут вести себя мой зять и дочь, когда я женюсь. Обойдутся хорошо с мачехой, тогда и я их не забуду! У меня характер решительный!» Словом, наговорил кучу всяких глупостей! А сам стоит в своей излюбленной позе,— настоящий Наполеон на Вандомской колонне!

Десять месяцев официального вдовства, положенного кодексом Наполеона, истекли несколько дней тому назад. Имение Прель было куплено. Викторен и Селестина в то же утро послали Лизбету к г-же Марнеф узнать, что слышно о браке этой прелестной вдовы с парижским мэром, ставшим членом генерального совета Сены-и-Уазы.

Селестина и Гортензия, которых еще больше сблизи-

ла жизнь под одной кровлей, были теперь почти неразлучны. Баронесса, со свойственным ей чувством долга, отдавала все силы выполнению своих служебных обязанностей, самоотверженно играя роль посредницы при благотворительном комитете, и почти всякий день от одиннадцати до пяти часов отсутствовала. Невестки, связанные заботами о детях, за которыми они присматривали сообща, сидели дома и занимались рукоделием. Они не боялись высказывать вслух все свои мысли, являя собою трогательное единение двух сестер, одной — счастливой, другой — несчастной. Гортензия, прекрасная, оживленная и остроумная, с беспечной улыбкой на устах, была сама жизнь, но ее внешность противоречила действительному ее положению несчастной женщины; другая сестра — счастливица — всегда была рассудительна, как само благоразумие, замкнута в себе и внушала мысль, что у нее есть какое-то тайное горе. Может быть, именно этот контраст и способствовал их горячей дружбе. Эти две женщины дополняли друг друга. Сидя в беседке, в глубине садика, спасенного от застройки прихотью владельца, который пожелал сохранить для себя этот клочок земли в сто квадратных футов, они любовались свежей листвой сирени, праздником весны, особенно радостным в Париже, где полгода парижане живут, позабыв, что такое зелень, замкнутые среди каменных утесов, между которыми волнуется человеческий океан.

— Селестина,— сказала Гортензия в ответ на жалобы невестки, что муж ее в такую прекрасную погоду принужден сидеть в палате,— я нахожу, что ты недостаточно ценишь свое счастье. Викторен — это ангел, а ты порою его изводишь.

— Дорогая, мужчины любят, чтобы их изводили! Придирки подчас — лучшее доказательство привязанности. Если бы твоя бедная мать не то что настаивала на своих правах, но хотя бы умела заявить о них, вам, наверное, не пришлось бы оплакивать свою судьбу.

— Лизбета что-то долго не возвращается! Придется спеть песенку о Мальбруке! — сказала Гортензия.— Мне не терпится получить весточку о Венцеславе!.. На какие средства он живет? Он ничего не сделал за два года.

— Викторен говорил мне, что видел его на днях с этой мерзкой женщиной, и думает, что она сознательно

поощряет в нем леность... Ах, если бы ты, милая сестра, захотела, ты могла бы еще вернуть своего мужа.

Гортензия отрицательно покачала головой.

— Поверь, что твое положение вскоре станет невыносимым,— продолжала Селестина.— В первое время гнев, отчаяние, негодование придали тебе силы. Потом на нашу семью обрушились неслыханные несчастья: две смерти, разорение, катастрофа с бароном Юло, естественно, что все это заняло твои мысли и сердце. Но теперь, когда ты живешь в тишине и покое, не легко тебе будет переносить пустоту такой жизни; а так как ты не можешь и не хочешь сойти с честного пути, тебе придется помириться с Венцеславом. Викторен — а он тебя очень любит — такого же мнения. Есть нечто сильнее наших чувств — это природа!

— Но ведь он негодяй! — вскричала гордая Гортензия.— Он любит эту женщину, потому что она кормит его... Она заплатила его долги!.. Боже мой! Я день и ночь думаю, в какое положение поставил себя этот человек! Он отец моего ребенка и позорит себя...

— Взгляни на свою мать, милочка...— сказала Селестина.

Селестина принадлежала к той породе женщин, которые, несмотря ни на какие доводы, достаточно убедительные даже для бретонских крестьян, возвращаются в сотый раз к своим первоначальным решениям. Черты ее заурядного лица, несколько плоского и холодного, светло-каштановые волосы, гладко причесанные на пробор, цвет кожи — все изобличало в ней женщину рассудительную, лишенную обаяния, но не лишенную воли.

— Баронесса мечтает быть подле своего опозоренного мужа, утешить его, укрыть от посторонних глаз, дать ему приют в своем сердце,— продолжала Селестина.— Она приготовила наверху комнату для господина Юло, словно надеется, что не сегодня-завтра ей удастся отыскать его и вернуть в семью.

— О, моя мать святая женщина! — отвечала Гортензия.— И она была святой каждую минуту, каждый день своей жизни все эти двадцать шесть лет, но у меня другой темперамент. Что станешь делать! Иной раз я сама на себя негодую. Ах, Селестина, ты не знаешь, что значит мириться с подлостью!

— А мой отец?..— спокойно возразила Селестина.— Разве он не на том же пути, который привел твоего отца к гибели! Правда, мой папа на десять лет моложе барона, к тому же он бывший коммерсант... Но чем все это кончится? Госпожа Марнеф сделала из отца свою собачонку, она распоряжается его состоянием, его мыслями, и ничто не может его образумить. Я с трепетом ожидаю, что вот-вот будет опубликовано извещение о его браке! Муж пытается помешать этому, он считает своим долгом отомстить за оскорбление общества, за семью и потребовать у этой женщины отчета во всех ее преступлениях. Ах, дорогая моя Гортензия, когда у людей такой благородный образ мыслей, как у Викторена, и такие неискушенные сердца, как у нас с тобой, поздно они начинают понимать, что такое свет и к каким коварным средствам в нем прибегают! Милая сестра, то, что я тебе скажу,— тайна, но я тебе ее доверяю, потому что она касается тебя. Но только ни словом, ни жестом не выдай ее ни Лизбете, ни твоей матери, никому, потому что...

— Вот и Лизбета! — сказала Гортензия.— Ну-с, кузина, как идут дела в аду, на улице Барбе?

— Скверно для вас, дети мои. Твой муж, Гортензия, в упоении от этой женщины, больше чем когда-либо. Но надо правду сказать: она и сама пылает к нему бешеной страстью. Ваш отец, дорогая Селестина, уже совершенно ослеплен. Даже в сравнение не идет с тем, что мне приходилось наблюдать раньше каждые две недели, и, право, я счастлива, что мне не довелось узнать, что такое мужчины... Настоящие животные! Ровно через пять дней Викторен и вы, милочка, потеряете отцовское наследство!

— Оглашение состоялось? — спросила Селестина.

— Да,— отвечала Лизбета.— Я только что из-за вас ломала копья. Я сказала этому извергу, который идет по стопам другого, что если он хочет вывести вас из стесненного положения и освободить ваш дом от долгов, то в благодарность вы примете вашу мачеху...

Гортензия вздрогнула от ужаса.

— Пусть решает Викторен...— холодно сказала Селестина.

— И знаете, что мне ответил господин мэр? — продолжала Лизбета: — «Я не хочу выводить их из стесненного положения; норовистых лошадей обуздывают, ли-

шая их сна, овса и сахара!» Право, барон Юло, и тот держал себя достойнее господина Кревеля... Так, стало быть, бедные вы мои детки, облекайтесь в траур по случаю потери наследства. А какое было богатство! Ваш отец заплатил три миллиона за имение Прель, и у него еще остается тридцать тысяч франков годового дохода! Ну, от меня-то он ничего не скрывает! Он поговаривает о покупке особняка Наварренов на улице Бак. Госпожа Марнеф лично имеет сорок тысяч франков годового дохода. Ага! Вот и наш ангел-хранитель! Вот твоя мать!..— воскликнула она, услыхав шум экипажа.

Баронесса действительно сошла у подъезда и вскоре присоединилась к своим. Испытав столько горя, страдая нервной дрожью, создававшей впечатление постоянного озноба, баронесса Юло, побледневшая и постаревшая, все же и в пятьдесят пять лет сохранила тонкие черты лица, врожденное благородство осанки. О ней говорили: «Она, как видно, была очень красива!» Постоянная тревога за судьбу пропавшего мужа снедала ее душу; ей так хотелось разделить с ним прелесть уединенной и спокойной жизни в этом оазисе посреди Парижа, порадоваться наступающему в их семье благоденствию, но сама она уже представляла лишь руину, правда, прекрасную в своем величии. Всякий раз, как угасал проблеск надежды, всякий раз, как ее поиски оказывались напрасными, Аделина впадала в черную меланхолию, удручавшую ее детей. Нынче баронесса уехала рано утром, несколько обнадеженная, и ее возвращения ожидали с нетерпением. Один из главных интендантов, обязанный Юло своей карьерой, рассказал, что видел барона в ложе театра «Амбигю-Комик» с женщиной ослепительной красоты. Аделина помчалась к барону Вернье. Этот высокий сановник подтвердил, что действительно видел своего прежнего покровителя в обществе дамы, с которой, судя по его обращению с ней, он находится в самых коротких отношениях; Вернье счел нужным добавить, что барон уклонился от встречи с ним и покинул театр задолго до окончания спектакля. «Он вел себя, как человек женатый, а его одежда выдает скрытую нужду»,— сказал он в заключение.

— Ну что? — разом спросили три женщины баронессу.

— Ну что ж, Гектор находится в Париже; а для меня уже счастье знать, что он где-то вблизи нас,— отвечала баронесса.

— Непохоже, чтобы он исправился! — сказала Лизбета, когда Аделина окончила свой рассказ о свидании с бароном Вернье.— Он, верно, связался с какой-нибудь швейкой. Но откуда у него деньги? Держу пари, что берет их у своих прежних любовниц, у Женни Кадин или Жозефы.

Нервная дрожь баронессы вдруг усилилась, она отерла слезы и скорбно посмотрела на небо.

— Не верю, чтобы кавалер большого креста Почетного легиона мог пасть так низко,— сказала она.

— Чего только он не сделает ради своего удовольствия? — возразила Лизбета.— Он обокрал казну, может обокрасть и частных людей, может убить...

— О Лизбета! — воскликнула баронесса.— Потрудись держать свои мысли про себя!

В ту самую минуту, когда двое детишек Викторена Юло и малыш Венцеслав обшаривали бабушкины карманы в поисках сластей, семейную идиллию нарушила Луиза.

— В чем дело, Луиза? — спросили ее.

— Какой-то человек спрашивает мадемуазель Фишер.

— Что это за человек? — сказала Лизбета.

— Да какой-то оборванец, мадемуазель, весь в пуху, будто матрацник! Нос красный, изо рта несет винищем... Он, видно, из тех мастеров, у которых что ни день, то праздник.

Это малопривлекательное описание произвело такое впечатление на Лизбету, что она сорвалась с места и бросилась во двор дома, выходившего на улицу Людовика, где и натолкнулась на субъекта, который попыхивал на диво обкуренной трубкой.

— Что вам надо, папаша Шарден? — спросила она.— Ведь мы условились, что каждый месяц, в первую же субботу, вы будете приходить к воротам особняка Марнефов на улице Барбе-де-Жуи. Я только что оттуда, ждала вас целых пять часов, а вы не пришли!..

— Я там был, премногоуважаемая и милосердная барышня,— отвечал матрацник.— Но, видите ли, в «Кафе мудрецов» на улице Ветрогонов представился случай

сыграть партию на честное слово, а ведь у каждого своя страстишка. Моя слабость — бильярд. Кабы не бильярд, я бы ел и пил на серебре; потому что, вникните в это хорошенько,— сказал он, разыскивая какую-то бумажку в поясном кармане рваных штанов,— бильярд требует рюмочки сливянки... Оно, конечно, разорительно, и даже, скажу, не бильярд, а вот эти самые прибавочки. Я помню наказ, да уж больно нашего старика припекло, вот я и нарушил запретную зону... Кабы наш пуховик был, как пуховик, на нем еще можно было бы соснуть, а то ведь одна труха! Бог не про всех, как говорится,— и у него есть любимчики, на то его право. Получите вот посланьице от вашего почтенного родича и великого любителя пуховиков... Такие уж у него политические убеждения.

И папаша Шарден попытался начертить в воздухе зигзаги указательным пальцем правой руки.

Лизбета, не слушая его, прочла следующие две строки:

«Дорогая кузина, будьте моим провидением! Дайте мне триста франков сегодня же.

Гектор».

— На что ему столько денег?

— Хозяин прижимает! — сказал папаша Шарден, выписывая в воздухе свои арабески.— Ну, да и сынок мой воротился из Алжира через Испанию, Байону, и... не украл ничего, против обыкновения; видите ли, сын мой, с вашего позволения, отпетый *шильник*. Что прикажете! Кушать хочется! Ну, да вам-то он отдаст то, что мы ему одолжим, ведь он хочет открыть какое-то *обчество*. Голова у него работает и заведет его далеко...

— До исправительной полиции,— подсказала Лизбета.— Он убийца моего дяди! Я ему этого не забуду.

— Он-то? Да он и цыпленка не способен зарезать, уважаемая барышня!

— Держите, вот триста франков,— сказала Лизбета, вынимая из кошелька пятнадцать золотых монет.— Уходите и никогда больше сюда не являйтесь.

Она проводила отца вышеупомянутого смотрителя провиантского склада в Оране до самого выхода и, указывая привратнице на старого пьяницу, приказала:

— Всякий раз, как этот старик придет сюда, если только придет, не впускайте его, говорите, что меня нет

дома. А если он будет спрашивать господина Викторена Юло или баронессу, отвечайте, что не знаете этих особ.

— Слушаюсь, барышня.

— А если оплошаете, даже случайно, вы лишитесь места,— шепнула старая дева на ухо привратнице.— Кузен! — обратилась она к адвокату, возвращавшемуся домой,— вам угрожает большое несчастье.

— Что случилось?

— Через несколько дней у вашей жены будет мачеха, госпожа Марнеф.

— Ну, мы еще посмотрим,— ответил Викторен.

Вот уже шесть месяцев Лизбета аккуратно выплачивала маленькую пенсию своему покровителю, барону Юло, которому она сама теперь покровительствовала. Она знала, где он живет, и наслаждалась слезами Аделины; а всякий раз, когда ей случалось видеть кузину повеселевшей и полной надежд, она приговаривала: «Постойте, скоро вы еще прочтете имя моего бедного кузена в судебной хронике». Но она и тут зашла чересчур далеко в своей мстительности. Викторен насторожился и решил покончить с этим дамокловым мечом, на который постоянно намекала Лизбета, а также и с демоном в женском обличье, который принес его матери и всей семье столько горя. Князь Виссембургский, знавший о поведении г-жи Марнеф, оказывал поддержку тайным действиям адвоката. Он обещал ему, в качестве председателя совета министров, негласное вмешательство полиции, чтобы образумить Кревеля и спасти его состояние от когтей «этой чертовской куртизанки», которой он не простил ни смерти маршала Юло, ни разорения и гибели члена государственного совета.

«Берет деньги у своих бывших любовниц!» Эти слова Лизбеты мучили баронессу всю ночь напролет. Подобно безнадежно больному, который отдается в руки шарлатанов, подобно человеку, дошедшему до последнего круга Дантова ада, или утопающему, который хватается за соломинку, она, даже не допускавшая мысли о столь глубоком падении мужа, в конце концов поверила Бетте и решила обратиться к помощи одной из этих страшных женщин. Поутру, не посоветовавшись с детьми, не сказав

никому ни слова, она направилась к Жозефе Мирах, примадонне Королевской музыкальной академии, где Аделине предстояло обрести или потерять надежду, блеснувшую, как блуждающий огонек. В полдень горничная знаменитой певицы подала своей госпоже визитную карточку баронессы Юло и доложила, что посетительница ожидает у подъезда и спрашивает, может ли мадемуазель ее принять.

— Комнаты убраны?

— Да, мадемуазель.

— Свежие цветы принесли?

— Да, мадемуазель.

— Скажи Жану, чтобы он, прежде чем пригласить эту даму в гостиную, хорошенько посмотрел, все ли там в порядке. И прикажи ему обходиться с ней как можно учтивее. Иди и возвращайся скорее, поможешь мне одеться. Я хочу быть сногсшибательной! — Она оглядела себя в зеркало.— Расфрантимся в пух и прах! — сказала она самой себе.— Пусть порок предстанет перед добродетелью во всеоружии! Бедная женщина! Что она от меня хочет?.. Право, я даже волнуюсь, ожидая увидеть

Она не успела допеть знаменитую арию, как в комнату вошла горничная.

— Сударыня,— сказала горничная,— эта дама вся дрожит, точно ее трясет лихорадка...

— Предложите ей флердоранжа, рому, бульону!..

— Предлагала, мадемуазель, но она от всего отказывается, говорит, что это легкое недомогание, расстройство нервов...

— Куда вы ее проводили?

— В большую гостиную.

— Поскорей, душенька! Ну-ка, дай мои любимые туфли, халатик, расшитый Бижу, и кружево... облако кружев! Убери мне голову так, чтобы эта женщина диву далась... Имей в виду, что она совсем не то, что я! А даме пусть скажут... (Это очень важная дама, душенька моя! И больше того — она то, чем ты никогда не будешь: святая женщина, молитвы которой освобождают души из вашего христианского чистилища!) Так пусть ей скажут, что я еще в постели, что вчера я играла, что я только что встаю...

Баронесса, оставшись одна в большой гостиной особняка Жозефы, не заметила, как прошло время, хотя она ожидала добрых полчаса. Гостиная, заново отделанная с водворением Жозефы в этом особнячке, была обита шелком цвета массака и изукрашена позолотой. Пышность, с какой некогда вельможи обставляли свои покои, о чем свидетельствуют великолепные останки былых безумств, доведена до совершенства современными мастерами,— ведь только в наши дни научились поддерживать в целой анфиладе комнат ровную температуру благодаря калориферам с невидимыми отдушинами. Баронесса осматривала в глубочайшем удивлении убранство этой гостиной. И тут она поняла, на что уходят целые состояния, расплавленные в горниле, в котором Наслаждение и Тщеславие разжигают всепожирающий огонь! Двадцать шесть с лишним лет она провела среди холодных реликвий былого императорского великолепия, созерцая поблекшие узоры ковров, потускневшую бронзу, шелка, изношенные, как и ее сердце, и вдруг ей открылась роковая власть Порока, вызвавшего к жизни всю эту роскошь. Можно ли было не завидовать всем этим прекрасным вещам, безыменным шедеврам нынешних мастеров, которые создают славу Парижа и снабжают Европу произведениями французского искусства. Тут каждая вещь поражала своим неповторимым совершенством. Образцы, с которых были отлиты в бронзе и изваяны в мраморе все эти статуи и статуэтки, были уничтожены, и поэтому каждая вещь представляла собою настоящую редкость. Таково последнее слово современной роскоши. Обладать вещами, не опошленными двумя тысячами разбогатевших мещан, которые кичатся предметами роскоши, загромождающими модные лавки, и мнят себя обладателями сокровищ,— вот в чем признак настоящей роскоши, роскоши современных вельмож, этих падающих звезд парижского небосвода! Глядя на пышно отделанные бронзой жардиньерки во вкусе изделий Буля, с редкостными экзотическими цветами, баронесса почти с ужасом думала о том, какие сокровища собраны в особняке певицы. Мысль сама собой обратилась на ту, вокруг которой сосредоточилась вся эта роскошь. Аделина подумала, что Жозефа Мирах, портрет которой, кисти Жозефа Бридо, блистал в соседнем будуаре, была, верно, гениальной пе-

вицей, вроде Малибран, и она ожидала увидеть настоящую львицу. Она пожалела, что пришла сюда. Но, движимая чувством столь властным, столь естественным, столь лишенным всякого расчета,— чувством преданности, она собрала все свое мужество, решив выдержать эту встречу. Притом, ей представлялся случай удовлетворить жгучее любопытство, понять, в чем кроется тайна обаяния этих женщин, умеющих добывать груды золота из оскудевших недр Парижа. Баронесса оглядела себя в зеркале, чтобы убедиться, не является ли она мрачным пятном среди этой роскоши; но бархатное платье с шемизеткой и воротничком из великолепных кружев отлично сидело на ней, бархатная шляпка того же цвета была ей к лицу. Убедившись, что она все еще величественна, как королева, которая не теряет своего величия, даже будучи развенчана, Аделина подумала, что благородство несчастья стоит благородства таланта. Где-то вдалеке хлопнула дверь, и наконец появилась Жозефа. Певица напоминала Аллориеву Юдифь, запечатлевшуюся в памяти всех, кто видел эту картину в палаццо Питти, у входа в большую залу; та же гордая поза, то же дивное лицо, те же черные, небрежно подобранные волосы и желтый, весь расшитый цветами, халат, совершенно схожий с парчовым одеянием, в которое облачена бессмертная мстительница, воссозданная кистью племянника Бронзино.

— Баронесса, я смущена честью, которую вы мне оказываете своим посещением,— сказала певица, решившая как можно лучше сыграть роль светской дамы.

Она придвинула баронессе кресло, а сама села на низенький табурет. Следы былой красоты Аделины не ускользнули от внимания актрисы, а нервическое дрожание ее рук и головы вызвало у нее глубокую жалость. Одним взглядом она прочла всю повесть этой чистой жизни, памятную ей еще из описаний Юло и Кревеля, и не только потеряла всякое желание соперничать с этой женщиной, но преклонилась перед величием ее души. Вдохновенную артистку восхищало то, над чем смеялась куртизанка.

— Мадемуазель, меня привело сюда отчаяние, которое не выбирает средств.

По едва уловимому движению Жозефы баронесса по-

няла, что оскорбила женщину, от которой ожидала столь многого, и взглянула на актрису. Ее умоляющий взгляд потушил огонь, загоревшийся в глазах Жозефы, и та улыбнулась. Между двумя женщинами разыгралась немая драматическая сцена.

— Вот уже два с половиной года, как господин Юло покинул семью, и я не знаю, где он, хотя мне известно, что живет он в Париже,— заговорила баронесса взволнованным голосом.— Я видела сон, который навел меня на мысль, возможно, нелепую, что вы интересуетесь судьбою господина Юло. Если бы вы доставили мне возможность с ним увидеться... Ах, мадемуазель, я стала бы молиться за вас до конца своих дней!..

Две крупные слезы, упавшие из глаз певицы, были ответом на эти слова.

— Сударыня,— сказала она с чувством глубокого самоуничижения,— я причинила вам зло, не зная вас; но теперь, когда я имею счастье видеть в вашем лице высший образ добродетели, какая только может существовать на земле, поверьте, я чувствую свою вину и искренне раскаиваюсь. Знайте, что я готова на все, лишь бы исправить содеянное!

Она взяла руку баронессы и, прежде чем та успела помешать, поцеловала эту руку самым почтительным образом, и более того — она смиренно опустилась перед Аделиной на колени. Потом встала, гордая, как при выходе на сцену в роли Матильды, и позвонила.

— Поезжайте,— сказала она лакею,— скачите верхом, загоните лошадь, если понадобится, но найдите мне Олимпию Бижу, что живет на улице Сен-Мор-дю-Тампль; привезите ее ко мне, возьмите карету, заплатите кучеру, чтобы он гнал во весь дух! Живее! Не теряйте ни минуты... или я откажу вам от места. Сударыня,— проникновенным голосом сказала она, обращаясь к баронессе,— вы должны простить меня. Как только герцог д'Эрувиль стал моим покровителем, я отстранила от себя барона, узнав, что ради меня он разоряет свою семью. Что я могла еще сделать? Вступая на театральное поприще, мы все нуждаемся в покровительстве. Актерское жалованье не покрывает и половины наших расходов, вот мы и берем себе временных мужей... Я не слишком дорожила господином Юло, ради которого мне пришлось бросить одного богача,

тщеславного дурака. Папаша Кревель, наверное, женился бы на мне...

— Да, он говорил мне об этом,— сказала баронесса, прерывая ее.

— Ну, вот видите, сударыня! Я была бы теперь честной женщиной, стоило мне только обзавестись законным мужем!

— У вас есть оправдание, мадемуазель,— сказала баронесса.— Господь милостив! Я далека от мысли в чем-либо упрекать вас; наоборот, я пришла к вам просить вашей помощи и заранее благодарю вас за все, что вы для нас сделаете.

— Сударыня, вот уже скоро три года, как я опекаю господина барона...

— Вы? — вскричала баронесса со слезами на глазах.— Ах! Чем могу я отблагодарить вас? Я могу только молиться...

— Я и герцог д'Эрувиль,— продолжала актриса.— У герцога благородное сердце, он настоящий джентльмен...

И Жозефа рассказала историю «сватовства» папаши Фуля и переселения его на новую квартиру.

— Стало быть, благодаря вам, мадемуазель,— сказала баронесса,— мой муж не нуждался ни в чем?

— Мы все делали для этого, сударыня.

— А где он находится?

— Месяцев шесть тому назад герцог говорил мне, что барон, известный у нашего нотариуса под именем Фуля, истратил те восемь тысяч франков, которые должны были ему выдаваться по частям каждые три месяца,— отвечала Жозефа.— Ни я, ни господин д'Эрувиль с тех пор ничего о нем не слышали. Наша жизнь так занята, так наполнена, что у меня не было возможности следить за папашей Фулем. И надо было случиться, чтобы моя вышивальщица, та самая Бижу, его... как бы это выразиться?

— Его любовница,— подсказала г-жа Юло.

— Его любовница,— продолжала Жозефа,— за эти полгода не приходила ко мне ни разу. Мадемуазель Олимпия Бижу могла «развестись» с ним. Разводы в нашем округе частенько случаются.

Жозефа встала, выбрала самые редкие цветы в жар-

диньерках и составила прелестный букет для баронессы, надо сказать, совсем того не ожидавшей. Подобно нашим добрым буржуа, принимающим гениальных людей за каких-то чудищ, которые едят, пьют, ходят, говорят не так, как все люди, баронесса воображала, что перед ней предстанет Жозефа-обольстительница, Жозефа-жеманная актриса, остроумная и сладострастная куртизанка, а ее встретила спокойная, серьезная женщина, овеянная ореолом дарования, актриса, державшая себя с царственной простотой, и вместе с тем падшая женщина, которая всем своим поведением, взглядами, жестами выказывала полное, безусловное преклонение перед женщиной добродетельной, этой mater dolorosa церковных песнопений, осыпая ее раны цветами, как в Италии осыпают цветами мадонну.

— Сударыня,— докладывал через полчаса лакей — Мамаша Бижу уже в дороге. А на дочку вряд ли можно рассчитывать. Ваша вышивальщица сама стала барыней, она сочеталась браком...

— Незаконным? — спросила Жозефа.

— О нет, сударыня! Самым законным. Теперь она, слыхать, хозяйка шикарного заведения. У ее мужа модный магазин на Итальянском бульваре. В это дело ухлопаны миллионы! А свое-то заведение она оставила сестрам и матери. Она теперь прозывается госпожой Гренувиль. И этот толстяк купец...

— Еще один Кревель?

— Так точно, сударыня,— сказал лакей, не поняв шутки.— Так вот, этот самый торговец записал за девицей Бижу тридцать тысяч франков ренты в брачном контракте. Старшая сестра, слыхать, тоже выходит замуж за богатого мясника.

— Ваше дело, сударыня, как мне кажется, безнадежно,— сказала певица баронессе.— Барона уже нет там, где я его поместила.

Десять минут спустя доложили о приходе госпожи Бижу. Жозефа из предосторожности провела баронессу в будуар и опустила портьеру.

— Вы будете смущать мою гостью,— сказала она баронессе.— Мамаша Бижу ничего не расскажет, если увидит, что вы интересуетесь ее новостями! Лучше я поисповедую ее наедине! Спрячьтесь за занавесом, и вы все

услышите. Такие сцены часто разыгрываются в жизни, а не только в театре!

— Ну-с, мамаша Бижу! — сказала певица, обращаясь к старухе, одетой в платье из так называемого *тартана* и похожей на принаряженную привратницу.— Вы, должны быть, довольны? Вашей дочке повезло?

— Довольна? Э! Что придумала! Дочка дает нам сто франков в месяц, а сама катается в карете и кушает на серебре. Она мильонщица! Олимпия могла бы обеспечить нас на старости лет... Виданное ли дело! Работать в мои годы?.. То-то сказать, облагодетельствовала!..

— Олимпия не имеет права быть неблагодарной, она вам обязана своей красотой,— сказала Жозефа.— Но почему она не пришла ко мне? Я вытянула ее из нищеты, сосватав с моим дядей...

— С кем? С папашей Фулем, сударыня?.. Чего вы хотите? Этакий дряхлый старикашка... прямо сказать, развалина...

— А кстати, он еще у вас?.. Куда вы его дели? Напрасно она разорвала с ним связь! Папаша Фуль теперь богач, чуть ли не миллионер...

— Ах, ты боже мой милостивый! — сказала мамаша Бижу.— Да неужто же мы не внушали ей: вздорных советов не слушай, обходись со старичком повеликатней... Ведь он-то был сама кротость! Ну и помыкала же она им!.. Известное дело! Совратили Олимпию с пути истинного, сударыня!..

— Каким же это образом могло случиться?

— Видите ли, сударыня, она познакомилась, с вашего позволения, с внучатным племянником одного матрацника из квартала Сен-Марсо. Парень гоняет лодыря. И то сказать — писаный красавчик, зазноба всех актрис на бульваре Тампль. Он там работает хлопальщиком при театре. Как только какое новое представление, так он орет и хлопает, когда актрисы на сцену выходят,— *вывозит* спектакль, как он говорит. Поутру позавтракает, ввечеру, перед театром, изволит пообедать, чтобы сил набраться. Обожает ликеры и бильярд... Дескать, приучен так с самого детства! Я говорила Олимпии: «Хлопальщик!.. Да разве это ремесло?»

— К несчастью, ремесло,— сказала Жозефа.

— Вот в том-то и штука, сударыня, что этот вертун

просто голову вскружил Олимпии! А он, как видно, связался с дурной компанией. В кабачке, где воры краденое пропивают, хотели его арестовать! Но на такой случай пригодился господин Бролар, начальник хлопальщиков, только он его и выручил. Золотые сережки носит, живет бесшабашно, и все на счет женщин! Женщины страх как лакомы до таких красавчиков! Срамник, с вашего позволения, проедал все денежки, какие господин Фуль давал девчонке! Дела наши шли плохо. Что ни заработаем на вышивках, он все проиграет на бильярде! Как на грех, у нашего молодчика была красотка сестра. Ну, не велика птица! Брат промышлял на Бульварах, а она — в Латинском квартале...

— Лоретка из «Хижины»? — спросила Жозефа.

— Вот, вот, сударыня! — сказала мамаша Бижу.— И что бы вы думали, сударыня! Этот самый Идамор... Он, видите ли, сочинил сам себе такую кличку! Настоящее-то его имя — Шарден. Что бишь я хотела сказать? Да, так вот, этот самый Идамор вообразил, что у вашего дядюшки, с позволения сказать, денег куры не клюют, а он, дескать, скряжничает!.. И негодник, тайком от моей дочки, подослал в наше заведение, под видом мастерицы, свою сестру Элоди (и имечко-то он ей дал: чисто актерское!). Боже милостивый! Все тут пошло у нас вверх дном! Эта продувная шельма совратила всех наших девушек, все они просто от рук отбились, с вашего позволения... И уж так она юлила и лебезила, что, наконец, сманила у нас нашего дядюшку Фуля... Утащила его с собою, и мы даже не знаем, где он... А сколько хлопот нам наделала с этими векселями! Мы еще и по сю пору расплатиться не можем. Впрочем, моя дочка следит за сроками платежа, она ведь во всем этом сама замешана! Когда Идамор со своей любезной сестрицей переманил от нас старика, он сразу же бросил мою дочку и связался с актрисой из театра Фюнамбюль... Тут-то моя дочка и просваталась, изволите ли видеть...

— А вы знаете, где живет матрацник? — спросила Жозефа.

— Дядюшка Шарден? Да неужто такие где-нибудь живут?.. Он пьян с шести часов утра, смастерит один матрац в месяц, и то скажи спасибо! Ночи и дни пропа-

дает в самых последних кабаках, сделает три или четыре пульки...

— Как! Он льет пули! Вот так матрацник!

— Вы, сударыня, не понимаете! Он играет на бильярде, а ему в игре везет, вот он и напивается...

— Вот так отлили пулю! — сказала Жозефа.— Но вы говорите, что Идамор промышляет на Бульварах? Если обратиться к моему приятелю Бролару, он его отыщет...

— Не знаю, сударыня. И то сказать, истории этой больше полгода. А за шесть-то месяцев такие, как Идамор, глядишь, попадут в исправительную, оттуда в Мелен, а оттуда...

— *На лужок!* — сказала Жозефа.

— Ах, сударыня, вы все знаете! — сказала мамаша Бижу, улыбнувшись.— Кабы моя дочка не снюхалась с этим фертиком, она бы... она была бы... А все-таки ей повезло, что там ни говорите! Господин Гренувиль врезался в нее по уши,— да это и видно, раз женился.

— А она-то почему вышла за него?

— С отчаяния, сударыня! Как Олимпия увидала, что ее променяли на актрису, она маху не дала! Ох! Уж она ее и *отгвоздила!*.. А когда девчонка потеряла и дядюшку Фуля, который ее просто-таки обожал, она совсем разочаровалась. На мужчин глядеть не хотела!.. А тут-то и подвернулся господин Гренувиль. Он, видите ли, много кое-чего покупал у нас. Шутка ли сказать! Две сотни расшитых китайских шарфов, и это каждые три месяца! Ну, само собою, господин Гренувиль разохотился утешать девчонку... Не знаю, правда ли, нет ли, но будто бы она ничего не желала и слушать, затвердила одно: подавай ей церковь и мэрию! «Я, дескать, хочу быть честной, или наложу на себя руки...» И настояла-таки на своем. Господин Гренувиль согласился жениться, только с условием, что она откажется от нас... и мы согласились...

— За известную мзду? — спросила прозорливая Жозефа.

— Точно, сударыня! Десять тысяч франков отступного и пожизненная рента отцу, ведь он уже не может работать...

— Я просила вашу дочь составить счастье дяди Фуля, а она его в грязь втоптала! Это нехорошо. Больше не буду ни в ком принимать участие! Вот что значит занять-

ся благотворительностью! Нет, благотворительность годится только на то, чтобы на ней спекулировать. Олимпия должна была хотя бы поставить меня в известность о всех этих каверзах! Если вы найдете дядю Фуля, и не позже чем через две недели, я вам дам тысячу франков...

— Дело нелегкое, добрая моя дамочка! Но и тысяча франков — деньги не малые, так что я уж постараюсь их заработать.

— Прощайте, госпожа Бижу.

Войдя в будуар, певица нашла г-жу Юло в глубоком обмороке; но, несмотря на то, что баронесса находилась в бессознательном состоянии, все тело ее нервически содрогалось. Так змея, разрубленная на части, все еще извивается. Крепкие нюхательные соли, холодная вода,— короче говоря, все те средства, которые применяются в таких случаях, возвратили баронессу к жизни или, если угодно, к сознанию ее горестей.

— Ах, мадемуазель, как он низко пал...— сказала она, узнав певицу и видя, что они одни.

— Мужайтесь, сударыня,— отвечала Жозефа, которая сидела на подушке у ног баронессы и целовала ее руки.— Мы его отыщем! А если он и замарал себя, ну, что же! Отмоется. Поверьте мне, у людей благовоспитанных весь вопрос сводится к перемене платья... Позвольте мне искупить мои грехи... Я вижу, как вы привязаны к мужу, несмотря на его проступки, иначе бы вы не пришли ко мне!.. Что прикажете делать? Бедняжка! Он любит женщин... Видите ли, будь у вас хоть немного нашего шика, вы могли бы уберечь его от распутства. Вы были бы тогда для него тем, чем мы умеем быть для мужчин: *вмещать всех женщин в одной*. Правительству следовало бы открыть школу такой гимнастики для добродетельных жен! Но все правительства разыгрывают из себя недотрог!.. Правительством управляют мужчины, а мужчинами управляем мы! Право, мне жаль человечество!.. Но довольно шутить! Займемся-ка вашими делами... Полноте! Успокойтесь, сударыня, поезжайте домой и не мучайте себя... Я возвращу вам вашего Гектора таким, каким он был лет тридцать тому назад...

— О мадемуазель! Поедемте к этой госпоже Гренувиль! — воскликнула баронесса.— Как знать, не помо-

жет ли она нам. Может быть, я нынче же увижу господина Юло и мне удастся вырвать его из тисков нищеты и позора?

— За ту честь, которую вы мне оказываете, сударыня, я отблагодарю вас отказом от этой чести: певица Жозефа, любовница герцога д'Эрувиля, не должна появляться рядом с прекраснейшим и чистейшим воплощением добродетели. Я слишком вас уважаю, чтобы показываться в вашем обществе. Говорит во мне не самоуничижение комедиантки... Нет! Я лишь воздаю вам должное. Глядя на вас, сударыня, я пожалела о том, что не пошла по вашему пути... тернистому пути, где вы, сударыня, в кровь изранили себе ноги и руки! Но что станете делать! Я принадлежу искусству, как вы принадлежите добродетели...

— Бедная девушка! — сказала баронесса, взволнованная чувством сострадания, превозмогшим ее собственную боль.— Я буду молиться за вас. Вы жертва общества. Общество требует зрелищ. Когда придет старость, покайтесь... Вы будете услышаны, если всевышний снизойдет к молитвам...

— Мученицы,— сказала Жозефа, благоговейно целуя край платья баронессы.

Но Аделина взяла актрису за руку, притянула ее к себе и поцеловала в лоб. Жозефа, раскрасневшаяся от радости, проводила ее до кареты с изъявлениями самой горячей преданности.

— Верно, какая-нибудь дама-благотворительница,— говорил лакей горничной.— Ведь *сама* ни с кем так не обращается, даже со своей подружкой, Женни Кадин.

— Обождите несколько дней, сударыня,— говорила Жозефа,— и вы *его* увидите, или я отрекусь от веры моих предков, а для еврейки, видите ли, это равняется клятве добиться успеха.

В тот самый час, когда баронесса входила к Жозефе, Викторен принимал у себя в кабинете старую женщину лет семидесяти пяти, которая, чтобы получить доступ к знаменитому адвокату, сослалась на грозное имя начальника тайной полиции. Лакей доложил:

— Госпожа де Сент-Эстев!

— Я воспользовалась одной из моих кличек,— сказала посетительница, усаживаясь в кресло.

Викторен внутренне содрогнулся при виде этой ужасной старухи. Хотя одета она была богато, холодная злоба, написанная на ее плоской физиономии, бледной, морщинистой, с резко обозначенными мускулами, внушала страх. Марат, будь он одет в женское платье, в старости являл бы собою, как и г-жа Сент-Эстев, живое воплощение террора. В светлых глазках этой зловещей старухи сквозила кровожадная алчность тигра. Приплюснутый нос с раздувавшимися ноздрями, казалось, изрыгавшими адский пламень, напоминал клюв стервятника. А низкий лоб изобличал жестокость и наклонность к злым козням. Пучки волос, торчавшие из складок изрытого морщинами лица, указывали на чисто мужскую решительность ее действий. Увидев эту женщину, каждый подумал бы, что художники не нашли еще настоящей натуры для Мефистофеля...

— Ну-с, любезнейший,— сказала она покровительственным тоном,— я уже давно ни во что не вмешиваюсь. Если я собираюсь помочь вам, то только ради моего дорогого племянника, потому что люблю его больше, чем сына родного... Кроме того, префект полиции, которому председатель совета министров шепнул на ухо два словечка по вашему делу, недавно беседовал с господином Шапюзо и указал ему, что полиции не следует путаться в такие дела. Моему племяннику дали полную свободу действий, но племянник мой будет тут только советчиком, ему нельзя себя компрометировать...

— Так вы тетушка господина...

— Вы угадали. И я горжусь таким родством,— ответила она, оборвав адвоката на полуслове,— потому что он мой ученик, но ученик, быстро обогнавший своего учителя... Мы обмозговали ваше дело и прикинули так: дадите вы тридцать тысяч франков, если вас избавят от всего этого? Тридцать тысяч, и концы в воду! Аванса ни сантима!

— Вы знаете этих особ?

— Нет, любезнейший. Жду ваших указаний. Нам было сказано: «Есть тут один старый дурак, который попался в руки некой вдовушки. Эта вдовушка, двадцати девяти лет, так навострилась в своем *шильническом* ре-

месле, что обеспечила себя рентой в сорок тысяч франков, которую вытянула у двух отцов семейства. Она задумала подцепить еще восемьдесят тысяч франков ренты, выйдя замуж за простофилю шестидесяти одного года; она разорит целую семью и передаст это огромное состояние ребенку, прижитому с каким-нибудь любовником,— живо отделавшись от старого мужа...» Вот как обстоит дело!

— Совершенно точно! — сказал Викторен.— Мой тесть, господин Кревель...

— Бывший коммерсант и мэр? Я живу в его округе под именем тетушки Нуррисон,— отвечала она.

— Другое лицо — госпожа Марнеф.

— Не знаю такой,— сказала г-жа Сент-Эстев.— Но через три дня я уже смогу пересчитать все ее рубашки.

— Могли бы вы помешать этому браку? — спросил адвокат.

— А как далеко зашло дело?

— Состоялось второе оглашение.

— Надо бы убрать с дороги бабенку. Нынче у нас воскресенье, остается всего три дня, потому что они повенчаются в среду. Нет, невозможно! Но вполне возможно ее убить...

Викторен Юло привскочил от возмущения, услыхав эти пять слов, сказанных самым хладнокровным тоном.

— Убить?..— воскликнул он.— А как же вы это сделаете?

— Вот уже сорок лет, сударь, как мы замещаем судьбу,— отвечала старуха с чудовищной гордостью,— и делаем в Париже все, что хотим. Сколько семейств, да не каких-нибудь, а из Сен-Жерменского предместья, выдавали мне свои тайны, поверьте мне! Я заключала и расторгала браки, разорвала не одно завещание, спасла не одно честное имя! У меня тут целое стадо тайн в загоне,— сказала она, указывая на свой лоб,— и оно приносит мне тридцать шесть тысяч франков годового дохода. Вот и вы будете одним из моих ягнят! Разве могла бы женщина достигнуть положения, которого достигла я, если бы рассказывала, к каким средствам ей приходится прибегать! Я действую! Все, что произойдет, дорогой мой, будет делом случая, и вам не придется испытывать ни малейших угрызений совести. Вы, как те

лица, которых излечивают магнетизмом, через месяц будете верить, что все произошло само собой.

На висках у Викторена выступил холодный пот. Даже встреча с палачом не взволновала бы его так, как взволновала его беседа с этой грозной и претенциозной наперсницей каторги; ему даже показалось, что надетое на ней темно-красное платье окрашено кровью.

— Сударыня, я отказываюсь воспользоваться вашей опытностью и вашей помощью, если успех дела будет стоить человеческой жизни и если тут будет хотя бы тень преступления.

— Вы, сударь, большой ребенок! — отвечала г-жа Сент-Эстев.— Вы хотите слишком много: и сокрушить врага и оставаться безупречным в собственных глазах.

Викторен сделал отрицательный жест.

— Да-с,— продолжала она,— вы желаете, чтобы эта самая госпожа Марнеф выпустила добычу, которую уже держит в пасти! А скажите, как вы заставите тигра расстаться с куском мяса? Неужто будете поглаживать его по спинке да приговаривать: «Кисонька!.. Кисонька!» Вы непоследовательны. Приказываете вступить в бой и хотите обойтись без ранений? Ну, ладно! Так и быть, постараемся соблюсти невинность, столь любезную вашему сердцу. Я-то всегда считала, что у этой самой невинности оборотная сторона — лицемерие! Ну, так вот, через три месяца к вам придет бедный священник; он попросит у вас сорок тысяч франков на богоугодное дело — на восстановление разрушенного монастыря на Востоке, в пустыне! Если вы будете довольны своей судьбой, то дадите ему эти сорок тысяч! Казне вам придется выплатить побольше. В общем счете сущие пустяки в сравнении с тем, что вам достанется.

Она встала на свои толстые ноги, обутые в атласные башмаки, которые едва сдерживали выпиравшие из них мясистые икры, улыбнулась и, поклонившись, вышла.

— Оказывается, у дьявола есть родная сестра,— сказал Викторен, поднимаясь с кресла.

Он проводил ужасную незнакомку, появившуюся из недр полицейского сыска, как в балете из третьего трюма Оперы по мановению волшебной палочки злой феи появляются чудовища. Покончив с делами в суде

он пошел к Шапюзо, начальнику одного из важнейших отделений полицейской префектуры, чтобы получить у него сведения о незнакомке. Видя, что Шапюзо один в кабинете, Викторен Юло поблагодарил его за содействие.

— Вы прислали ко мне старуху,— сказал он,— которая могла бы служить олицетворением парижского уголовного мира.

Шапюзо снял очки, положил их на пачку бумаг и удивленно посмотрел на адвоката.

— Я не позволил бы себе послать к вам кого бы то ни было, не предупредив вас об этом, не дав рекомендательного письма,— отвечал он.

— Стало быть, прислал господин префект...

— Не думаю,— возразил Шапюзо.— В последний раз, как князь Виссембургский обедал у министра внутренних дел, он встретился там с господином префектом, беседовал с ним о вашем положении и спрашивал, нельзя ли вам по-приятельски помочь. Господин префект, видя, какое участие проявляет его сиятельство к вашему семейному делу, не мог остаться равнодушным и оказал мне любезность, посоветовавшись со мной по этому поводу. С тех пор как господин префект принял руководство этим, столь оклеветанным и столь полезным учреждением, он с самого начала отказался от вмешательства в семейные дела. Он был прав и принципиально и морально, но на практике он ошибся. Полиция за те сорок пять лет, что я в ней служу, оказала с тысяча семьсот девяносто девятого по тысяча восемьсот пятнадцатый год огромные услуги некоторым семьям. Но с тысяча восемьсот двадцатого года пресса и конституционное правительство в корне изменили условия нашего существования. Поэтому мое мнение было таково, что нам не следует заниматься подобными делами, и господин префект любезно согласился с моими доводами. Начальник тайной полиции при мне получил приказ не вмешиваться; и если вдруг от его имени кто-либо явится к вам, я сделаю ему выговор. За это можно и уволить. Легко говорить: «Полиция сделает то-то и то-то!» Полиция! Полиция! Эх, дорогой господин Юло, ни маршал, ни совет министров не знают, что такое полиция. Об этом знает только сама полиция. Короли, Наполеон, Людовик Восемнадцатый были знакомы с делами своей

личной полиции; но что именно такое наша государственная полиция, в этом кое-что понимали только Фуше, господа Ленуар и де Сартин, да еще некоторые префекты, люди с головой. Ныне все переменилось. Нас стеснили, обезоружили! Я видел в частной жизни немало драм, которые мог бы предотвратить, располагай я хотя бы минимальной свободой действий!.. О нас пожалеют те самые люди, что нас уничтожили, когда они, как вы, столкнутся с кое-какими явлениями нравственного уродства, с которыми следовало бы бороться, как мы боремся со всякой грязью! В области политической, когда дело касается общественной безопасности, полиция обязана быть начеку, но семья есть нечто священное. Я приму все меры, чтобы открыть и предупредить покушение на жизнь короля. Я сделаю прозрачными стены любого дома, но запускать свои когти в семейные дела, в частные интересы!.. Да никогда я этого не стану делать, пока сижу в этом кабинете, потому что я боюсь...

— Чего?

— Прессы, господин депутат левого центра!

— Как же мне, по-вашему, действовать? — спросил Юло-сын после некоторой паузы.

— Что ж! Семья — это вы! — продолжал г-н Шапюзо.— Этим все сказано. Действуйте по своему усмотрению. Но как можем мы помогать вам, как мы можем обращать полицию в оружие страстей и частных интересов?.. Вот за такие-то дела и впал в немилость, и вполне справедливо, предшественник нынешнего начальника тайной полиции, хотя наше чиновничество считало, что он этого не заслужил. Биби-Люпен заставлял полицию обслуживать частных лиц. В этом таилась огромная социальная опасность! С теми средствами, которые были в его распоряжении, этот человек мог стать грозной силой, мог быть *заместителем судьбы*...

— Ну, а на моем месте как бы вы поступили?..— спросил Юло.

— Как! Вы просите у меня совета? Да ведь вы сами торгуете советами! — ответил Шапюзо.— Помилуйте, дорогой друг, вы смеетесь надо мной.

Юло откланялся и вышел, не заметив, как Шапюзо непроизвольно пожал плечами, вставая, чтобы проводить посетителя.

«И он еще хочет быть государственным человеком!» — сказал про себя Шапюзо, опять принимаясь за просмотр донесений.

Викторен вернулся домой, так и не рассеяв своих сомнений и не решаясь с кем-либо поделиться ими. За обедом баронесса радостно сообщила детям, что через месяц их отец вернется к семейному очагу и мирно окончит свои дни в кругу близких.

— Ах, я охотно отдала бы все три тысячи шестьсот франков моей ренты, чтобы видеть барона здесь! — воскликнула Лизбета.— Но, хорошая моя Аделина, не радуйся прежде времени, прошу тебя!

— Лизбета права,— сказала Селестина.— Милая матушка, не предупреждайте событий.

Баронесса, исполненная любви, исполненная надежды, рассказала о своем посещении Жозефы, заметив, что эти бедные девушки несчастны в своем счастье, и упомянула о матрацнике Шардене, отце смотрителя складов в Оране, желая тем доказать, что ее слова не плод пустых мечтаний.

На другой день в семь часов утра Лизбета в наемной карете была уже на набережной Турнель, где и приказала остановиться на углу улицы Пуасси.

— Подите на улицу Бернарден,— сказала она кучеру,— в дом за восьмым номером, там сквозной проход и нет привратника. Поднимитесь на пятый этаж, позвоните у двери налево, там, впрочем, есть дощечка: «*Мадемуазель Шарден. Штопка кружев и кашемировых шалей*». Вам отворят. Вы спросите: «Дома ли *кавалер*?». Вам ответят: «Он вышел». Вы скажите: «Знаю, но все-таки найдите его, потому что *тетушка* ожидает в карете на набережной и хочет его видеть...»

Спустя минут двадцать показался старик, лет восьмидесяти на вид, сгорбленный, белый как лунь, с покрасневшим от холода носом, бледным и сморщенным, каким-то старушечьим лицом; на нем был потертый и порыжевший сюртук из альпага, без орденских отличий; из-под коротких рукавов выглядывали обшлага вязаной фуфайки и застиранной, пожелтевшей рубашки; он робко вышел из-за угла, взглянул на экипаж, узнал Лизбету и, волоча ноги, обутые в мягкие стоптанные туфли, подошел к дверце экипажа.

— Ах, дорогой кузен,— сказала она,— ну и вид же у вас!

— Элоди все берет себе! — ответил барон Юло.— Эти Шардены — отпетые мошенники...

— Хотите вернуться домой?

— О нет, нет! — сказал старик.— Мне хотелось бы пробраться в Америку...

— Аделина напала на ваш след...

— Ах, нельзя ли заплатить мои долги? — спросил барон с робкой надеждой.— Саманон преследует меня.

— Мы еще не выплатили ваших прежних долгов: ваш сын должен еще сто тысяч франков...

— Бедный мальчик!

— А ваша пенсия освободится только через семь-восемь месяцев... Если захотите подождать, то у меня найдется две тысячи франков!

Барон протянул руку жадным, жутким движением.

— Дай, Лизбета! Да вознаградит тебя господь! Дай! У меня есть местечко, куда скрыться!

— Но мне-то вы скажете, старый греховодник?

— Скажу. Я могу ждать еще восемь месяцев, потому что нашел себе ангелочка, доброе существо, невинное, совсем еще дитя, которое не соприкоснулось с развратом.

— Не забывайте о суде присяжных,— сказала Лизбета, льстившая себя надеждой когда-нибудь увидеть Юло на скамье подсудимых.

— Полно! Ведь это на улице Шарон! — сказал барон Юло.— В квартале, где все сходит с рук. Там-то уж меня никогда не найдут. Там, Лизбета, меня знают как папашу Тогрек, бывшего краснодеревца. Девочка любит меня, и я больше никому не позволю драть с себя шкуру.

— Да вас уже ободрали! — сказала Лизбета, глядя на его сюртук.— Хотите, я свезу вас туда, кузен?..

Барон Юло взобрался в карету, даже не попрощавшись с мадемуазель Элоди; он бросил ее, как бросают прочитанный роман.

В течение тридцати минут, пока они ехали, у барона только и было разговору, что о юной Атала Джудичи, ибо он постепенно дошел до самых ужасных пороков, которые довершают разрушения старости. Снабдив своего кузена двумя тысячами франков, Лизбета высадила его

на улице Шарон, в Сент-Антуанском предместье, у дверей дома, с виду весьма подозрительного и зловещего.

— Прощай, кузен! Значит, ты будешь теперь *папаша Тогрек*, так? Посылай ко мне только рассыльных, и всегда из разных мест.

— Отлично! О, как я счастлив! — сказал барон, весь просияв, ибо он предвкушал близкие радости еще не испытанного им счастья.

«Тут его не найти»,— подумала Лизбета, приказав извозчику отвезти ее на бульвар Бомарше, откуда она на омнибусе вернулась на улицу Людовика.

На другой день, когда все семейство Юло собралось после завтрака в гостиной, доложили о приходе Кревеля. Селестина бросилась к отцу на шею и держалась с ним так, точно видела его накануне, хотя за последние два года это был первый его визит.

— Здравствуйте, отец! — сказал Викторен, протягивая ему руку.

— Здравствуйте, дети! — важно отвечал Кревель.— Мое почтение, баронесса! Боже, как малыши растут! Так и подгоняют нас: мне, мол, дедушка, тоже нужно местечко под солнцем!.. Графиня, вы, как всегда, дивно хороши! — прибавил он, глядя на Гортензию.— А вот и наше сокровище — кузина Бетта! Мудрая дева! Ну, я вижу, вы тут прекрасно устроились...— сказал в заключение Кревель, исчерпав свои любезности, преподносившиеся им с громким хохотом, от которого презабавно колыхались его багровые пухлые щеки.

И он с некоторым презрением окинул взглядом гостиную дочери.

— Дорогая Селестина, дарю тебе всю мою обстановку с улицы Сосэ, здесь она будет кстати! Твою гостиную пора обновить... А вот и плутишка Венцеслав! Ну, внучата, хорошо ли вы себя ведете? Надо быть благонравными...

— Особенно тем, кто ведет себя неблагонравно...— сказала Лизбета.

— Ваши сарказмы, дорогая Лизбета, запоздали. Дети мои, я желаю положить конец моему ложному положению, которое чересчур затянулось. Как добрый отец семейства, я пришел попросту объявить вам, что я женюсь.

— Это ваше право,— сказал Викторен.— Что касается меня, то я освобождаю вас от обещания, которое вы дали мне перед тем, как я получил руку моей дорогой Селестины...

— Какое обещание? — спросил Кревель.

— Не жениться,— отвечал адвокат.— Воздайте же мне должное, признав, что я отнюдь не требовал от вас этого обязательства,— вы дали его добровольно, даже против моего желания; если вы помните, я тогда еще заметил, что вам не следует связывать себя таким обещанием.

— Да, припоминаю, дорогой друг,— сказал сконфуженный Кревель.— Но, ей-ей, детки, если вы захотите жить в ладу с моей женой, вам не придется раскаиваться... Ваша деликатность, Викторен, меня трогает... Благородный поступок в отношении меня никогда не пропадет даром... Послушайте, черт возьми! Окажите хороший прием вашей мачехе, приходите ко мне на свадьбу!

— Вы нам не сказали, отец, кто ваша невеста,— сказала Селестина.

— Ну, ведь это секрет полишинеля,— возразил Кревель.— Не будем играть в прятки! Лизбета, конечно, сообщила вам...

— Дорогой господин Кревель,— заметила Лизбета,— есть имена, которых здесь не произносят...

— Ну, так это госпожа Марнеф!

— Господин Кревель,— строго ответил адвокат,— ни я, ни моя жена не будем присутствовать на вашей свадьбе, но не из корыстных побуждений, ибо я только что говорил с вами вполне искренне. Да, я был бы рад узнать, что вы нашли счастье в супружеском союзе. Но мной руководят соображения чести и щепетильность, которые вы должны понять. Я не буду о них распространяться, чтобы не разбередить наши не зажившие еще раны...

Баронесса сделала знак дочери, и та, взяв на руки ребенка, сказала:

— Ну-ка, пойдем купаться в ванночке, Венцеслав! Прощайте, господин Кревель.

Баронесса молча поклонилась Кревелю, а Кревель невольно улыбнулся, заметив удивление ребенка, которому нежданно-негаданно угрожало купание.

— Вы женитесь, сударь,— сказал адвокат, оставшись в гостиной с Лизбетой, женой и тестем,— женитесь на женщине, которая ограбила моего отца, которая самым хладнокровным образом довела старика до теперешнего его положения; на женщине, которая живет с зятем, разорив предварительно его тестя; на женщине, которая причиняет смертельное горе моей сестре... И вы думаете, что мы согласимся своим присутствием на свадьбе оправдать ваш безумный поступок в глазах общества? Искренне жалею вас, дорогой господин Кревель! У вас нет чувств семьянина, вы не понимаете, что вопросы чести прочно связывают членов семьи. Страсти не поддаются доводам рассудка... (К несчастью, я слишком хорошо это знаю!) Люди, одержимые страстью, глухи и слепы. Селестина, сознавая свой дочерний долг, не решится сказать вам хоть одно слово порицания.

— Этого еще недоставало! — воскликнул Кревель, пытаясь оборвать обвинительную речь зятя.

— Селестина не была бы моей женой, если бы позволила себе сделать вам хоть одно замечание,— продолжал адвокат,— но я хочу попытаться остановить вас, прежде чем вы занесете ногу над пропастью, тем более, что я дал вам доказательство своего бескорыстия. Конечно, заботит меня не ваше состояние, а вы сами... А чтобы вы не сомневались в моих чувствах, могу прибавить, хотя бы для того, чтобы успокоить вас относительно вашего будущего брачного контракта, что мое имущественное положение более чем благополучно.

— Благодаря мне! — воскликнул Кревель, физиономия которого сделалась почти лиловой.

— Благодаря состоянию Селестины,— возразил адвокат.— И если вы сожалеете о том, что дали в приданое своей дочери сумму, не составляющую и половины наследства, оставленного ей матерью, то мы готовы вернуть вам эти деньги.

— Знаете ли вы, милостивый государь,— сказал Кревель, становясь в позу,— что раз я покрываю прошлое госпожи Марнеф моим именем, то впредь отвечать перед обществом за свое поведение она будет только в качестве госпожи Кревель.

— Может быть, это очень по-джентльменски,— сказал адвокат,— очень благородно в отношении сердечных

дел и неукротимых страстей, но я не знаю такого имени, такого закона, такого титула, которые могли бы покрыть кражу трехсот тысяч франков, подло вырванных у моего отца!.. Говорю вам прямо, дорогой тесть, что ваша невеста недостойна вас! Она вас обманывает, она безумно влюблена в моего зятя, Стейнбока, долги которого она заплатила...

— Это я их заплатил!

— Тем лучше,— сказал адвокат.— Очень рад за графа Стейнбока. Со временем он может расплатиться. Но он любим, очень любим, и это ему доказывают весьма часто...

— Он любим?..— повторил Кревель, физиономия которого выражала полное смятение чувств.— Подло, грязно, мелочно и пошло клеветать на женщину!.. Когда заявляют такие вещи, сударь, то их доказывают...

— Я вам представлю доказательства.

— Жду их!

— Послезавтра, дорогой господин Кревель, я назначу вам день и час, когда буду в состоянии разоблачить ужасающую развращенность вашей будущей супруги...

— Прекрасно, буду в восторге! — сказал Кревель, к которому вернулось его хладнокровие.— Прощайте, дети мои, до свидания! Прощай, Лизбета...

— Проводите его, Лизбета,— шепнула Селестина.

— Вот как, вы уже уходите?..— крикнула Лизбета вслед Кревелю.

— А он силен в красноречии, зять-то мой. Развернулся! — сказал ей Кревель.— Еще бы — суд, палата, судебные казусы, политические каверзы пошли ему на пользу. Так, так... Нынче воскресенье, а этот господин, зная, что я женюсь в будущую среду, обещает через три дня, час в час, доказать мне, что моя жена недостойна меня... Довольно ловко!.. Пойду-ка я домой брачный контракт подписывать. Ну-с, поедем со мной, Лизбета, поедем!.. Они ничего не узнают! Я хотел оставить сорок тысяч франков ренты Селестине, но Викторен так себя держал, что навсегда отвратил от себя мое сердце.

— Уделите мне десять минут, папаша Кревель. Обождите меня в карете у ворот, я найду предлог уйти.

— Ладно, согласен...

— Друзья мои,— сказала Лизбета, застав всю семью в гостиной.— Я еду с Кревелем. Сегодня вечером подписывается контракт, и я могу сообщить вам его содержание. Это будет, вероятно, мой последний визит к этой женщине. Ваш отец взбешен. Он лишит вас наследства...

— Нет, ему помешает тщеславие,— отвечал адвокат.— Он мечтал стать владельцем имения Прель и обязательно сохранит за собой эту землю, я его знаю. Будь даже у него дети, Селестина все же получит половину из того, что он оставит, ибо закон запрещает отказывать жене все состояние при наличии других наследников... Но эти вопросы меня ничуть не интересуют, я думаю о чести нашей семьи... Ступайте, кузина,— сказал он, пожимая руку Лизбете,— внимательно выслушайте, каковы условия контракта.

Спустя двадцать минут Лизбета и Кревель входили в особняк на улице Барбе, где г-жа Марнеф, нежась с возлюбленным, нетерпеливо ожидала последствий шага, предпринятого по ее приказу. Привязанность Валери к Венцеславу постепенно перешла в безумную страсть, которая один раз в жизни овладевает сердцем женщины. Неудавшийся художник, превратившись в руках г-жи Марнеф в совершенного любовника, стал для нее тем же, чем она сама была для барона Юло. Держа в одной руке вышивание, другой сжимая руку Стейнбока, Валери склонилась головкой к его плечу... Бессвязный диалог любовников, начавшийся сразу же по уходе Кревеля и прерывавшийся при всяком удобном случае, напоминал нынешние бесконечно длинные романы, на титуле коих значится: «Перепечатка воспрещается». Этот шедевр лирической поэзии, естественно, вызвал у художника запоздалые сожаления, которые он и высказал не без горечи.

— Ах, какое несчастье, что я женат! — воскликнул Венцеслав.— Ведь если бы я еще немного подождал, как советовала Лизбета, я мог бы жениться на тебе.

— Только поляку может прийти такое желание: преданную любовницу превратить в законную супругу! — вскричала Валери.— Променять любовь на долг, наслаждение на скуку!

— Я знаю твои прихоти! — отвечал Стейнбок.—

Разве я не слышал, как ты говорила с Лизбетой о бароне Монтесе, об этом бразильце?

— Не можешь ли ты избавить меня от него? — спросила Валери.

— Это было бы единственное средство помешать тебе видеться с ним,— отвечал бывший скульптор.

— Знай же, дорогой мой, что я нянчилась с ним лишь потому, что хотела выйти за него замуж. Видишь, я тебе все говорю!.. Чего только я не обещала этому бразильцу!.. О, гораздо раньше, чем познакомилась с тобой! — сказала она, отвечая на возмущенный жест Венцеслава.— Ну, а теперь он, пользуясь этими обещаниями, докучает мне, и я вынуждена венчаться чуть ли не тайком. Ведь если он узнает, что я выхожу за Кревеля, он способен... меня убить!..

— О, не стоит говорить об этом!..— сказал Стейнбок, сделав презрительный жест, означавший, что женщина, любимая поляком, может пренебречь такими угрозами.

Заметим, что там, где дело касается храбрости, поляков нельзя упрекнуть в бахвальстве, настолько они действительно храбры.

— А тут еще этот болван Кревель хочет устроить пир и щегольнуть своей расчетливой щедростью по случаю нашей свадьбы; он ставит меня в такое затруднительное положение, что я, право, не знаю, как из него и выйти!

Могла ли Валери признаться своему обожаемому Венцеславу в том, что после отставки Юло барон Анри Монтес унаследовал право приходить к ней во всякое время ночи и что, несмотря на всю свою ловкость, она все еще не сумела найти повода к крупной ссоре, в которой бразилец оказался бы кругом виноватым. Она слишком хорошо знала дикий нрав бразильца, сильно напоминавший характер Лизбеты, а потому не могла и подумать без трепета, каков должен быть в гневе этот мавр с берегов Рио-де-Жанейро. Услыхав шум кареты, Стейнбок выпустил Валери, которую он обнимал за талию, и, взяв в руки газету, углубился в чтение, а Валери с чрезвычайным вниманием принялась вышивать туфли жениху. За этим благонравным занятием их и застали.

— Как *на нее* клевещут! — шепнула Лизбета Кревелю, остановившись в дверях и указывая ему на эту идиллию.— Взгляните на ее прическу! Разве она растрепана? А если послушать Викторена, так мы застали бы голубков врасплох!..

— Дорогая Лизбета! — отвечал Кревель, став в заученную позу.— Видишь ли, даже из Аспазии можно сделать Лукрецию, если внушить ей страсть.

— А я что вам говорила? — сказала Лизбета.— Не твержу ли я постоянно, что женщины любят распутных толстяков — таких, как вы?

— И притом это было бы неблагодарностью с ее стороны,— продолжал Кревель,— ведь я столько денег на нее ухлопал! Грендо и я — мы одни это знаем!

И он указал в сторону лестницы. В отделке этого особняка, который Кревель считал своим, Грендо пытался поспорить с Клеретти, модным архитектором, украшавшим по заказу д'Эрувиля особняк Жозефы. Но Кревель, ничего не смысливший в искусстве, хотел, как и все буржуа, ограничить расходы определенной, заранее обусловленной суммой. Не выходя за пределы этой сметы, Грендо был лишен возможности осуществить свой архитектурный замысел. Различие, существовавшее между особняком Жозефы и особняком Кревеля, было такое же, как между художественным произведением и жалкой его копией. То, чем восхищались у Жозефы, нельзя было встретить нигде; то, чем блистал дом Кревеля, можно было купить где угодно. Эти два вида роскоши разъединены потоком золота в миллион франков. Зеркало, единственное в своем роде, стоит шесть тысяч франков; зеркало, выпущенное фабрикантом только ради барышей, стоит пятьсот франков. Люстра работы Буля доходит на аукционах до трех тысяч франков, а та же люстра, представляющая собою слепок с модели, может быть изготовлена за тысячу или тысячу двести франков; первая является тем же в археологии, чем картина Рафаэля в живописи, другая — только лишь копия. А во что вы цените копию с картины Рафаэля? Стало быть, особняк Валери мог служить великолепным образчиком роскоши глупцов, тогда как особняк Жозефы представлял собою прекраснейший образец жилища художника.

— Нам с тобой объявили войну,— сказал Кревель, подходя к невесте.

Госпожа Марнеф позвонила.

— Подите за господином Бертье,— приказала она лакею,— и без него не возвращайтесь. Если бы твой визит, папочка, увенчался успехом,— сказала она, обнимая Кревеля,— ну, тогда мы отсрочили бы мое счастье и задали бы пир на славу! Но раз вся семья противится нашему браку, придется, друг мой, из приличия, скромно сыграть свадьбу, тем более что невеста — вдова.

— А я хочу, напротив, похвастаться роскошью, достойной Людовика Четырнадцатого,— сказал Кревель, которому XVIII век с некоторого времени уже казался мизерным.— Я заказал новые экипажи: карету для себя лично и карету для моей супруги, две хорошенькие двухместные каретки, коляску и шикарный берлин с превосходным сиденьем, трепещущим, как госпожа Юло.

— Ах! *«Я хочу...»* Не узнаю своего ягненка! Нет, нет, миленький, ты сделаешь по-моему! Контракт мы подпишем в узком кругу нынче же вечером. А в среду повенчаемся официально, в мэрии, потом повенчаемся *по-настоящему*, в церкви, втихомолку, как говорила моя бедная мамочка. Пойдем в церковь пешком, скромно одетые, мессу закажем без певчих. Свидетелями у нас будут Стидман, Стейнбок, Виньон и Массоль — все люди умные; они окажутся в мэрии как бы случайно и принесут нам жертву, отстояв ради нас церковную службу. В виде исключения твой коллега в мэрии соединит нас брачными узами в девять часов утра. Месса назначена в десять. Мы вернемся домой в половине двенадцатого, как раз к завтраку. Я обещала нашим гостям, что раньше вечера из-за стола мы не встанем... У нас будут Бисиу, твой старый товарищ по *биротерии* дю Тийе, Лусто, Вернисе, Леон де Лора, Верну — словом, весь цвет парижских умников, которым, однако, и в голову не придет, что мы поженились. Мы их поводим за нос, чуточку выпьем. И Лизбета будет с нами, я хочу ей показать, что такое брак. Бисиу должен сделать ей некоторые предложения и... поучить уму-разуму.

В течение двух часов г-жа Марнеф болтала всякий вздор, так что Кревель в конце концов сделал следующий глубокомысленный вывод: «Разве может такая

веселая женщина быть испорченной? Сорванец, да! Но развратница... полноте!»

— Что говорили про меня твои детки? — спросила Валери у Кревеля, выбрав минутку, чтобы усадить его на диванчике подле себя.— Всякие ужасы, да?

— Они уверены,— ответил он,— что ты питаешь греховную любовь к Венцеславу. Это ты-то, сама добродетель!..

— Еще бы мне не любить моего милого Венцеслава! — воскликнула Валери, подзывая художника, и, взяв его за голову, поцеловала в лоб.— Бедный мальчик, без поддержки, без средств! И вдобавок брошен этой рыжей жирафой! Что поделаешь, Кревель! Венцеслав — мой поэт, и я открыто люблю его, как собственное дитя! Эти добродетельные дамы всюду и во всем видят только одно дурное. Те-те-те! Значит, стоит им оказаться рядом с мужчиной, они сейчас же заведут с ним шашни? Ну, а я — как балованный ребенок, который ни в чем не знает отказа: конфеты меня уж больше не тешат. Бедные женщины! Жалею их!.. И кто же это меня так порочит?

— Викторен,— ответил Кревель.

— Так отчего же ты не зажал клюв этому судейскому попугаю? Сказал бы про *маменькины* двести тысяч!

— Баронесса-то спаслась бегством,— сказала Лизбета.

— Пусть они будут поосторожнее, Лизбета! — крикнула г-жа Марнеф, нахмурив брови.— Или они меня примут у себя, и хорошо примут, и явятся с визитом к своей мачехе всей семьей! Или я устрою им жизнь (передай им это от меня) еще хуже, чем барону... Как бы я не рассердилась по-настоящему! Честное слово, придется клин клином вышибать!

В три часа нотариус Бертье, преемник Кардо, прочитал брачный контракт, предварительно коротко посовещавшись с Кревелем, ибо некоторые статьи зависели от того или иного решения молодых супругов Юло. Кревель признавал за своей будущей женой следующее приданое: 1) сорок тысяч франков ренты в бумагах, которые были точно перечислены; 2) особняк со всей его обстановкой и 3) три миллиона франков деньгами.

Сверх того, по дарственной записи, он отдавал своей будущей супруге все, что разрешалось законом, и освобождал ее от всякой описи имущества; в случае же смерти одного из супругов, при отсутствии у них детей, оставшийся в живых оказывался владельцем всего имущества, движимого и недвижимого. Контракт сводил личное состояние Кревеля к капиталу в два миллиона франков. И будь у него дети от молодой жены, наследственная доля Селестины исчислялась бы всего в пятьсот тысяч франков ввиду прав Валери на мужнино состояние. Это составляло примерно девятую часть того, что Селестина должна была бы получить.

Лизбета вернулась к обеду на улицу Людовика; на ее лице было написано полное отчаяние. Она изложила содержание брачного контракта и пояснила все его пункты, но Селестина и Викторен приняли печальную новость равнодушно.

— Вы разгневали вашего отца, дети мои! Госпожа Марнеф поклялась, что вы примете ее у себя как супругу господина Кревеля и сами придете к ней,— сказала она.

— Никогда! — сказал Викторен.

— Никогда! — повторила Селестина.

— Никогда! — воскликнула Гортензия.

Лизбета загорелась желанием сбить спесь со всех Юло...

— У нее, по-видимому, есть оружие против вас...— ответила она.— Я еще не знаю, в чем тут дело, но обязательно узнаю... Она намекала на какую-то историю, касающуюся Аделины, на какие-то двести тысяч...

Баронесса Юло тихо откинулась на диван, на котором сидела, и у нее начались страшные судороги.

— Подите к ней, дети!..— кричала она.— Примите эту женщину! Кревель—низкий человек! Он заслуживает казни... Покоритесь этой женщине... О, это какое-то чудовище! *Она знает все!*

Произнеся эти слова, прерываемые слезами и рыданиями, Аделина все же нашла в себе силы подняться и с помощью дочери и невестки добралась до своей комнаты.

— Что сие значит? — спросила Лизбета, оставшись одна с Викторeном.

От вполне понятного удивления адвокат буквально прирос к месту и даже не слышал вопроса Лизбеты.

— Что с тобой, Викторен?

— Я просто в ужасе! — сказал адвокат, лицо которого приобрело угрожающее выражение.— Горе тому, кто тронет мою мать! Я не остановлюсь ни перед чем! Если бы я мог, я раздавил бы эту женщину, как гадину! А-а! Она посягает на жизнь и честь моей матери!..

— Она сказала... только не говори никому, дорогой Викторен!.. Она сказала, что устроит вам жизнь похуже, чем вашему отцу... Она упрекнула Кревеля за то, что он не зажал вам рот, зная тайну, которая так напугала Аделину.

Послали за врачом, ибо состояние баронессы все ухудшалось. Врач прописал большую дозу опиума, и Аделина, приняв лекарство, погрузилась в глубокий сон; но вся семья жила под бременем жесточайшего страха. На другой день адвокат с раннего утра поехал во Дворец правосудия и прошел в полицейскую префектуру, где попросил Вотрена, начальника тайной полиции, прислать ему г-жу де Сент-Эстев.

— Нам запрещено, сударь, заниматься вашим делом, но госпожа де Сент-Эстев — торговка. Она к вашим услугам,— отвечала новая знаменитость тайной полиции?

Вернувшись домой, несчастный адвокат узнал, что врачи опасаются за рассудок его матери. Доктор Бьяншон, доктор Лараби, профессор Ангар, собравшись на консилиум, только что решили применить самые сильные средства, чтобы отвлечь кровь от головы. В тот момент, когда Викторен слушал объяснения доктора Бьяншона, что именно дает ему надежду на благополучный исход болезни, хотя его коллеги настроены более мрачно, лакей доложил адвокату о приходе клиентки, г-жи де Сент-Эстев. Викторен, не дослушав Бьяншона, выскочил из комнаты и сбежал вниз по лестнице.

— В доме, видимо, повальное помешательство! — сказал Бьяншон, оборачиваясь к Лараби.

Врачи ушли, оставив студента-медика дежурить у постели больной.

«Вот он, конец добродетельной жизни!» — была единственная фраза, которую произнесла больная после

катастрофы. Лизбета не отходила от постели Аделины, она провела всю ночь у изголовья больной. Обе молодые ее родственницы восхищались поведением кузины Бетты.

— Ну-с, дорогая госпожа Сент-Эстев,— сказал адвокат, пригласив страшную старуху к себе в кабинет и тщательно запирая двери.— Как наши дела?

— Ну-с, дорогой друг,— сказала она, с холодной иронией глядя на Викторена,— а вы-то обмозговали ваши дела?

— Вы что-нибудь предприняли?

— А вы даете пятьдесят тысяч франков?

— Даю,— отвечал Викторен Юло.— Пора действовать. Видите ли, одной своей фразой эта женщина поставила под угрозу жизнь и рассудок моей матери! Итак, действуйте!

— Уже действуют! — сказала старуха.

— Да?..— сказал адвокат, содрогнувшись.

— Да. А вы не постоите за издержками?

— Напротив.

— Дело в том, что уже израсходовано двадцать три тысячи франков.

Адвокат с недоуменным видом уставился на г-жу Сент-Эстев.

— Ну, полноте! Не валяйте дурака! А еще светило адвокатуры! — сказала старуха.— За эту сумму мы купили совесть горничной и картину Рафаэля. Это совсем недорого...

Юло по-прежнему глядел на посетительницу вопрошающим взглядом.

— Ну, попросту говоря,— продолжала Сент-Эстев,— мы подкупили мадемуазель Регину Тузар, от которой у госпожи Марнеф нет секретов.

— Понимаю...

— Но если вы скаредничаете, скажите прямо!

— Я заплачу, не сомневайтесь,— отвечал он,— только действуйте! Моя мать сказала, что эти люди достойны самой тяжкой казни.

— Нынче уже не колесуют,— заметила старуха.

— Вы ручаетесь за успех?

— Положитесь на меня,— сказала г-жа Сент-Эстев.— Вы будете отомщены. Дело уже на мази...

Она взглянула на часы: стрелки показывали шесть.

— Отмщение уже облекается в пышный наряд, огни «Роше де Канкаль» зажжены, кареты поданы, кони бьют копытами, дело на полном ходу. Э-э! Наизусть знаю я вашу госпожу Марнеф! Чего там, все готово! Приманка уже в мышеловке. Завтра я вам скажу, отравилась ли мышь. Думаю, что да! Прощайте, сын мой.

— Прощайте, сударыня.

— Понимаете вы по-английски?

— Да.

— Вы видели на сцене «Макбета»?

— Да.

— Ну-с, сын мой, ты будешь королем! То есть будешь наследником! — сказала эта страшная ведьма, предугаданная Шекспиром и, по-видимому, знакомая с Шекспиром.

И она рассталась с Юло, застывшим на пороге кабинета.

— Не забудьте, что решение будет вынесено завтра! — не без кокетства сказала она, изображая собою заядлую сутяжницу.

Увидев в приемной двух посторонних, она разыгрывала перед ними *графиню Футы, нуты.*

— Ну и апломб! — сказал про себя Юло, раскланиваясь со своей мнимой клиенткой.

Барон Монтес де Монтеханос был лев, но лев загадочный. Светский Париж, Париж ипподрома и лореток, восхищался несравненными жилетами этого знатного иностранца, его безупречными лакированными сапожками, бесподобными хлыстами, завидными лошадьми, экипажем с отменно вышколенными слугами-неграми на козлах и на запятках. Его огромное богатство было всем известно: он пользовался кредитом в семьсот тысяч франков у знаменитого банкира дю Тийе, но везде бывал один. На первые представления он ходил в кресла партера. Он не был завсегдатаем ни в одной гостиной. Он никогда не появлялся под руку с дамами полусвета. Имя его не связывали и с именем какой-нибудь светской красавицы. Чтобы убить время, он играл в вист в Жокей-клубе. Отчаявшиеся сплетники принялись острить насчет его нравственности и, что было еще забавнее, насчет его воображаемых физических изъ-

янов; ему даже дали прозвище: Комбабус! Эту шутовскую кличку придумали для него Бисиу, Леон де Лора, Лусто, Флорина, мадемуазель Элоиза Бризту и Натан, ужиная однажды у знаменитой Карабины в обществе разных львов и львиц. Массоль, в качестве члена государственного совета, Клод Виньон, в качестве бывшего учителя греческого языка, рассказали невежественным лореткам упомянутый в «Древней истории» Роллена пресловутый анекдот о Комбабусе, этом добровольном Абеляре, которому вменялось в обязанность охранять жену царя Ассирии, Персии, Бактрии, Месопотамии и других царств, достоверность описания коих лежит на совести старого профессора Бокажа, продолжателя Анвиля, воссоздавшего географию древнего Востока. Прозвище, веселившее гостей Карабины добрые четверть часа, подало повод к бесконечным шуткам, столь вольным, что если бы автор осмелился их воспроизвести, Академия могла бы лишить его литературное произведение Монтионовской премии; но так или иначе, а обидная кличка застряла в густой гриве красавца барона, которого Жозефа называла *великолепным бразильцем*, как говорят: великолепный *катоксанта!* Знаменитая лоретка Карабина, та самая, что своей изысканной красотой и остротами вырвала скипетр тринадцатого округа из рук мадемуазель Тюрке, более известной под именем Малаги, мадемуазель Серафина Синэ (настоящее имя Карабины) играла при банкире дю Тийе ту же роль, какую играла Жозефа Мирах при герцоге д'Эрувиле.

И вот около семи часов утра, в тот же самый день, когда г-жа Сент-Эстев пророчила Викторену успех, Карабина говорила дю Тийе:

— Если ты будешь душкой, ты угостишь меня обедом в «Роше де Канкаль» и пригласишь туда Комбабуса. Нам не терпится узнать наконец, есть ли у него любовница... Я держала пари... и хочу выиграть...

— Он, как обычно, остановился в «Королевской гостинице». Я туда зайду,— отвечал дю Тийе.— Мы позабавимся. Собери всех наших шалопаев: шалопая Бисиу, шалопая де Лора! Короче, всю нашу шайку!

А вечером, в половине восьмого, в лучшем кабинете ресторана, где обедала вся Европа, на столе сверкало великолепное серебро, подававшееся по случаю трапез,

на которых тщеславие оплачивает ресторанный счет крупными банковыми билетами. Потоки света, играя в чеканке серебряной утвари, рассыпали тысячи искр. Лакеи, которых провинциал мог бы счесть за дипломатов, если бы не их возраст, держались особенно важно, зная, что услуги их будут оплачены с княжеской щедростью.

Пять человек уже пришли и ожидали девять остальных. Прежде всего тут был Бисиу — соль парижской интеллектуальной кухни. В 1843 году он все еще ходил козырем, во всеоружии неистощимого остроумия — явление столь же редкое в Париже, как и добродетель. Затем Леон де Лора, величайший из существующих пейзажистов и маринистов, у которого перед соперниками имелось то преимущество, что его последние картины были не ниже первых. Лоретки буквально не могли жить без этих двух королей острословия, без них не обходился ни один обед, ни одно увеселение, ни один ужин. Серафина Синэ, по прозвищу Карабина, в качестве радушной хозяйки явилась одна из первых. При блеске свечей она была ослепительно хороша: беломраморные плечи, шея, словно выточенная искусным мастером — без единой складочки! — своенравное лицо, платье из голубого атласа, затканное голубыми же цветами и отделанное дорогими английскими кружевами с такой пышностью, что на эти деньги можно было бы прокормить в течение месяца целую деревню,— все в ней было восхитительно! Не будем описывать красоту Женни Кадин, достаточно известную по портретам; в тот вечер она не была занята в театре и приехала на ужин в наряде умопомрачительной роскоши. Всякое появление в обществе является для этих дам своеобразным Лоншаном туалетов, где каждая желает получить приз, сделав честь своему покровителю, и похвастаться перед соперницами: «Вот цена, которую я стою!»

Третья женщина, без сомнения, только еще начинающая свою карьеру, смотрела смущенно на роскошь товарок, уже вошедших в моду, уже разбогатевших. Она была одета в белое кашемировое платье, отделанное голубым басоном, причесана дешевым парикмахером, чьи неловкие руки нечаянно придали безыскусственную прелесть ее белокурой обворожительной головке, убранной

цветами. В новом наряде она чувствовала себя неловко и держалась с той робостью, которая, как принято говорить, *является неразлучной спутницей первого выступления.* Она приехала из Валони с тем, чтобы пристроить в Париже свою девическую свежесть, способную привести соперниц в отчаяние, невинность, способную возбудить желание даже в умирающем, красоту, достойную многих поколений прелестниц, которыми Нормандия уже снабдила различные театры столицы. Черты этого наивного лица являли собою идеал ангельской непорочности. В сверкающей белизне кожи свет отражался, как в зеркале. Нежный румянец, казалось, вышел из-под кисти живописца. Звали ее Сидализой. Она, как это будет видно, служила пешкой в той решающей партии, которую играла тетушка Нуррисон против г-жи Марнеф.

— Руки у тебя не подходят к твоему имени, душечка,— сказала Женни Кадин, когда Карабина представила ей это новоявленное диво, шестнадцати лет от роду.

И точно, Сидализа привлекала восхищенное внимание зрителей своими руками, прекрасными по форме, крепкими, но шершавыми и красными.

— А какая ей цена? — тихонько спросила Женни Кадин у Карабины.

— Целое наследство.

— Что ты хочешь из нее сделать?

— Ну хотя бы баронессу Комбабус!..

— И что ты получишь за такой фокус?

— Угадай!

— Хорошее серебро?

— У меня целых три сервиза!

— Брильянты?

— Я ими торговать могу...

— Зеленую обезьяну?

— Нет, картину Рафаэля!

— Какая тебя муха укусила?

— Жозефа со своими картинами у меня вот где сидит,— отвечала Карабина.— Я хочу ее перещеголять!

Дю Тийе привел с собою бразильца — виновника кутерьмы, вслед за ним явился герцог д'Эрувиль с Жозефой. Певица одета была в бархатное платье простого

покроя, но в драгоценном колье на обнаженной шее. Бесценные жемчужины едва означались на этой атласной коже белее камелии. Ожерелье оценивалось в сто двадцать тысяч франков. Жозефа воткнула в тугие черные косы красную камелию (своеобразная мушка!), создававшую поразительный эффект. На каждой руке у нее было надето по одиннадцати жемчужных браслетов, нанизанных один выше другого по самые локти. Она пожала руку Женни Кадин, и та сказала:

— Одолжи-ка мне твои митенки.

Жозефа сняла браслеты и подала их приятельнице на тарелке.

— Какова манера! — сказала Карабина.— Ни дать ни взять — герцогиня! А какая тьма жемчуга! Вы ограбили море, чтобы украсить эту девицу, господин герцог?— добавила она, оборотясь к невзрачному герцогу д'Эрувилю.

Актриса взяла один браслет, нанизала остальные на прекрасные руки певицы и поцеловала ее.

Лусто, лизоблюд от литературы, ла Пальферин и Малага, Массоль и Бовине, Теодор Гайар, один из владельцев влиятельнейшей политической газеты, дополняли общество. Герцог д'Эрувиль, аристократически вежливый со всеми без различия, отдал графу ла Пальферину тот поклон, который, не указывая ни на особое уважение, ни на особую близость, говорит: «Мы люди одного круга, одной породы, мы с вами ровня!» Поклон этот — отличительный признак аристократизма, был предназначен для того, чтобы осадить умников из высшего буржуазного общества.

Карабина усадила Комбабуса по левую руку от себя, герцога д'Эрувиля — по правую. Сидализа села рядом с бразильцем, Бисиу устроился по другую сторону прекрасной нормандки. Малага заняла место рядом с герцогом.

В семь часов приступили к устрицам. В восемь, между двумя блюдами, пили замороженный пунш. Всем известно меню таких пиршеств. В девять часов языки у всех развязались, как обычно развязываются языки у сотрапезников после сорока двух бутылок различных вин, рассчитанных на четырнадцать персон. Поданы были фрукты, ужасные апрельские фрукты. Дурманящая об-

становка кутежа опьяняла одну только нормандку, напевавшую какую-то веселую песенку. Никому, кроме этой девушки, хмель не бросился в голову: тут пировали записные кутилы и непременные их спутницы — парижские лоретки высокого полета.

Мысль обострилась, глаза блестели, и, хотя взгляд их был вполне осмыслен, с уст срывались насмешки, нескромные намеки, сыпались анекдоты. Разговор, который до той поры вертелся вокруг скачек, лошадей, биржевых катастроф, сплетен о львах разных мастей и их сравнительных достоинствах, громких скандальных историях, уже грозил перейти в тот интимный шепот, после которого общество разбивается на воркующие парочки.

Но именно в этот момент под действием нежных взглядов, которые Карабина расточала одновременно Леону де Лора, Бисиу, ла Пальферину и дю Тийе, за столом заговорили о любви.

— Порядочные врачи никогда не говорят о болезнях, истинные аристократы никогда не говорят о своих предках, выдающиеся таланты никогда не говорят о своих творениях,— сказала Жозефа,— к чему же нам говорить о нашем ремесле?.. Я отменила представление в Опере для того, чтобы поехать сюда, и уж, конечно, не имею ни малейшего желания и тут еще *работать!* Перестаньте же ломаться, дорогие подруги!

— Тебе говорят о настоящей любви, милочка! — сказала Малага.— О любви, из-за которой погибают, из-за которой губят отца и мать, продают жен и детей и доходят до... долговой тюрьмы...

— Ну, куда ни шло! Говорите! — отвечала певица.— Я по этой части не мастак!

«Не мастак!..» Слово это, перешедшее из жаргона парижских уличных мальчишек в словарь лоретки, звучит в ее устах как целая поэма, особенно если оно сопровождается шаловливыми гримасками и нежными взглядами.

— Неужели я не люблю вас, Жозефа? — прошептал герцог.

— Вы, может быть, и любите меня по-настоящему,— отвечала, тоже шепотом, певица,— но я-то не люблю вас той любовью, о которой идет речь, той любовью, когда ничто на свете не мило, если возле нас нет любимого. Вы

мне приятны, полезны, но не необходимы!.. И если вы бросите меня завтра, я найду себе трех герцогов вместо одного...

— Разве в Париже существует любовь? — сказал Леон де Лора.— Тут не хватает времени составить себе состояние, так как же можно говорить об истинной любви, в которой человек растворяется весь, как сахар в воде? Надобно быть богачом, чтобы позволить себе любить, потому что любовь поглощает всего человека. Примером тому может служить присутствующий среди нас и всем нам приятный бразильский барон. Я уже давно сказал: «Всякая крайность туга на ухо!» Истинно влюбленный напоминает евнуха, потому что для него не существует на свете женщин. Он загадочен, он похож на отшельника в пустыне! Поглядите на нашего милейшего бразильца!

Внимание всего стола обратилось на барона Анри Монтеса де Монтеханос, который смутился, почувствовав себя средоточием стольких любопытных взглядов.

— Он жует тут целый час, как некий бык, не чувствуя, что рядом с ним сидит... не скажу — самая красивая, но самая свеженькая из всех парижанок.

— Тут все свежее, даже рыба; заведение этим славится,— сказала Карабина.

Барон Монтес де Монтеханос внимательно посмотрел на пейзажиста и любезно сказал:

— Весьма признателен! Пью за ваше здоровье!— Поклонившись Леону де Лора, он поднял бокал, наполненный портвейном, и залпом его осушил.

— Вы, стало быть, любите? — спросила Карабина соседа, истолковав его тост по-своему.

Бразильский барон опять наполнил бокал, поклонился Карабине и повторил свой тост.

— За здоровье мадам! — сказала тогда лоретка таким уморительным тоном, что пейзажист, дю Тийе и Бисиу так и прыснули.

Бразилец был серьезен, как бронзовое изваяние. Хладнокровие его взбесило Карабину. Она отлично знала, что Монтес любит г-жу Марнеф, но не ожидала встретить столь суровую верность, столь упорное молчание. Ведь так же, как о женщине судят по манере ее любовника держать себя, так и о мужчине принято су-

дить по нравам его возлюбленной. Гордый любовью Валери и своей любовью к ней, барон глядел на этих заслуженных волокит с насмешливой улыбкой; кстати сказать, винные пары не повредили свежести его лица, а глаза, излучавшие блеск темного золота, надежно хранили тайны души.

«Ну и женщина! Как она, однако, запечатала его сердце!» — подумала Карабина.

— Помилуйте, да это какая-то скала! — сказал вполголоса Бисиу, который видел во всем происходящем только повод к шуткам и совершенно не подозревал, как важно было для Карабины сокрушить эту крепость.

Покуда по правую руку Карабины велись как будто весьма легкомысленные речи, по левую ее руку продолжался спор о любви, завязавшийся между герцогом д'Эрувилем, Лусто, Жозефой, Женни Кадин и Массолем. В чем тайна постоянства любви, в горячке ли страсти, в упрямстве или сердечной привязанности, вот вопрос, который занимал всех. Жозефа, наскучив отвлеченными рассуждениями, пожелала оживить разговор.

— Что говорить о том, в чем вы ничего ровно не смыслите? Неужели хоть один из вас любил женщину, и женщину недостойную его, любил настолько, что промотал на нее все свое состояние и состояние своих детей, продал свое будущее, осквернил прошлое, чуть ли не попал на каторгу, обокрав казну, погубил дядю, уморил брата и, в довершение всего, позволил надеть себе на глаза повязку и даже не подумал, что ее надевают, желая скрыть от него пропасть, куда его столкнут, чтобы позабавиться на прощание. У дю Тийе в груди денежный ящик, у Леона де Лора — остроумие; Бисиу сам себя поднял бы на смех, если бы полюбил кого-нибудь больше собственной своей особы. У Массоля вместо сердца министерский портфель, у Лусто там полная пустота, раз он не сумел удержать своей мадам де ла Бодрэ; герцог д'Эрувиль так богат, что не разорится никогда, а значит, никогда не сможет доказать своей любви, а Вовине и прочие не в счет: ростовщики не принадлежат к человеческой породе. Короче, вы никогда не любили, как не любила ни я, ни Женни, ни Карабина!.. Что касается меня, я только раз в жизни встретила такое чудо, о котором говорила. Это был,— сказала она, обращаясь к Женни Кадин,—

наш бедный барон Юло!.. Я как раз собиралась начать поиски его, дать объявление, как о пропавшем пуделе... Мне нужно его отыскать.

«Вот тебе на! — сказала про себя Карабина, выразительно посмотрев на Жозефу.— Уж не нашлось ли у мадам Нуррисон двух картин Рафаэля? Жозефа играет мне на руку...»

— Бедняга! — сказал Вовине.— Какой он был представительный, сколько в нем было блеска! Что за осанка! Какие манеры! Он был похож на Франциска Первого. Настоящий вулкан! А какая изворотливость! С какой гениальной находчивостью он добывал деньги! Так или этак, а деньги он, несомненно, и теперь находит,— должно быть, извлекает их из стен, возведенных на костях у городской заставы, в каком-нибудь предместье, где он, вероятно, скрывается...

— И все это,— сказал Бисиу,— ради какой-то госпожи Марнеф! Вот бестия!

— Она выходит замуж за моего приятеля Кревеля!— сказал дю Тийе.

— И без ума от моего друга Стейнбока! — прибавил Леон де Лора.

Три эти фразы поразили Монтеса в самое сердце, как три пистолетных выстрела. Он побледнел как полотно и тяжело поднялся с места.

— Канальи! — сказал он.— Как вы смеете произносить имя порядочной женщины среди этих погибших созданий! Да еще обращать его в мишень для вашего зубоскальства!..

Взрыв рукоплесканий и крики «браво!» прервали его на полуслове. Бисиу, Леон де Лора, Вовине, дю Тийе, Массоль подали знак. Все заговорили наперебой.

— Да здравствует император! — провозгласил Бисиу.

— Венец ему на голову! — вскричал Вовине.

— Предоставим брюзжать Медору, и да здравствует Бразилия! — крикнул Лусто.

— Э-ге-ге, краснокожий барон!.. Да ты влюбился в нашу Валери? — сказал Леон де Лора.— У тебя губа не дура!

— Сказано не по-парламентски, зато правильно!..— заметил Массоль.

— Те-те-те, дорогой мой клиент! Я твой опекун, твой банкир! Как бы твоя наивность не наделала мне хлопот...

— Да объясните мне хоть вы. Ведь вы один тут человек серьезный...— сказал бразилец, обращаясь к дю Тийе.

— Приношу благодарность от имени всей компании! — воскликнул Бисиу, отвешивая поклон.

— Объясните мне толком...— повторил Монтес, пропустив мимо ушей шутку Бисиу.

— За чем же дело стало? — ответил дю Тийе.— Честь имею доложить тебе, что я приглашен на свадьбу Кревеля.

— О Комбабус! Выступай же в защиту госпожи Марнеф! — сказала Жозефа, торжественно подымаясь. Она с трагическим видом подошла к Монтесу, дружески похлопала его по лбу, посмотрела на него с минуту, как бы не находя слов, чтобы выразить свое восхищение, и покачала головой.

— Юло первый образец любви, *несмотря ни на что,* а вот и второй,— сказала она.— Но, в сущности, он не в счет, ведь он дитя тропиков!

В ту минуту, когда Жозефа слегка похлопала бразильца по лбу, Монтес упал на стул, и взгляд его обратился к дю Тийе.

— Если я служу игрушкой вашего парижского балагурства,— сказал он,— если вы только хотели вырвать у меня тайну моей...— И он обвел сидящих за столом огненным взглядом, в котором пламенело солнце Бразилии.— Прошу вас, скажите, что вы шутите,— продолжал он умоляющим, почти ребяческим тоном,— но не клевещите на женщину, которую я люблю...

— Экая оказия! — отвечала Карабина, наклоняясь к самому его уху.— А что, если вас обманывали самым гнусным образом, если вами играли? А что, если через час, в моем доме, я дам вам доказательства измены Валери?.. Что вы тогда станете делать?..

— Не могу на это ответить вам тут, среди всех этих Яго...— сказал бразильский барон.

Карабине послышался шелест *кредиток.*

— Тс! Тс! Молчите...— сказала она, улыбаясь.— Не делайте себя посмешищем остроумнейших парижан. Приходите ко мне, побеседуем...

Монтес был подавлен.

— Доказательства!..— с трудом произнес он.— Подумайте, что вы говорите!..

— Доказательств ты получишь сколько хочешь,— отвечала Карабина,— но, если у тебя в голове помутилось от одного только подозрения, я опасаюсь за твой рассудок...

— Ну и упрям же этот бразилец! Упрямее покойного короля Голландии. Послушайте, Лусто, Бисиу, Массоль, эй, вы! Разве вы не получали приглашения пожаловать послезавтра к госпоже Марнеф? — спросил Леон де Лора.

— Ja [1],— отвечал дю Тийе.— Имею честь повторить вам, барон, что если у вас было намерение вступить в законный брак с госпожой Марнеф, то знайте — ваш проект забаллотирован увесистым черным шаром,— попросту говоря, Кревелем! Друг мой, ведь старинный мой приятель Кревель имеет восемьдесят тысяч франков годового дохода! Вероятно, вы не можете противопоставить такой цифры, иначе вас, несомненно, предпочли бы...

Монтес слушал с какой-то странной, застывшей улыбкой. На всех это произвело сильное впечатление. Вошедший в эту минуту лакей сказал на ухо Карабине, что в гостиной ее ожидает родственница и хочет с ней поговорить. Карабина встала из-за стола и, выйдя в соседнюю комнату, увидела там госпожу Нуррисон в черной кружевной вуали.

— Ну, как обстоит дело? Пожаловать к тебе, дочь моя? Клюнуло?

— Да, мамаша, пистолет уже заряжен, того и гляди выстрелит,— отвечала Карабина.

Часом позже Монтес, Сидализа и Карабина, вернувшись из «Роше де Канкаль», входили в маленькую гостиную Карабины на улице Сен-Жорж. Лоретка сразу же заметила г-жу Нуррисон, сидевшую в кресле у камина.

— А вот и вы, дорогая тетушка! — сказала она.

— Да, дочь моя, я самая! Как видишь, пришла сама за получкой. Ты бы, глядишь, и забыла про меня, хоть

---

[1] Да *(нем.)*.

и доброе у тебя сердце, а завтра мне платить по векселям. Мы, торговки подержанным платьем, вечно в нужде. Кого это ты притащила с собой?.. Господин-то, как видно, не в духе...

Страшная г-жа Нуррисон, преобразившаяся до неузнаваемости в добродушную старушку, приподнялась, чтобы поцеловать Карабину, ту самую Карабину, которую в числе двадцати других девушек она пустила по ужасной стезе порока.

— Вот настоящий Отелло, но он отнюдь не жертва заблуждения! Честь имею представить: барон Монтес де Монтеханос...

— Э... да я знаю господина барона! Наслышана о нем! Вас прозвали Комбабусом, потому что вы любите только одну женщину, а в Париже ведь это все равно, что не любить ни одной. А кто она? Случайно не госпожа ли Марнеф, сожительница Кревеля?.. Слушайте, мой дорогой, благословляйте судьбу заместо того, чтобы ее клясть... Бабенка эта — настоящая дрянь. Я-то знаю ее штучки!..

— Но ты не знаешь бразильцев! — сказала Карабина, которой г-жа Нуррисон успела, целуя ее, всунуть в руку записку.— Это такие молодцы, что готовы лезть на рожон из-за любви!.. Чем сильнее их мучит ревность, тем больше подавай им причин для ревности. Господин барон, изволишь видеть, только и твердит об убийстве, а убить не убьет, потому что любит. Короче, я привела его сюда, чтобы он мог убедиться в своем несчастье. Сейчас я ему представлю доказательства, которые я получила от этого хвастунишки Стейнбока.

Монтес был словно в угаре, он слушал, как если бы речь шла не о нем. Пока Карабина снимала с себя бархатную накидку, она успела прочесть факсимиле следующей записки:

«Мой котенок! Он обедает сегодня у Попино и приедет за мной в Оперу к одиннадцати часам. Я выеду в половине шестого и рассчитываю встретиться с тобой в нашем райском уголке; вели принести туда обед из Мэзон д'Ор. Оденься так, чтобы прямо оттуда поехать со мной в Оперу. В нашем распоряжении будет четыре часа. Верни мне записочку, не потому что твоя Валери не

доверяет тебе,— я готова отдать тебе жизнь, состояние и честь,— но я боюсь какой-нибудь случайности».

— Ну-ка, барон, получай, вот тебе посланьице, отправленное нынче утром графу Стейнбоку. Читай адрес! Оригинал уже сожжен.

Монтес повертел в руках записку, узнал почерк, и вдруг его осенила здравая мысль — верное свидетельство, что в голове у него был полный сумбур.

— Послушайте-ка! Зачем вам понадобилось терзать мне сердце? Ведь вы, должно быть, дорого заплатили за право задержать эту записку у себя, чтобы успеть ее литографировать? — сказал он, пристально глядя на Карабину.

— Дуралей! — сказала Карабина, поняв по знаку г-жи Нуррисон, что настало время действовать.— Неужто не видишь? Бедняжка Сидализа... почти ребенок, ведь ей всего шестнадцать лет, она сохнет по тебе; не пьет, не ест, убивается, а ты даже невзначай не взглянешь на нее!..

Сидализа поднесла платочек к глазам, делая вид, что плачет.

— Не глядите, что она с виду такая тихоня,— продолжала Карабина.— Девчонка просто рвет и мечет, что ее любимого водит за нос какая-то негодяйка. Она прямотаки готова убить Валери...

— Ну,— сказал бразилец,— это уж мое дело!

— Убить!.. Ты? — сказала Нуррисон.— Э, милок, у нас этого уже больше не водится.

— О, я чужестранец!— возразил Монтес.— Я из таких краев, где плюют на ваши законы, и если вы дадите мне доказательства...

— Ну, а записка-то! Разве это не доказательство?..

— Нет,— сказал бразилец.— Я не верю почерку, я хочу видеть...

— Ах, видеть!..— повторила Карабина, которая отлично поняла мимику своей «тетушки».— Не торопись, все увидишь, как на ладони, мой милый тигр, но с одним условием...

— Каким?

— Погляди-ка на Сидализу!

По знаку г-жи Нуррисон Сидализа бросила нежный взгляд на бразильца.

— Будешь ее любить? Устроишь ее судьбу? — спросила Карабина.— Для такой красотки не жаль особняка и экипажа! Было бы чудовищно заставлять ее ходить пешком. И у нее... долги... Сколько ты должна? — спросила Карабина, ущипнув за руку Сидализу.

— Она стоит хорошей цены,— сказала Нуррисон.— Нашелся бы только покупатель!

— Слушайте! — вскричал Монтес, обратив наконец внимание на эту жемчужину женской красоты.— Дадите вы мне увидеть Валери?

— И графа Стейнбока в придачу! — сказала г-жа Нуррисон.

Старуха уже минут десять наблюдала за бразильцем; она увидела, что избранное ею орудие убийства приведено в полную готовность; а главное, она поняла, что в своем ослеплении барон не заметит, кто направляет его руку, и приступила к делу.

— Сидализа, бесценный мой бразилец, приходится мне племянницей, и, значит, дело меня немножко касается. Вся эта кутерьма займет минут десять, потому что хозяйка меблированных комнат, где живет граф Стейнбок,— моя подруга. Вот там-то сейчас и распивает кофеек твоя Валери. Нечего сказать, хорош кофеек! Но она называет это кофеем... Так что давай сговоримся. Бразилия! Люблю я Бразилию! Знойная страна! Какова же будет судьба моей племянницы?

— Старый страус! — сказал Монтес, заметив перья на шляпе Нуррисон.— Ты не дала мне договорить. Если ты мне покажешь... покажешь Валери вместе с этим художником...

— Покажет, да еще в гнездышке, где ты и сам, поди, не прочь побыть с нею! — сказала Карабина.

— Тогда я возьму с собой нормандку и увезу ее...

— Куда? — спросила Карабина.

— В Бразилию! — отвечал барон.— Женюсь на ней. Дядя оставил мне десять квадратных миль непродажной земли. Вот почему я еще владею этой плантацией. Там у меня сто слуг-негров: одни только негры, негритянки и негритята, купленные еще моим дядей...

— Племянник торговца неграми! — сказала Караби-

на, состроив гримаску.— Тут надо прежде подумать! Сидализа, дитя мое, ты негрофилка?

— Э, полно зубоскалить, Карабина,— сказала Нуррисон.— Черт возьми! Мы с бароном говорим о деле.

— Если я снова заведу себе француженку, я хочу обладать ею безраздельно,— продолжал бразилец.— Предупреждаю вас, мадемуазель: я монарх, но монарх не конституционный,— я царь! Я купил всех моих подданных, и никто из них не выйдет за пределы моего царства, ибо оно находится в ста милях от всякого жилья. Со стороны материка — одни дикари, а от берега оно отделено пустыней, необозримой, как вся ваша Франция...

— Предпочитаю мансарду, да здесь! — сказала Карабина.

— Так и я думал,— продолжал бразилец,— потому-то я и продал все мои земли и все, чем владел в Рио-де-Жанейро, лишь бы вернуться к госпоже Марнеф.

— Такие путешествия даром не делаются! —сказала г-жа Нуррисон.— Вас можно полюбить ради вас самих, тем более что вы писаный красавец!.. О-о! Он действительно очень красив,— обратилась она к Карабине.

— Очень красив! Краше почтальона из Лонжюмо,— отвечала лоретка.

Сидализа взяла бразильца за руку; но он возможно вежливее постарался высвободить руку.

— Я вернулся, чтобы увезти госпожу Марнеф,— сказал бразилец, следуя ходу своих мыслей.— А знаете ли вы, почему я три года не возвращался?

— Нет, дикарь,— сказала Карабина.

— Да потому только, что Валери постоянно высказывала желание жить со мной вдвоем, в пустыне!..

— Ну, это уже не дикарь! — воскликнула Карабина, покатываясь со смеху.— Он, оказывается, из племени цивилизованных простофиль.

— Она так много говорила мне об этом,— продолжал барон, не обращая внимания на насмешки лореток,— что я за три года выстроил прелестную усадьбу посреди моих обширных владений, и вот теперь вернулся во Францию за Валери. И в ту ночь, когда я ее вновь увидел...

— Увидел? Прилично сказано! — вскричала Карабина.— Запомним это выражение!

— ...она стала просить меня не спешить с отъездом,

подождать, пока умрет этот презренный Марнеф. И я на это согласился и тут же простил ей ухаживания Юло. Не знаю, был ли это дьявол, нарядившийся в ее юбки, но с той поры эта женщина удовлетворяла всем моим прихотям, всем моим требованиям. Скажу прямо: ни на одну минуту она не подала мне повода для подозрений!

— Вот так здорово! — сказала Карабина г-же Нуррисон.

Госпожа Нуррисон закивала головой в знак согласия.

— Я так люблю эту женщину,— говорил Монтес, проливая слезы,— и так верил ей! Нынче за столом я едва удержался, чтобы не надавать пощечин всем этим людям...

— Я очень хорошо это заметила! — сказала Карабина.

— Если я обманут, если Валери выходит замуж, а в эту минуту обнимается со Стейнбоком, она заслуживает тысячу смертей, и я убью ее, раздавлю, как муху...

— А жандармы, милок? — спросила г-жа Нуррисон, с тихонькой старушечьей усмешкой, от которой бросало в дрожь.

— А полицейский пристав, а судьи, а суд присяжных и весь тарарам?..— воскликнула Карабина.

— Вы хвастун, дорогой мой,— сказала г-жа Нуррисон, желая узнать, какую месть готовит бразилец.

— Я ее убью! — холодно повторил бразилец.— Недаром вы назвали меня дикарем... Уж не думаете ли вы, что я буду подражать в глупости вашим соотечественникам и побегу в аптеку покупать яд?.. По дороге к вам я обдумал способ мести на тот случай, если вы окажетесь правы, обвиняя Валери. Один из моих негров носит в себе самый верный из животных ядов, ужасную болезнь, которая стоит любого растительного яда и излечивается только в Бразилии. Я заставлю Сидализу заразиться ею, а она передаст заразу мне. А когда смерть проникнет в жилы Кревеля и его жены, я буду уже за Азорскими островами с вашей племянницей, которую я вылечу и возьму себе в жены. У нас, дикарей, свои приемы!.. Сидализа,— сказал он, глядя на нормандку,—как раз тот зверек, который мне нужен. Как велик ее долг?..

— Сто тысяч франков! — сказала Сидализа.

— Она говорит мало, но толково,— шепнула Карабина г-же Нуррисон.

— Я схожу с ума! — вскричал глухим голосом бразилец, падая на козетку.— Я умру! Но я хочу видеть своими глазами, потому что этого быть не может! Литографированная записка!.. Кто мне поручится, что это не подделка?.. Барон Юло любил Валери!..— сказал он, вспоминая слова Жозефы.— Но раз она жива, значит, он не любил ее! Я не отдам ее живой никому, если она не хочет принадлежать одному мне!..

На Монтеса было страшно смотреть, но еще страшнее было слушать его! Он рычал, бился, ломал все, что попадалось ему под руку, палисандровое дерево раскалывалось от его удара, как стекло.

— Он все переломает! — сказала Карабина, взглянув на старуху Нуррисон.— Миленький,— добавила она, похлопывая бразильца по спине.— Неистовый Роланд очень хорош в поэме, но в комнате оно выходит и прозаично и дорого!

— Сын мой,— заговорила Нуррисон, вставая и подходя к совсем обессилевшему бразильцу.— Мы с тобой одним миром мазаны. Когда любишь вот так, когда *врежешься насмерть*, жизнью готов заплатить за любовь. Тот, кто уходит, сокрушает все, вот у нас как! Крушить так крушить! Ты заслужил мое уважение, восхищаюсь тобой, во всем с тобой соглашаюсь. Особенно приглянулось мне твое средство, того и гляди стану негрофилкой! Но ведь ты любишь! Ты не устоишь!..

— Я?.. Да если она действительно негодяйка, то я...

— Послушай, что ты так много болтаешь? — продолжала Нуррисон, бросив свое шутовство.— Раз мужчина хочет мстить и хвалится, что ему, как дикарю, все позволено, он ведет себя иначе. Если хочешь, чтоб тебе показали твою пассию в ее райском уголке, придется тебе взять Сидализу под ручку и разыграть комедию,— как будто ты попал со своей милочкой, по ошибке горничной, не в ту дверь. Только смотри, чтоб без скандала! Если хочешь отомстить, надо слукавить, притвориться, что ты в отчаянии и будто опять готов поддаться чарам своей любовницы. Ну как, согласен? — сказала г-жа Нуррисон,

видя, что бразилец захвачен врасплох столь тонкой махинацией.

— Ладно, страус,— отвечал он.— Ладно!.. Я все понял.

— Прощай, моя душечка! — сказала г-жа Нуррисон Карабине.

Она мигнула Сидализе, чтобы та шла с Монтесом, а сама осталась с Карабиной.

— Теперь, милочка, я опасаюсь только одного, как бы он ее не задушил! Тогда мне плохо придется, ведь наши дела должны делаться *втихую*. Сдается мне, что ты заработала своего Рафаэля, но, говорят, это Миньяр. Будь покойна, это гораздо лучше. Мне сказали, что полотна Рафаэля все почернели, а эта картина так же мила, как какой-нибудь Жироде.

— Мне важно перещеголять Жозефу! А там будь хоть Миньяр, хоть Рафаэль! — воскликнула Карабина.— Ну и жемчуга же были на этой мошеннице... просто черту душу продашь!

Сидализа, Монтес и г-жа Нуррисон сели в фиакр, стоявший у подъезда Карабины. Г-жа Нуррисон шепотом назвала кучеру адрес дома на Итальянском бульваре, до которого было рукой подать: с улицы Сен-Жорж можно было туда доехать в семь-восемь минут, но г-жа Нуррисон приказала ехать в объезд, через улицу Лепелетье, и притом потише, чтобы можно было разглядеть стоявшие у театра экипажи.

— Бразилец! — сказала Нуррисон.— Узнаешь слуг и карету твоего ангела?

Бразилец указал на экипаж Валери, мимо которого они как раз проезжали.

— Она приказала слугам быть тут к десяти часам, а сама поехала на свидание со Стейнбоком в фиакре; она у него обедала и через полчаса явится в Оперу. «Хорошо сработано!» — сказала г-жа Нуррисон.— Вот тебе и объяснение, почему могла она так долго тебя надувать.

Бразилец ничего не ответил. Превратившись в тигра, он вновь обрел свое невозмутимое хладнокровие, так восхищавшее всех в начале обеда. Словом, он был спокоен, как банкрот на другой день после объявления его несостоятельным.

У ворот рокового дома дожидалась запряженная па-

рой наемная карета, из тех, что называются «Главной компанией» по имени предприятия.

— Посиди-ка в своей коробке,— сказала Монтесу г-жа Нуррисон.— Сюда не входят, как в кофейню. За вами придут.

Райский уголок г-жи Марнеф и Стейнбока ничуть не походил на домик Кревеля, недавно проданный им графу Максиму де Трай («приют любви» стал уже не нужен). Этот райский уголок — в раю, доступном для многих,— состоял из одной комнаты в пятом этаже, с выходом на лестницу со стороны Итальянского бульвара. В каждом этаже на лестничной площадке было по комнате, служившей раньше кухней для каждой квартиры. Но с тех пор как дом превратился в своего рода гостиницу, где сдавали за огромные деньги комнаты для тайных свиданий, главная съемщица, подлинная г-жа Нуррисон, торговавшая платьем на улице Нев-Сен-Марк, здраво рассудила, что и кухни приобретут огромную ценность, если сделать из них нечто вроде отдельных кабинетов, как в ресторанах. Эти комнаты с толстыми внутренними стенами окнами выходили на улицу, а крепкая наружная дверь запиралась на двойной запор. Таким образом, тут можно было, обедая, обсуждать важные тайны, не рискуя, что вас услышат. Для большей верности окна закрывались ставнями, снаружи решетчатыми, а изнутри — сплошными. Эти комнаты, имевшие такие удобства, ходили по триста франков в месяц. Весь дом, полный райских уголков и тайн, снимала за двадцать четыре тысячи франков в год г-жа Нуррисон-первая, получавшая на нем годового дохода тысяч двадцать, не считая того, что она платила своей домоправительнице (г-же Нуррисон-второй), ибо сама она не управляла своим домом.

Райский уголок, нанятый графом Стейнбоком, был обит персидской тканью. Холодный, грубый пол из красных плиток, натертых воском, застлан был мягким пушистым ковром. Обстановка состояла из двух красивых стульев и кровати в алькове, в настоящий момент наполовину заслоненной столом с остатками тонкого обеда; две бутылки с длинными горлышками и бутылка шампанского в ведерке с растаявшим льдом служили вехами на полях Бахуса, возделанных Венерой. Тут стояли также, несомненно присланные Валери, отличное низкое

кресло, придвинутое к горевшему камину, и прелестный комод розового дерева, с зеркалом в изящной раме стиля Помпадур. Висячая лампа бросала неяркий свет, но полумрак рассеивали огни свечей, зажженных на столе и на камине.

Этот набросок даст представление urbi et orbi [1] о том, как измельчала обстановка любовных свиданий в Париже к сороковым годам XIX века. Увы! Как далеко мы ушли от той беззаконной любви, символическим изображением которой три тысячи лет назад являлись сети, раскинутые Вулканом.

В то время, как Сидализа и барон поднимались по лестнице, Валери, стоя перед камином, в котором жарко пылали дрова, обучала Венцеслава искусству зашнуровывать корсет. В такую минуту женщина не слишком полная, не слишком худая, какою и была стройная, изящная Валери, являет собой очаровательную картину. Розоватая кожа необычайно теплых тонов способна зажечь взгляд самых равнодушных глаз. Линии полуобнаженного тела четко обрисовываются под ярким шелком нижней юбки и канифасом корсета, женщина становится особенно желанной, как всё, с чем приходится расставаться. Счастливое, улыбающееся личико, отраженное в зеркале, нетерпеливо постукивающая ножка, прелестная рука, поправляющая выбившийся локон наспех сделанной прически, глаза, преисполненные благодарности, и, наконец, пламень наслаждения, озаряющий, подобно закатному солнечному лучу, малейшую черточку лица,— все делает этот час незабвенным! Поистине всякий, оглянувшись в прошлое и вспомнив грехи своей молодости, воскресит в памяти пленительные их подробности и, может быть, поймет, если не извинит, разных Юло и Кревелей. Женщины так хорошо сознают свою власть в такие минуты, что всегда тут найдут, если можно так выразиться, зацепку для нового свидания.

— Ну, что ж ты! Два года учишься и все еще не умеешь шнуровать корсет! Право, ты уж чересчур поляк! Смотри, скоро десять часов, Венце...сла...ав! — смеясь, говорила Валери.

В эту самую минуту коварная горничная ловко про-

---

[1] Городу и миру *(лат.)*.

сунула в дверь лезвие ножа, и крючок, на котором зиждилась безопасность Адама и Евы, соскочил с петли. Дверь распахнулась — а так как обитатели этого Эдема были застигнуты врасплох — взору предстала прелестная жанровая картинка, какие столь часто выставляются в Салоне, с легкой руки Гаварни.

— Сюда, сударыня! — сказала горничная.

И Сидализа с Монтесом вошли в комнату.

— Но тут есть кто-то! Извините, сударыня,— воскликнула испуганная нормандка.

— Как! Да это Валери! — крикнул Монтес, с силой захлопнув за собой дверь.

Госпожа Марнеф, слишком взволнованная, чтобы притворяться, упала в низкое кресло, стоявшее у камина. Две слезы скатились из ее глаз и тотчас же высохли. Она взглянула на Монтеса, увидела нормандку и расхохоталась деланным смехом. Достоинство оскорбленной женщины взяло верх над смущением, вызванным откровенностью ее туалета; она подошла к Монтесу, посмотрела на него с невыразимой гордостью, и глаза ее блеснули, как клинок кинжала.

— Вот оно что! — сказала она, становясь перед брасильцем и указывая на Сидализу.— Вот какова изнанка вашей верности! И это вы, всегда столь щедрый на обещания? Ведь слушая вас, даже тот, кто не признает любви, поверил бы в нее!.. И это вы, ради которого я не отступала ни перед чем, даже перед преступлением!.. Вы правы, сударь! Где же мне соперничать с молоденькой девчонкой, да еще такой красавицей!.. Я знаю, что вы мне скажете,— прибавила она, указывая на Венцеслава, беспорядок в одежде которого служил слишком явной уликой, чтобы отрицать вину.— Но это касается только меня. Если бы я еще могла любить вас после вашей низкой измены — да, низкой, потому что вы шпионили за мной, вы купили каждую ступеньку этой лестницы и хозяйку дома, и служанку, и, возможно, Регину... Ах, как это красиво! Если бы у меня осталась хоть капля привязанности к человеку столь подлому, я бы заставила его выслушать мои доводы и он полюбил бы меня вдвое сильнее!.. Но я порываю с вами, сударь! Оставайтесь со своими подозрениями... Когда-нибудь вас будет мучить за них совесть... Венцеслав, мое платье!

Она взяла платье и, надев его, оглядела себя в зеркало, затем преспокойно закончила свой туалет, не обращая внимания на бразильца, словно она была одна в комнате.

— Венцеслав, вы готовы? Идите вперед.

Краешком глаза она следила за Монтесом, который был ей виден в зеркало. Бледность его она сочла признаком той слабости, которая предает во власть женского очарования даже самых сильных мужчин; она подошла к нему так близко, что он мог вдохнуть опасный аромат духов любимой женщины, опьяняющий любовника, и, почувствовав, что он взволнован, взяла его за руку и посмотрела на него с укором.

— Я позволяю вам пойти и рассказать господину Кревелю о вашем открытии. Он не поверит вам. Поэтому я и имею право выйти за него замуж: через день он будет моим мужем... И я сделаю его счастливым человеком!.. Прощайте! Постарайтесь меня забыть...

— Ах, Валери! — воскликнул Анри Монтес, сжимая ее в объятиях.— Это невозможно!.. Уедем в Бразилию!

Валери посмотрела на барона и поняла, что он опять ее покорный раб.

— Ах, если бы ты по-прежнему любил меня, Анри! Через два года я была бы твоей женой. Но твое лицо так угрюмо!..

— Клянусь тебе, что меня напоили, что мнимые друзья навязали мне эту женщину и что все это чистая случайность! — сказал Монтес.

— Я могу, стало быть, простить тебя? — сказала она, улыбаясь.

— А ты все-таки выходишь замуж? — спросил барон, терзаясь ревностью.

— Но ведь подумай только! Восемьдесят тысяч франков дохода! — воскликнула она с полукомическим восторгом.— И Кревель так меня любит, что умрет от любви!

— А-а! Понимаю!...— сказал бразилец.

— Ну что ж! Через несколько дней мы с тобой поговорим,— сказала Валери.

И она вышла торжествующая.

«Сомнений нет! — подумал Монтес, стряхнув с себя оцепенение.— Эта женщина намерена пылкостью своих ласк сжить со свету старого болвана, как раньше рас-

считывала отделаться от Марнефа! Мне суждено быть орудием божественного правосудия!»

Спустя два дня собутыльники дю Тийе, разбиравшие по косточкам г-жу Марнеф, собрались у нее за столом: за час перед тем она облеклась в новую оболочку, переменив свое имя на славное имя супруги парижского мэра. Злоязычие друзей — одно из самых заурядных явлений парижской жизни. Валери имела удовольствие видеть в церкви бразильского барона, которого Кревель, сделавшись законным супругом, пригласил из бахвальства. Присутствие Монтеса за завтраком никого не удивило. Все эти остроумцы давно уже свыклись с низкими уступками в угоду страсти, со сделками во имя наслаждения. Меланхоличное настроение Стейнбока, который уже начинал презирать своего бывшего ангела, сочли проявлением деликатности. Поляк, по мнению гостей, хотел показать, что все кончено между ним и Валери. Лизбета пришла поздравить свою дорогую г-жу Кревель, извинившись, что не может присутствовать на завтраке, так как Аделина больна.

— Не беспокойся,— сказала она, прощаясь с Валери.— Ты будешь у них бывать и сама увидишь их в своем доме. Стоило мне сказать три слова: *двести тысяч франков*, и баронесса чуть не умерла! О, ты их всех теперь держишь в руках. Но что это за история? Ты мне не расскажешь?..

Прошел месяц после свадьбы Валери, и она уже успела раз десять поссориться со Стейнбоком, который требовал от нее объяснений относительно Анри Монтеса, припоминал каждое слово, сказанное ею во время сцены в «райском уголке», и не только осыпал ее оскорблениями, но и так зорко следил за ней, что она вздохнуть не могла свободно, преследуемая ревностью Стейнбока и нежностями Кревеля. Не имея подле себя Лизбеты, своей незаменимой советчицы, Валери однажды грубо попрекнула Венцеслава деньгами, которые он взял у нее взаймы. Гордость заговорила в Стейнбоке, и он больше не появлялся в доме Кревеля. Валери достигла своей цели: она хотела удалить на время Венцеслава, чтобы развязать себе руки. Она ждала, когда Кревель уедет за город, к графу Попино, при содействии которого он надеялся добиться представления своей жены ко двору; в отсутст-

вие мужа она решила посвятить весь день бразильскому барону и привести ему столь веские доводы, что он полюбил бы ее еще сильнее.

В тот день утром Регина, решившая, что ее преступление против хозяйки очень велико, раз за него заплатили такую огромную сумму, пробовала предупредить свою госпожу, в которой, естественно, она была больше заинтересована, чем в посторонних людях; но поскольку ей пригрозили в случае болтливости объявить ее сумасшедшей и отправить в Сальпетриер, то она приступила к объяснению весьма осторожно.

— Вы, сударыня, так счастливы теперь,— говорила она,— почему бы вам не отделаться от этого бразильца?.. Я что-то не доверяю ему.

— Ты права, Регина,— отвечала Валери,— я с ним порву.

— Ах, сударыня, я очень буду рада. Боюсь я этого черномазого!

— Какая ты глупая! Не за меня, а за него надо бояться, когда он со мной.

В это время вошла Лизбета.

— Дорогая моя, милая моя козочка! Как давно мы с тобой не видались! — сказала Валери.— Я так несчастна... Кревель наводит на меня скуку смертную, Венцеслав больше ко мне не приходит, мы с ним в ссоре.

— Знаю,— отвечала Лизбета,— я из-за него-то и пришла. Викторен встретил его вчера на улице Валуа, около пяти часов вечера: Венцеслав входил в дешевенький ресторан, где обед обходится в двадцать пять су. Натощак человек куда сговорчивее, и Викторен привел его на улицу Людовика... Гортензия, увидав своего Венцеслава, такого исхудавшего, несчастного, дурно одетого, первая протянула ему руку... Вот до чего, мол, довели тебя твои измены!

— Господин Монтес, сударыня! — шепнул лакей на ухо Валери.

— Уходи, Лизбета, я тебе потом все объясню!..

Но, как мы увидим, Валери уже не пришлось ничего и никому объяснять.

К концу мая месяца пенсия барона Юло окончательно была выкуплена благодаря взносам, которыми Викторен постепенно покрывал долг отца барону Нусингену.

Всякому известно, что пенсия выплачивается раз в полугодие по представлении свидетельства, что пенсионер жив; а так как местожительство барона Юло было неизвестно, то пенсионные ассигновки, опротестованные в пользу Вовине, вносились в депозит казначейства. Вовине подписал разрешение о снятии запрещения, и теперь необходимо было разыскать самого пенсионера, чтобы получить накопившуюся сумму. Баронесса, которую лечил Бьяншон, поправлялась. Добросердечная Жозефа способствовала полному выздоровлению Аделины: она послала баронессе письмо, орфография которого выдавала сотрудничество герцога д'Эрувиля. Вот что написала актриса после сорокадневных усердных поисков:

«Баронесса!

Господин Юло два месяца тому назад жил на улице Бернардинцев с Элоди Шарден, штопальщицей кружев, которая отбила его у мадемуазель Бижу. Но он исчез оттуда, бросив все свои вещи и никого не предупредив. Куда он уехал — неизвестно. Но я не отчаиваюсь и направила в поиски за ним одного человека, который, кажется, уже встретил его на бульваре Бурдон.

Бедная еврейка сдержит обещание, данное христианке. Пусть ангел помолится за демона! Возможно, это случается иногда и на небесах.

С глубоким уважением ваша покорная слуга

Жозефа Мирах».

Адвокат Юло д'Эрви, ничего не слыша больше об ужасной г-же Нуррисон и зная, что тесть женился, а зять вернулся в семью, не испытывал никаких неудобств от существования новой тещи и, не беспокоясь теперь о здоровье матери, которое улучшалось с каждым днем, занялся своими политическими и судебными делами, отдавшись бурному течению парижской жизни. Однажды, в самом конце сессии, он, готовясь к докладу, решил провести всю ночь за работой. Было около девяти часов вечера, когда он вошел в кабинет и, ожидая, пока лакей принесет свечи с колпачком, задумался об отце. Он досадовал на себя за то, что предоставил певице заниматься поисками барона, и решил завтра же обратиться к помощи Шапюзо, как вдруг в окне показалась благо-

родная старческая голова с желтоватой лысиной на темени, в венчике седых волос.

— Прикажите, ваша милость, допустить к вам бедного пустынника, собирающего подаяние на восстановление святой обители.

Видение обрело голос, и адвокат, сразу же вспомнив пророчество ужасной старухи, содрогнулся.

— Впустите этого старика,— приказал он лакею.

— Да он, сударь, еще принесет какую-нибудь заразу в кабинет,— отвечал слуга.— Ведь он не менял своей рыжей рясы с самой Сирии. На нем даже рубахи нет...

— Впустите сюда старика,— повторил адвокат.

Старик вошел. Викторен недоверчиво оглядел этого «странствующего пустынника» и увидел, что перед ним чистейший образец неаполитанского монаха, в рясе, которая сродни рубищу лаццарони, в сандалиях, представляющих собою кожаные отрепья, как сам монах — человеческие отрепья. Все было вполне реально, о наваждении не могло быть речи, и адвокат упрекнул себя за то, что чуть было не поверил в колдовство г-жи Нуррисон.

— Что вам от меня нужно?

— То, что сочтете нужным мне дать.

Викторен взял из кучки серебра монету в пять франков и протянул ее незнакомцу.

— В счет пятидесяти тысяч франков — маловато,— сказал нищенствующий монах.

Эта фраза рассеяла все сомнения Викторена.

— А небо сдержало свои обещания? — спросил он, нахмурив брови.

— Сомнение — великий грех, сын мой! — возразил отшельник.— Если вам угодно заплатить после похорон, это ваше право. Я приду еще раз через неделю.

— После похорон! — воскликнул адвокат, вставая.

— Дело сделано,— сказал старик, уходя.— А смерть в Париже не заставляет себя ждать!

Когда Юло, подняв опущенную голову, хотел ответить, старик уже исчез.

«Ничего не понимаю,— думал адвокат.— Но через неделю я у него потребую разыскать отца, если к тому времени нам самим не удастся его найти. И где только госпожа Нуррисон (так, кажется, ее имя) берет подобных лицедеев?»

На следующий день доктор Бьяншон позволил баронессе сойти в сад; он осмотрел также и Лизбету, которая уже целый месяц сидела дома из-за упорного бронхита. Ученый, не решавшийся сделать окончательное заключение о состоянии здоровья Лизбеты, пока не установит всех симптомов ее болезни, вышел вместе с баронессой в сад, чтобы понаблюдать, какое действие окажет на ее нервную дрожь свежий воздух после двухмесячного пребывания в комнате. Излечение этого невроза очень занимало пытливый ум Бьяншона. Видя, что знаменитый врач сел на скамью в намерении уделить им несколько минут, баронесса и ее дети сочли долгом вежливости развлечь его разговором.

— Вы очень заняты, и такими печальными делами!— сказала баронесса.— Я знаю по своему опыту, как тяжело каждодневно сталкиваться с нищетой и физическими страданиями.

— Сударыня,— отвечал врач,— мне хорошо известно, какие сцены вам приходится наблюдать, занимаясь делами благотворительности; но со временем вы привыкнете ко всему, как и мы привыкаем. Таков социальный закон. Ни духовник, ни судья, ни адвокат не могли бы заниматься своим делом, если бы *профессиональная привычка* не укрощала в них *сердце человеческое*. Разве можно было бы жить, не обладай мы этой удивительной способностью? Разве солдат во время всйны не наблюдает сцены еще более страшные, нежели те, что мы видим? А между тем все военные, побывавшие в боях,— добрые люди. Мы находим удовлетворение, вылечив больного, так же, как вы радуетесь, когда вам удается спасти семью от ужасов голода, порока, нищеты, вернуть ее к труду, к общественной жизни. Но чем может утешиться судья, полицейский пристав, адвокат, вынужденные всю свою жизнь разбираться в самых гнусных происках корыстолюбия, этого социального уродства, которому знакомо чувство досады при неудаче, но совершенно чуждо чувство раскаяния? Половина общества проводит жизнь в пристальном наблюдении за другой половиной. У меня есть давнишний приятель, адвокат, теперь уже ушедший на покой; он говорил мне, что в последние пятнадцать лет нотариусы и адвокаты так же не доверяют своим клиентам, как и противной стороне.

Ваш сын, сударыня,— адвокат. Не было ли в его практике случая, когда он был обманут своим подзащитным?

— Не раз бывало! — сказал, улыбаясь, Викторен.

— В чем же причина этого зла? — спросила баронесса.

— В упадке веры,— отвечал врач,— и в горячке стяжательства, а она не что иное, как закоренелый эгоизм. В прежнее время деньги не играли такой решающей роли; существовало и нечто другое, чему даже отдавалось преимущество перед презренным металлом. Ценилось благородство происхождения, талант, заслуги перед государством. Но в наши дни закон сделал деньги мерилом всего, принял их за основу политической правоспособности! Некоторые должностные лица за неимением имущественного ценза лишены права баллотироваться на выборах; Жан-Жак Руссо был бы лишен этого права! Наследственное право, предусматривающее раздел имущества, вынуждает каждого уже с двадцатилетнего возраста становиться на собственные ноги. А между необходимостью составить себе состояние и растлевающими финансовыми махинациями нет никаких преград, ибо религиозное чувство иссякло во Франции, несмотря на похвальные усилия тех, кто пытается восстановить влияние католичества. Вот что говорят люди, которые, подобно мне, изучают физиологию общества.

— Не много же радости доставляет вам это изучение! — сказала Гортензия.

— Настоящий врач,— отвечал Бьяншон,— одержим страстью к науке. Он живет этим чувством столько же, сколько и сознанием своей социальной полезности. Видите ли, в настоящее время я испытываю радость, так сказать, научного характера, и найдется много поверхностных людей, которые сочтут меня бессердечным человеком. Завтра я делаю доклад в Медицинской академии, посвященный одной находке в области медицины. Я наблюдаю сейчас совершенно исчезнувшую болезнь — болезнь смертельную, против которой мы бессильны в нашем умеренном климате, ибо она излечивается только в Индии... Болезнь эта свирепствовала в средние века. Что может быть прекраснее той борьбы, которую ведет врач с подобным недугом? Вот уже десять дней я только и думаю, что о своих больных, их у меня двое — жена и

муж! Не родственники ли они вам? Ведь вы, сударыня, кажется, дочь господина Кревеля? — сказал он, обращаясь к Селестине.

— Как! Неужели ваш больной — мой отец?..— воскликнула Селестина.— Он живет на улице Барбе-де-Жуи.

— Вот именно,— отвечал Бьяншон.

— И болезнь смертельная? — испуганно спросил его Викторен.

— Я еду к отцу! — воскликнула Селестина, вскочив со скамейки.

— Решительно запрещаю вам это, сударыня,— твердо сказал Бьяншон.— Болезнь заразная.

— Ведь вы же бываете там, доктор,— возразила молодая женщина.— А разве долг дочери не выше обязанностей врача?

— Сударыня, врач знает, как предохранить себя от заражения, а ваша безрассудная самоотверженность доказывает, что вы не способны, подобно мне, соблюдать меры предосторожности.

Селестина встала и пошла в комнаты переодеться для поездки.

— Доктор,— обратился к Бьяншону Викторен,— есть ли надежда спасти супругов Кревель?

— Надеюсь, но сам не верю этому,— отвечал Бьяншон.— Случай, необъяснимый для меня... Эта болезнь свойственна неграм и американским племенам, кожная система которых несколько иная, чем у белой расы. А я не могу установить никакой связи между неграми, краснокожими, метисами и супругами Кревель. Если эта болезнь — находка для врачей, то для всех прочих она гибельна. Бедная женщина, как говорят, такая красавица, жестоко наказана за свою греховную красоту, ибо сейчас она страшно обезображена, даже на человека уже не похожа!.. Зубы и волосы выпали, у нее вид прокаженной, она сама на себя наводит ужас; страшно глядеть на ее руки, распухшие, покрытые гнойниками; ногти отваливаются, и на пальцах остаются раны, когда она их расчесывает; ее конечности разлагаются, и язвы разъедает гнойная сукровица.

— Но в чем причина подобного разрушения? —спросил адвокат.

— О! Причина заключается в распаде крови, который протекает с ужасающей быстротой. Я надеюсь воздействовать на кровь и уже дал ее исследовать; сейчас я зайду к себе и узнаю результаты анализа, сделанного моим другом, профессором Дювалем, известным химиком; затем я думаю прибегнуть к одному из тех сильных средств, которыми мы пользуемся иногда в борьбе со смертью.

— Вот он, перст божий! — сказала глубоко взволнованная баронесса.— Хотя эта женщина причинила мне столько зла, что в минуты отчаяния я призывала на нее небесную кару, все же я молю бога, чтобы ваше лечение, доктор, увенчалось успехом.

У Юло-сына от страшных мыслей кружилась голова; взгляд его останавливался то на матери, то на враче, ему казалось, что они угадывают его тайну. Он смотрел на себя как на убийцу. Гортензия находила, что суд божий справедлив. Селестина пришла просить мужа сопровождать ее.

— Если вы все же идете туда, сударыня, прошу вас, как и вашего супруга, не подходить близко к постели больных, вот и все меры предосторожности. Только не вздумайте целовать умирающего! Итак, господин Юло, сопутствуйте вашей супруге и следите за тем, чтобы она не нарушала моего предписания.

Аделина и Гортензия, оставшись вдвоем, пошли навестить Лизбету. Ненависть Гортензии к Валери была так велика, что не могла не прорваться наружу.

— Бетта! Мы с матушкой отомщены! — воскликнула она.— Ядовитая тварь сама себя ужалила: она разлагается заживо!

— Гортензия,— сказала баронесса,— ты плохая христианка. Тебе нужно было бы просить бога, чтобы он внушил раскаяние этой несчастной.

— Что вы сказали? — вскричала Бетта, приподнимаясь с кресел.— Вы говорите о Валери?

— Да,— отвечала Аделина,— она приговорена, она гибнет от такой ужасной болезни, что от одного ее описания мороз по коже подирает.

У Бетты застучали зубы, выступил холодный пот, и по силе ее потрясения можно было судить, как велика ее привязанность к Валери.

— Я иду туда! — сказала она.

— Но ведь доктор запретил тебе выходить.

— Все равно я пойду!.. Бедный Кревель! Каково-то ему теперь, ведь он так любил жену...

— Он тоже умирает,— сказала графиня Стейнбок.— Да, все наши враги в руках дьявола...

— В руках божьих, дочь моя!..

Лизбета оделась, схватила свою знаменитую желтую кашемировую шаль, черный бархатный капор, зашнуровала ботинки и, не слушая увещаний Аделины и Гортензии, убежала, словно ее гнала какая-то властная сила. Прибыв на улицу Барбе спустя несколько минут после супругов Юло, Лизбета застала там семерых врачей, вызванных Бьяншоном для ознакомления с редким заболеванием; вскоре пришел и сам Бьяншон. Врачи, стоя в гостиной, обсуждали загадочное заболевание; то один из них, то другой входил либо в комнату Валери, либо в комнату Кревеля понаблюдать признаки болезни и всякий раз возвращался с новым заключением, вынесенным из беглого осмотра больных.

Светила науки расходились в суждениях. Один из них настаивал на отравлении, утверждая, что тут дело идет о специфической мести и что данный случай не имеет никакого отношения к болезни, свирепствовавшей в средние века. Трое других предполагали поражение лимфатических сосудов и слизистой оболочки. Остальные врачи придерживались мнения Бьяншона, утверждавшего, что причина болезни — заражение крови, вызванное неизвестным болезнетворным началом. Бьяншон принес с собою результаты анализа крови, сделанного профессором Дювалем. От решения этой медицинской проблемы зависели и способы лечения, впрочем, чисто эмпирические и не дававшие никакой надежды.

Лизбета бросилась было к постели, на которой умирала Валери, но сразу остановилась в нескольких шагах от нее, увидев у изголовья своей подруги священника из церкви святого Фомы Аквинского и сестру милосердия. Религия прозрела душу, взывавшую о спасении, в этом уже распадающемся теле, в котором из пяти чувств сохранилось лишь зрение. Сестра милосердия, единственный человек, взявший на себя уход за Валери, держалась на расстоянии. Так католическая церковь, это бо-

жественное установление, неизменно стремящееся склонить свою паству к смирению, исцелить болезни души и плоти, напутствовала умирающую грешницу на смрадном ее гноище и расточала ей свою бесконечную благость и неистощимые сокровища своего милосердия.

Испуганные слуги отказывались входить в господскую спальню; они думали только о себе и находили, что их хозяева наказаны справедливо. Смрад был так силен, что, несмотря на раскрытые окна и самые крепкие духи, никто не мог оставаться долго в комнате Валери. Одна религия не покинула ее на смертном одре. Как могла женщина такого недюжинного ума, как Валери, не задуматься, во имя чего оставались здесь эти два представителя церкви? И умирающая вняла голосу священника. Раскаяние все сильнее охватывало эту порочную душу по мере того, как лютый недуг разрушал ее прекрасную телесную оболочку. Хрупкая Валери оказала гораздо меньшее сопротивление болезни, нежели Кревель, и она должна была умереть первая, как и заболела первой.

— Если бы я сама не была больна, я бы давно пришла ухаживать за тобой,— сказала наконец Лизбета, уловив потухший взгляд подруги.— Вот уже две или три недели я не выхожу из комнаты; но, узнав о твоем состоянии от доктора, я сейчас же прибежала.

— Бедная Лизбета, я вижу, ты все еще любишь меня! — сказала Валери.— Слушай! Мне осталось не больше двух-трех дней думать, ведь я уже не могу сказать «жить». Ты видишь, у меня нет больше тела, я всего лишь ком грязи... Мне не позволяют взглянуть на себя в зеркало... Что ж, это воздаяние по заслугам. Ах, я хотела бы получить прощение, искупить все зло, которое я совершила.

— Ну, уж если ты так заговорила, ты и вправду умерла! —сказала Лизбета.

— Не мешайте этой женщине каяться, не рассеивайте христианское направление ее мыслей,— остановил Лизбету священник.

«Ничего от нее не осталось! — думала потрясенная Лизбета.— Я не узнаю ни ее глаз, ни ее рта! Ни одной черточки не сохранилось! И умом она тронулась! О, как это страшно!..»

— Ты не знаешь,— продолжала Валери,— что такое смерть, что такое эти неотвязные думы о том, что нас ждет наутро после нашего последнего дня. Что ждет нас в могиле? Тело сгложут черви, а что будет с душой?.. Ах, Лизбета, я предчувствую, что есть иная жизнь!.. И меня охватывает ужас, который заглушает боль моего разлагающегося тела... А я еще когда-то говорила Кревелю, насмехаясь над святой женщиной, что высшее возмездие принимает все виды несчастья... И что ж? Я оказалась пророчицей!.. Не шути с тем, что священно, Лизбета! Если ты меня любишь, последуй моему примеру: покайся!

— Я? — воскликнула дочь Лотарингии.— В природе я повсюду видела мщение; насекомые гибнут, удовлетворяя потребность мстить, когда на них нападают! А эти господа,— прибавила она, указывая на священника,— разве не говорят нам «Мне отмщение и аз воздам»? И что отмщение это длится вечно!..

Священник кротко поглядел на Лизбету и сказал:

— Вы атеистка, сударыня.

— Ты только посмотри, что со мной сталось,— сказала ей Валери.

— Да откуда же у тебя эта зараза? — спросила старая дева с недоверчивостью, присущей крестьянке.

— О, я получила от Анри записку, которая не оставляет никакого сомнения в моей участи... Он убил меня. Умереть в то время, когда я хотела начать честную жизнь, и, умирая, вызывать у всех отвращение!.. Лизбета, оставь всякую мысль о мести! Будь добра к этой семье. В завещании я отказала ей все, чем закон позволяет мне распорядиться. Уходи, моя родная, хотя ты единственное существо, которое не отворачивается от меня с ужасом. Умоляю тебя, уходи, оставь меня... Времени мне отпущено так мало... я хочу посвятить его богу... Предаю себя в руки господни...

«Она заговаривается»,— подумала Лизбета, уходя из комнаты.

Даже самое сильное чувство, какое мы только знаем,—чувство женской дружбы — не имеет героической стойкости церкви. Лизбета, задыхаясь от зловония, поспешила уйти. Врачи все еще продолжали свой спор. Однако мнение Бьяншона взяло верх, и теперь обсуждалось,

какие методы лечения применить, хотя бы в качестве опыта.

— Во всяком случае, вскрытие будет весьма поучительным,— говорил один из оппонентов,— тем более что мы располагаем двумя объектами для сравнения.

Лизбета вернулась обратно в спальню вслед за Бьяншоном, который подошел к постели больной, как будто не замечая зловония, исходившего от нее.

— Сударыня,— сказал он,— мы попробуем на вас одно могущественное средство, которое может вас спасти...

— Если вы спасете меня, буду ли я красива, как прежде? — спросила она.

— Может быть,— отвечал ученый.

— Вашим «может быть» все сказано! — вскричала Валери.— Значит, я буду, как те женщины, которых спасли из огня! Оставьте меня церкви! Теперь я никому не нужна, кроме бога! Я постараюсь примириться с ним, и это будет моим последним кокетством! Да, теперь придется мне *обработать* господа бога!

— Вот это словечко, достойное моей бедной Валери, теперь я узнаю ее! — сказала Лизбета и заплакала.

Она прошла в комнату Кревеля, где встретила Викторена и его жену, сидевших в трех шагах от постели зачумленного.

— Лизбета,— сказал он,— от меня скрывают, в каком состоянии моя жена. Ты только что ее видела. Как она себя чувствует?

— Ей лучше, она говорит, что спасется! — отвечала Лизбета, позволяя себе эту игру слов для успокоения Кревеля.

— Ах, как хорошо! — сказал мэр.— А я уж боялся, не во мне ли причина этой болезни... Нельзя безнаказанно быть так долго коммивояжером по торговле парфюмерными товарами. Меня мучает совесть. Если я потеряю Валери, на что мне жизнь? Убей меня бог! Дети мои, я обожаю эту женщину!

Кревель попытался приподняться, сесть на постели.

— О папа! — воскликнула Селестина.— Если вы выздоровеете, клянусь — я приму мачеху!

— Бедненькая Селестина! — сказал Кревель.— Подойди, я тебя поцелую!

Викторен удержал жену, пытавшуюся броситься к отцу.

— Не надо, сударь,— мягко сказал адвокат,— ведь ваша болезнь заразительна...

— Это правда,— отвечал Кревель,— доктора радуются, что нашли у меня какую-то средневековую чуму, которую считали исчезнувшей, и теперь трезвонят об этом на своих факультетах... Забавно!

— Папа,— сказала Селестина,— будьте мужественны, и вы победите болезнь.

— Не беспокойтесь, дети, смерть еще подумает да подумает, прежде чем прихлопнуть парижского мэра! — сказал Кревель с комическим хладнокровием.— Ну, а если мой округ постигнет такое несчастье, что он потеряет человека, которого избиратели дважды почтили своим доверием... (Гм! Смотрите, с какой легкостью я объясняюсь!) Ну что ж, я сумею собраться в дальнюю дорогу. Недаром я бывший коммивояжер, я привык к путешествиям. Я вольнодумец, детки мои!

— Папа, обещай мне, что ты согласишься принять священника.

— Никогда! — отвечал Кревель.— Что прикажете! Я вскормлен молоком Революции, я не обладаю умом барона Гольбаха, но обладаю силою его души. Сейчас больше чем когда-либо я чувствую себя человеком Регентства, серым мушкетером, аббатом Дюбуа и маршалом Ришелье! Черт возьми! Моя бедная жена, должно быть, потеряла голову, раз она посылает ко мне человека в сутане,— ко мне, поклоннику Беранже, другу Лизетты, сыну Вольтера и Руссо... Доктор (очевидно, он желает прощупать, не сломила ли меня болезнь) спросил: «Был ли у вас священник?» Тут я поступил, как великий Монтескье. Да, я посмотрел на врача... глядите-ка, вот этак...— И, повернувшись в три четверти, так на своем портрете, Кревель властно простер руку и сказал:

Иезуит явился
И орден свой назвал,
Но толку не добился
И в страхе убежал...

Хороша шуточка? Она доказывает, что и в предсмертные минуты господин президент Монтескье сохранил все обаяние своего гения, и напрасно к нему подсылали иезу-

ита!. Я люблю этот пассаж... нельзя сказать его жизни, но его смерти! А-а, пассаж! Вот и еще один каламбур! Пассаж Монтескье!

Юло-сын с грустью смотрел на своего тестя и думал: не обладают ли глупость и тщеславие силой, равной истинному величию души? Побудительные причины нашей душевной жизни, по-видимому, не имеют ничего общего с ее проявлениями. Неужели стойкость, которой всех удивляет закоренелый преступник,— явление того же порядка, что и выдержка, составляющая гордость какого-нибудь Шансене, когда он всходит на эшафот?

В конце недели г-жу Кревель, умершую в тяжких муках, похоронили, а спустя два дня и Кревель последовал за женой. Таким образом, осуществление брачного контракта получило иное направление: Кревель оказался наследником Валери.

На следующий день после погребения тестя к адвокату опять явился старик монах и был немедленно принят. Монах молча протянул руку, и так же молча Викторен Юло вручил ему восемьдесят тысячефранковых билетов, взятых из денег, оказавшихся в конторке Кревеля. Г-жа Юло-младшая получила в наследство поместье Прель и тридцать тысяч франков годового дохода. Г-жа Кревель завещала триста тысяч франков барону Юло. Золотушный Станислав должен был получить, по достижении совершеннолетия, особняк Кревеля и двадцать четыре тысячи франков ренты.

Среди многочисленных и превосходных благотворительных обществ, основанных в Париже правоверными католиками, существует одно, возглавляемое г-жой де ла Шантери; общество это ставит себе целью освящать гражданским и церковным браком свободные союзы, столь распространенные в народе. Законодатели, которые заинтересованы в косвенных налогах, господствующая буржуазия, которая заинтересована в процветании нотариальных контор, не хотят знать того, что три четверти людей из народа не в состоянии заплатить пятнадцать франков за свой брачный контракт. Сословие нотариусов уступает в этом отношении сословию парижских адвокатов. Парижские адвокаты, как ни клевещут на них, ведут безвозмездно дела неимущих, тогда как нотариусы все еще не могут решиться бесплатно составлять брачные

контракты бедняков. Что же касается казны, то пришлось бы перевернуть всю государственную машину, чтобы добиться смягчения строгостей в этом вопросе. Управление актов гражданского состояния глухо и немо. Церковь, со своей стороны, тоже облагает браки сборами. По части всяких поборов церковь во Франции великая мастерица: в доме божьем она занимается недостойной торговлей скамейками и стульями, что вызывает возмущение у иностранцев, хотя кому-кому, а церкви надлежало бы не забывать об изгнании разгневанным Иисусом торгующих из храма. Церковь упорно держится за свои права, надо думать, потому, что права эти, так называемые права церковного управления, составляют ныне один из источников ее дохода, и, следовательно, в данном случае вина церкви — вина государства. Совокупность всех этих обстоятельств в наши дни, когда столько внимания уделяется неграм и малолетним преступникам, что не остается времени позаботиться о честных бедняках, обрекает многих порядочных людей на внебрачное сожительство за неимением тридцати франков, крайней цены, за которую нотариальные конторы, управление косвенными налогами, мэрия и церковь соглашаются соединить брачными узами чету парижан. Благотворительное общество г-жи де ла Шантери, основанное с целью гражданского и церковного узаконения сожительства бедняков, разыскивает эти супружеские пары, что, кстати, не составляет особого труда, ибо, прежде чем заняться проверкой их гражданского состояния, им, как неимущим, оказывают материальную помощь.

Когда баронесса Юло вполне оправилась после болезни, она вернулась к своим занятиям. И тут почтенная г-жа де ла Шантери обратилась к Аделине с просьбой взять на себя, помимо благотворительных дел, и узаконение внебрачных сожительств.

Одной из первых попыток на этом поприще было путешествие баронессы в мрачный квартал, некогда называвшийся *Малой Польшей*, находившийся между улицами дю Роше, ла-Пепиньер и Мироменил. Этот квартал являлся как бы филиалом предместья Сен-Марсо. Чтобы составить себе представление о нем, достаточно сказать, что владельцы некоторых домов, населенных профессионалами без профессий, опасными бретерами, бедня-

ками, людьми опустившимися, вынужденными браться за всякие рискованные дела, не осмеливаются сами взыскивать квартирную плату и не находят таких приставов, которые согласились бы выселять их несостоятельных жильцов. В наши дни Спекуляция, которая стремится изменить облик этого уголка Парижа и застроить пустыри, отделяющие Амстердамскую улицу от улицы Фобур-дю-Руль, несомненно, повлияет и на состав населения, ибо труд каменщика способствует делу цивилизации Парижа гораздо больше, чем это думают! Воздвигая красивые и комфортабельные дома с швейцарскими, прокладывая перед ними тротуары и открывая в них магазины, Спекуляция отпугивает ценами на квартиры всяких проходимцев, случайные пары и вообще нежелательных жильцов. Таким образом, целые кварталы избавятся от разношерстного, страшного населения, от мрачных закоулков, куда полиция заглядывает только по приказу правосудия.

Еще в июне 1844 года площадь Лаборд и ее окрестности представляли собой далеко не утешительное зрелище. Какой-нибудь хорошо одетый человек, попав случайно с улицы Пепиньер в эти страшные трущобы, удивлялся, что аристократия живет в столь тесном соседстве с богемой самого низшего разбора. В этих кварталах, где обитают невежество и вопиющая нищета, процветают уличные писцы, последние, что еще остались в Париже. Там, где вы увидите слово *писец*, каллиграфически выведенное на листке белой бумаги, приклеенной к оконному стеклу какой-нибудь антресоли или грязного подвала, вы смело можете сказать, что в этом квартале ютится много темного люда, а значит, тут много горя, пороков и преступлений. Невежество — мать всех преступлений. Преступность указывает прежде всего на недостаток умственного развития.

За время болезни баронессы Юло в этом квартале, для которого она стала вторым провидением, появился уличный писец, обосновавшийся в Солнечном проезде, получившем свое название по свойственному парижанам пристрастию к антитезам, ибо проезд был сугубо темен. Писец этот, по фамилии Видер, должно быть, немец, состоял в сожительстве с молодой девицей, которую он так ревновал, что позволял ей бывать только в одном семей-

стве почтенных печников на улице Сен-Лазар,— итальянцев, как все печники, и давнишних парижских жителей. Баронесса Юло, действовавшая от имени г-жи де ла Шантери, спасла это семейство от неминуемого разорения, грозившего полной нищетой.

Прошло несколько месяцев, нужда сменилась достатком, и религия нашла доступ в сердца людей, некогда проклинавших провидение со всей страстностью итальянского темперамента. В один из первых своих выездов баронесса посетила эту семью, жившую на улице Сен-Лазар, близ улицы дю-Роше. Картина, представшая перед ее глазами, когда она вошла со двора в помещение, где жили эти славные люди, обрадовала ее. Семья занимала маленькую квартирку, в которую труд внес довольство; этажом ниже находились склад и мастерская, теперь хорошо оборудованные; там гудел целый рой мастеровых и учеников, сплошь итальянцев из долины Домо д'Оссола. Баронессу встретили, как пресвятую деву, сошедшую с небес. Потребовалось четверть часа, чтобы ознакомиться со всеми новшествами, и Аделина в ожидании хозяина, у которого ей нужно было узнать, как идут его дела, решила продолжить свой благочестивый шпионаж и осведомилась, нет ли по соседству какой-нибудь семьи, нуждающейся в помощи благодетелей.

— Ах, добрая наша госпожа, ведь вы не побоялись бы вырвать грешника из ада,— сказала итальянка,— так вот, поблизости есть девочка, которую надо спасти от гибели.

— Вы хорошо ее знаете? — спросила баронесса.

— Да, это внучка прежнего хозяина моего мужа; он приехал во Францию после революции, в тысяча семьсот девяносто восьмом году; звали его Джудичи. При императоре Наполеоне старик Джудичи был одним из первых печников в Париже; он умер в тысяча восемьсот девятнадцатом году, оставив сыну прекрасное состояние. Но его сын все прокутил с непотребными женщинами и кончил тем, что женился на одной из них, которая, видно, была похитрее! От нее-то у него родилась дочка; ей только что исполнилось пятнадцать лет.

— И что же с ней случилось? — спросила баронесса, которую поразило сходство характеров этого Джудичи и ее собственного мужа.

— Да вот видите ли, сударыня, Атала,— так зовут девочку,— бросила отца с матерью и живет тут по соседству со стариком немцем, лет восьмидесяти, не меньше! Фамилия его Видер; он ведет все дела неграмотных бедняков, пишет им прошения. Говорят, старый распутник купил девчонку у матери за сто пятьдесят франков! Так пускай бы, по крайности, женился на ней. Жить-то ему осталось недолго, а, слыхать, он может получать несколько тысяч ренты... Ну что ж, бедный наш ангелочек был бы тогда устроен... А не то пропадет, бедняжка, ведь нужда толкает на разврат!

— Благодарю вас за то, что вы указали мне, где можно сделать доброе дело,— сказала Аделина,— но надо действовать осторожно. Что это за старик?

— Ах, сударыня, это такой славный человек. Девочка счастлива с ним, и он рассуждает здраво. Он, видите ли, переехал из того квартала, где живут Джудичи, я думаю, потому, что хотел вырвать Аталу из когтей матери. Мать завидовала дочке, а может, хотела извлечь выгоду из ее красоты, сделать из девочки гулящую! Атала вспомнила про нас и посоветовала своему хозяину поселиться поближе к нам. А узнавши, что мы за люди, папаша Видер и стал к нам отпускать девочку. Жените-ка его, сударыня, и вы сделаете доброе дело, ведь это по вашей части!.. А раз девочка выйдет замуж, она будет свободна и развяжется с матерью, ведь эта женщина видит в дочери только свою выгоду и, не задумавшись, отдаст ее в какой-нибудь театр или опять толкнет на путь разврата.

— Почему же этот старик на ней не женился?

— Не было надобности,— ответила итальянка.— Хотя папаша Видер вовсе не злой человек, а хитер! Он хочет быть полным хозяином девочки. Ну, а женившись... оно, конечно... Бедный старик боится, что у него вырастут рога, как у всех стариков...

— Не пошлете ли вы за этой девушкой? — спросила баронесса.— Я погляжу на нее и выясню, можно ли ей помочь...

Жена печника мигнула старшей дочери, и та сейчас же вышла. Минут через десять она вернулась, держа за руку девочку лет пятнадцати с небольшим, настоящую итальянскую красавицу.

Атала Джудичи унаследовала от отца чуть желтоватый оттенок кожи, который при вечернем освещении приобретает лилейную белизну, глаза чисто восточные по своей величине, форме и блеску, густые и загнутые ресницы, походившие на черные перышки, волосы, черные как смоль, и ту врожденную величавость дочерей Ломбардии, которая иностранцев вводит в заблуждение,— прогуливаясь в воскресный день по улицам Милана, они принимают дочерей привратников за королев.

Атала, предупрежденная дочерью печника о посещении важной дамы, о которой она уже столько слышала, наскоро надела хорошенькое шелковое платье, башмачки со шнуровкой и изящную накидку. Чепчик, отделанный лентами вишневого цвета, придавал особую прелесть ее головке. Девочка с наивным любопытством искоса посматривала на баронессу, заинтересовавшись ее нервным подергиванием. Баронесса глубоко вздохнула, увидев это воплощение женственности, ввергнутое в грязь проституции, и поклялась вывести девочку на путь добродетели.

— Как твое имя, дитя?

— Атала, сударыня.

— Умеешь ли ты читать, писать?

— Нет, сударыня. Но это ничего не значит, ведь мой *хозяин* грамотный...

— Твои родители хоть водили тебя в церковь? Ты причащалась? Знаешь ли ты катехизис?

— Папа хотел научить меня вот тому самому, о чем вы говорите, сударыня, но мама не позволила...

— Мама? — воскликнула баронесса.— Она, значит, очень злая, твоя мама?

— Она меня всегда била! Не знаю почему, но только отец с матерью постоянно из-за меня ссорились.

— Тебе, стало быть, никогда не говорили о боге?— воскликнула баронесса.

Девочка широко раскрыла глаза.

— Ах, напротив! Мама и папа часто говорили: «Ступай ты к... богу! Разрази тебя гром божий!..»— отвечала она с милой наивностью.

— Разве ты никогда не видела церкви? Тебе не хотелось заглянуть туда?

— Церкви?.. А-а! Собор Парижской богоматери,

Пантеон! Я видела их издали, когда папа брал меня с собой в город. Но только это редко бывало, а в предместье таких церквей нет.

— В каком предместье вы жили?

— В предместье...

— В каком предместье?

— Ну, на улице Шарон, сударыня...

Жители Сент-Антуанского предместья называют свой знаменитый район коротко: *предместье!* Это для них предместье в полном значении слова, предместье из предместий, и даже господа фабриканты подразумевают под этим словом именно Сент-Антуанское предместье.

— Тебе никогда не объясняли, что хорошо, что дурно?

— Мама била меня, когда я делала что-нибудь не по ней...

— А разве ты не знала, что поступаешь дурно, когда покинула отца и мать, чтобы уйти с каким-то стариком?

Атала Джудичи смерила баронессу высокомерным взглядом и ничего не ответила.

«Эта девочка совсем дикарка!» — подумала Аделина.

— Ах, сударыня, таких, как она, много в предместье! — сказала жена печника.

— Но ведь она не имеет понятия ни о чем, даже о зле, о боже мой! Почему ты мне не отвечаешь? — спросила баронесса, пробуя взять девочку за руку.

Разгневанная Атала отступила на шаг.

— Вы глупая старуха! — сказала она.— Ведь отец и мать целую неделю сидели без хлеба! Мать хотела сделать из меня, видно, что-то нехорошее, потому что отец побил ее, обозвал воровкой! А тут господин Видер заплатил все наши долги, да еще в придачу дал денег... о, целый кошель!.. И увел меня с собой... Бедный папа так плакал... Но нам пришлось расстаться!.. Что же тут дурного? — спросила она.

— А вы очень любите господина Видера?

— Люблю ли я его? — повторила Атала.— Еще бы, сударыня! Ведь каждый вечер он рассказывает мне такие чудесные истории! И он подарил мне красивые платья, белье, шаль. Я хожу теперь нарядная, как принцес-

са, и больше не ношу деревянных башмаков! Вот уже два месяца я не знаю, что такое голод, ем досыта, да не какую-нибудь картошку... Он приносит мне конфеты, миндаль в сахаре! Ах, как это вкусно—шоколад пралине!.. Я делаю все, что он захочет, за мешочек с шоколадом! А потом мой толстенький папаша Видер такой добрый, такой заботливый, такой ласковый со мной! Вот если бы была такой моя мать... Он собирается нанять старушку, чтобы она помогала мне по хозяйству; ему не хочется, чтобы я портила себе руки. Последний месяц он начал зарабатывать, и очень не плохо: каждый вечер приносит мне три франка, а я кладу их в копилку! Одно нехорошо, он меня никуда не пускает, кроме как сюда... Вот она—любовь мужчины! Зато я во всем его слушаюсь... Он зовет меня кисонькой! А мать называла меня шлюхой или еще хуже! И воровкой и гнидой! Уж так честила!..

— Но почему же ты, дитя мое, не хочешь выйти замуж за папашу Видера?

— Но я уже вышла, сударыня! — не смущаясь и не краснея, гордо ответила девочка, глядя на баронессу своими невинными глазками.— Он называет меня своей маленькой женой; но как это скучно — быть женой!.. Хорошо еще, что шоколад дают!

— Боже мой! — прошептала баронесса.— Кто этот изверг, кто мог злоупотребить такой беспредельной и святой невинностью? Вернуть этому ребенку душевную чистоту,— не значит ли это искупить многие грехи? «Я-то ведь знала, что я делаю! — подумала она, вспомнив сцену с Кревелем.— Но она... она не ведает, что творит!»

— Вы слыхали о господине Саманоне?..— с лукавым видом спросила Атала.

— Нет, моя девочка. Но почему ты меня спрашиваешь о нем?

— Верно, не слыхали? — спросило невинное создание.

— Не бойся, Атала!..— сказала жена печника.— Эта дама — наш добрый ангел!

— Я потому спрашиваю, что мой толстяк боится, как бы его не нашел этот самый Саманон, и потому прячется... А уж как бы я хотела, чтобы он никого не боялся...

— А почему?

— Он сводил бы меня к Бобино! А то и в Амбигю.

— Что за очаровательное создание! — сказала баронесса, целуя девочку.

— Вы богатая?.. — спросила Атала, играя рукавчиками баронессы.

— И да и нет,— отвечала баронесса.— Я богата для таких хороших девочек, как ты. Только пусть они слушаются священника, который научит их обязанностям христианки и наставит на путь истины...

— А это что еще за путь? — спросила Атала.— Я отлично хожу на своих на двоих.

— На путь добродетели!

Атала посмотрела на баронессу, и на ее личике промелькнуло лукавое и насмешливое выражение.

— Взгляни на нашу хозяйку, она счастлива с тех пор, как вернулась в лоно церкви,— продолжала баронесса, указывая на жену печника.— А ты вышла замуж, как животные спариваются.

— Я? — спросила Атала.— Но если вы дадите мне то, что дает папаша Видер, я буду очень рада не выходить замуж. Такая это тоска, я вам скажу! Разве вы сами не знаете?..

— Раз женщина уже соединилась с мужчиной, как ты,— заметила баронесса,— она должна хранить верность ему, как того требует добродетель.

— Значит, до самой его смерти?..— спросила с плутовским видом Атала.— Ну, мне недолго ждать. Если бы вы знали, как папаша Видер кашляет, как пыхтит!.. Пх! Пх! — передразнила она старика.

— Добродетель и нравственность требуют,— продолжала баронесса,— чтобы церковь, представительница бога, и мэрия, представительница закона, освятили ваш брак. Посмотри на нашу хозяйку, она вступила в законный брак...

— А разве тогда веселее будет? — спросила девочка.

— Ты будешь счастливее,— сказала баронесса,— потому что никто не упрекнет тебя этим браком. Ты будешь угодна богу! Спроси вот у хозяйки, разве выходила она замуж, не повенчавшись в церкви?

Атала посмотрела на жену печника.

— Чем же она счастливее меня? — спросила она.— Я красивее ее.

— Да, но я честная женщина,— возразила итальянка,— а ты... тебя всякий может обозвать дурным словом...

— Как же ты хочешь, чтобы господь тебе покровительствовал, если ты попираешь законы божеские и человеческие? — продолжала баронесса.— Знаешь ли ты, что для тех, кто следует заповедям церкви, уготован рай?

— А что там, в раю-то этом? Спектакли, что ли? — спросила Атала.

— О, рай — это все радости, какие ты только можешь вообразить! — сказала баронесса.— Там сонмы белокрылых ангелов, там лицезреют бога во всей его славе и приобщаются его могуществу. Там ждет праведных вечное блаженство!

Атала Джудичи слушала баронессу, как слушают музыку; увидев, что девочка не в состоянии понять ее, Аделина решила избрать иной путь и самой повидаться со стариком.

— Иди домой, девочка. Я сама поговорю с господином Видером. Он француз?

— Эльзасец, сударыня; но он будет богат, сами увидите! Если бы вы заплатили за него долг этому гадкому Саманону, он бы вернул вам ваши деньги! Он говорит, что через несколько месяцев у него будет шесть тысяч доходу, и мы тогда уедем в деревню, далеко-далеко, в Вогезы...

Слово *Вогезы* погрузило баронессу в глубокую задумчивость. Ей вспомнилась родная деревня! От этих грустных мыслей ее оторвало появление печника, который, поздоровавшись с гостьей, рассказал ей о процветании своих дел.

— Через год, сударыня, я с вами расплачусь. Ведь это божьи деньги, что вы мне дали, деньги бедняков и несчастных! Если я когда-нибудь разбогатею, мой кошелек будет в вашем распоряжении, и я окажу беднякам вашими руками помощь, какую вы нам оказали.

— Сейчас я не прошу у вас денег,— сказала баронесса,— а просто окажите мне содействие в одном добром деле. Я только что видела девочку Джудичи, которая живет со стариком, и я хочу повенчать их и в церкви и в мэрии.

— А, папаша Видер? Он славный и почтенный чело-

век, у него хорошая голова. За те два месяца, что старик живет в нашем квартале, он уже успел обзавестись друзьями. Он переписывает мне набело все счета. Видимо, это какой-нибудь храбрый полковник, верно служивший императору... А как он любит Наполеона! У него есть ордена, но он их не носит. Все ждет, когда его дела поправятся, ведь у бедняги долги!.. Мне сдается, что он прячется от приставов, побаивается их...

— Скажите ему, что я заплачу его долги, если он женится на девочке...

— Ну что ж, мы это живехонько обделаем! А знаете ли, сударыня, сходимте сейчас туда: это в двух шагах, в Солнечном проезде.

Баронесса и печник вышли и направились в Солнечный проезд.

— Сюда, сударыня,— сказал печник, указывая в сторону улицы Пепиньер.

Солнечный проезд действительно находится в самом начале улицы Пепиньер и выводит на улицу дю Роше. Пройдя ряд убогих лавочек, где торгуют по сходной цене, баронесса увидела почти в самой середине этого недавно открытого проезда окно, задернутое от нескромных взглядов занавеской из зеленой тафты, а над нею наклеенную на стекле бумажку с надписью: *Писец*, и на дверях дощечку:

Частная контора

Здесь составляются прошения, переписывают счета и пр.
Гарантия тайны. Быстрое исполнение.

Помещение напоминало конторы парижских омнибусов, где пассажиры ожидают пересадки. Внутренняя лестница вела, несомненно, в квартиру, устроенную на антресоли, которая выходила окнами в галерею и составляла одно целое с конторой. Баронесса заметила некрашеный деревянный стол, почерневший от времени, папки и скверное кресло, купленное, вероятно, у старьевщика. Картуз с самодельным козырьком из засаленной зеленой тафты на медной проволоке указывал на нежелание его владельца быть узнанным, а может быть, просто на слабость глаз, вполне естественную у старика.

— Он наверху,— сказал печник,— пойду позову его.

Баронесса опустила вуаль и села. Ступени деревян-

ной лесенки заскрипели под тяжелыми шагами, и Аделина пронзительно вскрикнула, увидав своего мужа, барона Юло, в серой вязаной куртке, в поношенных панталонах из серой фланели и в домашних туфлях.

— Что вам угодно, сударыня? — любезно спросил Юло.

Аделина встала, схватила его за руку и сказала дрогнувшим от волнения голосом:

— Наконец-то я тебя нашла!

— Аделина! — воскликнул глубоко изумленный барон и поспешил запереть наружную дверь лавки.— Жозеф,— крикнул он печнику,— выйдите другим ходом!

— Друг мой,— говорила Аделина, забыв все в порыве радости,— вернись в родную семью, мы теперь богаты! У твоего сына сто шестьдесят тысяч франков дохода! Твоя пенсия выкуплена, у тебя уже накопилось пятнадцать тысяч франков; ты можешь их получить, предъявив свои документы. Валери, умирая, завещала тебе триста тысяч франков. О тебе уже давно забыли! Ты можешь спокойно вернуться в общество, твой сын тебе не откажет ни в чем. Наше счастье будет полным. Вот уже три года я ищу тебя; я была уверена, что мы встретимся; твои комнаты готовы тебя принять в любую минуту. О, уйди отсюда, не оставайся ни часу в этом ужасном положении, в котором я тебя вижу!

— Я бы сам этого хотел,— сказал барон, захваченный врасплох,— *но можно мне взять с собой девочку?*

— Гектор, откажись от нее! Сделай это ради твоей Аделины, которая еще никогда не просила у тебя ни единой жертвы! Обещаю тебе, что я дам приданое этому ребенку, выучу ее, выдам замуж. Пусть хоть одна из тех, кто приносил тебе счастье, будет счастлива и не погрязнет в разврате!

— Так, значит, это ты хотела меня женить? — сказал барон с улыбкой.— Побудь минутку здесь, а я пойду наверх, переоденусь; там у меня в чемодане есть приличная одежда...

Оставшись одна, Аделина снова оглядела эту убогую контору и заплакала.

«Он так нуждался,— думала она,— а мы жили в богатстве!.. Бедный, бедный! Как он наказан, а ведь он был само изящество!»

Печник пришел проститься со своей благодетельницей, и Аделина послала его за извозчичьей каретой. Когда он вернулся, баронесса попросила его приютить у себя на время Аталу Джудичи и увести ее к себе немедленно.

— Скажите ей,— прибавила баронесса,— что если она будет слушаться наставлений священника из церкви святой Магдалины, то в день своего первого причастия она получит от меня в приданое тридцать тысяч франков, и я найду ей хорошего мужа, какого-нибудь достойного молодого человека.

— Моего старшего сына, сударыня! Ему двадцать два года, и он обожает эту девочку!

В это время барон спустился вниз; глаза у него были влажные.

— Ты велишь мне покинуть единственное существо, которое любило меня, пожалуй, не меньше, чем ты,— шепнул он на ухо жене.— Девочка заливается слезами, я не могу бросить ее так...

— Будь покоен, Гектор! Она будет жить в честной семье, и я отвечаю за ее нравственность!

— Ну что ж, в таком случае я могу идти с тобой,— сказал барон, направляясь следом за женой к экипажу.

Гектор, опять ставший бароном д'Эрви, облачился в синие суконные панталоны и сюртук из того же сукна, надел белый жилет, черный галстук и перчатки. Когда баронесса уже сидела в карете, Атала проскользнула туда, как змейка.

— Ах, сударыня,— сказала она,— позвольте мне ехать с вами... Право, я буду умницей, буду послушной, буду делать все, что вы прикажете! Только не разлучайте меня с папашей Видером, с моим благодетелем, он делал мне столько подарков. Меня тут будут бить!..

— Полно, Атала,— сказал барон,— эта дама моя жена, и нам с тобой нужно расстаться...

— Она? Такая старуха! — наивно воскликнула девочка.— А дрожит-то, что твой лист! А головой-то... все вот так, вот так!..

И она передразнила баронессу. Печник, прибежавший следом за юной Джудичи, подошел к дверце кареты.

— Уведите ее,— велела баронесса.

Печник взял Аталу на руки и унес к себе домой.

— Благодарю тебя за эту жертву, мой друг,— сказала, сияя от радости, Аделина, взяв руку барона и сжимая ее.— Как же ты изменился! Как ты, должно быть, настрадался! Какой сюрприз для твоей дочери, для сына!

Аделина говорила о тысяче вещей сразу, как говорят любовники, встретившись после долгой разлуки. Через десять минут барон со своей супругой прибыли на улицу Людовика Четырнадцатого, а там Аделину ожидала следующая записка:

«Баронесса!

Барон д'Эрви жил целый месяц на улице Шарон под фамилией Тогрек,— анаграмма имени Гектор. Теперь он обосновался в Солнечном проезде, под именем Видер. Он выдает себя за эльзасца, занимается перепиской и живет с молоденькой девушкой по имени Атала Джудичи. Будьте осторожны, баронесса, ибо барона энергично разыскивают, не знаю, с какой целью.

Как видите, баронесса, комедиантка сдержала свое слово.

Ваша покорная слуга

Ж. М.»

Возвращение барона вызвало такое семейное ликование, что Гектор невольно настроился на общий лад. Он забыл юную Аталу Джудичи, ибо излишества и страсти развили в нем чисто детское непостоянство. И только перемена, происшедшая за это время в наружности барона, омрачала радость его близких. Он покинул своих детей еще вполне крепким человеком, а возвратился чуть ли не столетним дряхлым стариком, разбитым, согбенным, с помятой физиономией. Великолепный обед, устроенный Селестиной, напомнил старику обеды Жозефы, и он был ошеломлен пышностью собственного дома.

— Вы празднуете возвращение блудного отца,— шепнул он Аделине.

— Тс-с!.. Все забыто,— отвечала она.

— А Лизбета? — спросил барон, не видя за столом старой девы.

— Увы,— отвечала Гортензия,— она слегла и едва

ли встанет. Скоро мы потеряем ее. Она просит, чтобы ты навестил ее после обеда.

На другое утро с восходом солнца швейцар сообщил Юло-сыну, что солдаты муниципальной гвардии оцепили дом. Полиция разыскивала барона Юло. Судебный пристав, которого сопровождала привратница, предъявив адвокату исполнительный лист, спросил: угодно ли ему заплатить за отца. Дело шло о векселях на десять тысяч франков, выданных на имя некоего ростовщика, по имени Саманон, который, вероятно, ссудил барону не более двух-трех тысяч франков. Юло-сын попросил пристава отослать своих людей и заплатил по векселям.

«Хорошо, если этим все окончится!» — подумал озабоченный адвокат.

Лизбета, и без того огорченная счастьем, выпавшим на долю семьи Юло, не в силах была вынести этого радостного события. Состояние ее здоровья настолько ухудшилось, что, по мнению Бьяншона, ей оставалось жить не больше недели; она пала, потерпев поражение как раз в то время, когда долгая борьба, принесшая ей столько побед, уже подходила к концу. Своей тайной ненависти она не выдала даже в мучительной агонии скоротечной чахотки. Впрочем, она получила величайшее удовлетворение, видя у своей постели Аделину, Гортензию, Гектора, Викторена, Стейнбока, Селестину и их детей, оплакивающих ее как ангела-хранителя всей семьи. Здоровый режим, которого барон Юло лишен был почти три года, восстановил его силы, и он напоминал прежнего Гектора. Своим возрождением он так осчастливил Аделину, что даже ее нервный тик уменьшился. «Значит, она все-таки будет счастлива!»— сказала про себя Лизбета уже накануне своей смерти, заметив, что барон с каким-то благоговением относится к жене, узнав о ее страданиях от Гортензии и Викторена. Бессильная злоба ускорила конец кузины Бетты; за ее гробом, горько оплакивая покойную, следовала вся семья.

Барон и баронесса Юло, достигнув возраста, приносящего полный покой, предоставили графу и графине Стейнбок великолепные апартаменты в первом этаже, а сами перешли во второй этаж. Барон, заботами своего сына, получил в начале 1845 года место на железной дороге с окладом в шесть тысяч франков, что вместе с пен-

сией и капиталом, завещанным ему г-жой Кревель, составляло двадцать тысяч франков годового дохода. А так как Гортензия за три года ссоры с мужем добилась раздела имущества, Викторен, не колеблясь, положил в банк на имя сестры двести тысяч франков, переданные ему князем Виссембургским. Венцеслав, оказавшись мужем богатой женщины, не помышлял уже ни о каких изменах; но он шатался без дела, не имея воли создать даже самое незначительное произведение искусства. В качестве художника in partibus [1] он пользовался большим успехом в гостиных, и многие любители-скульпторы обращались к нему за советом; в конце концов он стал критиком, как все пустоцветы, обещавшие при первых шагах слишком много. Итак, каждая из этих супружеских пар пользовалась своим собственным состоянием, хотя все они жили одной семьей. Умудренная пережитыми несчастьями, баронесса предоставила сыну управлять делами и, таким образом, ограничила личные траты барона его жалованьем, надеясь, что скромный доход не позволит ему повторять былые ошибки. Но, к счастью, барон, по-видимому, совсем отказался от прекрасного пола, на что ни Аделина, ни сын даже не рассчитывали. Он явно остепенился, и его спокойствие, которое относили на счет его возраста, настолько рассеяло опасения семьи, что все близкие безмятежно наслаждались приятным обществом обаятельного барона д'Эрви. Он был весьма внимателен к жене и детям, сопровождал их в театр, в свет, где опять стал появляться, а на приемах, в гостиной своего сына, очаровывал всех изысканной любезностью. Словом, вновь обретенный блудный отец доставлял великое удовлетворение своей семье. Это был приятный старик, сильно одряхлевший, но все еще остроумный и сохранивший от своих слабостей только то, что служило к его украшению в обществе. В доме воцарилось полное благополучие. Дети и баронесса превозносили до небес отца семейства, забыв о гибели двух дядей! Жизнь не обходится без горестей!

Супруга Викторена, которая благодаря урокам Лизбеты с большим искусством вела хозяйство, решила взять повара. За поваром последовала судомойка. В наше

[1] Без должности *(лат.)*.

время судомойки стали необыкновенно честолюбивы, они стараются проникнуть в тайны своего шефа и становятся кухарками, как только выучатся заправлять соуса. Поэтому судомоек приходится менять очень часто. В начале декабря 1845 года Селестина взяла на должность судомойки толстую нормандку из Изиньи, коренастую, с короткой талией, с толстыми, красными руками, с вульгарной физиономией, глупую, как поздравительный стишок. Она насилу согласилась расстаться с классическим коленкоровым чепцом, какие носят все девушки в Нижней Нормандии. Девица эта была полногруда, как кормилица, и ее ситцевый лиф, казалось, вот-вот лопнет. Красная, обветренная ее физиономия была как будто высечена из камня. Естественно, что никто не обратил никакого внимания на появление в доме новой судомойки, которую звали Агатой,— такие разбитные девицы не в диковинку в Париже. Прелести Агаты весьма мало привлекали повара, тем более что она была груба на язык, как и полагается бывшей служанке постоялого двора для возчиков, и потому она не только не сумела пленить своего шефа и перенять от него тонкости поварского искусства, но возбудила лишь его презрение. Повар ухаживал за Луизой, горничной графини Стейнбок. Для нормандки наступили черные дни; ее вечно куда-то посылали под разными предлогами,— и как раз в то самое время, когда повар заканчивал какое-нибудь блюдо или приготовлял соус.

— Право, не везет мне здесь! — говорила она.— Надо переменить место.

Тем не менее она оставалась, хотя уже два раза просила расчета.

Однажды ночью Аделина, проснувшись от какого-то странного шума, увидела, что Гектора нет в его кровати, стоявшей рядом с ее кроватью,— они спали порознь, как и подобает старым супругам.

Аделина ждала целый час, барон не появлялся. Испугавшись, не случилось ли какое-нибудь несчастье, апоплексический удар, она прежде всего поднялась в верхний этаж, в мансарды, где спали слуги, и подошла к комнате Агаты, привлеченная ярким светом, падавшим из приотворенной двери, и шепотом двух голосов. Она застыла от ужаса, узнав голос барона, который, соблазнив-

шись прелестями Агаты, этой грязнухи, из расчета оказавшей ему сопротивление, произнес следующие слова:

— Моей жене недолго осталось жить. Только пожелай, и ты можешь стать баронессой.

Аделина вскрикнула и, выронив свечу, убежала.

Спустя три дня баронесса, которую соборовали накануне, находилась в агонии; у ее постели собралась плачущая семья. За минуту до смерти она взяла руку мужа, тихонько пожала ее и шепнула ему на ухо:

— Друг мой, мне остается отдать тебе только мою жизнь: еще минута, ты будешь свободен и назовешь другую баронессой Юло.

И присутствующие увидели то, что случается редко: слезы выкатились из глаз умершей. Жестокость порока победила терпение ангела, у которого впервые, на пороге вечности, вырвалось единственное за всю жизнь слово упрека.

Барон Юло покинул Париж через три дня после похорон жены. Спустя одиннадцать месяцев Викторен узнал стороной, что в Изиньи первого февраля 1846 года состоялось бракосочетание барона Юло с мадемуазель Агатой Пиктар.

— Отцы могут воспрепятствовать браку своих детей, но дети не могут помешать безумным поступкам своих отцов, впавших в детство,— сказал адвокат Юло своему коллеге Попино, второму сыну бывшего министра торговли, когда у них зашел разговор об этом браке.

ПРИМЕЧАНИЯ

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

ЭТЮДЫ О НРАВАХ

Сцены парижской жизни

БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ

Кузина Бетта

Бальзак объединил общим названием «Бедные родственники» романы «Кузина Бетта» и «Кузен Понс».

Первое упоминание о «Бедных родственниках» относится к 1846 году. В письме к Э. Ганской от 15/VI он сообщал: «..я намереваюсь написать «Историю бедных родственников»: то есть «Добряк Понс», два-три листа... затем «Кузину Бетту», шестнадцать листов...»

Совершенно разные по сюжету, эти два произведения связаны единством главной темы. Рассказывая о судьбе кузины Бетты и кузена Понса, Бальзак хотел показать различные, но одинаково губительные для человеческой личности последствия зависимого и унизительного положения бедного родственника. Внутреннее единство «Бедных родственников» Бальзак подчеркнул в посвящении к роману «Кузина Бетта».

Следует отметить, что писатель одно время собирался присоединить к «Бедным родственникам» также и повесть «Пьеретту» (1840).

Роман «Кузина Бетта» Бальзак писал с июля по декабрь 1846 года, одновременно работая над «Кузеном Понсом» и «Крестьянами». В процессе работы писатель намного увеличил первоначальный объем произведения. В письме к Э. Ганской от 24/XI 1846 года он сообщал: «Этот сюжет постоянно разрастается, он оказался очень богатым, и его логическое развитие увлекает меня».

«Кузина Бетта» впервые печаталась в газете «Конститюсьонель» с 8 октября до 3 декабря 1846 года как первая часть «Бедных родственников», о чем свидетельствует заглавие «История бедных родственников, Кузина Бетта и Два музыканта» (первоначальное название романа «Кузен Понс»). Роман делился на 38 глав.

Литературные противники Бальзака кричали о крайней безнравственности произведения. В письме к Э. Ганской от 24/XI 1846 года писатель замечал, что ходят слухи о возможности процесса по обвинению его в аморальности за роман «Кузина Бетта».

В течение 1847—1848 годов «Кузина Бетта» вместе с «Кузеном Понсом» под общим заглавием «Бедные родственники» печаталась отдельным изданием в двенадцати книжках. Количество глав было увеличено Бальзаком до 132.

В 1848 году, включая «Кузину Бетту» как первый эпизод «Бедных родственников» в XVII том первого издания «Человеческой комедии» (Сцены парижской жизни), писатель уничтожил деление на главы.

На русском языке роман «Кузина Бетта» появился в 1847 году в журнале «Библиотека для чтения». В том же 1847 году в «Современнике» и в «Отечественных записках» были помещены рецензии, высоко оценивающие это произведение Бальзака. В «Современнике» отмечалась тонкая наблюдательность писателя, его «умение подмечать и очень верно изображать разные движения страсти».

Рецензия «Отечественных записок» указывала на большое общественное значение романа «Кузина Бетта» («Кузина Лиза» в русском переводе). Автор статьи подчеркивал, что это произведение Бальзака — «беспощадная анатомия общества... история современного честолюбия, самолюбия, мелкого разврата, истекающего из широкого общего разврата господствующей части французского общества».

С большой глубиной раскрывает Бальзак в «Кузине Бетте» социальную сущность Июльской монархии, при которой господствовала финансовая аристократия, видевшая в короле Луи-Филиппе своего приказчика.

Верный исторической правде, Бальзак показывает, как страсть к обогащению ведет к всеобщей развращенности, к коррупции государственного аппарата. Барон Юло д'Эрви — начальник одного из управлений военного министерства — совершенно в духе времени идет на подлог, казнокрадство, организует грабеж населения Алжира, и все это для того, чтобы покрыть расходы своей любовницы г-жи Марнеф. Неподкупных и честных людей Бальзак находит лишь среди старых республиканцев или некоторых ветеранов Наполеона.

Глубоко отрицательное отношение Бальзака к Июльской монархии, к власти «рыцарей наживы» и биржевых спекулянтов нашло яркое выражение в образе Кревеля. Кревель был уже известен читателям Бальзака по роману «Величие и падение Цезаря Бирото» (1837), где он выступал в роли главного приказчика парфюмера. Теперь это миллионер, нажившийся огромное состояние на мошенничествах и на спекуляциях железнодорожными акциями. Кревель уверен, что богатство — единственное мерило достоинств и ума человека. Он преуспевает и на политическом поприще, так как «победившая буржуазия видела в лице Кревеля своего собственного представителя». Для него характерны показное вольнодумство, любовь к либеральной фразе.

Особенно полно и многосторонне разработан Бальзаком образ кузины Бетты, «бедной родственницы, осыпаемой попреками, живущей среди трех или четырех семейств и мстящей им за все свои

страдания». Сознание своего унизительного положения развивает в душе Бетты зависть и мстительность, которые она искусно скрывает под маской доброты и смирения

Бальзак показывает, что лицемерие является одной из характерных черт буржуазного общества. Лицемерят сановник Юло и чиновник Марнеф, преуспевающий Кревель и озлобленная кузина Бетта, «добродетельный» адвокат Викторен Юло и порочная г-жа Марнеф.

Развенчивая показную семейную добродетель буржуазии, Бальзак отмечал типичность образа г-жи Марнеф, превратившей любовь в предмет бесстыдной торговли: «Тем не менее в Париже найдется еще достаточно таких особ, как г-жа Марнеф, и потому Валери, как явление характерное, должна войти в нашу историю нравов». Торжество добродетели в романе только видимое, ибо отвратительная смерть г-жи Марнеф и Кревеля, которую г-жа Юло наивно считает возмездием судьбы, на деле является результатом преступления, оплаченного ее сыном, Викторeном Юло.

В романе «Кузина Бетта» Бальзак уделяет значительное место проблеме творчества, судьбе искусства в буржуазном обществе; он понимает творчество как процесс упорного, самозабвенного труда, чуждого легкому и быстрому успеху. Рассказывая о судьбе скульптора Венцеслава Стейнбока, писатель вновь обращается к теме гибели таланта в развращающих условиях капиталистического общества.

Роман «Кузина Бетта», вместивший большое количество действующих лиц, отличается сложным, запутанным сюжетом. История кузины Бетты нередко отодвигается на второй план рассказом о г-же Марнеф, о бароне Юло и других персонажах.

Роман предназначался для газеты, и это объясняет его композиционное своеобразие. Порою он распадается на ряд обособленных эпизодов, которые в первой редакции имели интригующие заглавия, вроде «Последнее нападение Калибана на Арнэля», «Пять отцов церкви Марнеф». Но, отдавая известную дань вкусам и требованиям газеты, Бальзак сумел сочетать занимательность, сложность и необычность интриги с логикой развития характеров главных героев.

Зрелое реалистическое мастерство писателя проявилось в глубоком проникновении в сущность социальных явлений французской жизни конца 40-х годов, в раскрытии сложных человеческих характеров.

Стр. 5. *Шлегелей.*— Имеется в виду немецкий писатель и историк литературы Август-Вильгельм Шлегель (1767—1845).

Стр. 7. *Милорд* — двухместная открытая коляска.

Стр. 9. *...как смотрит Тартюф на Эльмиру...* Тартюф — главное действующее лицо одноименной комедии Мольера (1664), тип лицемера и ханжи. Живя в доме буржуа Оргона, Тартюф пытается соблазнить его жену Эльмиру.

Стр. 16. *Дюпре, Жильбер-Луи* — французский тенор, выступавший в 40-х годах XIX века на сцене Большой парижской оперы.

Стр. 18. *...проповедовал сен-симонизм в отношении женщин...*— Сен-симонисты утверждали равноправие женщин. Здесь имеется в

виду извращенное понимание идей сен-симонизма как проповеди крайней свободы нравов.

Стр. 19. *Тринадцатый округ.*—Во времена Бальзака Париж насчитывал двенадцать округов, поэтому выражение «брак в тринадцатом округе» иронически обозначало любовную связь.

Стр. 21. *...золотую середину...*— В эпоху Июльской монархии (1830—1848) принцип «золотой середины» был провозглашен королем Луи-Филиппом и стал политическим идеалом французской буржуазии.

Стр. 30. *Кампания 1804 года.*— Имеются в виду военные действия между Францией и Англией, начавшиеся после расторжения Амьенского мира, заключенного в 1802 году.

Кампания 1806 года — военные действия наполеоновской армии против четвертой коалиции, главным образом против Пруссии. В двух решающих битвах, при Иене и Ауэрштадте, прусские войска были разбиты. Французская армия оккупировала большую часть Пруссии.

Стр. 31. *Фельтр* — был военным министром при Наполеоне I; в 1814 году перешел на службу к Людовику XVIII.

С воцарением младшей ветви Бурбонов...— После Июльской буржуазной революции 1830 года на престол вступил Луи-Филипп Орлеанский, представитель «младшей ветви» династии Бурбонов.

Стр. 33. *Пактол* — древнее название реки Сарабат в Малой Азии, которая славилась золотоносным песком. В переносном смысле река Пактол — источник богатства.

Стр. 42. *...сообщало кузине Бетте сходство с фигурами, изображенными Джотто...*— Джотто (1266 или 1276—1337) — итальянский художник; лица людей, запечатленные на его фресках, отличаются суровостью черт.

Стр. 44. *Великий князь Константин* (1779—1831) — сын русского императора Павла I, брат Александра I, наместник царства Польского.

Стр. 50. *Королевский комиссар* — представитель правительства, вносивший от его имени законопроекты на обсуждение палат.

Стр. 52. *Брийа-Саварен* (1755—1826) — французский писатель, автор книги «Физиология вкуса».

Стр. 60. *Медуза* — в греческой мифологии одна из трех горгон, чудовищ женского пола. При виде головы Медузы человек обращался в камень.

Стр. 65. *Пилатр дю Розье* — французский ученый XVIII века, занимался физикой и химией, вопросами полета на воздушном шаре. *Божон* — банкир и откупщик, живший в XVIII веке, старался приобрести репутацию благотворителя и мецената. *Марсель* — французский филолог-ориенталист. *Моле* — французский актер второй половины XVIII века. *Софи Арну* — французская певица второй половины XVIII века.

Стр. 75. *Консул* — здесь — судья коммерческого трибунала.

Стр. 76. *«Хижина»* (Шомьер) — увеселительное заведение с прилегающим к нему парком в Париже, где устраивались публичные балы. *Квартал Нотр-Дам-де-Лоретт.*—Недалеко от церкви Нотр-Дам-де-Лоретт жили преимущественно женщины легкого поведения — лоретки.

Стр. 78. *Оры* — женские божества античной мифологии. По некоторым римским мифам, их было двенадцать, и они олицетворяли двенадцать часов дня и ночи.

Стр. 79. *Аргус* — по греческой мифологии, великан, имевший множество глаз. В переносном смысле Аргус — бдительный, неусыпный страж.

...шекспирова «Буря» наизнанку: Калибан стал господином Ариэля и Просперо.— Калибан и Ариэль — аллегорические образы пьесы Шекспира «Буря» (1612). Калибан, олицетворяющий грубые, темные силы природы, и Ариэль — воплощение ее светлого начала — подчиняются волшебнику Просперо, мечтающему о счастье людей.

Стр. 85. *Сос* — прокурор города Варенна, задержавший карету Людовика XVI во время бегства последнего из Парижа в июне 1791 года. Сос передал короля и сопровождавших его лиц Конвенту.

Стр. 87. *Баярд* — французский полководец XVI века, считался образцом рыцарской чести и благородства.

Стр. 88. *Трибуна* — имеется в виду восьмиугольная зала флорентинской галереи живописи и скульптуры Уффици.

Стр. 89. *Рафаэлевы станцы.*— По-итальянски «станца» — комната, зала; здесь имеются в виду залы Ватиканского дворца, расписанные Рафаэлем.

Стр. 92. *Майорат* — порядок наследования, при котором недвижимое имущество переходило вместе с титулом к старшему в семье или роде ради сохранения богатства дворянских семей. Отмененный революцией 1789—1794 годов, майорат был восстановлен Наполеоном I (1806). Закон 1835 года запретил образование новых майоратов и ограничил срок существования старых.

Стр. 111. *Шарантон* — пригород Парижа, где находилась больница для умалишенных.

Стр. 112. *..как в басне, борьба глиняного горшка с железным.*— Имеется в виду басня Жана Лафонтена (1621—1695) «Горшок глиняный и горшок железный»: глиняный горшок разбился при первом же столкновении с железным горшком.

Стр. 115. *...1830 год довершил содеянное в 1793 году.*— 1793 год — время якобинской диктатуры. По решению якобинского правительства конфисковались поместья дворян-эмигрантов. Июльская революция 1830 года окончательно уничтожила политическую и экономическую власть старого дворянства.

Стр. 116. *Яго и Ричард III* — персонажи пьес Шекспира. Яго (трагедия «Отелло») — воплощение коварства и подлости. Ричард III, герой одноименной исторической хроники Шекспира, достигает королевского престола путем многочисленных жестокостей и преступлений.

Стр. 120. *Цивильный лист* — при конституционной монархии определяемая ежегодно парламентом денежная сумма на содержание королевского двора и для личного пользования монарха.

Золотая середина — см. примечание к стр. 21.

Стр. 122. *...изделия Буля.*— Буль (1642—1732) — мебельщик-художник, создавший стиль мебели с большим количеством инкрустаций и украшений.

Стр. 123. *Там, где один, при Реставрации, пал...*— Речь идет о романе «История величия и падения Цезаря Бирото».

Заира — героиня одноименной трагедии Вольтера, пленница влюбленного в нее ревнивого султана Оросмана.

Стр. 125. *Дежазе* — французская комическая актриса XIX века.

Стр. 126. *Олений парк* — название особняка в Париже, принадлежавшего Людовику XV, где по его приказанию устраивались тайные оргии.

Стр. 141. *«Англичане»* — старинное народное название кредиторов.

Стр. 152. *...будем друзьями, Цинна.*— Фраза, ставшая во Франции поговоркой, из трагедии Корнеля «Цинна или Милосердие Августа» (1640). С этими словами император Август обращается к Цинне — главе заговорщиков, прощая его.

Стр. 155. *Фабер* — маршал Франции (XVII век), известный своей храбростью и отвагой.

Лаиса — греческая гетера, нарицательное имя куртизанки.

Стр. 159. *Вениамин* — сын библейского патриарха Иакова, в переносном смысле любимец.

Стр. 162. *Людовик XII* — французский король (1462—1515). Речь идет о его смерти, наступившей через три месяца после его третьего брака.

Стр. 165. *Кровавая монахиня* — образ из так называемого «готического» или черного романа английского писателя Мэтью Льюиса (1775—1818) «Монах». Этот роман, как и другие «готические романы», изобиловал описаниями всяческих ужасов и кошмаров.

Стр. 166. *Премия Монтиона.*— Монтион (1733—1820) разбогател в результате махинаций при поставках для французской армии; на его средства была учреждена литературная премия и премия «за добродетельную жизнь».

...старинной шуткой о ручке корзинки.— Имеется в виду французская поговорка «заставить плясать ручку корзинки», применяющаяся к прислуге, обсчитывающей своих хозяев.

Стр. 183. *Жюно* — наполеоновский генерал. В 1807 году он взял Лиссабон — столицу Португалии.

Стр. 195. *Венецианский мавр.*— Отелло, герой одноименной трагедии Шекспира. *Сен-Пре* — герой романа в письмах французского писателя-просветителя Ж.-Ж. Руссо (1712—1778) «Юлия, или Новая Элоиза», нежный и верный возлюбленный.

Стр. 202. *«Опасные связи»* — роман французского писателя Шодерло де Лакло (1741—1803), рисующий развращенные нравы французского дворянства XVIII века.

Стр. 205. *Твой титул, барон, не плод воображенья.*— Речь идет о комедии Мольера «Сганарель, или Мнимый рогоносец» (1660).

Стр. 208. *Гюбетта* — персонаж драмы В. Гюго «Лукреция Борджа» (1833), соучастник всех интриг и преступлений Лукреции.

Стр. 209. *Арналь, Этьен* — французский комический актер XIX века.

Стр. 216. *...как Курций — в пропасть на римском Форуме...*—

Курций Марк — римский юноша-патриот, который, согласно легенде, пожертвовал собой ради спасения родного города, бросившись в пропасть, разверзшуюся посреди римского Форума.

Стр. 219. *...грех Прометея.*— Древнегреческая мифология приписывала титану Прометею создание человека. Прометей вылепил первых людей из глины, вдохнул в них жизнь; вопреки воле Зевса похитил с неба священный огонь и даровал его людям. Разгневанный этим, Зевс приказал приковать Прометея к скале, где орел клевал его печень.

Стр. 224. *...оплакивая на манер Калипсо разлуку с Улиссом, да еще в том возрасте, когда уже не появится никакой Телемак.*— Имеется в виду эпизод из романа французского писателя Фенелона «Приключения Телемака, сына Улисса» (1699). В романе нимфу Калипсо, оплакивающую разлуку с Улиссом (Одисеем), утешает любовь Телемака, также попавшего на ее остров.

Стр. 230. *Это госпожа де Ментенон в юбках Нинон.*— Маркиза де Ментенон, жена Людовика XIV, отличалась чопорностью и показной набожностью. Нинон де Ланкло, куртизанка XVII века, славилась своей красотой и остроумием.

Стр. 231. *Белый орел* был гербом царства Польского; *двуглавый орел* — гербом Российской империи.

Стр. 233. *Селимена* — действующее лицо комедии Мольера «Мизантроп» (1666), светская кокетка, пустая, бессердечная женщина.

Стр. 235. *...историю Самсона...* — Согласно библейской легенде, Самсон, судья и военачальник иудеев, отличался необыкновенной силой, источник которой заключался в его волосах. Красавица Далила, желая помочь его врагам филистимлянам, во время сна обрезала Самсону волосы и лишила его силы

Геркулес у ног Омфалы.— Согласно древнегреческому мифу, герой Геракл (Геркулес) был продан в рабство лидийской царице Омфале. Издеваясь над Гераклом, она заставила его носить женскую одежду и прясть шерсть.

Стр. 236. *Спиноза,* Барух (1632—1677) — великий голландский философ, материалист и атеист. Здесь имеется в виду широко распространенное в буржуазной науке ошибочное утверждение, что Спиноза был пантеистом.

...как Марий на развалинах Карфагена...— то есть человек, все потерявший. Кай Марий (156—86 гг. до нашей эры) — римский полководец. Вынужденный бежать из Рима, он нашел себе прибежище среди развалин Карфагена.

Стр. 237. *Камилл Мопен* — персонаж произведений Бальзака, псевдоним писательницы мадемуазель де Туш (см. романы «Беатриса», «Утраченные иллюзии», «Провинциальная муза» и др.).

Стр. 238. *...до признания Федры Ипполиту.*— Федра и Ипполит—персонажи древнегреческой мифологии, главные действующие лица трагедий Эврипида, Сенеки, а также трагедии Расина «Федра» (1677). Федра влюбляется в пасынка Ипполита и, будучи не в силах побороть свое чувство, признается Ипполиту в любви.

Стр. 252. *Авгуры* — в древнем Риме жрецы-прорицатели, вещавшие волю богов по пению и полету птиц; в переносном смысле люди, делающие вид, что они посвящены в важные тайны.

Стр. 264. *Г-жа де Мертей* — персонаж романа Шадерло де Лакло «Опасные связи», развращенная и циничная аристократка.

Стр. 298. *Хартия 1830 года* — конституция, введенная Луи-Филиппом. По хартии 1830 года были проведены некоторые реформы, в частности была несколько смягчена цензура.

Стр. 300. *Карем*, Мари-Антуан (1784—1833) — модный парижский кулинар во времена Бальзака, автор книг по кулинарии.

Стр. 301. *Маркиза Пескара* — Виттория Колонна (1-я половина XVI века) — итальянская поэтесса.

Диана де Пуатье—фаворитка французского короля Генриха II.

Стр. 302. *Бочка Данаид.*— Данаиды, по древнегреческой мифологии, дочери царя Даная, убившие в брачную ночь своих мужей. В наказание они были обречены богами на вечный бесплодный труд — наполнять бездонную бочку.

Стр. 304. *...Дюбуа, который чересчур увлекся, надавав регенту пинков.*— Имеется в виду рассказ о том, что однажды переодетый регент, герцог Орлеанский, (начало XVIII века), выдал себя в одном доме за лакея кардинала Дюбуа. Последний с увлечением разыграл роль сурового хозяина.

Стр. 310. *...у нынешнего Нумы, нашего знаменитого министра...*— Нума Помпилий — один из легендарных римских царей; по преданию, руководствовался в своих действиях советами нимфы-прорицательницы Эгерии. Здесь Бальзак имеет в виду премьер-министра Гизо, на которого, как полагали, большое влияние оказывала жена бывшего русского посла в Лондоне, Ливен.

Сивилла — прорицательница в античной мифологии.

Стр. 320. *...человек в синем плаще...*— Имеется в виду богатый ювелир времени Бальзака — Шампион; стремясь завоевать популярность, он ходил в старом синем плаще и раздавал нищим милостыню.

Стр. 325. *Бернадот* — наполеоновский маршал. В 1810 году Бернадот был усыновлен шведским королем Карлом XIII и наследовал ему в 1818 году под именем Карла XIV — Иоанна.

Стр. 334. *Вандам* — наполеоновский генерал; попал в плен к союзникам в 1813 году после поражения под Кульмом; был освобожден после Парижского мира (30/V 1814 года).

Стр. 339. *Синие* — так называли во время французской буржуазной революции XVIII века республиканские войска: они носили синюю форму.

...победил герцогиню Беррийскую.— В 1832 году герцогиня Беррийская сделала неудачную попытку поднять восстание в Вандее против Луи-Филиппа, чтобы доставить престол своему сыну, внуку Карла X, представителю старшей ветви Бурбонов.

Стр. 343. *А я-то рассчитывал на тебя, как Гурвиль на Нинон.*— Имеется в виду рассказ о том, как некий Гурвиль, уезжая из Франции, оставил куртизанке Нинон де Ланкло на хранение большую сумму; по его возвращении она полностью вернула ему деньги.

Стр. 350. *Бартоло* — действующее лицо комедии Бомарше «Севильский цирюльник» (1775), старик, влюбленный в свою воспитанницу, которую он ревниво прячет от всех.

Стр. 351. *Фидеикомисс* — наследство, подлежащее передаче третьему лицу.

Стр. 366. *Малибран* — известная итальянская певица (XIX век), много выступавшая во Франции, сестра Полины Виардо.

Стр. 367. *...в роли Матильды...* — Имеется в виду роль принцессы Матильды, племянницы австрийского наместника Гесслера из оперы Россини «Вильгельм Телль» (1829).

Стр. 372. *Лужок* — каторга на воровском жаргоне.

Стр. 379. *...Фуше, господа Ленуар и де Сартин...* — Фуше Жозеф (1759—1820) был членом Конвента, затем служил Директории, Наполеону, Бурбонам в качестве министра полиции; беспринципный, продажный политик. Ленуар и де Сартин — начальники парижской полиции в XVIII веке.

Стр. 388. *...даже из Аспазии можно сделать Лукрецию...* — Аспазия — греческая куртизанка (V век до нашей эры). Лукреция — героиня древнеримского предания. Обесчещенная Секстом — сыном римского царя Тарквиния Гордого, Лукреция закололась; Лукреция — нарицательное имя добродетельной женщины.

Стр. 395. *Катоксанта* — крупный жук из семейства златок, встречается в Индии и на островах Ява и Борнео. Яркие надкрылья катоксанты употреблялись женщинами для украшений.

Стр. 396. *Лоншан* — название старинного аббатства в Булонском лесу. Во времена Бальзака место прогулок парижан; там же находился ипподром.

Стр. 402. *Медор* — возлюбленный красавицы Анжелики, героини поэмы итальянского поэта Лодовико Ариосто (1474—1533) «Неистовый Роланд».

Стр. 408. *Почтальон из Лонжюмо* — персонаж одноименной комической оперы Адама (XIX век), популярной во времена Бальзака.

Стр. 410. *Неистовый Роланд* — герой поэмы итальянского поэта Лодовико Ариосто (см. примечание к стр. 402), узнав о неверности своей возлюбленной Анжелики, впадает в ярость и безумие.

Стр. 411. *Миньяр* (1612—1695) и *Жироде* (1767—1824) — французские художники.

Стр. 413. *...сети, раскинутые Вулканом.* — Вулкан (у греков — Гефест) — бог огня, бог-кузнец. Обманутый своей женой Венерой, Вулкан сковал тончайшую сеть и набросил ее на Венеру и на ее любовника Марса.

Стр. 414. *Гаварни* (1804—1866) — французский художник-график, прославился серией жанровых рисунков из жизни артистической богемы и буржуазного Парижа. Иллюстрировал произведения Бальзака. Бальзак очень ценил его творчество и посвятил ему специальную статью.

Стр. 417. *Сальпетриер* — парижская богадельня для старух, имевшая специальное отделение для душевнобольных.

Стр. 430. *Предместье Сен-Марсо* — во времена Бальзака часть Парижа, населенная беднотой.

Стр. 437. *Бобино* — народное название маленького «Люксембургского театра», основанного в 1816 году, на сцене которого играли фарсы, водевили и пантомимы. Особенно был популярен актер этого театра Секс, прозванный Бобино.

Амбигю-Комик — популярный парижский театр, основанный в 1869 году; ставил комедии, водевили, а также и мелодрамы.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

ЭТЮДЫ О НРАВАХ

Сцены парижской жизни

Бедные родственники

Кузина Бетта. Перевод *Н. Г. Яковлевой* 5

Примечания 447

БАЛЬЗАК

Собрание сочинений
в 24 томах. Том XIII.

Редактор тома
И. А. Лилеева.

Иллюстрации художника
С. С. Монахова.

Оформление художника
А. А. Васина.

Технический редактор
А. Ефимова.

Подп. к печ. 16/VI 1960 г. Тираж 350 000 экз. Изд. № 985. Зак. 1176.
Бум. л. 7,125. Печ. л. 23,37+4 вкл. (0,2 п. л.). Уч.-изд: л. 25,44.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени И. В. Сталина,
Москва, улица «Правды», 24.